



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.  
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

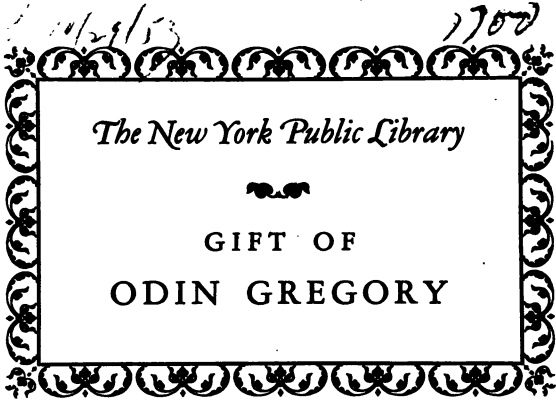
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



11/29/53 1700  
*The New York Public Library*



GIFT OF

ODIN GREGORY









**СОЧИНЕНІЯ**

**В. БЪЛИНСКАГО.**





**СОЧИНЕНІЯ**  
**В. БѢЛИНСКАГО.**

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ.

*Изданіе третье.*

ЦѢНА 1 Р. 25 К.

МОСКВА.

ПРОДАЕТСЯ У КНИГОПРОД. БРАТ. САЛАЕВЫХЪ.

1875.

THE NEW YORK  
PUBLIC LIBRARY  
490075 A  
ASTOR, LENOX AND  
TILDEN FOUNDATIONS  
R 1930 L

ПРОЦЕДУРА  
УСТАНОВЛЕНА  
ВЪ 1901

ТИПОГРАФИЯ ГРАЧЕВА И К., У ПРЯМСИЕНСКИХЪ ВОРОТЪ, Д. ШИЛОВЪЙ.

**1845.**

---

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.**

**II.**

**БИБЛИОГРАФІЯ.**



**ПРАВИЛА ВЫСШАГО КРАСНОРЪЧІЯ. Сочиненіе Михаила Сперанскаго. Спб. 1844.**

**О ПОДРАЖАНІИ ХРИСТУ, четыре книги Оомы Кемпійскаго, переведенныя съ латинскаго языка графомъ М. М. Сперанскимъ. Изданіе четвертое, дополненное противъ третьяго изданія избранными мѣстами изъ друиухъ твореній Оомы Кемпійскаго, переведенными также графомъ М. М. Сперанскимъ. Спб. 1845.**

Первое изъ этихъ произведеній особенно замѣчательно по имени ихъ автора, столь славному въ исторіи русской администраціи и русскаго законодательства. „Правила Высшаго Краснорѣчія“ важны еще и какъ доказательство, что сильный умъ сохраняетъ свою самостоятельность, даже и слѣдуя по избитой дорогѣ, и умѣетъ сказать что-нибудь дѣльное даже и о предметѣ, всѣми ложно понимаемомъ въ его время. Книга графа Сперанскаго любопытна еще и какъ живой историческій памятникъ литературныхъ понятій и русскаго языка въ эпоху 1792 года. Это во многихъ отношеніяхъ историческое сочиненіе составлено изъ лекцій, которыя Сперанскій читалъ въ Санктпетербургской Духовной Академіи, тотчасъ послѣ того, какъ самъ кончилъ въ ней курсъ наукъ. Тогда ему былъ 21 годъ отъ рожденія, и, вѣроятно, еще онъ не предвидѣлъ другаго, болѣе блестящаго и важнаго поприща, на которое готовила его судьба.

Что касается до книги Оомы Кемпійскаго, — нѣчего распространяться въ похвалахъ ей: за нее говорятъ почти четы-

реста лѣтъ огромнаго и повсемѣтнаго успѣха. На русскомъ языкѣ ея было восемь переводовъ: (1647, 1681, 1764, 1780, 1784, 1799, 1816 годовъ); переводъ графа Сперанскаго былъ девятымъ, и въ первый разъ былъ изданъ въ 1819 году. Слогъ перевода большею частію сообразенъ съ духомъ оригинала, но уже слишкомъ отзывается славянщиною; впрочемъ, назадъ тому двадцать пять лѣтъ, никому бы и не пришло въ голову переводить иначе подобную книгу.

---

**ИМПРОВИЗАТОРЪ, ИЛИ МОЛОДОСТЬ И МЕЧТЫ ИТАЛІЙСКАГО ПОЭТА. Романъ датскаго писателя Андерсена. Переводъ съ шведскаго. Дѣя части. Спб. 1844.**

Герой этого романа—презабавное лицо: восторженный Итальянецъ, шістистъ, поэтъ, любить женщинъ и страхъ какъ бѣится, чтобъ которая-нибудь не соблазнила его; человекъ съ слабымъ характеромъ, чувствуетъ позоръ вельможескаго покровительства, страдаетъ отъ него—и не имѣетъ силы освободиться изъ подл обязательнаго ярма. Съ нимъ что ни шагъ, то приключеніе. Онъ влюбляется въ трехъ женщинъ, но съ одною расходится по недоразумѣнію; другая любитъ его братски; на третей онъ, наконецъ, женится, несмотря на свою боязнь, что Мадонна накажетъ его за избраніе свѣтской жизни. Между многочисленными его приключеніями, много по истинѣ чудесныхъ, естественность которыхъ въ послѣдствіи объясняется какъ-то натянуто. Вообще, этотъ романъ не лишень занимательности, хотя мѣстами и очень скученъ, сколько по характеру героя, довольно жалкому, столько и по утомительному однообразію своего содержанія вообще. Самая интересная сторона его — итальянская природа и итальянскіе нравы, очер-

ченныя не безъ таланта и не безъ увлекательности. Но какъ блѣдны и слабы эти очерки въ сравненіи съ мастерскими картинами Италіи, дышащими глубокою мыслію и могучею жизнію въ романахъ Жоржъ-Занда! При воспоминаніи о „Послѣдней Альдини“, „Домашнемъ Секретарѣ“, „Маттеа“, „Метеллѣ“, „Ускокѣ“ и „Консюэлѣ“, становится какъ-то жалко бѣднаго Андерсена. . . Впрочемъ, здѣсь всякое сравненіе возможно только по отношенію къ странѣ, которую онъ избралъ сценою своего романа. Невѣроятно, чтобъ Андерсенъ могъ быть представителемъ поэтическаго генія своего отечества, и чтобъ въ Даніи имѣющей Эленшлегера, не было повтовъ гораздо выше его. Можетъ-быть, даже, и этотъ романъ—далеко не лучшее произведеніе Андерсена. Во всякомъ случаѣ, этотъ невинный романъ можетъ съ удовольствіемъ и пользою читаться молодыми дѣвушками и мальчиками, въ свободное отъ классныхъ занятій время. Переводъ „Импровизатора“ очень хорошъ.

---

**ИСТОРИЯ НАПОЛЕОНА. Сочиненіе Николая Полеваго. Томъ первый. Спб. 1844.**

При каждомъ новомъ произведеніи г. Н. Полеваго изумляешься неистощимой и разнообразной его дѣятельности. Чего не писалъ онъ! Лишь только зашевелится въ русской литературѣ что-нибудь похожее на новое направленіе, или просто на новый вкусъ, новую моду, — онъ тутъ какъ тутъ, и всегда впереди тѣхъ, которые своимъ успѣхомъ прежде его открыли новое средство угождать прихоти публики. Но ему ни-почемъ обгонять русскихъ писателей и состязаться съ ними о пальмѣ первенства: онъ уже соперничествуетъ съ литературными славами Европы. Еще не успѣлъ Тьеръ напечатать свою исторію



Наполеона, какъ г. Полевой уже выдалъ первый томъ своей „Исторіи Наполеона“. Вотъ какъ мы состязуемся съ Европою! Изъ-подъ пера г. Полеваго, какъ видно по театральнымъ аффишамъ, вышли почти въ одно и то же время драма „Павелъ и Виргинія“ и — „Исторія Наполеона“! Впрочемъ, что жь! Пусть читаютъ добрые люди „Исторію Наполеона“, сочиненную г. Полевымъ, если не могутъ читать „Исторіи Наполеона“, сочиненной Тьеромъ. Конечно, это далеко не одно и то же, но и „что-нибудь“ лучше, нежели „ничего“. При огромномъ изобиліи матеріаловъ на всѣхъ европейскіихъ языкахъ, трудно было бы литературу, набившему руку въ многописаніи, не составить чего-нибудь въ родѣ исторіи Наполеона, сколько-нибудь свясной. Жаль только, что г. Полевой иногда странно ошибается въ фактахъ, особенно во „Введеніи“: такъ, наприм., онъ называетъ другомъ якобинцевъ заклятаго врага ихъ, жирондиста Дюмурье. Другой недостатокъ „Исторіи Наполеона“ г. Полеваго заключается въ общемъ недостаткѣ всѣхъ его сочиненій — въ языкѣ, который очень трудно читать.

---

**РУКОВОДСТВО КЪ ПОЗНААНІЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ-МАТЕРІАЛЬНОЙ ФИЛОСОФІИ.** *Сочиненіе Александра Петровича Татарникова.* Сиб. 1844.

Германія — отечество философіи новаго міра. Когда говорить о философіи, то всегда разумѣютъ германскую, потому что никакой другой философіи человечество не имѣетъ. Во всѣхъ другихъ странахъ, философія есть попытка частнаго лица разрѣшить извѣстные вопросы о бытіи; въ Германіи, философія — наука, исторически развивающаяся; ея обработываніе постепенно передается отъ поколѣнія къ поколѣнію.

Кантъ первый положилъ прочныя начала новѣйшей философіи и далъ ей наукообразную форму. Фихте своимъ ученіемъ выразилъ второй моментъ развитія философіи: дѣйствуя независимо отъ Канта и даже ставъ въ полемическое къ нему отношеніе, онъ тѣмъ не менѣе былъ только продолжителемъ начатаго Кантомъ дѣла. Шеллингъ и Гегель—представители дальнѣйшаго движенія философіи. Теперь гегелизмъ распался на три стороны — правую, которая остановилась на послѣднемъ словѣ гегелизма и далѣе не идетъ; лѣвую, которая отложилась отъ Гегеля, и свой прогрессъ полагаетъ въ живомъ примиреніи философіи съ жизнью, теоріи съ практикою; и центральную, составляющую нѣчто среднее между мертвою стоячестью правой и стремительнымъ движеніемъ лѣвой стороны. Если мы сказали, что лѣвая сторона гегелизма отложилась отъ своего учителя, это не значитъ, чтобъ она отвергла его великія заслуги въ сферѣ философіи и признала его ученіе пустымъ и бесплоднымъ явленіемъ. Нѣтъ, это значитъ только, что она хочетъ идти далѣе и при всемъ ей уваженіи къ великому философу, авторитетъ духа человѣческаго ставитъ выше духа авторитета Гегеля. Такъ отложился отъ Канта Фихте; такъ духомъ ученія своего объявилъ себя противъ Канта и Фихте Шеллингъ; такъ ученикъ Шеллинга, Гегель, отложился отъ Шеллинга; но ни одинъ изъ нихъ не думалъ отрицать заслуги своего предшественника, и каждый изъ нихъ считалъ себя обязаннымъ своимъ успѣхомъ трудамъ предшественника. Такой ходъ германской философіи дѣлаетъ невозможными произвольныя проявленія личныхъ философствованій. Чтобъ дѣйствовать на поприщѣ философіи, въ Германіи мало того, чтобъ объявить печатно: „я такъ думаю“, но должно посвятить цѣлыя годы тяжелаго труда дѣльному и основательному изученію всего, что сдѣлано по части философіи,— должно быть современнымъ.

Съ этой точки зрѣнія, нѣтъ ничего забавнѣе русской философіи и русскихъ книгъ по части философіи. О философіи какъ наукѣ, у насъ никто не заботится; но всѣ наши философы думаютъ, что для того, чтобъ слѣжаться философомъ, стоить только захотѣть этого. Учиться философіи они не считаютъ нужнымъ; имъ легче объявить, что всѣ нѣмецкіе философы врутъ, нежели прочесть хотя одного изъ нихъ. Наши философы не понимаютъ, что у насъ для философіи нѣтъ еще ни почвы, ни потребности. Нашему философу вдругъ, ни съ того ни съ сего, прійдетъ охота пофилософствовать, и такъ какъ съ болтовни пошлнвъ не берутъ, то, вслѣдствіе этого неожиданнаго припадка философствованія, явится небольшая книжка, въ которой все сказано, все объяснено, все рѣшено, кромѣ одного только — зачѣмъ и для кого написанъ весь этотъ вздоръ...

Едва ли не снѣлѣе всѣхъ другихъ нашихъ философовъ г. Александръ Петровичъ Татариновъ: на сорока страничкахъ, разгонисто и безобразно напечатанныхъ, онъ излагаетъ какую-то небывалую до него „теоретическую-практическую“ философію, и начисто рѣшаетъ, что такое истина, благо и красота: истина у него есть истина, благо—благо, а красота—красота. Коротко и ясно! Изъ философовъ, бывшихъ до него, онъ знаетъ что-то только о Локкѣ, Лейбницѣ и Кантѣ, а о дальнѣйшемъ ходѣ философіи рѣшительно никакихъ свѣдѣній не имѣетъ. Для чего и для кого написана эта тетрадка (книгою и даже книжкою ее нельзя назвать)? Для тѣхъ, кто имѣетъ хотя какое-нибудь понятіе о философіи, тетрадка г. Татарина будетъ только забавна; а тѣ, которые о философіи не имѣютъ никакого понятія, ровно ничего не поймутъ въ ней, въ этой тетрадкѣ.

**ОБЩАЯ РИТОРИКА, Н. Кошанскаго. Изданіе девятое. Спб. 1844.**

Наука—великое дѣло. Въ этомъ согласны все — отъ мудреца до безграмотнаго простолюдина. Ученые свѣтъ, не ученые тьма, говорятъ наши русскіе мужички. Въ наше время, эта истина становится аксіомою. Но и враги ученія и наукъ еще не перевелись, и—что всего хуже, они не всегда неправы въ своихъ нападкахъ на ученость и ученыхъ. Мы говоримъ не о тѣхъ противникахъ просвѣщенія, которые только во мракѣ невѣжества и дикости нравовъ видятъ неспорченность мысли и чистоту нравственности: нѣтъ, объ этихъ изувѣрахъ обскурантизма, объ этихъ чадахъ тьмы, объ этихъ фанатикахъ и лицемѣрахъ ложно понимаемаго добронравія, не стѣдуетъ труда и говорить. Но нельзя не обратить вниманія на тѣхъ противниковъ просвѣщенія, которые вооружаются не столько противъ науки, сколько противъ ученыхъ; которые, основываясь на простомъ здоровомъ смыслѣ и на простомъ практическомъ чувствѣ, не теорію, а указаніемъ на знакомыхъ имъ ученыхъ, доказываютъ то пустоту и бесполезность, то даже вредъ ученія. Объяснимъ это примѣромъ. Положимъ, г. NN—человѣкъ неучившійся, но умный отъ природы, образовавшійся опытомъ жизни и нечуждый нѣкоторой начитанности, обвинуясь духу времени, взялъ для своего сына учителя словесности. И вотъ, учитель аккуратно является давать юношѣ уроки, проходить съ нимъ грамматику, риторику, поэзію, логику. Конченъ курсъ словесности; все довольны: сынъ — что узналъ столько мудреныхъ и полезныхъ наукъ; отецъ — что выполнилъ свой долгъ; учитель—что образовалъ новаго словесника. Но вдругъ декорация перемѣняется. Отецъ опредѣляетъ своего сына на службу и хочетъ, чтобы тотъ служилъ подъ его руководствомъ. Для практики, онъ даетъ ему составлять выписки изъ дѣлъ,

задаетъ ему писать разныя бумаги официальнаго содержанія, — и что же? Онъ съ удивленіемъ видитъ, что во всѣхъ юридическихъ опытахъ его сына бездна краснорѣчія, тропь и фигуръ не оберешься, а дѣла нѣтъ и признаковъ; слогъ отличный, по истинѣ высокій, а что-нибудь понять въ немъ нѣтъ никакой возможности. Въ другое время, онъ проситъ сына написать письмо о томъ-то и тому-то: та же исторія! Періоды круглые, съ пониженіями и повышеніями; послѣ предложенія, начинающагося съ „хотя“, всегда слѣдуетъ предложеніе, начинающееся съ „однако“; слово „кто“ всегда соотвѣтствуетъ слову „тотъ“, и т. д.; но письмо тяжело, неприлично, неуклюже, какъ семинаристъ въ обществѣ. „Что же это значить?“ думаетъ отецъ. „Сынъ мой не глупъ, способности у него есть, въ обществѣ онъ держитъ себя прилично и говоритъ какъ принято, а на письмѣ—фразеръ, педаантъ, надутый враль, тяжелый болтунъ. Учился онъ по хорошей книгѣ, по „Риторикѣ“ г. Кошанскаго, которая вездѣ принята за лучшее руководство и напечатана девятымъ изданіемъ; учитель—человѣкъ извѣстный, учить во всѣхъ домахъ и меньше десяти рублей за урокъ не беретъ; все это такъ,—но чему же выучился мой сынъ?“ Далѣе, отецъ замѣчаетъ, что его сынъ, прошелъ полный курсъ словесности, слѣдовательно, выучившись и поэзіи, узнавъ и исторію русской словесности, свысока разсуждаетъ иногда о величіи генія Державина, вскользь упоминаетъ и о Пушкинѣ, а между тѣмъ читаетъ только новые романы и водевили, совершенно не интересуясь ни чѣмъ инымъ. Зная названіе всѣхъ наиболѣе извѣстныхъ сочиненій на отечественномъ языкѣ, онъ только изъ нѣкоторыхъ читалъ отрывки, а большей части совѣтъ не читалъ. И вотъ, дѣлать нечего, отецъ спорить съ сыномъ, кое-какъ переламываетъ его, приучаетъ хорошо писать и дѣловыя бумаги и письма. Сынъ сталъ хоть куда! Но тогда отецъ съ удивленіемъ замѣчаетъ, что сынъ его исправился, благо-

даря тому, что совершенно забылъ, какъ вздоръ, все, чему училъ его учитель словесности. Какое же отецъ долженъ вывести мнѣніе изъ всего этого? — Разумѣется, такое, что науки и ученье — вредный вздоръ. И онъ правъ, тысячу разъ правъ: за него фактъ и, можетъ-быть, тысячи фактовъ. Какое ему дѣло разсуждать, что за наука — риторика, можетъ ли и должна ли она преподаваться, и такъ ли ее преподають? Онъ знаетъ, что риторикѣ учатъ во всѣхъ училищахъ, что безъ риторики никого не признають ученымъ, знаетъ, что его сынъ учился по риторикѣ, изданной девятымъ изданіемъ, вездѣ принятой за руководство, — и въ то же время онъ знаетъ, что риторика—сущій вздоръ, не только бесполезный, но и страшно вредный.

Много можно привести такихъ примѣровъ, доказывающихъ, что отъ ученія люди часто ничего не выигрываютъ, а много проигрываютъ: выигрываютъ — тяжесть, сухость, педантизмъ, претензіи, а проигрываютъ здравый смыслъ, живость ума, инстинктъ истины, тактъ дѣйствительности. „Метафизикъ“ Хемницера дѣйствительно безсмертная вещь: говоря объ ученіи и ученыхъ, часто по-неволѣ вспомнишь о ней...

Но наука и ученье тутъ ни въ чемъ не виноваты, потому что надо строго отличить науку и ученье отъ состоянія, въ которомъ наука и ея преподаваніе находятся въ извѣстное время и въ извѣстномъ обществѣ. Конечно, людямъ практическимъ, которые привыкли обо всемъ судить на основаніи здраваго смысла и опыта, которые цѣнятъ вещи по ихъ результатамъ, видятъ ихъ, какъ онѣ суть, а не такъ, какъ бы должны были быть,—такимъ людямъ мало дѣла до необходимости отдѣлять злоупотребленіе науки отъ самой науки,—и они совершенно правы со своей точки зрѣнія. И потому мы хотимъ поговорить здѣсь о риторикѣ не для того, чтобъ убѣдять практическихъ людей въ высокомъ достоинствѣ риторики вообще и

„Риторика“ г. Кошанскаго въ частности, а для того, чтобъ практическіе люди не презирали всякой науки и всякаго знанія потому только, что риторика—взорная наука и вредное знаніе.

Злоупотребленіе многихъ вещей происходитъ большею частію оттого, что люди смѣшиваютъ между собою самыя различныя вещи. Такъ напримѣръ, чаще всего смѣшиваются у насъ понятія: наука и искусство. Самое слово „наука“ у насъ невѣрно выражаетъ заключенное въ немъ понятіе. Простой народъ нашъ правильнѣе употребляетъ это слово, говоря о мальчикѣ, отданномъ учиться сапожному ремеслу: „онъ отданъ въ науку“. То, что называется scientia, science, Wissenschaft, у насъ должно бы называться не наукою, а знаніемъ. Наука ничему не учитъ, ничему не выучиваетъ: она даетъ знаніе законовъ, по которымъ существуетъ все существующее; она многообразіе однородныхъ предметовъ приводитъ въ идеальное единство. Искусство имѣетъ болѣе практическое значеніе: оно больше способность, талантъ, умѣніе что-либо дѣлать, нежели знаніе чего-либо. Искусства бываютъ двухъ родовъ: творческія и техническія. Дѣятельная, производительная способность въ первыхъ бываетъ людахъ, какъ даръ природы; ученіе и трудъ развиваютъ этотъ даръ, но самого дара не даютъ тѣмъ, кому не дано его природою. Техническія искусства даются людямъ наукою, въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ это слово простой народъ,—въ смыслѣ практическаго ученія, изученія, навыка. И въ творческихъ искусствахъ есть своя техническая сторона, доступная и бездарнымъ людямъ: можно выучиться писать легкіе и гладкіе стихи, разбирать ноты и лучше или хуже разыгрывать ихъ, срисовывать копіи съ оригиналовъ и т. п., но поэтомъ, музыкантомъ, живописцемъ нельзя сдѣлаться ученіемъ и рутинною. Все, что существуетъ существуетъ на основаніи неизмѣнныхъ и разумныхъ законовъ, и потому подлежитъ вѣдѣнію науки (знанію); слѣдова-

только, и искусство подлежить вѣдѣнію науки, но не иначе, какъ только предметъ знанія, а совсѣмъ не какъ предметъ обученія, т. е. мастерство, которому можно выучиться посредствомъ науки. Искусствамъ учатся — эта правда, особенно тамъ, въ которыхъ техническая сторона преимущественно важна и трудна; но здѣсь ученіе особеннаго рода — ученіе практическое, а не теоретическое, ученіе не по книгѣ, а по наглядному указанію мастера. Таковы и всѣ техническія искусства, всѣ ремесла. Напишите самое ясное, самое толковитое руководство къ искусству шить сапоги, — самый понятливый и способный человѣкъ въ пятьдесятъ, во сто лѣтъ не выучится по вашей книгѣ шить такъ хорошо, какъ бы выучился онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ у хорошаго мастера, при посредствѣ его наглядныхъ указаній и своего упражненія и навыка. Въ такомъ точно отношеніи находится наука къ искусству. Иной эстетикъ-критикъ судить лучше художника о произведеніи самого этого художника, но самъ не въ состояніи ничего создать. Въ сферѣ искусства, ученый знаетъ, художникъ умѣетъ.

Но не всѣ, къ несчастію, понимаютъ это и теперь; еще меньше всѣ понимали это прежде. Вотъ откуда явилась риторика, какъ наука краснорѣчія, наука, которая брала на выучку кого угодно сдѣлать великимъ ораторомъ; вотъ откуда явилась цинтика, какъ наука дѣлать поэтами даже людей, которые способны только мостить мостовую.

Риторика получила свое начало у древнихъ. Соціализмъ и республиканская форма правленія древнихъ обществъ сдѣлали краснорѣчіе самымъ важнымъ и необходимымъ искусствомъ, ибо оно отворяло двери къ власти и начальствованію. Удивительно ли, что всѣ и каждый хотѣли быть ораторами, хотѣли имѣть вліяніе на толпу посредствомъ искусства красно говорить? Поэтому, изучали рѣчи великихъ ораторовъ, анализировали ихъ, и дошли до открытія троповъ и фигуръ, до источни-



ковъ изобрѣтенія; стали искать общихъ законовъ въ частныхъ случаяхъ. Ораторъ сильно всколебалъ толпу могучимъ чувствомъ, выраженнымъ въ фигурѣ вопрошенія, — и вотъ могучее чувство отбросили въ сторону, а фигуру вопрошенія приняли къ свѣдѣнію: эффектная-де фигура, и на ней какъ можно чаще надобно выѣзжать — всегда вывезетъ. Это напоминаетъ басню о глупомъ мужикѣ, или глухой обезьянѣ, которая, увидѣвъ, что ученый, принимаясь за чтеніе, всегда надѣвалъ на носъ очки, тоже достала себѣ очки и книгу, хотѣла читать, и съ досады, что ей не читается, разбила очки. Но люди бываютъ иногда глупѣе обезьянъ. Изъ наблюденій и анализа надъ рѣчами великихъ ораторовъ они составили сборъ какихъ-то произвольныхъ правилъ и назвали этотъ сборъ риторикою. Явились риторы, которые къ ораторамъ относились, какъ діалектики и софисты относились къ философамъ, и начали обучать людей искусству краснорѣчія; завелись школы, но изъ нихъ выходили все-таки не ораторы, а риторы. Какая разница между ораторомъ и риторомъ? Такая же, какъ между философомъ и софистомъ, между присяжнымъ судьей (jury) и адвокатомъ: философъ въ діалектикѣ видитъ средство дойти до знанія истины, — софистъ въ діалектикѣ видитъ средство остаться побѣдителемъ въ спорѣ; для философа, истина — цѣль, діалектика — средство; для софиста, и истина и ложь — средство, діалектика — цѣль; присяжный судья видитъ свою цѣль въ оправданіи невиннаго, въ осужденіи виновнаго; адвокатъ видитъ свою цѣль въ оправданіи своего кліента, правъ ли онъ, или виноватъ — все равно. Ораторъ убѣждаетъ толпу въ мысли, великость которой измѣряется его одушевленіемъ, его страстію, его пафосомъ, и, слѣдовательно, жаромъ, блескомъ, силою, красотою его слова; ритору нѣтъ нужды до мысли, въ которой онъ хочетъ убѣдить толпу: риторъ — человекъ на-ленькій, и мысль его можетъ быть подленькою, даже у него

можетъ не быть вовсе никакой мысли, а только гадинькая цѣль, — и лишь бы ея удалось ему достигнуть, а до прочаго ему нѣтъ дѣла. И тамъ, гдѣ ораторъ беретъ вдохновеніемъ, бурю страстей, громомъ и молніею слова, тамъ риторъ хочетъ взять тропами и фигурами, общими мѣстами, выточеными фразами, округленными періодами. Но въ древности, риторика еще имѣла какой-нибудь смыслъ. Когда въ какой-нибудь республикѣ переводились на время великіе люди, тогда народомъ управляли крикуны и краснобаи, т. е. риторы. А много ли людей, которые для такой цѣли не стали бы учиться риторикѣ? — Но скажите, Бога ради, зачѣмъ нужна риторика въ новомъ мірѣ? Зачѣмъ она даже въ Англии и во Франціи? Вѣдь Питтъ и Фоксъ были не только ораторы, но и государственные люди? Вѣдь въ наше время, когда вся общественная машина такъ многосложна, такъ искусственна, даже и великій по таланту ораторъ недалеко уйдетъ, если въ то же время онъ не будетъ государственнымъ человѣкомъ? И какимъ образомъ риторика сдѣлаетъ кого-нибудь краснорѣчивымъ въ Англии и во Франціи, и кто изъ англійскихъ и французскихъ парламентскихъ ораторовъ образовался по риторикѣ? Развѣ риторика даетъ кому-нибудь смѣлость говорить передъ многочисленнымъ собраніемъ? Развѣ она даетъ присутствіе духа, способность не теряться при возраженіяхъ, умѣніе отразить возраженіе, снова обратиться къ прерванной нити рѣчи, находчивость, талантъ всемогущаго слова „кетати“. Приведемъ извѣстный примѣръ изъ древняго міра. Демосфенъ говорилъ о Филиппѣ, а вѣтренные Аѳиняне толковали между собою о новостяхъ дня; раздраженный ораторъ начинаетъ имъ рассказывать пустую побасенку, — и Аѳиняне слушаютъ его внимательно. „Боги!“ воскликнулъ великій ораторъ: „достоинъ вашего покровительства народъ, который не хочетъ слушать, когда ему говорятъ объ опасности, угрожающей его отечеству,

и внимательно слушаетъ глупую сказку!“ Разумѣется, эта неожиданная выходка устыдила и образумила народъ. Скажите: какая риторика научить такой находчивости? Вѣдь подобная находчивость—вдохновеніе! Вздумай кто нибудь повторить эту выходку — толпа расхохочется, потому что толпа не любитъ людей, которые велики или находчивы заднимъ числомъ. Какая риторика дастъ человѣку бурный огонь одушевленія, страсть, пафосъ? Намъ возразятъ конечно, не дастъ, но разовьетъ эти счастливые дары природы. Неправда! ихъ можетъ развить практика, трибуна, а не риторика. Геній полководца нуждается въ хорошихъ книгахъ о военномъ искусствѣ, но развивается онъ на поляхъ брани. И чѣмъ бы могла риторика развить геній оратора: неужели тропами, метафорами и фигурами? Но что такое тропы, метафоры и фигуры, если выраженіе страсти—не произведеніе вдохновенія? Истинный ораторъ употребляетъ тропы и фигуры, не думая о нихъ. То энергическое выраженіе, которымъ онъ всколебалъ толпу, иногда срывается съ его устъ нечаянно, и онъ самъ не предвидѣлъ, не находилъ его въ своей головѣ, будучи отдѣленъ отъ него только двумя словами предшествовавшей фразы. Ученикамъ задаютъ писать тропы и фигуры: не значить ли это задавать имъ работу—быть вдохновенными, страстными? Это напоминаетъ соловья въ когтяхъ у кошки, которая заставляетъ его пѣть. Да чего не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ! Въ старину, въ семинаріяхъ, въ классѣ поэзіи, задавали ученикамъ описывать въ стихахъ разные назидательные предметы.

Итакъ, какую же пользу можетъ приносить риторика? Не только риторика,—даже теорія краснорѣчія (какъ науки краснорѣчія) не можетъ быть. Краснорѣчіе есть искусство,—не цѣлое и полное, какъ поэзія: въ краснорѣчіи есть цѣль, всегда практическая, всегда опредѣляемая временемъ и обстоятельствами. Поэзія входитъ въ краснорѣчіе какъ элементъ,

является въ немъ не цѣлью, а средствомъ. Часто самыя увлекательныя, самыя патетическія мѣста ораторской рѣчи вдругъ смѣняются статистическими цифрами, сухими разсужденіями, потому что толпа убѣждается не одною красотою живой изустной рѣчи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣломъ, и фактами. Одинъ ораторъ могущественно властвуетъ надъ толпой силою своего бурнаго вдохновенія; другой—вкрадчивою граціею изложенія; третій—преимущественно ироніею, насмѣшкой, остроуміемъ; четвертый послѣдовательностью и ясностью изложенія, и т. д. Каждый изъ нихъ говоритъ, соображаясь съ предметомъ своей рѣчи, съ характеромъ слушающей его толпы, съ обстоятельствами настоящей минуты. Еслибъ Демосеенъ вдругъ воскресъ теперь и заговорилъ въ англійской нижней палатѣ самымъ чистымъ англійскимъ языкомъ, — англійскіе джентльмены и Джонъ Буль ошкали бы его; а наши современные ораторы плохо были бы приняты въ древней Греціи и Римѣ. Мало того: французскій ораторъ въ Англии, а англійскій во Франціи не имѣли бы успѣха, хотя бы они, каждый въ своемъ отечествѣ, привыкли владычествовать надъ толпой силою своего слова. И потому, если вы хотите людямъ, которые не готовятся быть ораторами, дать понятіе о томъ, что такое краснорѣчіе, а людямъ которые хотятъ быть ораторами, дать средство къ изученію краснорѣчія, — то не пишите риторики, а переберите рѣчи извѣстныхъ ораторовъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, снабдите ихъ подробною біографіею каждаго оратора, необходимыми историческими примѣчаніями, — и вы окажете эту книгу великую услугу и ораторамъ и неораторамъ.

Но зачѣмъ риторика у насъ въ Россіи? — Затѣмъ, чтобъ учить дѣтей сочинять?... Многіе смѣются надъ опредѣленіемъ грамматики, что она учитъ „правильно говорить и писать“. Опредѣленіе очень умное и очень вѣрное! Всеобщая грамма-

тика есть философія языка, философія человѣческаго слова: она раскрываетъ систему общихъ законовъ человѣческой рѣчи, равно свойственныхъ каждому языку. Частная грамматика учить ни чему иному, какъ правильно говорить и писать на томъ или другомъ языкѣ: она учить не ошибаться въ согласованіи словъ, въ этимологическихъ и синтаксическихъ формахъ. Но грамматика не учить хорошо говорить, потому что говорить правильно и говорить хорошо—совсѣмъ не одно и то же. Случается даже такъ, что говорить и писать слишкомъ правильно значитъ говорить и писать дурно. Иной семинаристъ говорить и пишетъ какъ олицетворенная грамматика, — его нельзя ни слушать, ни читать; а иной простолюдинъ говорить неправильно, ошибается и въ склоненіяхъ и въ спряженіяхъ, а его заслушаешься. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ грамматикѣ не должно было учиться, и чтобъ грамматика была вздорная наука: совсѣмъ напротивъ! Неправильная рѣчь одареннаго способностію хорошо говорить простолюдина была бы еще лучше, еслибъ онъ зналъ грамматику. Дѣло въ томъ только, чтобъ грамматика знала свои границы и слушалась языка, котораго правила объясняетъ: тогда она научить правильно и писать и читать; но все таки только правильно, не больше: учить же говорить и писать хорошо—совсѣмъ не ея дѣло. Сколько мы догадываемся, на это претендуетъ риторика. Нелѣпость, сущая нелѣпость! Кто готовится въ государственные ораторы,—тотъ пусть изучаетъ рѣчи государственныхъ ораторовъ, слушаетъ ихъ, какъ можно чаще бываетъ въ обществѣ государственныхъ людей; кто готовится въ адвокаты, тотъ пусть не выходитъ изъ судебныхъ мѣстъ, пусть ищетъ общества адвокатовъ; но еще лучше, если тотъ и другой какъ можно чаще сами будутъ пробовать свои силы на избранномъ поприщѣ; кто хочетъ блистать своимъ разговоромъ въ свѣтскомъ обществѣ, тотъ пусть живетъ въ свѣтѣ; кто хочетъ по-

святить себя литературѣ, тотъ пусть изучаетъ писателей своего отечества и слѣдитъ за современнымъ движеніемъ литературы. Но и тотъ, и другой, и третій, и четвертый, больше всего пусть опасаются риторики! Скажутъ: въ искусствѣ говорить особенно въ искусствѣ писать, есть своя техническая сторона, изученіе которой очень важно? Согласны; но эта сторона нисколько не подлежитъ вѣдѣнію риторики. Ее можно назвать стилистикой, и она должна составить собою дополнительную, окончателъную часть грамматики, высшій синтаксисъ, то, что въ старинныхъ латинскихъ грамматикахъ называлось: *syntaxis ornata* и *syntaxis figurata*. Этотъ высшій синтаксисъ долженъ заключать въ себѣ главы: 1) о предложеніяхъ и періодахъ, 2) о тропахъ, и 3) объ общихъ качествахъ слога—чистотѣ, ясности, опредѣленности, простотѣ и проч. въ отношеніи къ выраженію. Въ главѣ о предложеніяхъ и періодахъ, должны быть объяснены общія, на логическомъ строеніи мысли основанныя формы рѣчи; въ періодѣ должно показать смелогизмъ; надобно обратить особенное вниманіе на то, чтобъ отдѣлить внѣшнюю форму отъ внутренней, и научить по возможности избѣгать школьной формы выраженія. Такъ, напримѣръ, всякій школьникъ, особенно учившійся по „Риторикѣ“ г. Кошанскаго, необходимою принадлежностью условнаго періода почитаетъ союзы: *если, то*; надо внушить ему, что условность можетъ заключаться въ періодѣ и безъ *если и то*, напримѣръ: „скажешь правду, потеряешь дружбу“, и что эта послѣдняя форма проще, легче и лучше первой. Въ главѣ о тропахъ не должно гоняться за пошлыми примѣрами, или искать ихъ непременно въ сочиненіяхъ извѣстныхъ писателей, но брать ихъ преимущественно въ обыкновенномъ, разговорномъ языкѣ, въ пословицахъ и поговоркахъ. Надо показать ученику, что тропы породила необходимость образнаго выраженія, и что тропы лучше всего объясняютъ и оправдываютъ

философское положеніе: „ничего не можетъ быть въ умѣ, чего не было въ чувствѣ“. Лучшіе примѣры троповъ должны быть въ такомъ родѣ: „острый умъ, тупая память, слѣды преступленія, имѣть кусокъ хлѣба“, и т. п. Что касается до фигуръ, которыя, какъ извѣстно, раздѣляются риториками на „фигуры словъ“ и „фигуры мыслей“,—то о нихъ лучше всего совсѣмъ не упоминать. Кто изчислитъ всѣ обороты, всѣ формы одушевленной рѣчи? Развѣ риторы изчислили всѣ фигуры? Нѣтъ, ученіе о фигурахъ ведетъ только къ фразиствѣсти. Всѣ правила о фигурахъ совершенно произвольны, потому что выведены изъ частныхъ случаевъ. Что касается до главы „о слогахъ вообще“,—она должна состоять изъ опытныхъ наблюденій, изъ общихъ замѣчаній, и отнюдь не должна претендовать на научно-образное изложеніе. Чтобы приучить ученика владѣть фразою и не затрудняться въ выраженіи мысли,—всего менѣе нужна теорія и всего болѣе практика. Упражняйте его въ переложеніи стиховъ на прозу, а главное—въ переводахъ съ иностранныхъ языковъ. Это истинная и единственная школа стилистики. Борьба между духомъ двухъ различныхъ языковъ, сравненіе средствъ того и другаго для выраженія одной и той же мысли, всегдашнее усиліе найти на своемъ языкѣ фразу, вполне соответствующую фразѣ иностраннаго языка: это всего лучше развяжетъ перо ученика, и кромѣ того, всего лучше заставитъ его выкинуть въ духъ роднаго языка. Но эти такъ называемые источники изобрѣтенія, эти тропики, эти общія мѣста (*lieux communs*), которыми риторика гордится какъ своимъ истиннымъ и главнымъ содержаніемъ, — все это рѣшительно пустяки, и пустяки вредные, губительные. Мальчику задаютъ сочиненіе на какую-нибудь описательную, а чаще всего отвлеченную тему: велѣтъ ему или описать весну, зиму, восходъ солнца, или доказать, что лѣньность есть мать пороковъ, что порокъ всегда наказывается, а добродѣтель всегда торжеству-

еть; Боже великій, какое варварство! Мальчикъ сочиняетъ! Мальчикъ — сочинитель! Да, знаете ли вы, господа риторы, что, мальчикъ, который сочиняетъ, почти то же, что мальчикъ, который курить, волочится за женщинами, пьетъ водку?... Во всѣхъ этихъ четырехъ случаяхъ равно губительно упреждается природа искусственнымъ развитіемъ, и мальчишка играетъ роль взрослога человѣка. Гдѣ ему разсуждать о природѣ, когда все прелесть, все блаженство его возраста въ томъ и состоитъ, что онъ любитъ природу, не зная какъ и за что? А вы заставляете его находить причины его любви къ природѣ и анализировать это чувство. Мальчикъ любитъ своихъ товарищей, съ нѣкоторыми изъ нихъ друженъ — почему? — по простой симпатіи, которая влечетъ человѣка къ человѣку, соединяетъ возрастъ съ возрастомъ, — а вы заставляете его насильно увѣряться, что это происходитъ въ немъ то оттого, то отъ другаго, то отъ нужды въ помощи ближняго, то отъ пользы общаго труда! Что изъ этого выходитъ? — мальчикъ былъ добрый шалунъ, который любилъ своихъ товарищей просто за то, что ему съ ними было весело, — этого мальчикъ, искусившійся въ риторикѣ, начинаетъ раздѣлять свое чувство на простое знакомство, на пріязнь и дружбу; дружбы у него является нѣсколько родовъ, и онъ уже по рецептамъ начинаетъ направлять свое расположеніе къ ближнимъ, и его чувство дѣлается искусственно, ложно. Изъ живаго, здороваго полнотою чувства ребенка, дѣлается рефлектёръ, резонёръ, умникъ, и чѣмъ лучше онъ говоритъ о чувствахъ, тѣмъ бѣднѣе онъ чувствами, — чѣмъ умнѣе онъ на словахъ, тѣмъ пустѣе онъ внутренно. Отъ дружбы недалеко любовь, — и вотъ прежде, чѣмъ пробудилась въ немъ неопредѣленная потребность этого чувства, онъ уже знаетъ любовь въ теоріи, говоритъ объ измѣнѣ, ревности и кровавомъ мщеніи. Онъ влюбляется не по невольному влеченію, а по выбору, по рефлек-



сіи, и описываетъ, анализируетъ свое чувство или въ письмѣ къ другу, или въ своемъ дневникѣ, или въ стишонкахъ, которые онъ давно уже кропаетъ. Результатъ всего этого тотъ, что въ мальчишкѣ не остается ничего истиннаго, что онъ весь ложенъ, что непосредственное чувство у него замѣнено прихотью мысли. Прежде, нежели почувствуетъ онъ что-нибудь, онъ назоветъ это, опредѣлитъ. Онъ не живетъ, а разсуждаетъ. И вотъ онъ уже не мальчишка, ему уже двадцать лѣтъ, — и въ этотъ-то счастливый возрастъ полноты жизни, онъ старикъ: на все смотритъ съ презрѣніемъ, съ иронією; онъ все испыталъ, все узналъ; для него нѣтъ счастья — осталось одно разочарованіе, однѣ погибшія надежды, его настоящее скучно, будущее мрачно. Вотъ оно — нравственное растлѣніе, вотъ оно — развращеніе души и сердца! Конечно, много причинъ такому явленію, и смѣшно было бы всю вину взвалить на риторику; но ясно и неопровержимо, что риторика — одна изъ главныхъ причинъ такого грустнаго явленія. Мальчику задають тѣму: „порокъ наказывается, добродѣтель торжествуетъ“. Сочиненіе, въ формѣ хриіи или разсужденія, должно быть представлено черезъ три дня, а иногда и завтра. Чтò можетъ знать мальчикъ о порокахъ или добродѣтеляхъ? для него это — отвлеченныя и неопредѣленныя понятія; въ его умѣ нѣтъ никакого представленія о порокахъ и добродѣтеляхъ: чтò же напишетъ онъ о нихъ? не безпокойтесь — риторика выручитъ его: она дастъ ему волшебные вопросы: кто, что, гдѣ, когда, какъ, почему и т. п., вопросы, на которые ему стòитъ только отвѣчать, чтобъ по всѣмъ правиламъ науки молотъ вздоръ о томъ, чего онъ не знаетъ. Риторика научитъ его брать доводы и доказательства отъ причины, отъ противнаго, отъ подобія, отъ примѣра, отъ свидѣтельства, а потомъ вывести заключеніе. Удивительная школа фразѣрства! Ясно, что „риторика есть наука красно писать обо всемъ, чего не знаешь, чего не

чувствуешь, чего не понимаешь“. Удивительная наука? заки она дѣлаетъ краснобаемъ, дурака — мыслителемъ, нѣмага—ораторомъ. И потому когда прочтутъ драму, въ которой оболгано сердце человѣческое, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ романъ, въ которомъ оболгана изображаемая въ немъ дѣйствительность, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ пустозвонное стихотвореніе безъ чувства и мысли, говорятъ: риторика! Когда услышатъ взяточника, разсуждающаго о благонамѣренности, лицемеръ, разсуждающаго о развращеніи нравовъ, говорятъ: риторика! Словомъ, все ложное, пошлое, всякую форму безъ содержанія, все это называютъ риторикой! Учтите же, милые дѣти, риторикѣ: хорошая наука!

Всякая наука должна имѣть опредѣленное, только ей одной принадлежащее содержаніе; она не должна соединять въ себѣ нѣсколькихъ наукъ вдругъ. Такъ какъ наука есть органическое построеніе идеальной сущности предмета, составляющаго ея содержаніе,—то въ ней все должно выходить и развиваться изъ одной мысли, а эта мысль должна быть вполне схвачена ея опредѣленіемъ. Г. Кошанскій даже не позаботился опредѣлить, что такое риторика и какое ея содержаніе. Онъ начинаетъ съ того, что ничто столько не отличаетъ человѣка отъ прочихъ животныхъ, какъ „сила ума“ и „даръ слова“. До сихъ поръ мы думали, что человѣка отличаетъ отъ животныхъ разумъ, а не сила ума. По опредѣленію г. Кошанскаго выходитъ, что и у животныхъ есть умъ, только не столь сильный, какъ у человѣка. Сила ума по мнѣнію г. Кошанскаго, открывается въ понятіяхъ, сужденіяхъ и умозаключеніяхъ, составляющихъ предметъ логики. Даръ слова заключается въ прекраснѣйшей способности выражать чувствованія и мысли, что составляетъ предметъ словесности; а словесность заключается въ себѣ грамматику, риторику и поэзію (поэзія—наука!) и граничитъ съ эстетикою. Потому,

грамматика занимается у г. Кошанскаго словами; риторика — преимущественно мыслями (которыми недавно занималась у него логика); поэзія — чувствованіями (стало-быть, въ поэзіи нѣтъ мыслей!); въ эстетикѣ хранятся (словно въ архивѣ!) мечтательныя начала не только словесныхъ наукъ (грамматики, риторики и поэзіи?...), но и всѣхъ искусствъ изящныхъ...

Скучно говорить о такихъ странностяхъ... виноваты — о такой риторикѣ, т. е. о такомъ наборѣ словъ, лишенныхъ всякаго содержанія, всякаго значенія, всякаго смысла. „Риторика“ г. Кошанскаго, какъ и всѣ риторики, говорятъ и о родахъ прозаическихъ сочиненій, учить: какъ писать исторію, какъ писать ученые трактаты, какъ описывать то или другое, какъ писать письма... Чтò за нелѣзность! Да развѣ всему этому выучиваются? Это все равно, что учить (по книгѣ), какъ вести себя на похоронахъ, и какъ держать себя на свадьбѣ, какъ обращаться на балу, и какъ разговаривать на званомъ обѣдѣ. Дайте молодому человѣку прочесть нѣсколько хорошихъ историческихъ сочиненій, познакомьте съ хорошими авторами, между сочиненіями которыхъ есть и описанія, и разсужденія, и письма, и разговоры, — и онъ сейчасъ пойметъ, какъ чтò пишется. Но вы непременно хотите искажать естественное развитіе, хотите знакомить умъ дѣтей съ предметами, которые не поражали ихъ чувства, — и удивляетесь, что изъ вашихъ учениковъ выходятъ автоматы, которые отлично хорошо знаютъ какъ чтò пишется, а сами не умѣютъ ничего написать и не въ состояніи понять и оцѣнить написаннаго другими. Г. Кошанскій, по обычаю всѣхъ риторовъ, отъ Василія Кирилловича Тредьяковскаго, профессора элоквенціи, до риторовъ нашего времени, раздѣляетъ слогъ на высокій, средній и низкій, и обстоятельно объясняетъ, какія сочиненія какимъ слогомъ пишутся. Г. Кошанскій забылъ глубокомысленное выраженіе

Бюффонна: „въ слогѣ весь человекъ“, — забылъ, что, кромѣ небывалыхъ высокаго, средняго и низкаго слоговъ, есть еще неизчислимое множество дѣйствительно существующихъ слоговъ: есть слогъ Ломоносова, есть слогъ Державина, слогъ Фонъ-Визина, Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоѣдова и проч. Онъ забылъ, что слоговъ не три, а столько, сколько, было и есть на свѣтѣ даровитыхъ писателей.

И потомъ: что за пустая манера раздѣлять сочиненія на роды по внѣшней формѣ, и опредѣлять, какому роду сочиненій какой приличенъ слогъ? Вы были свидѣтелемъ наводненія, разрушившаго городъ: въ вашей волѣ описать его въ формѣ письма, или въ формѣ простаго разказа. Слогъ вашего описанія будетъ зависѣть отъ характера впечатлѣнія, которое произвело на васъ это событіе. Какъ можно сказать, какимъ слогомъ должно вамъ написать письмо къ вашему брату о смерти вашего отца? Въ наставленіе о писаніи разсужденій г. Кошанскій ввелъ логику: жаль что не включилъ онъ въ свою риторику ни географіи, ни минералогіи!... Что за нелѣпости ишшутся подъ именемъ „риторикъ“!

Всякая риторика есть наука вздорная, пустая, вредная, педантская, остатокъ варварскихъ схоластическихъ временъ; всѣ риторики, сколько мы ни знаемъ ихъ на русскомъ языкѣ, нелѣпы и пошлы; но риторика г. Кошанскаго перещеголяла ихъ всѣхъ. И эта книга выходитъ уже девятымъ изданіемъ! Сколько же невиннаго народа губила она собою!

**БОРОДИНСКОЕ ЯДРО И БЕРЕЗИНСКАЯ ПЕРЕПРАВА.** *Историческій романъ.—ЛЮБОВЬ ТАНЦОВЩИЦЫ ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦІЯ ЛОДОНСКИ ПРИ НАПОЛЕОНѢ. Повесть. Спб. 1844.*

**БОРОДИНСКОЕ ЯДРО И БЕРЕЗИНСКАЯ ПЕРЕПРАВА.** *Полу-историческій романъ въ двухъ частяхъ. Сочиненіе Р. Зотова.*

Первое изъ этихъ двухъ заглавій мы списали съ обертки книги; второе съ ея заглавнаго листка. Не знаемъ, которое изъ нихъ лучше; думаемъ, что оба хороши. Но сама книга еще лучше. Чего въ ней нѣтъ? И необыкновенныя происшествія, и патетическія сцены, и юморъ, и исторія, и риторика! Особенно, много риторики! Видно, что почтенный сочинитель разныхъ „чертъ изъ жизни“ въ свое время прилежно учился риторикѣ; самую естественную черту обыкновенной жизни онъ умѣетъ сдѣлать неестественною: такъ ужь, видно, отражается въ немъ дѣйствительный міръ! Много романовъ написалъ г. Р. Зотовъ, и всѣ они нашли себѣ свой кругъ читателей, вмѣстѣ съ романами гг. Воскресенскаго и Фелота Кузьмичева. Чтò жь—доброе дѣло! Надо же и этому кругу читателей имѣть свою бібліотеку. Принадлежа советѣмъ не къ тому кругу „публики“, для котораго трудится такъ усердно и съ такою ревностію г. Р. Зотовъ, мы не въ состояніи разобрать несравненныхъ „чертъ“ его романовъ. „Бородинскаго Ядра“ мы даже никакъ не могли осилить чтеніемъ; напряжемъ вниманіе, прочтемъ страницу, но лишь пріймемся за другую, какъ и забудемъ, чтò прочли въ первой. Не полагаясь на свой вкусъ, мы давали читать романъ г. Р. Зотова одному изъ людей, принадлежащихъ къ тому кругу, въ которомъ г. Р. Зотовъ увѣнчался такимъ блестящимъ успѣхомъ, — и чтò жь? Говорить: „Какая хорошая книжка; нѣтъ ли у васъ еще такой? почиталъ бы...“ Видно, новый историческій... или, нѣтъ, полу-историческій романъ г. Р. Зотова хорошъ, подумали мы, если свои хвалятъ его. Тѣмъ лучше для него, а наше дѣло—сторона!

Бѣда для насъ эта литература, исключительно посвященная „извѣстному“ классу читателей: мы въ ней ничего не понимаемъ, а между тѣмъ должны каждый мѣсяцъ говорить о ней. Но что сказать, напр., о листкахъ г. Машкова, которые безпрестанно появляются то подъ разными замысловатыми названіями, то вовсе безъ названій? Вотъ теперь передъ нами лежитъ листокъ безъ всякаго общаго заглавія. Онъ начинается статью: „Свѣтская Ариметика“, за которою слѣдуетъ лубочная картинка, съ видомъ города Іерусалима; далѣе, статья: „Бой-Баба“; еще далѣе, два суздальскіе политипажа, мелкія статьи и двѣ шарады, въ родѣ тѣхъ, которыя у Французовъ называются „gebus“. Всѣ статьи этого страннаго изданія отличаются юмористическимъ направленіемъ такого рода:

«Отдается квартира со столомъ, безъ кушанья, со службами, безъ слугъ, со всеми удобствами безъ удобнаго размѣщенія, съ садомъ, въ которомъ не позволено курить табакъ, рвать цвѣтовъ, топтать траву и ходить съ собаками. Наконецъ, съ большимъ дворомъ, съ котораго прогонять въ шею при первомъ неисправномъ платежѣ впередъ денегъ.»

По нашему мнѣнію, все это очень плоско и пошло; но можетъ-быть, тѣ, для которыхъ это пишется, находятъ это очень остроумнымъ. Въ такомъ случаѣ, подобныя сочиненія очень полезны: пусть народъ хоть что -нибудь читаетъ, лишь - бы не пилъ...

---

РАЗГОВОРЪ. *Стихотвореніе Ив. Тургенева (Т. Л.). Спб. 1845.*

Имя г. Тургенева, автора „Параши“, еще ново въ нашей литературѣ; однакожь уже замѣчено не только избранными цѣнителями искусства, но и публикою. Только истинный, неподдѣльный талантъ могъ быть причиною такого быстраго

и прочнаго успѣха. И дѣйствительно, г. Тургеневъ — поэтъ въ истинномъ и современномъ значеніи этого слова. Его муза не общаетъ намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой, великой школы искусства;

Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ  
Ея лица *необычными* выраженіемъ.

Произведенія г. Тургенева рѣзко отдѣляются отъ произведеній другихъ русскихъ поэтовъ въ настоящее время. Крѣпкій, энергическій и простой стихъ, выработанный въ школѣ Лермонтова, и въ то же время стихъ роскошный и поэтический, составляетъ не единственное достоинство произведеній г. Тургенева: въ нихъ всегда есть мысль, ознаменованная печатью дѣйствительности и современности, и, какъ мысль даровитой природы, всегда оригинальная. Поэтому, отъ г. Тургенева многого можно ожидать въ будущемъ. Повторяемъ: это не изъ тѣхъ самобытныхъ и гениальныхъ талантовъ, которые, подобно Пушкину и Лермонтову, дѣлаются властителями думъ своего времени и даютъ эпохѣ новое направленіе; но въ его талантѣ есть свой элементъ, своя часть той самобытности, оригинальности, которая, завися отъ природы, выводитъ талантъ изъ ряда обыкновенныхъ, и благодаря которой онъ будетъ имѣть свое вліяніе на современную ему литературу. Русская поэзія уже до того выработалась и развилась, что теперь почти невозможно пріобрѣсти на этомъ поприщѣ извѣстность, не имѣя болѣе или менѣе самостоятельнаго таланта, — и, въ то же время, почти невозможно истинному таланту не сдѣлаться извѣстнымъ въ самое короткое время. Вотъ почему „Параша“, — это произведеніе, запечатлѣнное всею свѣжестью, всею яркостью и страстностью, и вмѣстѣ съ тѣмъ всею неопредѣленностью перваго опыта, — обратила на себя общее вниманіе тотчасъ по своемъ появленіи, и удостоилась не только похвалы однихъ, но и брани другихъ журналовъ, — брани, въ коте-

рой высказалась, подъ плоскими и неудачными остротами, худо скрытая досада... Теперь передъ нами вторая поэма г. Тургенева. Сравнивая „Разговоръ“ съ „Парашею“, нельзя не видѣть, что въ первомъ поэтъ сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ „Парашѣ“ мысль похожа болѣе на намекъ, нежели на мысль, потому что поэтъ не могъ вполне совладать съ нею; въ „Разговорѣ“, основная мысль съ выпуклою и яркою опредѣленностью представляется уму читателя. И между тѣмъ, эта мысль не высказана никакою сентенціею: она вся въ изложеніи содержанія, вся въ звучномъ, крѣпкомъ, сжатомъ и поэтическомъ стихѣ. Содержаніе поэмы просто до того, что рецензенту нечего и пересказывать. Это — разговоръ между старымъ отшельникомъ, который и на краю могилы все еще живетъ воспоминаніемъ о своей прошлой жизни, такъ полно, такъ могущественно прожитой, — и молодымъ человекомъ, который вездѣ и во всемъ ищетъ жизни и нигдѣ, ни въ чемъ не находитъ ея, отравляемый, мучимый какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ внутренней пустоты, тайнаго недовольства собою и жизнью.

Пусть читатели сами прослѣдятъ, въ цѣлой поэмѣ, ея основную мысль: мы не считаемъ себя вправе отнимать у нихъ этого удовольствія выписками. Скажемъ только, что всякій, кто живетъ и, слѣдовательно, чувствуетъ себя постигнутымъ болѣзнію нашего вѣка — апатіею чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли, — всякій съ глубокимъ вниманіемъ прочтетъ прекрасный, поэтический „Разговоръ“ г. Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается...



**НАСТАВНИКЪ РУССКОЙ ГРАМАТЪ, или руководство къ обученію малолѣтнихъ дѣтей, въ самомъ скоромъ времени, чтенію правильному и свободному. Изданіе второе. Спб. 1845.**

Эта сѣренькая книжка съ такимъ изысканнымъ заглавіемъ посвящается отъ сочинителя „добрымъ родителямъ“; слѣдовательно, дурные, или злые родители не могутъ и покупать ее. Намъ даже сдается, что чуть-ли сочинитель не разумѣлъ подъ „добрыми родителями“ только тѣхъ родителей, которые будутъ покупать его издѣліе. И онъ не ошибся: всякій, кто купитъ эту книжонку, вполне заслужитъ имя не только добраго родителя, но и добраго человѣка, который по-французски называется *bon homme*. Сколько штукмейстерства въ этой книжонкѣ! Во первыхъ, она украшена эпитафией изъ Квинтиліана: „Всегда преимущественнѣе должно стараться о томъ, чтобъ труды наставниковъ были для дѣтей понятны“. Какая глубокая мысль! какая премудрая истина! сколько надо учености, чтобъ такъ некстати выудить изъ огромной книги такой замысловатый и такъ безграмотно переведенный эпитафій! Прилагательное „преимущественнѣе“, поставленное въ сравнительной степени, заставляетъ читателя думать, что онъ прочелъ только одну часть эпитафій, за которою должна слѣдовать другая, начинающаяся нарѣчіемъ *нежели*; но этой другой не имѣется. Во вторыхъ, книжонка, какъ мы уже сказали, посвящаетъ себя „добрымъ родителямъ“, посвященіе, безъ котораго легко бы могла обойтись книга, уважающая сама себя и не желающая шарлатанить; въ третьихъ, она назвала себя не просто азбукою, а наставникомъ (*vs*) Русской Граматѣ. Въ четвертыхъ, она снабжена прекурёзнымъ предисловіемъ, которое общаетъ чудеса добрымъ родителямъ, чтобъ побудить ихъ поскорѣе заплатить за нее сочинителю два рубля (серебромъ,

или ассигнаціями—на оберткѣ книжонки не означено). Въ пятыхъ, она съ избыткомъ начинена разнаго рода безграмотностью. Въ шестыхъ, къ ней приложены первые четыре правила арифметики, составленные, въ вопросахъ и отвѣтахъ, по руководству Меморскаго. Въ седьмыхъ, къ ней приложенъ листъ съ рукописными буквами и изображеніемъ руки, которая держитъ перо. . . Предисловіе лучше всего. Изъ него мы узнаёмъ, что, при посредствѣ „Наставника русской граммати“, „можно, въ самое короткое время, выучить читать по-Р(р)усски ро(е)бенка даже по пятому или шестому году, не утомляя, такъ сказать, слабыхъ его способностей“, и что „въ этомъ-то именно и состоитъ существенная выгода этой К(к)нижки. Система, принятая мною въ оной“ (говоритъ сочинитель) „есть самая простая и натуральная; (,) а именно — это система музыкальности (?!?!..)“. Вотъ до чего дошли мы съ итальянскою оперою: теперь безъ музыки нельзя и букваря выучить!—А вотъ въ чемъ состоятъ элементы музыкальной системы „простаго Б(у)кваря сего“: выписавъ, въ порядкѣ, буквы заглавные или прописные, сочинитель рекомендуетъ „добрымъ родителямъ“ замѣтить ро(е)бенку, что буква ъ выговаривается какъ *e*, э обратное тоже какъ *e*, а е какъ *ф*. По истинѣ музыкально! Что буква ъ часто выговаривается какъ *e*, это такъ; но слѣдовало бы замѣтить, что буква *e* часто выговаривается какъ *ё*, тогда какъ ъ почти никогда не выговаривается какъ *ё*. Потому съ чего сочинитель взялъ, что э выговаривается какъ *e*? Странное дѣло: не знать русскаго букваря—и выдавать себя за наставника русской грамоты, да еще по элементамъ музыкальной системы! Но далѣе: выписавъ буквы строчныя, сочинитель дѣлаетъ примѣчаніе, въ которомъ переважно толкуетъ, что-де надо объяснить ро(е)бенку, „что такое суть буквы З(з)аглавныя и буквы С(с)трочныя“, что первыя пишутся послѣ точки и т. д. Скажите: за чѣмъ все это въ букварѣ—развѣ

для музыкальности? Правописание составляет часть грамматики, а совѣсь не букваря. Вы взялись выучить читать въ самое короткое время: такъ и держитесь своего обѣщанія, а толковать о грамматикѣ пятилѣтнему или шестилѣтнему ребенку не ваше дѣло. И что вы будете отвѣчать ребенку или, по вашему ребенку, если онъ спроситъ, что такое точка, что такое буква и т. д.? Но нашего сочинителя не запугаете никакими препятствіями; у него противъ всякаго случая взяты свои шѣры. Онъ говоритъ: „если жь ро(е)бенокъ, одаренный любопытствомъ слишкомъ раздражительнымъ, пожелалъ бы знать, отчего послѣ точки и во многихъ словахъ, какъ-то: Богъ, Царь, и проч., пишутся буквы Э(з)аглавныя, — въ такомъ случаѣ, вы можете просто и рѣшительно сказать ему: „послѣ узнаешь“. Истинно музыкальная система! И вся-то книжонка эта набита рѣшительно не относящимися къ букварю разглагольствіями, въ которыхъ, если ребенокъ потребуетъ объясненія, ему нечего больше сказать, какъ „послѣ узнаешь“! По этому букварю никакъ нельзя выучить ребенка читать ни минутою скорѣе противъ всѣхъ букварей, которые продаются на ларяхъ Толкучаго Рынка. Кто же сочинитель этой нелѣпости? На заглавномъ листкѣ не выставлено его имени, подъ предисловіемъ подписано: сочинитель; но, взглянувъ нечаянно на обертку, мы прочли слѣдующія строки: Изданныя мною книги можно получать и пр.“ Какія же это книги? — А вотъ какія: 1) „Новыя дѣтскія поздравленія, въ стихахъ, съ праздниками. Подарокъ дѣтямъ и родителямъ къ наступающему 1839 году на дни рожденія, именинъ, Рождество Христово, новый годъ, и Свѣтлое Воскресеніе“; 2) „Прогулка по Россіи“; 3) „Прогулка по Земному Шару“... А! вотъ оно — въ чемъ дѣло! Сочинитель „Наставника Русской Грамматикѣ“ не кто иной, стало-быть, какъ извѣстный въ Петербургѣ составитель разныхъ книгъ и изданій, г. Бурнашевъ (онъ

же и г. Бурьяновъ),— тотъ самый г. Бурнашевъ, который наполняетъ газету „Экономъ“ статьями, переписанными имъ изъ разныхъ старыхъ и новыхъ изданій; тотъ самый г. Бурнашевъ, который издалъ „Прогулку по Россіи“ и „Прогулку по Земному Шару“; издалъ „Терминологическій Словарь по части сельскаго хозяйства, ремеслъ и пр.“, издалъ „Руководство къ роговому издѣлю“, изъ котораго нельзя научиться никакому издѣлю, и наконецъ, издаетъ „Воскресныя Посидѣлки для добраго народа русскаго“, въ которыхъ нѣтъ грамотности... Напрасно г. Бурнашевъ не выставилъ своего имени на заглавномъ листкѣ „Наставника Русской Граматъ“: тогда мы не стали бы много тратить словъ объ этой книжонкѣ...

**ЛЕДИ И АННА (,) или СИРОТА.** *Дѣтская повесть. Съ Англійскаго. Съ картинами рисовак. Р. Жуковскимъ. Спб. 1845.*

**ЧТЕНІЕ ДЛЯ ДѢТЕЙ ПЕРВАГО ВОЗРАСТА.** *Сочиненіе Александры Ишимовой. Спб. 1845.*

**ДѢТСКІЯ КОМЕДИИ, НОВѢСТИ И БЫЛИ.** *Собранныя П. Ф. Спб. 1844.*

**ДѢТСКІЙ ТЕАТРЪ.** *Два комедіи. 1. Волшебница. 2. Никитянка. Соч. Елиз..... Клев..... Спб. 1845.*

**НОВѢСТИ И СКАЗКИ, для дѣтей.** *Подарокъ къ празднику. Съ 12-тью картинами. Спб. 1845.*

**ДѢТСКОЕ ЗЕРКАЛО.** *Правоучительная книжка для дѣтей перваго возраста. (Съ 18-тью картинами). Изданіе второе, Спб. 1846.*

„О дѣти! дѣти! какъ опасны ваши лѣта!“ Вы такъ слабы физически, такъ слабы нравственно! Сколько у васъ враговъ и явныхъ и тайныхъ! Вамъ угрожаютъ прорѣзывающіеся у васъ зубы, оспа, корь, скарлатина, крупись: это ваши враги явные.

А сколько у васъ такихъ враговъ, которые отъ искренняго сердца считаютъ себя вашими друзьями: дражайшіе родители, милыя тетеньки, нѣжныя бабушки, кормилицы, нянюшки, учителя, учебныя книги и, наконецъ, эти маленькія книжки съ картинками, которыя издаются для васъ подъ общимъ названіемъ „дѣтскихъ“ книгъ. Охъ, эти мнѣ дѣтскія книги! Если у меня будутъ дѣти, и я сдѣлаюсь „дражайшимъ родителемъ“, не буду совѣмъ учить моихъ дѣтей грамотѣ, для того, чтобъ избавить ихъ отъ грамматики и риторики г. Греча, отъ риторики г. Кошанскаго, логики г. Рождественскаго, курса русской словесности г. Пласкина и потомъ разныхъ „дѣтскихъ“ книгъ съ картинками и безъ оныхъ. Пуще всего сохрани Богъ моихъ дѣтей отъ дѣтскихъ романовъ въ родѣ „Семейства“ Фредерики Бремеръ, и дѣтскихъ повѣстей, драмъ и былей въ родѣ тѣхъ, которыя у васъ безпрестанно издаются. Чему научать все эти книжки моихъ дѣтей? Любить добродѣтель? Сохрани Боже! Съ этою любовью мои дѣти непременно будутъ нищими... Любить правду? Еще хуже! Нѣтъ, благосклонный читатель! вы можете воспитывать своихъ дѣтей какъ вамъ угодно, учить ихъ какимъ угодно наукамъ, добродѣтелямъ и правдамъ; а я — я буду учить ихъ прежде всего заслуживать себѣ хорошую репутацію и умѣть быть со всеми въ ладу; что они изъ колыбели, я уже буду ихъ посылать къ родственникамъ (которые побогачеи съ вѣсомъ) съ поздравленіемъ въ новый годъ, во все праздники, въ именины, въ день рожденія и т. д. Хоть у меня еще и нѣтъ дѣтей, но я человѣкъ предусмотрительный: я уже купилъ книжку г. Бурнашева: „Новыя дѣтскія поздравленія, въ стихахъ съ праздниками. Подарокъ дѣтямъ къ наступающему новому 1839 году на дни рожденія, именинъ, Рождества Христова, новый годъ и свѣтлое воскресенье“. Превосходная книжка! драгоценная книжка! Хоть мои дѣти и не будутъ ее читать (такъ какъ я рѣшился не учить ихъ грамотѣ), но я самъ

выучу ее наизусть, а они выучат ее наизусть съ моихъ словъ. Равнымъ образомъ, я купилъ новое изданіе „Учебной Книги Русской Словесности“ г-на Греча и выписалъ изъ нея глубокомысленныя, практическою мудростью запечатлѣныя правила, какъ должно писать письма къ вышшимъ себя, равнымъ и низшимъ, и какъ должно подъ ними подписываться. Больше никакихъ книгъ не узнаютъ мои дѣти! Книги, особенно дѣтскія, увѣрили бы ихъ, что добродѣтель — главное дѣло въ жизни, что больше всего надо любить правду, что добродѣтель всегда награждается, а порокъ всегда наказывается: и каково было бы моимъ дѣтямъ, когда бы они, вышедъ изъ моего дома на дорогу жизни, вдругъ увидѣли бы, что въ свѣтѣ все дѣлается рѣшительно наоборотъ тому, какъ рассказываютъ дѣтскія книжки!... Нѣтъ! что ихъ обманывать заранѣе? зачѣмъ учить тому, чему имъ послѣ надо будетъ разучиваться? Я буду учить ихъ—но не наукамъ, не правиламъ нравственности: человекъ добросовѣстный, не лицемеръ, не лжець, я буду учить ихъ играть въ преферансъ и не менѣе важному искусству нравиться людямъ. Я заранѣе убью въ нихъ самую самообытность; добродѣтелю ихъ съ раннихъ лѣтъ будутъ: скромность, аккуратность, бережливость, учтивость, ласковость, веселый видъ, даже когда ихъ бьютъ и унижаютъ... Да, не узнаютъ они никогда, что такое „дѣтскія книги“, никогда не прочтутъ они „Леди Анны“... Бѣдная леди Анна! Сколько она вытерпѣла: ее ругали, били, морили голодомъ, холодомъ, за то, что она была кротка, послушна, терпѣлива, прілежна, за то, что она не хотѣла обворовывать своихъ благодѣтелей: все точь въ точь, какъ это бываетъ въ жизни! Но она осталась тверда въ добродѣтели, но она нашла своего отца, сдѣлалась богата, знатна, счастлива: точь въ точь какъ бываетъ это... въ дѣтскихъ книгахъ!... А что за предѣль—„Чтеніе для дѣтей перваго возраста“ г-жи

Ишимовой! Какія правила, какая чистѣйшая нравственность, сколько наставленій, и какими разительными примѣрами, взятыми изъ міра... дѣтскихъ книгъ, подкрѣплено все это!... „Леди Анна“—романъ, не лишенный занимательности, безъ сентенцій; книжка г-жи Ишимовой, напротивъ, вся наполнена сентенціями, и дѣти могутъ легко набраться изъ нея мудрости на всю свою жизнь, хотя бъ имъ суждены были мѣсяцеловы лѣта. „Леди Анна“ переведена порядочно, издана недурно; книжка г-жи Ишимовой написана хорошимъ русскимъ языкомъ, и издана даже очень хорошо. О прочихъ книжкахъ, упомянутыхъ въ началѣ нашей статьи, мы скажемъ только, что о нихъ нечего сказать, — кромѣ послѣдней — „Дѣтскаго Зеркала“: это кривое и облупленное зеркало — перепечатка старой, перестарой и предрянной книжонки; издатель ея, г. Замкинъ, украсилъ ее картинками, весьма неизящными.

ТАЙНА ЖИЗНИ. Соч. П. Машкова. Спб. 1845.

Да здравствуетъ новый 1845 годъ! Ему нечего завидовать старому 1844 году! Если 1844 годъ имѣлъ полное право гордиться г. Брантомъ и его безподобнымъ романомъ „Жизнь какъ она есть“—1845 годъ имѣеть не меньше право гордиться г. Машковымъ и его восхитительнымъ романомъ „Тайна Жизни“. Да здравствуетъ жизнь! Благодаря двумъ этимъ гениальнымъ сочинителямъ, мы теперь овладѣли жизнью, знаемъ ее вдоль и поперекъ, знаемъ ее и какъ она есть, знаемъ и тайну ея... Послѣ этого, намъ ничего не стоить сказать, что такое эта жизнь, надъ назначеніемъ которой столько мыслителей, столько поэтовъ, столько тысячелѣтій напрасно ломали себѣ голову. Жизнь — это... это... да это просто на просто плохой романъ бездарнаго писака... Самая претая

вещь, какъ видите; а вы думали, что это и не вѣсть что такое, чудеса подозревали!

«Въ одной изъ южныхъ губерній Россіи роскошно разстилается огромное помѣстье, принадлежащее князю Громславскому. — Князь Громславскій былъ одинъ (одинъ?) изъ числа тѣхъ надменныхъ гордецовъ, которые, подобно ракетѣ, стремятся, возвыситься, и, хотя на одно мгновеніе, поразить взоры зрителей». — «Рѣдко можно встрѣтить столь прекрасное мѣстоположеніе, которымъ пользуется помѣстье князя: природа и искусство, на жетая, вырываютъ тамъ другъ у друга лавръ первенства». — «Въ особенности восточная сторона помѣстья, *обрисованная горами*, представляетъ самую живописную картину, *достойную кисти гения*. Горные уступы, *облокотившіеся* одинъ на другой, какъ *мшиныя руины вавилонскаго столпотворенія*, погружаютъ зрителя въ невольную задумчивость. Смотри на нихъ, взоры поражаются чѣмъ-то *грозо-прекраснымъ*. Окресные жители не напрасно назвали ихъ солнечными горами. Изъ-за нихъ солнце величественно вынымаетъ на *воздушный океанъ*, оживляетъ дуга и долины. Въ эти утреннія минуты ни что не можетъ сравниться съ красотой *силъ исполиновъ природы*. Чтобы видѣть столь очаровательное зрѣлище, надобно прійти въ подножію горъ въ то время, когда утренная звѣзда начинается блѣднѣть на *бирюзовомъ куполѣ вселенной*; тогда *матическій сонъ лелаетъ* еще, *въ свѣтѣ облатіяхъ*, темныя роши, и *таинственное молчаніе благодостаетъ мечты лобемъ и поземъ*. Вотъ минуты, въ которыя солнечныя горы, призываютъ поэта, и онъ, *облатый священнымъ благодостіемъ* ожидаетъ *чуднаго пробужденія міра*... Онъ смотритъ на горы, какъ на *трюбъ*, изъ котораго долженъ воскреснуть лучезарный *царь дня*, а съ нимъ и всеобщая жизнь, забота, радости и челоуѣческая суета.»

Но лучшимъ украшеніемъ этого очаровательнаго мѣстоположенія было Лидія, дочь князя: ее всѣ любили, и старыя и молодыя; а она не любила свѣтскихъ удовольствій, предпочитая имъ „роскошь дня и меланхолическую тишину ночей“; любила она еще музыку, литературу и все, что прилично любить героинѣ романа. За все за это ее полюбилъ отставной поручикъ Венедиктъ Пронскій, молодой, прекрасный собою мужчина, который превосходно игралъ на скрипкѣ и на фортепьяно, занимался литературою и слѣлалъ въ ней весьма большіе усѣхи, — хоть „прекрасныя плоды его воображенія“



никогда не являясь въ печати. Но довольно выписокъ: изъ нихъ и такъ видно, что герои романа г. Машкова такъ же пухлы, надуты, бездѣльны, безобразны какъ и его слогъ. Рассказывать содержаніе романа мы не будемъ: это путаница самыхъ неестественныхъ, невозможныхъ и нелѣпыхъ приключеній, которыя оканчиваются кроваво. Поговоримъ лучше о слогѣ г. Машкова, образцы котораго мы представили читателямъ; это слогъ особенный. Онъ напоминаетъ собою слогъ „Марѳы Посадницы“ Карамзина. Говоримъ это не для униженія знаменитаго имени: „Марѳа Посадница“ — произведеніе риторическое; но въ то время его могъ написать только человекъ съ талантомъ. Шиллеръ — великій гений; а „Разбойники“ его все-таки дѣтское произведеніе. Если мы будемъ ихъ разсматривать, какъ современное намъ произведеніе, они будутъ еще и смѣшнымъ и жалкимъ произведеніемъ; но если взглянете на него, какъ на произведеніе известной эпохи, — то не можете не признать въ немъ гениальнаго творенія, несмотря на всѣ его недостатки. Но о Шиллерѣ мы упоминаемъ только для объясненія нашей мысли; обратимся къ Карамзину. Велика его заслуга даже и въ повѣстяхъ, которыя теперь не болѣе, какъ интересные памятники такой эпохи литературы, которая навсегда, безвозвратно прошла, но безъ которой не далеко ушла бы и современная намъ литература. Теперь ничего не стоитъ писать слогомъ à la Карамзинъ, — хоть и мудрено писать карамзинскимъ слогомъ; но назадъ тому пятьдесятъ лѣтъ нуженъ былъ человекъ необыкновеннаго таланта, чтобъ создать и надолго утвердить такой слогъ въ русской литературѣ. Г. Машковъ въ то время, вѣроятно, не могъ бы писать слогомъ сколько-нибудь похожимъ на слогъ Карамзина. Послѣ Колумба легко не только поставить яйцо на носокъ, и открыть Америку. Послѣ Карамзина и г. Машкову и всякому легко писать слогомъ à la Карамзинъ; потому что

бездарность всегда живетъ заднимъ числомъ и, не понимая настоящаго, не предчувствуя будущаго, всегда только повторяетъ и передразниваетъ прошедшее...

**ОПЫТЪ НАУКИ ФИЛОСОФІИ. Сочиненіе Ѳ. Надежина. Спб. 1845.**

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ЛОГИКѢ (,) СЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМЪ ОЧЕРКОМЪ ПСИХОЛОГІИ. Сочиненіе Ореста Новицкаго. Кіевъ. 1844.**

Выше (стр. 10), по поводу „Руководства къ Познанію Теоретической Матеріальной Философіи“ г. Татарінова, мы говорили о бесплодности и ничтожности русскихъ книгъ по части философіи, какъ произведеній случайнаго и произвольнаго желанія между прочимъ и пофилософствовать на досугъ, неимѣющимъ ничего общаго съ философіею, которая въ Германіи существуетъ какъ наука, имѣющая свою исторію. „Опытъ Науки Философіи“ г. Надежина, къ сожалѣнію, не заставлялъ насъ измѣнить нашего мнѣнія о достоинствѣ русскихъ философскихъ сочиненій. Г. Надежинъ принадлежитъ къ числу тѣхъ лобродушныхъ философовъ, которые дупускаютъ въ философію два разныя начала—начало авторитета и начало свободно-разумнаго мышленія, не подозревая, что каждое изъ этихъ диаметрально противоположныхъ и враждебныхъ началъ только парализуетъ одно другое, нисколько не помогая другъ другу, и что заставляя ихъ нуждаться другъ въ другѣ — значить, признать ихъ оба равно ничтожными и безсильными. Послѣ этого, мы считаемъ себя въ правѣ больше ничего не говорить о книгѣ г. Надежина, которая можетъ быть замѣчательна только тѣмъ, что заключаетъ въ себѣ полный краткій курсъ

философіи, чего, кажется, прежде не было на русскомъ языкѣ. Что касается до „Руководства къ Логикѣ, съ предварительнымъ очеркомъ психологіи“ г. Новицкаго, — мы не думаемъ, чтобъ эта книга представляла науку въ ея современномъ состояніи, какъ говоритъ авторъ въ своемъ предисловіи. Психологія (феноменологія духа?) изложена немного поверхностно, а логика слишкомъ формально. Впрочемъ, это все-таки лучшее руководство на русскомъ языкѣ по части логики.

---

**БИОГРАФІЯ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ КАРАТЫГИНОЙ.** Соч. В. В. В. Спб. 1845.

Говорятъ и даже печатаютъ, будто первый трагическій актеръ Александринскаго театра, г. Каратыгинъ 1-й, есть въ то же время и первый актеръ въ Европѣ въ настоящую эпоху. Правда ли это—не знаемъ. Александринскій театръ составляетъ собою такую особенную сферу искусства, которой цѣнителями могутъ быть только люди, принадлежащіе къ образованной и исключительной публикѣ этого театра. Увы! мы лишены счастья принадлежать, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, къ этой публикѣ, и потому (торжественно сознаемся въ нашемъ невѣжествѣ!) ничего не понимаемъ, какъ скоро дѣло доходитъ до сравненія несравненныхъ артистовъ Александринскаго театра съ артистами Европы и съ артистами французской труппы Михайловскаго театра. Все, что мы знаемъ касательно артистовъ Александринскаго театра, ограничивается только тѣмъ, что г. Каратыгинъ 1-й дѣйствительно первый трагическій актеръ Александринскаго театра, и что онъ несравненно выше всѣхъ другихъ трагическихъ актеровъ того же театра; что на сценѣ Александринскаго театра есть весьма замѣча-

тельный комическій талантъ—г. Мартыновъ, и что публика Александринскаго театра осыпаетъ цвѣтами г-жу Левкѣву, которая танцуетъ польку. Говорятъ также (и печатаютъ тожь), будто бы г-жа Каратыгина теперь первая актриса въ Европѣ для такъ называемой „высокой“ комедіи. Правда ли это? — Опять не знаемъ, потому что не знаемъ, что такое высокая комедія, такъ же какъ не знаемъ, что такое низкая комедія. Мы знаемъ только изящную, художественную комедію, каковы: „Горе отъ Ума“, „Ревизоръ“, „Женитьба“, „Игроки“. Вообще, мы не знаемъ и не понимаемъ многого въ брошюркѣ г. В. В. В., написанной, впрочемъ, весьма краснорѣчиво и мѣстами даже трогательно. Такъ, напримѣръ, описана у него поѣздка г-жи Каратыгиной въ Парижъ, вмѣстѣ съ матерью:

«Путешествіе ихъ весьма любопытно. Двѣ *беззащитныя* женщины отправляются въ путь и берутъ съ собою слугу-иностранца. Черезъ нѣсколько дней открывается, что этотъ слуга—*ревностный* жрецъ Бахуса (мы бы сказали просто: пьяница), и его надо было бросить на дорогѣ, у корчмы. Дамы остаются одиѣ и прѣзжаютъ черезъ всю Германію и Францію, проводя ночи безъ сна, въ безпрерывномъ страхѣ отъ таможенныхъ досмотрщиковъ и почтовыхъ ящичковъ» (стр. 10).

Какъ хорошо описано: подумаешь, эти дамы ѣхали въ Австралію черезъ степи Средней Азіи! Вотъ истинно высокій слогъ! Что за перо, Боже мой, что за перо у г. В. В. В.! Зачѣмъ не дано намъ владѣть такимъ перомъ! Мы написали бы тогда полную исторію Александринскаго театра, и жизнь всѣхъ его артистовъ и драматурговъ... Но, видно, не всякому дается талантъ, а только избраннымъ! И г. В. В. В. есть по преимуществу „избранный“ исторіографъ Александринскаго театра. Мы увѣрены, что публика этого театра вполне оцѣнитъ талантъ г. В. В. В., такъ же, какъ она уже оцѣнила талантъ лучшихъ ея драматурговъ — г. Полевскаго и г. Григорьева 1-го... Жаль, что г. В. В. В. такъ мало пишетъ!

Вотъ такимъ бы людямъ... приговаривать писать, писать, писать!...

**ЯЩИКИ, или какъ гуляетъ староста Семень Ивановичъ. Русскій народный-водевиль въ одномъ дѣйстви. Соч. актера П. Григорьева 2. Спб. 1845.**

**ДРУЖЕСКАЯ ЛОТТЕРЕЯ СЪ УГОЩЕНІЕМЪ, или необыкновенное происшествіе въ уѣздномъ городѣ. Фарсъ-водевиль, въ двухъ отдѣленіяхъ. Соч. актера Н. Григорьева 2. Спб. 1845.**

Первый водевиль безъ просьбы пьантъ отъ первой строки до послѣдней; отъ него несетъ сивухую, и потому онъ—русскій и народный водевиль, какъ сказано въ заглавіи. Второй водевиль не пьантъ отъ первой строки до послѣдней; отъ него такъ и несетъ чепухую, и оттого онъ—фарсъ-водевиль. Въ русскомъ уѣздномъ городѣ, молодой человѣкъ разыгрываетъ себя въ лоттерейю женщинамъ: которой изъ нихъ достанется выигрышный билетъ, на той онъ и женился. Какъ это правдоподобно и умно! Очевидно, что первый водевиль написанъ для мужичества, второй—для лакейства...

**ПРОКОПІЙ ЛЯПУНОВЪ, или МЕЖДУЦАРСТВІЕ ВЪ РОССІИ, продолженіе Князя Скопина Шуйскаго. Сочиненіе того же автора. Спб. 1845. Четыре части.**

Почти десять лѣтъ прошло съ того времени, какъ появился въ свѣтъ романъ „Князь Скопинъ Шуйскій“, до настоящей минуты, когда появляется продолженіе этого романа: „Прокопій Ляпуновъ, или Междуцарствіе въ Россіи“. Десять лѣтъ—много времени, особенно для русской литературы—это почти

цѣлый вѣкъ для нея! Въ самомъ дѣлѣ, какой огромный шагъ впередъ сдѣлала наша литература! Какъ измѣнился вкусъ нашей публики въ продолженіи этихъ десяти лѣтъ! Книжемъ бѣглый взглядъ на тогдашнее состояніе русской литературы. Въ 1830 году явился „Юрій Милославскій“, въ 1831 — „Рославлевъ“, г. Загоскина; въ этомъ же году выходятъ двѣ первыя части „Новика“, въ 1832 — третья, въ 1833 — четвертая; въ 1835 году — „Ледяной Домъ“, г. Лажечникова. Въ эти же пять лѣтъ выходятъ романы: „Поѣздка въ Германію“, г. Греча, „Киргизь-Кайсакъ“, г. Ушакова, „Дочь Купца Жолובה“, quasi-Куперовскій сибирскій романъ г. Калашникова, „Клятва при Гробѣ Господнемъ“, г. Полеваго, „Семействѣ Холмскихъ“, „Монастырка“, Погорѣльскаго; г. Вельманъ открываетъ „Кощеемъ Безсмертнымъ“ длинный рядъ своихъ археологически-фантастически-аллегорически-повѣстическихъ романовъ; является „Аббадонна“, г. Полеваго; выходитъ вторая часть „Дворянскихъ Выборовъ“ и „Шельменко, волостной писарь“, „Быль и Небылицы“, казака Луганскаго; въ то же время выпускается полное изданіе повѣстей Марлинскаго; г. Погодинъ перестаетъ писать повѣсти и издаетъ вмѣстѣ всѣ написанныя прежде; г. Полевой пишетъ „Живописца“, „Блаженство Безумія“, „Эмму“. Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній были очень замѣчательны для своего времени, и даже въ слабѣйшихъ изъ нихъ, не исключая ни приторно-сентиментальнаго и скучно-резонѣрнаго „Семейства Холмскихъ“, ни ложно-идеальныхъ повѣстей г. Полеваго, есть свои хорошія стороны. Вообще, вся эта романтическая литература несетъ на себѣ отпечатокъ переходности и нерѣшительности; въ ней виднѣн порывъ къ чему то лучшему противъ прежняго, къ чему-то положительному, но только одинъ порывъ, безъ достиженія. Изъ этого не исключаются и „Повѣсти Бѣлкина“, Пушкина, изданныя въ это же время. Въ

то же время, среди всѣхъ этихъ, болѣе или менѣе однородныхъ явленій, возникала совершенно новая романтическая литература, которая не имѣла ничего общаго съ первой и въ послѣдствіи окончателно убила ее, давъ своей русской литературѣ совершенно новое направленіе. Въ 1831 году вышла первая, а въ 1832 году вторая часть „Вечеровъ на Хутерѣ близъ Диканьки“; въ 1835 г. напечатаны „Арабески“ и „Миргородъ“, а въ 1836 — „Ревизоръ“. Нѣтъ нужды распространяться о томъ, какое огромное вліяніе имѣли эти произведенія Гоголя на русскую литературу: только дѣйствительно слѣпые, или притворяющіеся слѣпыми могутъ не видѣть и не признавать этого вліянія, вслѣдствіе котораго всѣ молодые писатели пошли по пути, указанному Гоголемъ, стараясь изображать дѣйствительное, а не въ воображеніи существующее общество; изъ прежнихъ писателей, нѣкоторые переѣздили свое прежнее направленіе, подчинясь новому, данному Гоголемъ; а тѣ, которые не были въ состояніи этого сдѣлать, или перестали вовсе писать, или продолжали писать безъ всякаго успѣха. Это совершилось въ послѣднія десять лѣтъ. Гоголь не издавалъ ничего послѣ „Ревизора“ до 1842 года, а дѣло шло своимъ чередомъ, и время лучше всѣхъ критиковъ рѣшило вопросъ. „Мертвыя души“, заслонившія собою все написанное до нихъ даже самимъ Гоголемъ, окончателно рѣшили литературный вопросъ нашей эпохи, упрочивъ торжество новой школы.

„Скопинъ Шуійскій“ г-жи Шишкиной явился въ 1835 году, когда старая романтическая школа уже совершила свой кругъ, а новая, еще не бывъ признанною, уже оказывала сильное вліяніе. Романъ г-жи Шишкиной былъ не безъ достоинствъ, особенно для того времени; но онъ далеко не могъ спорить въ достоинствѣ, съ романами, которые породили его. Проходитъ десять лѣтъ, все измѣняется въ литературѣ, какъ мы уже

сказали объ этомъ; журнальные корифеи начала тридцатыхъ годовъ, „Телеграфъ“ и „Телескопъ“ — теперь уже не болѣе, какъ отдаленное воспоминаніе, „дѣла давно минувшихъ дней“; даже „Библіотека для Чтенія“, смѣнившая ихъ, уже дожила до глубокой старости; „Отечественныя Записки“, долго колебавшіеся въ своемъ направленіи, наконецъ вполнѣ овладѣли имъ, возмужали и укрѣпились; обо многомъ въ это десятилѣтіе было переговорено, переспорено, и во многомъ даже согласились, — словомъ: все измѣнилось: но новый романъ г-жи Шишкиной „Проконій Ляпуновъ“, вышелъ вѣрнымъ 1835 году, такъ что, читая его, не вѣришь 1845 году, выставленному на его заглавіи. Теперь этотъ романъ принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, которыя не производятъ особеннаго впечатлѣнія, слегка похваляются, слегка почитываются и скоро забываются. Между тѣмъ, онъ не безъ достоинствъ: написанъ правильнымъ и чистымъ языкомъ; рассказъ мѣстами хорошъ; историческая сторона его показываетъ основательное изученіе исторіи, — но нѣтъ творчески очерченныхъ характеровъ, — нѣтъ поэтически вѣрнаго проникновенія въ духъ и значеніе исторической эпохи, нѣтъ эстетической жизни. Во многомъ за мѣтенъ взглядъ слишкомъ далекій: такъ, напримѣръ, въ предисловіи, сочинительница, въ доказательство, что нельзя вѣрить безкорыстію Ляпунова, приводитъ, что онъ былъ дурнымъ мужемъ и не всегда трезво велъ себя, — какъ-будто нельзя быть въ одно и тоже время и дурнымъ мужемъ и ревностнымъ патриотомъ! Безъ всякаго сомнѣнія, быть дурнымъ мужемъ — не достоинство, а порокъ; но неужели патриотъ непремѣнно долженъ быть ангеломъ и имѣть всѣ добродѣтели? Если можно быть превосходнѣйшимъ мужемъ и отцомъ, и въ то же время вовсе не быть патриотомъ: почему же нельзя быть дурнымъ мужемъ и патриотомъ! Конечно, гораздо лучше быть и хорошимъ мужемъ и патриотомъ вмѣстѣ; но люди — прежде всего



люди, что бы ни говорили на этот счет дамы... Что же касается до нетрезвости, этот порок, в тот век, не в одной Россіи, но и во всей Европѣ считался добродѣтелью мужчины: тогда пили не по нынѣшнему, и хвалились пьянствомъ, какъ храбростью. Лучшею оцѣнкою новаго романа г-жи Шишкиной могутъ служить ея собственные слова въ предисловіи:

«Сама нерѣдко удивляюсь, какъ рѣшилась я писать историческіе романы. Много требовалось на это трудовъ и терпѣнія, много было мнѣ заботъ и препятствій. Но высокая цѣль оживотворила меня. Я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божиимъ, желаніе пробудить въ благородныхъ сердцахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранными наставниками, и не совсѣмъ справедливую, но великодушную картину не-русскаго образованія. Исторіи должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто объ этомъ не спорить. Но и пріятное развлеченіе часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ читаютъ, не всѣ могутъ понимать и цѣнить важность происшествій государственныхъ, но читая «Иванго», «Юрія Милославскаго», и имъ подобные историческіе романы, всѣмъ пріятно, мысленно переносясь въ отдаленные вѣка, какъ-будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашнемъ быту».

Видите ли: романы пишутся для пріятнаго развлеченія ума и сердца? „Юрій Милославскій“, безъ дальнихъ околичностей, поставленъ рядомъ съ Иванго?.. Этимъ все сказано... Какъ дѣйствительно-пріятное развлеченіе для ума и сердца, „Прокопій Ляпуновъ“ и теперь, конечно, найдетъ себѣ читателей и даже почитателей, — чего отъ всей души желаемъ мы ему, какъ роману, написанному съ цѣлю, безъ всякаго сомнѣнія, благонамѣренною и похвальною.

СОЧИНЕНІЯ КОНСТАНТИНА МАСАЛЬСКАГО. *Спб. Пять частей 1843, 1844, 1845.*

Давно извѣстная истина: „ничего не ново подъ луною“ — ничѣмъ такъ не подтверждается, какъ страстію стариковъ хвалить все старое и бранить все новое, и страстію молодыхъ восхищаться всеѣмъ новымъ и смѣяться надъ всеѣмъ старымъ. Эта страсть современна міру и человѣчеству; она всегда была и всегда будетъ, потому что она въ натурѣ челоуѣка, потому что она естественна, какъ — склонность больныхъ и несчастныхъ все видѣть въ мрачномъ свѣтѣ, и склонность здоровыхъ и счастливыхъ все видѣть въ радужномъ свѣтѣ. Старость стѣитъ болѣзни и несчастія, такъ же, какъ молодость стѣитъ здоровья и счастья; по крайней мѣрѣ, по большей части, и только за рѣдкими исключеніями, старость и несчастіе, молодость и счастье — синонимы. Каждый челоуѣкъ — больше или меньше эгоистъ по своей натурѣ: обо всеѣмъ, что до него касается, и обо всеѣмъ, что до него не касается, онъ судитъ по отношенію къ самому себѣ. Здоровый, онъ, видя больныхъ, какъ-будто удивляется, что можно быть больнымъ; счастливый, онъ какъ-будто думаетъ, что всеѣ должны быть счастливы; больной, онъ оскорбляется видомъ здоровья; несчастный, онъ готовъ видѣть насмѣшку надъ собою во всеѣмъ, что дышитъ счастіемъ... Молодость есть лучшее время жизни каждаго челоуѣка, такъ же какъ старость худшее: это аксіома. Ни оболъщенія сухаго и мелкаго честолюбія, ни приманки блестящихъ почестей, ни богатство, ни роскошь въ старости — ничто не замѣнитъ мечтаній, надеждъ, упоеній и даже горестей страстной, живой, увлекающейся, гордой собою, сильной и отважной юности! Удивительно ли, что все хорошее старики относятъ къ своему времени? Эгоисты по-неволѣ, они думаютъ, что для всеѣхъ должно казаться прекраснымъ только то, что

было дѣйствительно прекрасно для нихъ, что всѣхъ должно тѣшить и обманывать только то, что тѣшило и обманывало ихъ, — какъ-будто бы мѣръ ими начался, ими и долженъ кончиться, — какъ-будто бы молодые поколѣнія обязаны жить ихъ жизнью, видѣть ихъ глазами, понимать ихъ умомъ, и этимъ самымъ сознаться, что напрасно природа дала имъ глаза и умъ, и напрасно призваны они къ жизни! Когда же старцы замѣчаютъ наконецъ, что у молодыхъ поколѣній есть свои глаза и свой умъ, свои радости и свои горести, свои понятія и свои убѣждения, которыя не совсѣмъ похожи, а иногда и вовсе непохожи, на радости и горести, на понятія и убѣждения ихъ, старцевъ — тогда они видятъ въ людяхъ молодаго поколѣнія апостатовъ, еретиковъ, чуть-чуть не бунтовщиковъ. И тогда-то градомъ сыплются на молодыхъ поколѣнія упреки въ безирравственности, въ вольнодумствѣ, въ самонадѣянности; клюка старческой морали грозитъ послушникамъ, безпрепятственно выпадая изъ слабыхъ рукъ; рѣдкою льются изъ дрожащихъ устъ старческаго поученія, прерываемыя кашлемъ и... смѣхомъ новыхъ поколѣній... Съ своей стороны, новыя поколѣнія бывають подвержены своей слабости — видѣть все прекрасное, умное, достойное удивленія только въ новомъ и современномъ, ожидать чудесъ только отъ будущаго, а на старое и прошедшее смотрѣть съ равнодушіемъ и даже съ насмѣшкою. Но, видно, обѣ эти крайности равно неизбежны; однакожь, нельзя не согласиться, что гораздо больше справедливости на сторонѣ молодыхъ поколѣній, даже и тогда, когда они явно несправедливы, — потому что самъ духъ жизни, ведущій человѣчество, всегда на сторонѣ новаго противъ стараго; потому что безъ этого исключительнаго односторонняго стремленія всегда къ новому, всегда къ будущему не было бы никакого движенія, никакого хода впередъ, не было бы прогресса, исторіи, жизни, и человѣчество превратилось бы въ огромное стадо

живыхъ животныхъ. Для того и не вѣченъ человекъ, для того и долженъ онъ старѣть, дряхлѣть и умирать, для того и смѣняется одно поколѣніе другимъ, — словомъ, люди умираютъ для того, чтобъ жило человечество. Смерть есть великое орудіе, великая опора жизни. . . У новыхъ поколѣній бываютъ вожди, которые ведутъ ихъ по пути развитія; но самостоятельная сила развитія до того присуща самой натурѣ человека, что развитіе обществъ совершается даже и тогда, когда не является новыхъ вождей. Это дѣлается очень просто: Богъ знаетъ какъ и почему, но только у новаго поколѣнія являются новыя вкусы, наклонности, понятія, какихъ не было у стараго, хотя это старое поколѣніе, воспитывая новое, больше всего старалось сдѣлать его похожимъ на себя, какъ двѣ капли воды. . . Этотъ родъ прогресса самый прочный и несокрушимый и неодолимый: противъ него нѣтъ никакихъ мѣръ; въ отношеніи къ старымъ поколѣніямъ, онъ — врагъ тѣмъ болѣе страшный, что невидимъ, на него нельзя указать, его нельзя разить; онъ не лицо, не образъ: онъ — духъ, онъ въ воздухѣ, въ водѣ, въ пищѣ; ему равно служить и тѣ, которые любятъ его, и тѣ, которые ненавидятъ; для него все средство къ успѣху, — даже моды на платья, на мѣбель. . . потому что у Китайцевъ не существуетъ даже модъ; но за то у Китайцевъ нѣтъ молодыхъ поколѣній: каждый человекъ дѣлается тамъ старикомъ, лишь только успѣетъ родиться. . .

Самолюбіе играетъ большую (и чуть ли даже не главную) роль въ нерасположеніи стариковъ ко всему новому. Видя, что все на свѣтѣ идетъ и дѣлается не такъ, какъ бы имъ хотѣлось, не такъ, какъ все шло и дѣлалось въ ихъ время, старики обижаются и говорятъ юношамъ: „что же, мы глуше васъ, а вы умѣе насъ? Развѣ мы затѣмъ прожили вѣкъ свой, набирались уму-разуму, богатѣли мудрою опытностью, чтобъ на старости лѣтъ неопытные мальчики вздумали учить насъ?“ Люди моло-

даго поколѣнія должны были бы отвѣчать на это старикамъ: „каждый изъ насъ, отдѣльно взятый, можетъ быть менѣе опытенъ и мудръ, нежели каждый изъ васъ отдѣльно взятый; но наше молодое поколѣніе и опытнѣе и мудрѣе вашего, потому что оно старше вашего, и къ вашей опытности приложили свою собственную“. Но, къ сожалѣнію, молодые люди такъ же имѣютъ свои молодые слабости и недостатки, какъ старые люди имѣютъ свои старые слабости и недостатки, и почти каждый юноша готовъ смотрѣть на старика, какъ на ребенка, а на себя какъ на взрослога человѣка, не понимая, что вся его заслуга и все преимущество передъ старикомъ состоитъ только въ томъ, что онъ позже его родился, и что это вѣдь совсѣмъ не заслуга... И такъ, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда неправы въ отношеніи къ молодымъ, а молодые всегда правы въ отношеніи къ старикамъ. Но борьба между ими не прекращается ни на минуту, и одно время рѣшаетъ безъ лицепріятія кто правъ, кто виноватъ, хотя немногіе доживаютъ до рѣшенія своей тяжбы, и старики по большой части умираютъ съ убѣжденіемъ, что они правы, что ихъ тяжба выиграна, и что горе новому поколѣнію, которое пошло своею новою дорогою... Какъ бы то ни было, только самолюбіе играетъ чуть ли не главную роль въ этой вѣчной распрѣ. Это особенно замѣтно въ умственныхъ сферахъ, въ которыхъ борьба сильнѣе и живѣе, какъ, напр. въ сферѣ литературной. Здѣсь самолюбіе дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, что вопросъ идетъ не объ одной физической старости, не объ одной физической смерти, но о старости и смерти нравственной, смерти за-живо. Въ лѣта молодости, способности человѣка дѣятельны и живы, душа его воспримчива для впечатлѣній; въ лѣта возмужалости — впечатлѣнія молодости дѣлаются, такъ сказать, нравственнымъ капиталомъ человѣка, процентами съ котораго онъ живетъ и въ старости. Большею частію, люди совершенно опредѣляются въ тридцать

лѣтъ и считаютъ за истинное и прекрасное только то, что успѣли признать они истиннымъ и прекраснымъ до тридцати-лѣтняго возраста ихъ жизни, подъ влияніемъ своихъ первыхъ впечатлѣній, и не признаютъ никакой истины, которая явится, когда они перейдутъ за роковую черту своихъ тридцати лѣтъ. Такъ на Руси и теперь еще есть люди, которые безъ ума отъ стиховъ Державина, и которые косо смотрятъ на стихи Жуковскаго, видя въ Жуковскомъ новаго писателя, хотя этотъ новый писатель пишетъ уже болѣе сорока лѣтъ. Какая причина этому? Очень простая: они прочли и выучили наизусть стихи Державина въ то время, когда ихъ способность воспріимлемости была въ полной своей силѣ; когда же явился Жуковский, ихъ душа уже закрылась для впечатлѣній: они уже не могли принять откровеній новой поэзіи всею полнотою своего существа. Идея и форма Державинской поэзіи до того овладѣли ихъ умомъ, что для нихъ поэзію казалось только то, что походило на стихи Державина. Но какъ произведенія Жуковскаго нисколько не походили на оды Державина, то они и не могли признать въ Жуковскомъ поэта. Такимъ образомъ, имъ не возможно было безъ досады видѣть, что другіе восхищаются Жуковскимъ, и на всѣхъ этихъ другихъ они стали смотрѣть, какъ на людей съ дурнымъ вкусомъ, какъ на людей заблуждающихся, потому что самолюбіе человѣческое всегда готово оправдать себя на счетъ другихъ и собственную свою ограниченность растолковать себѣ, какъ чужую ошибку, чужое заблужденіе. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, тяжело же сознаться, что мы отстаемъ, что наше время прошло; и вѣдь не переучиваться же стать въ почтенныя лѣта... Кто не помнитъ, какой шумъ, какіе споры, какую борьбу возбудило появленіе Пушкина! Старцы (и старые и молодые) съ такимъ ожесточеніемъ оспаривали поэтическое достоинство первыхъ произведеній Пушкина, какъ-будто-бы дѣло шло о ихъ жизни и смерти. И дѣй-

ствительно, дѣло шло ни больше, ни меньше, какъ о ихъ жизни и смерти — только нравственной, а не физической. Такихъ старичковъ теперь осталось мало, да и тѣ пріумолкли, а нѣкоторые даже, притерпѣвшись и привыкну къ славѣ Пушкина, на-слово повѣрили ея дѣйствительности. Но вотъ примѣръ свѣжѣе: кому неизвѣстно, съ какимъ ожесточеніемъ встрѣтили старцы талантъ Гоголя? И до сихъ поръ еще бранятъ они его, даже подражая ему, чтобъ добиться какого-нибудь успѣха, — и бранятъ его даже въ тѣхъ самыхъ своихъ изданіяхъ, въ которыхъ такъ безуспѣшно подражаютъ ему... И это ожесточеніе противъ — можно смѣло сказать — гениальнаго писателя очень понятно. Всѣ люди самолюбивы, но особенно люди, которые хотятъ казаться талантливыми тамъ, гдѣ имъ всего болѣе отказано въ талантѣ, и преимущественно люди съ мелкими способностями и дарованіями, которые когда-то воспользовались мгновеннымъ успѣхомъ. Переживъ свои сочиненія, нѣкогда имѣвшія какой-нибудь успѣхъ, видя, что ихъ новыя попытки возбуждаютъ только смѣхъ, въ отчаяніи, что они не могутъ поддѣлаться подъ писателя, увлекшаго за собою всю литературу, всю публику, въ досадѣ, что они не могутъ даже понять ни смысла, ни достоинства его сочиненій, эти горе-богатыри по-неволѣ раздражаются противъ него и вступаютъ съ его славою въ неравную для нихъ борьбу. Они со слезами на глазахъ и съ бранью на устахъ клянутся публикѣ, что это писатель безъ таланта, безъ вкуса, что онъ не знаетъ грамматики, тогда какъ они сами — первые грамотѣи; что онъ рисуетъ одну грязь, тогда какъ они изображаютъ одну добродѣтель и благонамѣренность, которыми преисполнены ихъ сердца. Но публика ихъ не слушаетъ, сочиненій ихъ не читаетъ, а преслѣдуемый ими авторъ какъ будто и не подозреваетъ ихъ существованія, для своею дорогою и не замѣчая ихъ воплей. Что имъ дѣлать? — Не знаемъ, право, что они теперь дѣлаютъ, или что будутъ дѣлать;

но вотъ уже давно, какъ слышимъ жалобы на то, что современные писатели, и преимущественно Гоголь, и современные журналы, преимущественно толстые, искажаютъ и губятъ русскій языкъ, и что остается только средство спасти его отъ гибели—начать подражать Карамзину, строго держась его слога и ореографіи... Съ особеннымъ жаромъ приглашаются къ этому молодые и подающіе надежды писатели... Нужно ли говорить, что приглашающіе давно уже не принадлежать къ числу молодыхъ, и еще менѣе къ числу писателей, подающихъ надежды? И это пишется и печатается въ наше время!... Подражать Карамзину въ слогѣ, держаться его ореографіи! Ужъ не лучше ли обратиться къ Ломоносову и его избрать образцомъ? Что Карамзинъ справедливо названъ преобразователемъ русскаго языка, русскои прозы, что онъ оказалъ русскои литературѣ такого рода услуги, которыя никогда не забываются,— все это аксіомы. Но, въ то же время, нѣтъ никакого сомнѣнія, что достоинство его сочиненій теперь имѣетъ чисто историческое значеніе, тогда какъ въ свое время оно имѣло значеніе не только литературное, но и художественное. Теперь „Бѣдную Лизу“ и „Марю Посадницу“ можно читать не для эстетическаго наслажденія, а какъ историческій памятникъ литературы чуждой намъ эпохи; теперь на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же чувствомъ, какъ смотрятъ на портреты дѣдушекъ и бабушекъ, наслаждаясь добродушнымъ выраженіемъ ихъ лицъ и оригинальностью ихъ стариннаго костюма. Пусть укажутъ намъ старцы хоть на одну статью Карамзина, которая могла бы теперь возбудить другой интересъ. Какъ же, спрашиваемъ мы, подражать произведеніямъ, которыя были безусловно хороши только для того времени, когда были писаны? Карамзинъ преобразовалъ русскую прозу, и въ этомъ его великая заслуга, его великое право на признательность потомства; но сущность и заслуга его преобразованія состояли совсѣмъ въ



въ томъ, чтобъ онъ далъ вѣчные образцы прозы, а въ томъ что онъ далъ возможность явившимся послѣ него писателямъ опередить его на этомъ поприщѣ, имъ же открытомъ. До Карамзина, русская проза не переставала скрипѣть тяжелыми Ломоносовскими періодами; Карамзинъ вывелъ ее изъ этого заколдованнаго круга на большую дорогу, и она пошла, ужъ больше не нуждаясь въ его исключительномъ руководствѣ. Отъ латинско-нѣмецкой конструкціи, столь несвойственной русскому языку, онъ обратилъ ее къ французской конструкціи, болѣе ему свойственной, и чрезъ это далъ средства русскому языку, бывшему обезьяною то латинско-славяно-нѣмецкаго, то французскаго, сдѣлаться со временемъ совершенно русскимъ языкомъ. Но языкъ самого Карамзина далеко не-русскій: онъ правиленъ, какъ всеобщая грамматика безъ исключеній и особенностей, лишенъ руссизмовъ или этихъ чисто-русскихъ оборотовъ, которые одни даютъ выраженіе и опредѣленность, и силу, и живонисность. Русскій языкъ Карамзина относится къ настоящему русскому языку, какъ латинскій языкъ, на которомъ писали ученые среднихъ вѣковъ, — къ латинскому языку, на которомъ писали Цицеронъ, Саллюстій, Гораций и Тацитъ: узнавъ въ совершенствѣ первый, можно совсѣмъ не знать втораго; легко понимая первый, можно совсѣмъ не понимать втораго. Языкъ мелкихъ сочиненій Карамзина, говорятъ, гораздо ниже языка, которымъ написана „Исторія Государства Россійскаго“, и который, будто бы есть вѣчный образецъ русскаго языка, русскаго слога. Это едвали справедливо. Если чтò особенно хорошо въ исторіи Карамзина, это — изложеніе событій, умѣнье рассказывать. Но слогъ этой исторіи какой-то академическій, искусственный, лишенный естественности, тщательно округленный, отдѣланный, ритмическій, пѣвучій, съ прилагательными послѣ существительныхъ. Карамзинъ употребляетъ часто слова лѣтописей, старается проникнуть свой слогъ

ихъ духомъ, но остается при одномъ усилии. Нѣтъ спора, что всякій, кто хочетъ быть писателемъ, долженъ читать старыхъ авторовъ для изученія отечественнаго языка; но утверждать, что онъ долженъ подражать кому-нибудь изъ писателей, особенно старыхъ, — это верхъ нелѣпости. Мы не разъ имѣли случай изъяслять удивленіе, какимъ образомъ поэты нашего времени могли бы подражать Карамзину, который вовсе не былъ поэтомъ, хотя и писалъ стихи, и сочинялъ повѣсти? И какое изъ его произведеній могли бы они взять себѣ за образецъ — „Бѣдную Лизу“, или „Марю Посадницу“?... Хорошіе образцы для нашего времени — нечего сказать! Въ такомъ случаѣ, почему же не начать подражать „Россіяда“? Интересно знать, какую бы поэму написалъ Лермонтовъ, если бы взялъ себѣ за образецъ „Россіяду“, какой бы романъ написалъ онъ, если бы взялъ себѣ за образецъ „Кадма и Гармонію“?... Давайте же подражать старымъ писателямъ, давайте жить заднимъ умомъ, давайте ходить раковою манерою, — далеко уйдемъ!... Подражать! да развѣ можно и должно кому-нибудь подражать? развѣ подражаніе произвело хоть одного порядочнаго писателя? развѣ оно подкрѣпило чей-нибудь талантъ? развѣ, напротивъ, оно не портило, не ослабляло и дѣйствительно сильныхъ талантовъ? Развѣ это не аксіома въ наше время? Развѣ вопросъ о подражателности не рѣшенъ давнымъ давно? Развѣ совѣтовать подражать, не значитъ — подвергаться тому, что по-французски называется *ridicule* и для выраженія чего нѣтъ равносильнаго русскаго слова?... Подражать, значитъ, жить чужимъ умомъ, чужими мыслями, чужимъ талантомъ. Имѣть нужду въ подражаніи, значитъ — не имѣть нисколько таланта, при сильной охотѣ марать бумагу... Но зачѣмъ же наши старцы такъ настоятельно совѣтуютъ подражать? — Затѣмъ, чтобъ никто не писалъ такъ, какъ пишетъ Гоголь... А! это другое дѣло! Вотъ какъ, напримѣръ, хвалятъ они сочиненія

г. Масальскаго: „Регентство Бирона“, „Осада Углича“, „Русскій Икаръ“, „Донъ-Кихоть XIX вѣка“, „Стрѣльцы“, „Черный Ящикъ“, „Граница 1616 года“, „Бородолюбіе“, „Терпи казакъ, атаманъ будешь“ (повѣсть въ стихахъ), нѣсколько мелкихъ статей въ прозѣ и нѣсколько десятковъ стихотвореній, заключающихся въ этихъ пяти томахъ, написаны чистымъ, правильнымъ языкомъ, вмѣщаютъ въ себѣ умъ, чувство и познаніе исторіи, и представляютъ вѣрные очерки эпохъ и характеровъ. У. К. П. Масальскаго нѣтъ такихъ остроумныхъ сочиненій, какъ, наприм: сапоги въ смятку и т. п.<sup>4</sup>. И мы не можемъ не похвалить г. Масальскаго за то, что онъ не употребляетъ нѣкоторыхъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ, — такъ же точно, какъ не можемъ не похвалить подражателей Корнеля и Расина за то, что они, въ своихъ трагедіяхъ, не выводили, подобно Шекспиру, ни публичныхъ женщинъ, ни пьяныхъ мужиковъ, ни развратниковъ дурнаго тона въ родѣ Фальстафа: на что могъ осмѣливаться великій Шекспиръ, за то не слѣдовало братья мелкимъ подражателямъ Корнеля и Расина, потому что у нихъ непременно вышло бы пѣшло, отвратительно и безмысленно то, что у Шекспира живописно, поучительно и исполнено глубокаго смысла! Но, по мнѣнію нашихъ критическихъ *patres conscripti*, г. Масальскій потому не употреблялъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ, что „онъ (г. Масальскій) въ языкѣ придерживается грамматики г. Греча, а въ изящномъ вкусѣ не отступаетъ отъ образцовъ, представленныхъ намъ Карамзинымъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ, Батюшковымъ“. Но тщетно сталъ бы кто-нибудь искать въ сочиненіяхъ г. Масальскаго чего-нибудь, кромѣ твердаго знанія грамматики г. Греча! Сочиненія Карамзина были хороши, даже превосходны для своего времени: сочиненія г. Масальскаго не были бы не только превосходны, но просто сносны даже для того времени, въ которое началъ писать Карамзинъ,

потому что въ сочиненіяхъ Карамзина есть талантъ, отражается оригинальная и самобытная личность, чего нѣтъ и слѣдовъ въ сочиненіяхъ г. Масальскаго. Жуковскій... но скажите, ради здраваго смысла, можетъ ли существовать какое-нибудь отношеніе между стихами переводчика „Іоанны д'Аркъ“ Шиллера и „Шильйонскаго Узника“ Байрона, и между—хоть вотъ этими виршами г. Масальскаго?

Оселя широкой нивою  
 Въ раздумьи важно брель,  
 И вдругъ свирѣль подъ нивою  
 По случаю нашель.  
 Любуясь находкой,  
 Онъ сталъ ее лизать,  
 И на нее всей глоткой  
 По случаю дышать.  
 Оселя не понимаетъ,  
 Чтѣ переливъ, чтѣ трель;  
 Лишь дышитъ, и играетъ  
 По случаю свирѣль.  
 Какъ на осла бываетъ  
 На всякаго смѣшно,  
 Кто сдуру поступаетъ  
 По случаю смѣшно.

Послѣ этого, мы можетъ себя уволить отъ всякихъ параллелей между г. Масальскимъ и Батюшковымъ, и особенно, Пушкинымъ. Можетъ-быть, г. Масальскій и подражалъ имъ; но тѣмъ не менѣе все ихъ осталось, при нихъ, а въ сочиненіяхъ г. Масальскаго ничего не осталось. Чтѣ жъ толку подражать? Кому нечего сказать своего, тому всего лучше молчать. Кто захочетъ послушать Пушкина, тотъ обратится къ нему, а не къ его подражателямъ. Какъ бы нимаъ былъ чей-нибудь талантъ, но онъ стѣитъ вниманія, если не подражаетъ, а говоритъ свое. И вотъ почему могло имѣть большой успѣхъ такое произведеніе, какъ, на примѣръ, „Юрій Милославскій“. Въ немъ есть оригинальность; оно имѣло подражателей, но само никому не под-

ражало. Въ послѣдствіи, авторъ этого романа, г. Загоскинъ, сталъ подражать своему первому произведенію,—что же вышло?—всѣ послѣдующіе романы г. Загоскина оказались ниже посредственности и не имѣли успѣха. Вотъ каково подражать кому-нибудь, даже самому себѣ, и чему-нибудь, даже собственному своему сочиненію... Г. Масальскій подражалъ не Карамзину, не Батюшкову, не Жуковскому, не Пушкину, а нѣкоторымъ изъ русскихъ романистовъ, явившихся въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія; но они ничего не дали его подражательнымъ сочиненіямъ — даже способности быть забавно неулачными, и потому эти сочиненія скучно и усыпительно неудачны. Сочинитель беретъ изображать то эпоху Петра Великаго, то регенства Бирона, то наше время, хочетъ быть высокимъ, патетическимъ, юмористическимъ, забавнымъ, хочетъ трогать и смѣшить,—и только усыпляетъ...

Скажутъ: это ли разборъ писателя, написавшаго пять томовъ? Наговорить о старыхъ, и молодыхъ поколѣніяхъ, о Карамзинѣ, о Гоголѣ—развѣ это значитъ критиковать сочиненія, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ статьи? Отвѣчаемъ на это: русская литература и русская публика уже выросли и возмужали на столько, чтобъ рецензентъ нашего времени могъ уволить себя и своихъ читателей отъ серьёзныхъ доказательствъ, что скучная книга скучна, а бездарность бездарна. Лучше, по поводу подобныхъ сочиненій, поговорить о чемъ-нибудь такомъ, о чемъ стоитъ говорить. Удивительно ли, что въ наше время, о чемъ бы ни сталъ писать рецензентъ, непременно начнетъ бранить или хвалить „Мертвыя Души“? есть произведенія, которыя наполняютъ шумомъ своего появленія цѣлую эпоху, оставляя послѣ себя глубокой и долгой слѣдъ... И есть произведенія, о которыхъ нечего сказать, даже и тогда, какъ заговорять о нихъ, — которыхъ нельзя ни бранить, ни хвалить...

Миръ вамъ, бѣдные дѣти безпокойной охоты къ сочинительству, почивайте спокойно!..

**СТО НОВЫХЪ ДѢТСКИХЪ ПОВѢСТЕЙ, съ нравоученіемъ въ стихахъ. Книжка для подарка дѣтямъ. Перевелъ изъ сочиненій Шмита Б. Федоровъ. Часть первая. Спб. 1845.**

На своемъ вѣку, я уже не однажды имѣлъ случай писать о сочиненіяхъ г. Б. Федорова, (или Феодорова, какъ напечатано на оберткѣ этихъ повѣстей), а, слѣдовательно, и брать ихъ въ руки; но смѣю увѣрить читателей—я никогда въ такія случаи не испытывалъ пріятнаго ощущенія, въ которомъ, быть-можетъ, имъ угодно подозрѣвать меня. Напротивъ! Я даже очень люблю сочиненія г. Б. Федорова, и если кто-нибудь сказалъ вамъ противное, то въ опроверженіе столь огорчительной для меня клеветы, считаю долгомъ объявить слѣдующее:

1) Я не надѣваю перчатокъ, принимаясь за сочиненія г. Б. Федорова и вообще не принимаю въ такихъ случаяхъ предосторожностей, употребляемыхъ, когда хотятъ взять въ руки что-либо непріятное и неопрятное.

2) Я не засыпаю за сочиненіями г. Б. Федорова и не вижу во снѣ, навѣянномъ имъ, самолюбивой и жалкой безталантности, которая ведетъ подробнѣйшій журналъ всего, что кажется ей преступленіями въ ея противникахъ, и готова прислуживаться имъ всякому.

3) Я не впадаю, по поводу сочиненій г. Б. Федорова, въ тяжелыя размышленія о участи ослѣпленной бездарности, попавшей какъ говорится, не въ свои сани и упорно остающейся въ нихъ, несмотря на то, что грязныя брызги летятъ на нее со всѣхъ сторонъ.

Оговорившись такимъ образомъ, смѣло уже беру въ руки „Сто Новыхъ Дѣтскихъ Повѣстей“ г. Б. Федорова, не надѣясь нисколько удивить тѣмъ читателей,—беру и читаю:

Молодая Яблоня.

Егорушка и Лизанька всегда старались доставить родителямъ своимъ начеянное удовольствіе. Однажды когда они помогали имъ работать въ саду (*здесь немножко трудно догадаться, кто кому помогалъ работать въ саду, но въ этомъ и нѣтъ большой надобности*), отецъ сказалъ: «въ этомъ уголкѣ хорошо посадить еще одно деревцо».

Приближался день рожденія отца; добрыя дѣти тайно купили прекрасную яблоньку съ корнемъ и наканунѣ желаннаго дня пробрались потихоньку позади грядокъ посадить ее. «Какъ папашка обрадуется!» говорили дѣти между собою: «когда онъ, войдя поутру въ садъ, увидитъ эту прекрасную яблонь!»

Лизанька держала деревцо, между тѣмъ Егорушка рылъ землю лопатою: вдругъ они услышали, что въ землѣ что-то треснуло; потомъ заблестѣло и какъ-будто посыпались искры. Егорушка разбилъ своею лопатою глиняный горшокъ, въ которомъ спрятано было нѣсколько золотыхъ монетъ и множество серебряныхъ блестящихъ при свѣтѣ луны.

«Владъ! владъ!» вскричали дѣти въ восторгѣ, и побѣжали увѣдомить родителей о счастливой находкѣ.

«Любезныя дѣти!» сказала отецъ: «Богъ милостиво смотрѣлъ на привязанность вашу къ намъ. Онъ награждаетъ дѣтскую любовь. Продолжайте быть добрыми дѣтьми;—и Богъ дастъ вамъ сокровища лучшія, чѣмъ золото и серебро».

Вы думаете—конецъ? Нѣтъ! если вы такъ думаете, то вы не знаете, г. Б. Федорова! Здѣсь слѣдуетъ именно то, что должно слѣдовать,— то, что въ заглавіи названо „нравоученіями въ стихахъ“:

Когда родителей ты любишь съ юныхъ лѣтъ  
Богъ счастья тебѣ пошлетъ!

Мнѣ нравятся повѣсти г. Б. Федорова, но мнѣ особенно нравятся нравоученія въ стихахъ, въ которыхъ, такъ сказать, вся сущность повѣстей, и которыя, безъ всякаго сомнѣнія, есть изобрѣтеніе русскаго сочинителя. Потому я исключительно и займусь нравоученіями въ стихахъ. Къ счастью, они и недлин-

**ны: въ заключеніе къ каждой повѣсти не болѣе двухъ стиховъ,  
но за то какіе стихи!**

Въ желаньяхъ сходенъ будь съ *лиліи* чистотой,  
И будешь ты цвѣсти какъ *роза* красотой.

Приятно все, что сладко и прекрасно,  
Но съ безразсудствомъ все опасно.

Кто похищаетъ или жметъ,  
Тотъ наказанью подпадетъ.

Кто сострадатеlemъ тому и жить отраднѣй,  
Свѣтлѣе день и ночь пріятнѣй.

Лучше чѣмъ поздно ложиться  
Съ ранней зарей пробудиться.

Какія глубокомысленныя двустихія! Много ихъ еще въ „Новыхъ Дѣтскихъ Повѣстяхъ“, но я не выписываю всѣхъ, потому что—повѣрятъ ли читатели столь дерзостному покушенію?— я намѣренъ сочинить здѣсь нѣсколько своихъ правоученій...  
Начинаю:

Неосторожно бойтеса ходить,  
Чтобъ ногъ не изломать и носу не разбить.

Кому дала природа мѣдныи лобъ,  
Тотъ съ мѣднымъ лбомъ останется по гробъ.

Ты въ лѣту не бросай съ презрѣніемъ галашъ:  
Здоровье ни ты подъ осень сбережешь.

О взрослыхъ ли писать берешься, для малютокъ—  
Хоть крошечный ниѣтъ совѣтую разсудокъ.

Кто нравъ крутой ниѣтъ и свирѣпый,  
Тому покажется и сахаръ хуже рѣпы...

Довольно! на первый разъ, очень довольно! Теперь ниѣ остается только присочинить къ этимъ „правоученіямъ въ стихахъ“ небольшіе рассказы въ прозѣ, и я могу сдѣлаться просвѣтителемъ и наставителемъ юношества въ моемъ отечествѣ. А все благодаря книгѣ г. Б. Федорова, который, кромѣ многихъ



другихъ достоинствъ, отличается еще силою вдохновительною. Я ею очень доволенъ.

Что касается до читателей, то они и безъ меня очень хорошо знаютъ, что думать о новомъ или вновь изданномъ сочиненіи г. Б. Федорова. На оберткѣ читаемъ слова: „изданіе второе, исправленное и дополненное“. Они совершенно справедливы, потому что изданіе дѣйствительно исправлено и дополнено. Исправленіе относится къ тому, что фамилія сочинителя, писавшаяся въ продолженіи многихъ лѣтъ безграмотно (что неоднократно было замѣчаемо журналами), чрезъ букву *Ф*, вмѣсто *Ө*,—здѣсь наконецъ явилось съ *Ө*-ою, а дополненіе состоитъ въ томъ, что въ той же фамиліи сочинителя прибавлена одна буква, именно: въ заглавіи выставлено не Федоровъ, какъ встарину выставялась, а *ӨеОдоровъ*... Подите, спорьте послѣ этого съ сочинителемъ, что новое изданіе его повѣстей не исправлено и не дополнено.

---

СКАЗКА О ДВУХЪ КРЕСТЬЯНАХЪ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОМЪ И РАСТОЧИТЕЛЬНОМЪ. *Спб. 1844.*

Изъ самаго заглавія видно о чемъ идетъ дѣло. Одинъ мужикъ пьяница, буйствуетъ, лѣнится и умираетъ въ нищетѣ и позорѣ; другой живетъ честно, трудится, домостроителствуетъ, и вслѣдствіе того, наживаетъ изрядное количество денегъ, женится на доброй женѣ, приживаетъ добрыхъ сыновей, которымъ находитъ добрыхъ женъ, и за всѣ свои добродѣтели удостоивается дожидаться на бѣломъ свѣтѣ внуковъ, разумѣется, тоже добрыхъ. Перваго мужика звали Федоромъ Васильевичемъ, втораго Николаемъ Кузьмичемъ. Слѣдуетъ

нравоученіе: чтобъ не быть Федорами Васильевичами, бойтесь, дѣти, жить такъ, какъ жилъ Федоръ Васильевичъ; но чтобъ быть Николаями Кузьмичами, по мнѣнію сочинителя, не нужно даже жить такъ, какъ жилъ Николай Кузьмичъ: „читайте только почаще эту сказку“, говоритъ онъ: „вы будете ими“.

„Разсказъ о Двухъ Крестьянахъ Домостроительномъ и Расточительномъ“ кончился, но книга еще не кончилась. Слѣдуетъ сказка для крестьянскихъ дѣвушекъ „О двухъ женахъ доброй и сердитой“, о которой ничего не сказано въ заглавіи. Тутъ опять та же исторія. Маша была добрая жена: сносила терпѣливо побои пьянаго мужа, его невѣрность, наговоры свекрови, ея брань и капризы, — „и вотъ у ней стало всего доволья и огурцовъ, и капусты, и моркови, и свеклы, и рѣпы, и картофеля и всякой всячины не только для домашняго обихода, но и добрымъ людямъ и на продажу“. А Паша была жена сердитая и оттого, у нея былъ вѣчный недостатокъ въ огурцахъ, капустѣ, рѣпѣ, моркови, свеклѣ и картофелѣ. Слѣдуетъ наставительное заключеніе: „Теперь скажите, милыя дѣвушки, которой вы хотите лучше быть, Машей или Пашей? Я вижу, знаю, вы всѣ хотѣли бы быть Машами; смотрите же подражайте ей; живите такъ, какъ она жила; старайтесь быть послушны, кротки, ласковы ко всѣмъ; угождайте всѣмъ, особенно своимъ роднымъ, семьянымъ; пуще всего бойтесь браниться, сердаться, даже шутя, съ кѣмъ бы то ни было; и вы будете такъ же счастливы, какъ Маша“.

Разсказъ этотъ въ своемъ родѣ стоитъ дѣтскихъ повѣстей г. Б. Федорова.

**ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.** *Литературный сборникъ, составлен-  
ный гр. В. А. Соллогубомъ. Книга первая. Спб. 1845.*

Назадъ тому ровно двадцать лѣтъ была сильная мода на альманахи. Удача перваго альманаха породила множество дру-гихъ. Составлять ихъ ничего не стоило, а славы и денегъ приносили они много. Бывало какой-нибудь господинъ, отъ роду ничего неписавшій, вдругъ ни съ того ни съ сего рѣши-тся обезсмертить свое имя великимъ литературнымъ подви-гомъ: глядишь—и вышелъ въ свѣтъ новый альманахъ. Кни-жка крохотная, а стоитъ десять рублей ассигнаціями, и не-премѣнно все изданіе разоидется. Такимъ образомъ, издатель за большіе барыши и великую славу тратилъ только сумму, необходимую на бумагу и печать. Какъ же это дѣлалось? — Очень просто. Издатель обращался съ просьбою ко всеѣмъ ав-торитетамъ того времени, отъ Пушкина до г. Θ. Глинки вклю-чительно,—и отъ всѣхъ получалъ—отъ кого стихотвореніе, отъ кого отрывокъ изъ романа въ пять страничекъ, отъ кого статейку „взглядъ и нѣчто“ и т. д. Главное дѣло было бы въ альманахѣ пять шесть извѣстныхъ именъ, а мелкихъ писаекъ можно было легко набрать десятка. Тогда многіе борзописцы не только не требовали денегъ за свое маранье, но еще сами готовы были платить за честь видѣть въ печати свое сочине-ніе и свое имя. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ мода на альма-нахи кончилась, и, несмотря на то, лучшій русскій альма-нахъ вышелъ въ 1833 году: мы говоримъ о „Новосельѣ“ г. Смирдина. Въ 1834 году вышла вторая часть „Новоселья“. Впрочемъ, въ этомъ лучшемъ альманахѣ, все-таки балласта было больше, чѣмъ хорошаго, такъ, напримѣръ, въ первой части на семь весьма плохихъ статей было хорошихъ статей только „Балъ“ и „Бригадиръ“ князя Одоевскаго, да еще развѣ „Антаръ“ г. Сенковскаго и смѣшныя сказки барона Брамбеуса,

да статьи лѣтъ серьёзнаго содержанія другихъ писателей. Впрочемъ, плохія стихотворенія съ избыткомъ вознаграждались „Домикомъ въ Коломнѣ“ Пушкина, превосходною піесю Баратынскаго „На смерть Гёте“ и пятью баснями Крылова. Въ прозаическомъ отдѣлѣ второй части „Новоселья“ была напечатана „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, Гоголя: этого довольно, чтобъ простить все остальное. По объему, „Новоселье“ между прежними альманахами походило на слона между воробьями. По всему было видно, что такой альманахъ могъ издать только книгопродавецъ, собиравшійся издавать журналъ. „Библіотека для чтенія“ произвела, своимъ появленіемъ, совершенный переворотъ въ литературныхъ обычаяхъ и нравахъ. Литературный трудъ началъ получать вещественное вознагражденіе, кромѣ славы, отъ которой, какъ извѣстно, люди не бываютъ сыты и тепло одѣты. Изданіе альманаховъ стало дѣломъ труднымъ, потому что изъ жалкой чести печататься никто не сталъ давать даромъ своихъ статей и своими трудами обогащать антрпенёровъ. Да и альманахи всёми надоѣли. Несмотря на то, „Утренняя Заря“ имѣла большой успѣхъ, потому что украшалась прелестными картинками. Тогда альманахи начали было основывать свое существованіе, то, на филантропическихъ цѣляхъ, то на литературныхъ ужинахъ, за которое собиралось статьями. Но это и подорвало ихъ въ-конецъ: они сдѣлались корзинками, куда всё сбрасывали свои бумаги, назначенныя на употребленіе по домашнему обиходу. И вотъ теперь вновь является альманахъ, съ громкими и безмолвными именами, съ стихами и прозою, и даже виньеткою передъ заглавнымъ листкомъ, виньеткою, которая представляетъ, какъ торопится публика покупать „Вчера и Сегодня“. Заглянемъ же въ этотъ альманахъ.

Прежде всего поговоримъ о піесахъ покойнаго Лермонтова. Піесы эти суть два отрывка изъ начатыхъ повѣстей въ прозѣ и

изъ пяти стихотвореній. Первый отрывокъ довольно великъ, но не представляетъ ничего цѣлаго. Не-смотря на то, что его содержаніе фантастическое, читателя, невольно поражаетъ мастерство разсказа и какой-то могучій колоритъ, разлитый широкою кистью по недоконченной картинѣ. Съ непріятнымъ чувствомъ доходишь до конца этого отрывка, въ которомъ повѣсть не доведена и до половины, и становится тяжело увѣрить себя, что конца ея никогда не прочтешь... Второй отрывокъ очень коротокъ, но даетъ о содержаніи повѣсти понятіе, въ высшей степени завлекательное. Изъ стихотвореній, лучшее—„Отрывокъ“, гекзаметрами, въ древнемъ духѣ. Другія стихотворенія важны только въ психологическомъ отношеніи, какъ любопытные факты для изученія такой замѣчательной личности, какова была личность Лермонтова. Лучше другихъ стихотвореніе „Казбеку“.

„Собачка“, разсказъ графа Соллогуба—лучшая изъ презаческихъ статей здравствующихъ литераторовъ, которые снабдили альманахъ своими вкладами. Въ одинъ изъ городовъ Южной Россіи, пріѣхала на ярмарку труппа актеровъ. У жены содержателя труппы, Поченовскаго, была болонка, которую та „обожала“. Городничиха, увидѣвъ собачку, захотѣла во что бы ни стало получить ее. Но городничій встрѣтилъ по поводу собачки, неожиданное и упорное сопротивленіе со стороны Поченовскаго: жена антрепренѣра стоила жены городничаго, и любила собачку гораздо больше, нежели своего мужа. Тогда театръ, или сарай гдѣ давались представленія, оказался неблагонадежнымъ со стороны постройки и былъ запечатанъ. Товарищъ Поченовскаго отправился съ жалобою къ губернскому чиновнику, который, узнавъ о поступкѣ городничаго, обѣщавъ сослать его въ Сибирь. Но дѣло кончилось тѣмъ, что Поченовскій, обломавъ объ жену чубукъ и, съ своей стороны, потерпѣвъ отъ нея немалое увѣче, вырвалъ соба-

чонку, которой пришлось такъ невинно сыграть роль Елены прекрасной и чуть не погубить Трои — и представилъ ее городничему. Но это не все: за свое неповиновеніе начальству, онъ долженъ былъ прибавить къ собачонкѣ 500 рублей городничему, 300 рублей архитектору, да городничихѣ купить шаль въ 300 рублей. Городничій говорилъ: „Я бы и простилъ тебя да теперь время такое. Не могу, самъ видишь не могу; что станутъ въ народѣ говорить? Примѣръ будетъ дурной, послабленіе. Пеняй на себя, попалоя самъ; не послушалъ прія-теля... самому больно. — Кажется, заплакалъ бы, а дѣлать нечего; примѣръ нуженъ“. Послѣ этой сдѣлки, театръ вдругъ оказался безопаснымъ для представлений. Въ тотъ же вечеръ, послѣ спектакля, режисёръ шёлъ мертвую вмѣстѣ съ городничимъ, въ его же, городничаго, домъ. Послѣ многихъ тостовъ, провозгласили тостъ за процвѣтаніе театра; городничій распротеръ объятія, и красный, какъ клюква, Поченовскій бросился съ чувствомъ къ нему на шею. Оба были сильно растроганы, а у городничаго даже слезы навернулись на глазахъ.

Разсказъ графа Соллогуба оканчивается этими глубоко-знаменательными словами: „вотъ какіе еще бывали на святой Руси случаи, сорокъ лѣтъ тому назадъ!“

Довольно интересна статья г. Второва: „Гаврила Петровичъ Каменевъ“. Каменевъ былъ литераторъ, умершій назадъ тому сорокъ лѣтъ. Громкую извѣстность добылъ онъ себѣ тогда балладою „Громвалъ“, для того времени удивительною. Г. Второву попались въ руки письма и записки Каменева, которыя онъ и напечаталъ въ этой статьѣ. Какъ голосъ изъ могилы, какъ живая картина старины, написанная ея современникомъ безъ всякихъ претензій, — эти записки и письма тѣмъ болѣе любопытны, что русская литература совершенно бѣдна такого рода живыми помятниками.

Занимательная статья г. Струговщикова „О Шиллерѣ и Гёте“ заключена прекраснымъ переводомъ извѣстнаго стихотворенія Гёте „Богиня Фантазія“.

„Сиротинка“, рассказъ князя Одоевскаго, можно упрекнуть въ не совсѣмъ естественной идеализаціи быта деревенскихъ крестьянъ, на подобіе того, какъ они идеализируются въ дивертисманахъ, даваемыхъ на нашихъ театрахъ. Впрочемъ, видно, что этотъ рассказъ еще первый опытъ нашего даровитаго писателя на новомъ для него поприщѣ, къ которому онъ еще не успѣлъ привыкнуть. Но недостатки этого рассказа вполне выкупаются его прекрасною и благородною мыслию и цѣлюю.

Статья гр. А. Толстаго: „Артемій Семеновичъ Бервенковскій“... Но мы лучше не будемъ о ней говорить... *Nonni soit qui mal у pense.*

Теперь о стихотвореніяхъ. Тутъ помѣщена цѣлая повѣсть въ стихахъ, Жуковскаго: „Капитанъ Бошп“, представляющая чтеніе весьма назидательное. Кромѣ того, есть стихи графини Растопчиной, князя Вяземскаго, гг. Коренева, Тургенева, Языкова и Бенедиктова. Стихотвореніе г. Бенедиктова „Ревность“, принадлежитъ къ разряду невѣроятныхъ стихотвореній. И странно! эти невѣроятные стихи почему-то напомнили намъ превосходные стихи Лермонтова: „Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ?“

Да, воля ваша, а издать хорошія альманахъ, альманахъ безъ балласта, безъ статей уродливо безобразныхъ, оскорбляющихъ и вкусъ и смыслъ, безъ хлама посредственности и ничтожности, — издать такой альманахъ въ наше время очень трудно! При добровольныхъ вкладкахъ, всякое даваніе благо; тутъ выборъ невозможенъ; лепту отъ усердія не отвергають, хотя бы эта „лепта отъ усердія“ означала только желаніе отдѣлаться отъ просьбъ чѣмъ-нибудь. Какимъ бы талантомъ и какимъ бы вкусомъ ни обладалъ составитель альманахъ, но не

въ его волѣ, не въ его возможности отдѣлаться отъ невѣроятныхъ стиховъ въ родѣ „Ревности“ и невѣроятной, прозы въ родѣ „Артемія Семеновича Бервенковскаго“...

---

**НОВЫЙ ГОСТЬ.** *Издание Александра и Карла Реймера. Визитъ I. Спб. 1845.*

Вотъ и еще альманахъ, если ужъ пошло на альманахи! Но это альманахъ совсѣмъ другаго рода, нежели „Вчера и Сегодня“: это альманахъ плебей, альманахъ пятнадцатаго класса, книга для утѣшенія переднихъ и прихожихъ: „Новый Гость“ щеголяетъ и стихами и прозою; но въ немъ все свое, все соответствующее одно другому, все заклемено печатью ничтожества, пошлости. Имена господъ, украсившихъ своими дивными произведеніями этотъ неслыханный альманахъ,— эти имена невѣроятны. Судите сами: издалъ его г. Александръ (онъ же и Карлъ) Реймеръ, надѣлили его своими статьями гг. Невидимка, Ипполитъ Голубинъ, Анатолій Р., Ѳ. П—въ, Адамъ Семигорскій, панъ Маревскій, А. Борисовъ. Какими горемыками смотрятъ статьи всѣхъ этихъ неслыханныхъ именъ! Какъ видно, что онѣ давно потеряли надежду увидѣть себя допущенными въ какое-нибудь порядочное издание! Съ горя, рѣшились онѣ сойтись въ этой книжонкѣ, гдѣ все плохо... Нѣтъ, этому альманаху слѣдовало бы назваться не „Новымъ Гостемъ“, а какъ-нибудь иначе. Но онъ непремѣнно хочетъ пролѣзть въ гости и дѣлаетъ первый визитъ, грозя вторымъ. Едва ли кто отворитъ ему дверь и скажетъ: „добро пожаловать!“ Въ мѣшкахъ у букинистовъ, на ларяхъ Апраксина Двора,— вотъ гдѣ придется ему гостить... Туда и дорога!...



## МЕТЕОРЪ, на 1845 годѣ. Спб.

Не пугайтесь этого метеора: онъ не страшенъ. Мы даже думаемъ, что вы и не замѣтили бы его появленія на горизонтѣ современной русской литературы, еслибъ мы не заговорили о немъ съ вами. Этотъ „Метеоръ“ — невинный сборникъ разныхъ стишковъ, изъ которыхъ нѣкоторые, право, недурны, хотя и не отличаются особенными красотами поэзіи. Времена переходчивы! Подобно альманахамъ, стихи были въ большой модѣ и появившись эта книжка въ свое время, то есть, лѣтъ двадцать или, ужь покрайней мѣрѣ, лѣтъ пятнадцать назадъ, — она надѣлала бы большаго шума: журналы и хвалили и бранили бы ее, спорили бы мѣз-за нея другъ съ другомъ, какъ-будто изъ за дѣла; публика покупала и читала бы ее. Ничего этого теперь не будетъ съ нею. Ей нечего опасаться и брани; ея не тронуть даже по лѣности; читать же ее советуемъ всѣмъ — на сонъ грядущій: въ этомъ отношеніи, дѣйствіе „Метеора“ ни съ чѣмъ несравнимо; мы испытали это на самихъ себѣ и даже среди бѣлаго дня. Признаемся, это обстоятельство заставило насъ порадоваться за успѣхъ русской литературы. Наша стихотворная поэзія по справедливости можетъ гордиться созданіями истинно изящными, именами истинно гениальными; нельзя сказать, чтобъ она бѣдна была и талантами. Она совершила циклъ полный и законченный, — такъ что теперь уже нѣтъ возможности доставать славу невинными стишками, какъ бы они хороши ни были. Таланта для этого мало: нужна гениальность, а если и талантъ, то соединенный съ большимъ умомъ, съ сильною натурою. Быть поэтомъ теперь значитъ — мыслить поэтическими образами, а не щебетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтобъ быть поэтомъ, нужно не мелочное желаніе выказаться, не грезы праздноватающей фантазіи, не выписныя чувства, не нарядная печаль: нужно могучее

сочувствіе съ вопросами современной дѣйствительности. Поэзія, которой корни находятся въ прихотяхъ, скорбяхъ или радостяхъ самолюбивой личности, носящейся, какъ курица съ яйцомъ, съ своими прекрасными чувствами, до которыхъ никому нѣтъ дѣла,—такая поэзія, вмѣсто вниманія, заслуживаетъ презрѣніе. Всякая поэзія, которой корни не въ современной дѣйствительности, всякая поэзія, которая не бросаетъ свѣта на дѣйствительность, объясняя ее,—есть дѣло бездѣлья, невинное, но пустое препровожденіе времени, игра въ куклы и бирюльки, занятіе пустыхъ людей... Давно уже утвердилось мнѣніе, и существуетъ до сихъ поръ, что поэтъ—пустой человѣкъ, неспособный ни къ какому дѣлу. Это мнѣніе варварски ложно, когда оно прилагается къ поэтамъ или гениальнымъ, или проявившимъ въ своихъ твореніяхъ положительный, никакому сомнѣнію неподлежащій талантъ, — талантъ, запечатлѣнный оригинальностью идеи, самобытностью формы. Пусть такой поэтъ и дѣйствительно неспособенъ ни къ какому другому дѣлу: онъ имѣетъ на это полное право, потому что способенъ къ своему дѣлу, для котораго годятся не всѣ, но одинъ изъ ста тысячъ, если не изъ милліона людей. Это мнѣніе страшно истинно, когда оно прилагается къ тѣмъ поэтамъ, у которыхъ, вмѣсто таланта, есть только способность къ поэзіи; которыхъ сочиненія, какъ говорится, только что недурны, и которые, ставъ выше бездарности, все-таки не дошли до таланта. Такіе поэты—самые жалкіе люди въ мірѣ, и конечно, всякій водовозъ, всякій дворникъ, на лѣствицѣ общественной іерархіи, есть почтенное существо въ сравненіи съ этими пнекливыми и крикливыми воробьями царства поэзіи, потому что водовозъ и дворникъ полезны и необходимы для общества. Совершенно бездарный поэтъ лучше маленькихъ талантиковъ: на него, по крайней мѣрѣ, можно смотрѣть какъ на больнаго, или помѣшаннаго, и онъ рѣдко заноч-

сится и зазнаётся, не балуемый мелочными успѣхами. Но маленькіе талантики — несносные люди, раздражительные, мелочные, самолюбивые, заносчивые. Они не знаютъ, какъ и оцѣнить себя; ихъ чувствованьица, ихъ фантазійки, ихъ мыслишки кажутся имъ великими открытіями. Они и не догадываются, что все это у нихъ краденое, т. е. вычитанное, или, какъ превосходно выразилъ это Лермонтовъ, „плѣнной мысли раздраженіе“. Они увѣрены, что только одни они и чувствуютъ, и мыслятъ, и страдаютъ, — и потому нещадно бранятъ толпу, которая предпочитаетъ свои домашнія заботы и личныя выгоды ихъ хорошенькимъ стишкамъ. Къ дѣлу они неспособны ни къ какому, потому что самолюбивы, надуты, тщеславны, все, кромѣ стишковъ, считаютъ ниже себя, не хотятъ ничему учиться, ни на что посмотреть со вниманіемъ. Они — изволите видѣть — гении, толпа должна видѣть ореолъ надъ ихъ головами, а на челѣ звѣзду безсмертія. Такихъ поэтовъ надо преслѣдовать критикѣ неутомимо и строго; они вреднѣе вовсе бездарныхъ, которые не стѣяютъ никакого вниманія; они подаютъ дурной примѣръ молодежи: соблазняя мальчиковъ дешево покупаемою славой, они отвлекаютъ ихъ отъ ученія и отъ дѣла.

И на что намъ они, эти пріятные поэты, эти маленькіе талантики? Что въ нихъ? Было время, и они были полезны и нужны! Но теперь, когда Пушкинъ и Лермонтовъ показали намъ образцы высокой поэзіи; когда менѣе сильные таланты разрабатывали ее поле, подали примѣръ всѣхъ формъ, даже всѣхъ уклоненій и странностей поэзіи, — теперь, что дѣлать мелкимъ талантамъ? Вздумаетъ ли талантикъ писать басни, — кто же его станетъ читать послѣ Крылова, и въ состояніи ли онъ быть для своего времени тѣмъ, чѣмъ для своего были Хемницеръ и Дмитріевъ? Вздумаетъ ли онъ, напримѣръ, попробовать свои силы въ классическо-французской трагедіи, — ему непремѣнно

нужно для своего времени стать хоть тѣмъ, чѣмъ для своего былъ Озеровъ. Рѣшиться на борьбу съ Батюшковымъ еще мѣнѣе возможно для него. Пуститься развѣ въ романтизмъ? — но тогда надо крѣпко помнить, что вѣдь у насъ есть Жуковский. Стало-быть, нѣтъ надежды и на возобновленіе старины. Возможность комедіи въ стихахъ убита Грибоѣдовымъ. Пѣть буйныя плотскія потѣхи? — но это уже сдѣлалъ г. Языковъ. Пуститься въ дикую оригинальность — мѣшаетъ г. Бенедиктовъ. И такъ, ни стараго возобновить, ни новаго изобрѣсти: что же дѣлать?... Всего лучше ничего не дѣлать.

Но мы заговорили и забыли о „Метеорѣ“; возвратимся къ нему. Онъ украшенъ стихами графини Растопчиной, гг. Майкова, Бенедиктова, Мейснера, Познанскаго, Шевцова, Степанова, Якубовича, Филимонова, Дурова Протопопова, Пальма, Бернета, Доводчикова, Огородникова, Григорьева, Гребенки, Гербаловскаго, Соколовскаго... Сколько именъ! Мы теперь столько же богаты поэтами, сколько бѣдны поэзіею. Особенно яркаго, рѣзко выдающагося изъ-подъ уровня обыкновенности, въ „Метеорѣ“ нѣтъ ничего. Лучше другихъ три стихотворенія г. Майкова; хуже всего стихи гг. Степанова, Шевцова, Филимонова, Якубовича, Соколовскаго и многихъ другихъ. Господи Боже мой! неужели гг. Якубовичъ и (особенно) Соколовскій никогда не перестанутъ даже и изъ могилы мучить живыхъ своими водяными виршами? Что за неугомонный народъ эти поэты!.. Г. Бернетъ нѣкогда подавалъ надежды. Но ему суждено было на всю жизнь остаться тѣмъ, чѣмъ онъ обнаружилъ себя въ то время, когда подавалъ надежды. Теперь, кажется, уже нечего отъ него надѣяться. Въ „Метеорѣ“ напечаталъ онъ вторую часть своей поэмы „Графъ Мецъ“, написанной имъ еще въ 1841 году. Неужели онъ столько времени берегъ въ своемъ портфѣлѣ эту кипу писанной бумаги?... Что такое эта поэма? Мы ничего въ ней не поняли, и,

вслѣдствіе этого обстоятельства, вспомнили эпиграмму старика Дмитріева;

Ужь подлинно Бибрусь боговъ языкомъ пѣлъ:  
Изъ смертнымъ-бо его никто не разумѣлъ.

Графъ Мецъ, графиня Клавдія, жена его, Праздникъ оборотней, Распорядитель, Лъстець, Шуть, Наглець, Антропосъ, Горлакъ, Трубочистъ, Трезоръ (цесъ), Оркестръ, Компонистъ, Башмачникъ, Первая Часть Поэмы, Вторая Часть Поэмы (все это дѣйствующія лица), Критикъ, Попугай, Канчукъ (Хохоль), Бандуристъ, Хоръ Дѣвушекъ, Ребятишки, Молодой Офицеръ, сраженіе, дѣвушка предводительствуетъ эскадрономъ, ее убиваетъ графъ Мецъ и узнаетъ въ ней предметъ своей любви... что за путаница! Это одно изъ тѣхъ злополучныхъ произведеній, которыхъ тысячи порождены „Фаустомъ“ Гёте и „Манфредомъ“ Байрона; слѣдовательно, это новое „плѣнной мысли раздраженіе“. Второстепенные таланты любятъ тянуться за геніями, и думаютъ идти по ихъ гигантскимъ слѣдамъ, копируя ихъ недостатки. Нелѣпыя сцены колдовства и вальбургснахтъ въ „Фаустѣ“ мелкими талантами приняты добродушно за красоты перваго разряда, и этимъ-то безобразнымъ красотамъ они и подражаютъ въ-запуски. Недавно одинъ плохой писака, хватавшійся за всѣ роды поэзіи (преимущественно за драмы для „Александринскаго театра“) и во всѣхъ равно оказавшійся бездарнымъ, рѣшился пуститься въ критику. Губительное перо свое онъ навесъ на „Фауста“ и на переводъ этой поэмы г. Воронченко. Въ этой критикѣ онъ полными горстями высыпалъ всѣ тамъ и сямъ вычитанныя и непонятныя имъ мысли и о „Фаустѣ“, и о Гёте, и о томъ и о сёмъ, а больше ни о чемъ. Мысли г. Воронченко онъ очень вѣжливо называлъ визиготскими и еще Богъ знаетъ какими: образчикъ литературной вѣжливости... Но самая забавная сторона его критики заключается въ усиліи доказать, что вторая часть „Фауста“ —

этотъ сборъ холодныхъ аллегорій, старческихъ мыслей, мистическаго умничанья,—сборъ, изрѣдка сверкающій искрами гения, но въ цѣломъ утомительно-скучный и безобразно странный, — что вторая часть „Фауста“ выше первой, истинный chef-d'oeuvre поэзіи... Видите ли, что больше всего нравится господамъ этого разряда?—именно то, что они всего меньше въ состояніи понять, что бросается въ глаза своею странностью. Истинная, простая поэзія имъ никогда не нравится...

Кромѣ „Графа Меца“, г. Бернетъ напечаталъ въ „Метеорѣ“ четырнадцать мелкихъ піесъ: мелочь во всѣхъ отношеніяхъ! Но что въ „Метеорѣ“ доставило намъ истинное удовольствіе, до слезъ развеселило насъ, — это стихотвореніе г. Бенедиктова: „Тостъ“. Не можемъ отказать себѣ въ наслажденіи подѣлиться съ читателями нашимъ весельемъ. Но стихотвореніе это столько же огромно, сколько и прекрасно: всего нельзя выписать; ограничимся лучшимъ:

Жизнь—сія! Твой свѣточъ—разумъ.  
 Да не меркнетъ подъ тобой  
 Свѣтъ сей, вставленный алмазомъ  
 Въ перстень вѣчности самой!

Удивительно! Разумъ сперва является свѣточемъ жизни; потомъ уходитъ подъ-жизнь и наконецъ дѣлается алмазомъ и попадаетъ въ перстень вѣчности! Какая глубокая мысль — ничего не поймешь въ ней! Господа современные русскіе стихотворцы, объясните намъ смыслъ этой глубокой мысли: тысяча плодовъ російскихъ стихотвореній въ награду!

Въичень лавромъ или киртомъ —  
 На подобіе сихъ чашъ,  
 Буди налить черепъ нашъ  
 Сокомъ думъ и мысли спиртомъ!

Браво! брависсимо! На подобіе чашъ, налить черепа живыхъ (физически) людей „сокомъ думъ и спиртомъ мысли“: какая

счастливая, оригинальная мысль! Жаль только, что она будет въ подрывъ откупами и погребамъ. Далѣе, поэтъ настаиваетъ въ своемъ намѣреніи возчествовать юныхъ дѣвъ и добрыхъ женъ,

*Снхъ боишь огне-сердечныхъ,  
Кѣмъ миръ цѣлый проведенъ  
Черезъ святую персей млечныхъ,  
Колыбели и пеленъ.*

.....  
*Этихъ ворлицъ, этихъ львицъ,  
Расточительницъ блаженства  
И страданія царицъ!*

Молніеносными чертами рисуетъ потомъ поэтъ географію и анатомію Россіи:

*Чудный край! черезъ Алтай  
Бросивъ локоть на Китай,  
Темъ вспрыснувъ Океаномъ,  
Въ Балтъ ребромъ, плечемъ въ Атлантъ(!),  
Въ полюсъ лбомъ, пятой къ Балканамъ  
Мощный тянется (?) гигантъ.*

Потомъ, поэтъ, пришедъ въ вящій восторгъ, предлагаетъ выпить сока думъ и спирта мысли—

*Въ славу солнечной системы,  
Въ честь и солнца и планетъ,  
И дружию огне-дрмлатыхъ  
Длиннохвостыхъ, бородастыхъ  
Быстрыхъ бѣшеныхъ кометъ.*

Наконецъ, ему показалось, что земля

*Мчится въ пляскѣ круговой  
Въ паръ съ вѣрною луной,—*

и что „всѣ міры танцуютъ“...

Жалѣемъ, что не могли вынести этого дивнаго днѣнрамба вполне: въ немъ еще осталась-столько „соку думъ и спирту

мысли"!... Правъ, тысячу разъ правъ г. Шевыревъ, доказавшій, что до г. Бенедиктова въ русской поэзіи не было мысли, и что Державинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ—поэты безъ мысли. Да, только съ появленія книжки стихотвореній г. Бенедиктова, русская поэзія преисполнилась не только мыслию, но и сокомъ духа и спиртомъ мысли...

*ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХЪ ПРАВОВЪ, представленныя въ иллюстрированныхъ повѣстяхъ, и разсказахъ, издаваемыхъ подъ редакціею Николая Кирилова. Спб. 1845.*

Эта книжка, красиво изданная, съ хорошенькими полдтипажами, состоитъ изъ одного разсказа: „Тертый Калачъ, сцены изъ провинціальной жизни“. Въ этомъ разсказѣ есть довольно забавныя черты и, можетъ-быть, много правды; но въ немъ вовсе нѣтъ т и п о в ъ: отъ этого очень скучно читать его. Многіе думаютъ, что писать въ юмористическомъ родѣ ничего не значить; такъ-де вотъ возьми да и списывай съ природы. Конечно, выйдетъ хорошо, если кто умѣетъ хорошо списывать съ природы: и это тоже талантъ своего рода, хотя и талантъ низшій. Ужъ кто лучше дагерротипа списываетъ?—а между тѣмъ, какъ далеко ниже сколько нибудь порядочнаго живописца самый лучшій дагерротипъ! И потому, повторяемъ: хорошо, если кто умѣетъ быть хорошимъ дагерротипомъ въ литературѣ, но несравненно лучше и почетнѣе быть въ литературѣ живописцемъ. Міръ пошлой повседневности, міръ прозы жизни, для своего воспроизведенія, такъ же требуетъ вдохновенія, творчества, таланта и генія, какъ и міръ великихъ характеровъ дѣяній и страстей. И потому, фламандская школа живописи стоитъ всякой другой. Но за то, когда, у писателя



нѣтъ способности быть даже дагерротипомъ, — простое списываніе съ природы бываетъ у него очень отвратительно: въ высокомъ и патетическомъ, оно переходитъ у него въ сентиментальность и надутость; въ комическомъ и юмористическомъ — въ пошлость и тривіальность, — и въ обоихъ случаяхъ равно никогда не имѣетъ никакого сходства съ изображаемою природою. Къ такому роду рабскихъ снимковъ съ природы принадлежитъ „Тертый Калачъ“: въ немъ, можетъ быть, узнаютъ себя пять или шесть человекъ во всей Россіи, но больше никто не узнаетъ, и эта книжка можетъ возбудить интересъ только въ томъ мѣстѣ, гдѣ живутъ оригиналы ея, потому что въ ней нѣтъ ничего общаго, типическаго, хотя она и претендуетъ на тицы...

---

**КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КРЕСТОВЫХЪ ПОХОДОВЪ.** *Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1845.*

Нѣмецкій подлинникъ этой исторіи принадлежитъ къ собранію исторій разныхъ государствъ, извѣстному подъ именемъ „Всеобщей Исторической Карманной Библіотеки. „Краткая Исторія Крестовыхъ Походовъ“ переведена была гдѣ-то за восемь передъ симъ; но какъ ея переводчикъ узналъ, что г-нъ Погодинъ издаетъ въ Москвѣ переводъ всего этого сборника подъ именемъ „Всеобщей Исторической Библіотеки“, — то и оставилъ намѣреніе печатать трудъ свой. Г. Погодинъ издалъ исторію Неаполя, Пруссіи, Швеціи да на томъ и остановился. Видя, что предпріятію г. Погодина не суждено дойти до вожделѣннаго конца, переводчикъ „Краткой Исторіи Крестовыхъ Походовъ“, наконецъ, рѣшился издать въ свѣтъ свой переводъ. Нельзя не согласиться, что этимъ оказалъ онъ боль-

шую услугу русской литературѣ. „Исторія Крестовыхъ Походовъ“ Минно, весьма плохо переведенная на русской языкъ, очень обширна, и поэтому именно не уничтожаетъ потребностей въ болѣе краткомъ сочиненіи о томъ же предметѣ. Сверхъ того, переводчикъ не просто переводилъ, но частію и перелѣвывалъ. „Такъ какъ“ (говоритъ онъ въ предисловіи): „въ разработкѣ исторіи крестовыхъ походовъ въ новѣйшее время, особенно на нѣмецкомъ языкѣ, изслѣдованія значительно подвинулись впередъ: то переводчикъ почелъ себя въ правѣ и даже обязаннымъ воспользоваться нѣкоторыми изъ сихъ поясненій, и принялъ оныя въ текстъ“. Такимъ образомъ, изъ его перевода вышла книга едва ли не лучше подлинника, книга умная, проникнутая мыслию, запечатлѣнная единствомъ воззрѣнія. Излагая событія этого великаго, страннаго, огромнаго, дикаго, фантастическаго и сумасброднаго событія, вполне достойнаго невѣжества и варварства среднихъ вѣковъ, — переводчикъ смотритъ на него глазами современной науки, глазами чистаго разума, не увлекаясь никакими предубѣжденіями, ни фантастическими, ни рациональными. Выказывая въ истинномъ свѣтѣ немногія личности, исполненныя набожности и доблести, немногіе поступки, нечуждые челоуѣчности, — онъ въ то же время яркими красками изображаетъ невѣжество, своекорыстіе, развратъ, невѣріе, смѣшанное съ дикимъ фанатизмомъ, звѣрство, жестокость и кровожадность рыцарей гроба Господня, равно какъ и не скрываетъ превосходства мусульманъ надъ христіанами въ чувствѣ нравственности и гуманности. Вообще, главную причину этого событія видитъ онъ преимущественно въ хитрой и своекорыстной политикѣ папъ, для которыхъ крестовые походы явились прекраснымъ средствомъ отдѣлаться отъ многихъ государей, опасныхъ ихъ самовластію, и, слѣдовательно, средствомъ къ увлеченію вліянія, силы и преобладанія престола намѣстниковъ св. Петра

надъ властями свѣтскими. Но что всего лучше, переводчикъ „Исторіи Крестовыхъ Походовъ“ видитъ въ этомъ невѣжественномъ событіи великій шагъ впередъ со стороны человѣчества на пути къ эманципации отъ невѣжества; видитъ въ немъ причину паденія папскаго авторитета, слѣдовательно, видитъ прогрессъ. Вспомнимъ, что крестовые походы кончились въ концѣ XIII столѣтія, а въ концѣ XIV, явился Вилкельмъ, въ началѣ XV Іоаннъ Гуссъ, а въ послѣдней половинѣ того же XV столѣтія родился Лютеръ, выступившій на свое великое дѣло въ началѣ XVI вѣка (1517)...

Жаль только, что такая прекрасная книга, какъ „Краткая Исторія Крестовыхъ Походовъ“, мѣстами переведена несовершенно изящно, и въ ней попадаются такіе фразы и слова, которыя иной, пожалуй, сочтетъ за умышленное искаженіе русскаго языка. Во Франціи самая пошлая книжонка пишется правильно; а мы неужели еще не выучились внимательно издавать дѣльные книги?...

**КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪ, ВОШЕДШИХЪ ВЪ СОСТАВЪ РУССКАГО ЯЗЫКА, издаваемый Н. Кириловымъ**  
*Спб. MDCCCXLV. Выпускъ первый.*

Въ русскій языкъ по необходимости вошло множество иностранныхъ словъ, потому что въ русскую жизнь вошло множество иностранныхъ понятій и идей. Подобное явленіе не ново. Хотя изъ новѣйшихъ европейскихъ языковъ, нѣмецкій—языкъ коренной и самостоятельный, однако въ него проникло множество греческихъ, латинскихъ, французскихъ и итальянскихъ словъ. Изобрѣтать свои термины для выраженія чужихъ понятій очень трудно, и вообще этотъ трудъ рѣдко удается.

Потому, съ новымъ понятіемъ, которое одинъ беретъ у другаго, онъ беретъ самое слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ дѣйстви видна справедливость: какъ бы въ награду за понятіе, рожденное народомъ, переходитъ къ другимъ народамъ и слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ отношеніи, всѣ образованные народы—должники и вассалы древнихъ Грековъ и Римлянъ,—и противъ нравственной зависимости этого рода, столь законной и справедливой, могутъ вооружаться только умы слабые и мелкіе, увлекаемые ложнымъ патриотизмомъ. Что за дѣло, какое и чье слово, лишь бы оно вѣрно передавало заключенное въ немъ понятіе! Изъ двухъ сходныхъ словъ, иностраннаго и роднаго, лучшее есть то, которое вѣрнѣе выражаетъ понятіе. Языки голландскій и англійскій всегда были, есть и будутъ богатѣйшими для выраженія понятій, относящихся къ мореплаванію и флоту вообще; такъ же, какъ итальянскій—для терминовъ по части искусствъ, въ особенности музыки и живописи; французскій—какъ языкъ общества; нѣмецкій—какъ языкъ ученый и, въ особенности, философскій. Всѣ народы жьняются словами и занимаютъ ихъ другъ у друга. Въ Западной Европѣ, по вѣгеографическому положенію, нѣтъ предмета, который далъ бы понятіе о степи, слѣдовательно, нѣтъ и слова степь, и оттого во французскій языкъ вошло русское слово *steppe*. Хорошо, когда иностранное понятіе само собою переводится русскимъ словомъ, и это слово, такъ сказать, само собою принимается: тогда нелѣпо было бы вводить иностранное слово. Но создатель и властелинъ языка—народъ, общество: что принято ими, то безусловно хорошо; грамотѣи должны безусловно покоряться ихъ рѣшенію; общество не прійметъ, на примѣръ „побудки“ вмѣсто инстинкта, и „сверкальцевъ“, вмѣсто алмазовъ и брильянтовъ. Что такое алмазъ или брильянтъ,—это знаетъ всякій стекольщикъ, почти всякій мужикъ; но что такое „сверкальцы“,—этого не

знаетъ ни одинъ русскій человѣкъ... Нѣтъ ничего смѣшнѣе и нелѣпѣе книжныхъ словъ, столь любимыхъ педантами. Пуристы боятся ненужнаго наводненія иностранныхъ словъ: опасеніе больше чѣмъ неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится въ языкѣ, сколько ни старайтесь ввести его въ употребленіе. Книжники старой до-Петровской Россіи употребляли слово аеръ; но оно и осталось въ книгахъ, потому что въ устахъ народа русское слово воздухъ было ничѣмъ не хуже какого-нибудь аера. Галломаны писывали: воздухъ „ондируется“, „имажинація“, и эти нелѣпости не удержались. Стражъ чистоты языка—не академія, не грамматика, не грамматѣи, а духъ народа...

Такъ какъ, по новости русскаго образованія, новый русскій языкъ еще не установился и вѣроятно долго не установится, то естественно, что въ него вдругъ вторглось множество иностранныхъ словъ. Это обстоятельство дѣлало необходимымъ словарь такихъ словъ. Наконецъ, такой словарь является. Мы тѣмъ болѣе рады ему, что онъ составленъ умно, съ знаніемъ дѣла, словомъ столько удовлетворителенъ, сколько отъ перваго опыта и ожидать нельзя. Есть, конечно, недостатки, такъ напримѣръ, неполнота: нѣтъ словъ: грамматика, граммата, — но, несмотря на то, этотъ словарь, какъ первый опытъ, все-таки превосходенъ. Когда онъ выйдетъ вполнѣ, мы еще скажемъ о немъ нѣсколько словъ; а пока советуемъ запасаться имъ всѣмъ и каждому.

---

СТИХОТВОРЕНІЯ ЭДУАРДА ГУБЕРА. *Спб.* 1845.

Что нужно человѣку для того, чтобы писать стихи?—Чувство, мысли, образованность, вдохновеніе, и т. д. Вотъ что отвѣтятъ вамъ всѣ на подобный вопросъ. По нашему мнѣнію,

всего нужнѣе — поэтическое призваніе, художническій талантъ. Это главное; все другое идетъ своимъ чередомъ уже за нимъ. Правда, на одномъ талантѣ въ наше время не далеко уйдешь; но дѣло въ томъ, что безъ таланта нельзя и двинуться, нельзя сдѣлать и шагу, и безъ него ровно ни къ чему не служить поэту ни наука, ни образованность, ни симпатія съ живыми интересами современной дѣйствительности, ни страстная натура, ни сильный характеръ; безъ таланта, все это — потерянный капиталъ. Но въ чемъ же состоитъ талантъ? Въ непосредственной способности поэтически воспринимать чувствомъ впечатлѣнія дѣйствительности, и воспроизводить ихъ дѣятельностью фантазіи въ поэтическихъ образахъ. Замѣтите: непосредственной, т. е. такой способности, которую размышленіе и мысль вообще можетъ развивать и усиливать (а иногда заглушать и ослаблять), но которую даетъ природа, а не размышленіе, не мысль. И такъ, эта способность есть счастливый даръ природы, составляетъ свойство, качество личности, но не заслугу съ ея стороны, такъ же, какъ красота не составляетъ заслуги женщины. Чувство есть одинъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей поэтической природы; безъ чувства нѣтъ ни поэта, ни поэзіи; но тѣмъ не менѣе можно имѣть чувство, даже писать недурные стихи, насквозь проникнутые чувствомъ, — и нисколько не быть поэтомъ. Вы знаете романсъ Мерзлякова — „Велизарій“, начинающійся стихомъ:

Малютка, шлемъ нося,  
просишь:

Вы знаете пѣсню Мерзлякова: „Среди долины ревныя“? Развѣ въ нихъ нѣтъ чувства. Напротивъ, очень много; а между тѣмъ, обѣ эти пѣссы, особенно послѣдняя, теперь больше сильны, нежели трогательны. То же самое можно сказать почти обо всѣхъ произведеніяхъ нашихъ старинныхъ поэтовъ особенно Карамзинской эпохи. Вспомните, или перечтите пѣссы: „Выгду я на рѣчоньку“, „Ракса“, „Пей во кракъ тихой

рощи“; „Кто могъ любить такъ страстно“; „Мы желали — и совершилось“; „Доволенъ я судьбою“; „Вѣютъ осенніе вѣтры“; „Видѣлъ славный я дворець“; „О любезный, о мой милый“; „Безъ друга и безъ милой“; „Куда мнѣ, сердце страстно“; „Что съ тобою, ангель, стало“; „Стонетъ сизый голубчикъ“; „Ахъ, когда бъ я прежде знала“, и пр. Всѣ онѣ въ свое время считались образцовыми произведеніями поэзіи, восхищали цѣлую эпоху; ихъ читали, пѣли, покупали книгами, списывали въ тетради; всѣ онѣ написаны людьми съ душою и сердцемъ и проникнуты чувствомъ, — а между тѣмъ, забыты теперь и смѣшать насъ, какъ парики и фижмы. Чтò сгубило ихъ? — То, что для поэзіи мало одного чувства, а нуженъ прежде всего талантъ. Стало — быть, у авторовъ этихъ піесъ не было таланта? — Напротивъ, былъ талантъ, и еще замѣчательный; но талантъ чисто бельетристическій и почти вовсе не поэтический. Выразить хорошими, по своему времени, стихами какое-нибудь ощущеніе, или чувство — еще не значить быть поэтомъ. Державинъ составляетъ исключеніе изъ нашихъ старинныхъ поэтовъ. Многія его піесы страшно сухи и скучны, потому что въ нихъ, кромѣ риторики, нѣтъ ничего, и потому теперь нѣтъ никакой возможности читать ихъ; но у него же есть много піесъ, которыя теперь устарѣли по языку, мѣстами не чужды риторики, словомъ, заключаютъ въ себѣ большіе недостатки; но эти піесы и теперь нисколько не смѣшны, потому что сквозь ихъ старинную форму, сквозь ихъ недостатки проблескиваютъ, какъ яркая молнія среди ирачьей ночи, красоты геніальныя. У Державина есть піесы, которыя мѣстами и теперь можно читать съ живѣйшимъ восторгомъ, съ истиннымъ наслажденіемъ и есть другія, которыя и въ цѣломъ прекрасны. Чтò же далъ Державину такое огромное преимущество передъ всѣми поэтами его времени и даже явившимися послѣ него, когда уже

языкъ русскій сдѣлалъ большой шагъ впередъ? — Непосредственный талантъ творчества. Поэзія Державина исполнена проблесковъ художественности, и если художественный элементъ не могъ освободить его отъ риторики и сдѣлать его поэтомъ вполне, — причина этого не недостатокъ, не слабость таланта, а время въ которое Державинъ жилъ и которое не допустило развиться въ полнотѣ его громадному, великому таланту. Художественный элементъ, проглянувъ въ поэзіи Державина, надолго скрылся вовсе изъ русской поэзіи. Карамзинъ, Нелединскій-Мелецкій и особенно Дмитріевъ и Озеровъ много сдѣлали, чтобъ приготовить и угладить дорогу для торжественной колесницы поэзіи; но поэтами они не были, — они были только даровитыми и блестящими бельетристами въ области поэзіи. Явился Жуковскій — и оплодотворилъ почву русской поэзіи сѣменами романтизма. Но тутъ заслуга состояла больше въ расширеніи круга содержанія для русской поэзіи, доселѣ страдавшей скудностію содержанія и по неволѣ прибѣгавшей къ риторикѣ, нежели въ созданіи образцовъ художественности. Впрочемъ, и съ этой стороны въ лицѣ Жуковского русская поэзія сдѣлала значительный шагъ впередъ. Его стихъ, своею отдѣлкою, далеко оставилъ за собою стихъ Державина, Дмитріева, Озерова и сверхъ-того отличался оригинальностью, силою, упругостью. Собственныя его произведенія, особенно патріотическія (и преимущественно „Пѣвцы во ставѣ русскихъ воиновъ“) принадлежать больше къ области краснорѣчія, нежели къ области поэзіи и, поэтому, представляютъ собою ложные образцы поэзіи, которые никакимъ образомъ не могутъ быть даже и сравниваемы съ лучшими писаніями Державина, хотя и далеко превосходятъ послѣднія со стороны языка и вообще технической отдѣлки. Художественные переводы Жуковского (особенно изъ Шиллера, наковы: „Орлеанская Дѣва“, „Торжество Побѣдителей“, Жалобы Царяри“



и многіе другіе) относятся къ Пушкинской эпохѣ русской поэзіи. Почти въ то время, какъ Жуковский началъ вносить романтику въ содержаніе русской поэзіи, — Батюшковъ началъ возводить ее до художественности въ формѣ. Талантъ Батюшкова гораздо меньше таланта Державина, но, мимо всякихъ сравненій, это былъ замѣчательно сильный талантъ. Благодаря услугамъ, оказаннымъ языку и стиху русскому Карамзиннымъ, Дмитріевымъ, Озеровымъ и собственной наклонности къ классической поэзіи древняго міра, Батюшковъ въ художественности формъ ушелъ несоразмѣрно дальше Державина. Можно сказать, что художественный элементъ впервые выглянулъ въ поэзіи Державина, а въ поэзіи Батюшкова онъ уже силится взять перевѣсъ надъ беллетристикою и риторикою. Но до полной художественности Батюшкову не дано было дойти: это было дѣло гения, а не таланта, хотя бы и большаго. Явился Пушкинъ — и русская поэзія перестала быть стремленіемъ къ поэзіи, какъ у Державина; перестала быть беллетристикою, какъ у Карамзина, Дмитріева, Озерова; перестала быть исключительною поэзію одного только рода, какъ у Крылова; перестала быть одностороннимъ романтическимъ стремленіемъ къ неопредѣленному и туманному, какъ у Жуковского; перестала быть стремленіемъ къ художественности, какъ у Батюшкова; но явилась истинною, художественною, творческою поэзіею.

Вотъ этотъ-то элементъ, который такъ усиленно стремился развиться въ русской поэзіи, и который въ поэзіи Пушкина сдѣлался самостоятельнымъ и, подобно свѣту проникающему кристаллъ, проникъ все другіе элементы его поэзіи, — этотъ-то элементъ и есть произведеніе непосредственной способности поэтически воспринимать впечатлѣнія дѣйствительности и воспроизводить ихъ, дѣятельностію фантазіи, въ поэтическихъ образахъ, — способности, которая составляетъ творческій та-

лантъ. Этотъ талантъ проявляется и въ концепціи дѣлаго созданія, и въ идеяхъ, и въ чувствахъ и въ стихѣ, которые прежде всего должны быть поэтическими. Поэзія и стихотворство — двѣ вещи совершенно различныя, потому что въ стихѣ бываютъ достоинства внѣшнія и внутреннія: можно поддѣлаться подъ стихъ Пушкина, но легче создать свой собственный стихъ, неуступающій его стиху, нежели усвоить его стихъ, потому что сила, энергія, упругость, гибкость, прелесть, грація, полнота, звучность, гармонія, живописность и пластичность его стиха происходятъ не отъ внѣшней его отдѣлки, а отъ внутренней его жизненности, которую вдохнула въ него творческая власть и сила поэта.

Вотъ мысли, на которыя невольно навело насъ чтеніе стихотвореній г. Губера. Въ этихъ стихотвореніяхъ мы увидѣли хорошо обработанный стихъ, много чувства, еще больше неподдѣльной грусти и меланхоли, умъ и образованность; но, признаемся, очень мало замѣтили поэтическаго таланта, чтобъ не сказать, — совсѣмъ не замѣтили его. Вездѣ сердце, которое чувствуетъ, вездѣ умъ, который не столько мыслить, сколько рефлектируетъ, т. е. разсуждаетъ о собственныхъ чувствахъ и собственныхъ мысляхъ, — и нигдѣ фантазіи, которая творитъ! Субъективности, какъ выраженія сильной личности, которая на все кладетъ свой отпечатокъ и все перерабатываетъ своею самодѣятельностію, нѣтъ и слѣдовъ и признаковъ въ стихотвореніяхъ г. Губера; а между-тѣмъ, сколько найдется критиковъ, которые назовутъ его субъективнымъ поэтомъ, не понимая значенія этого эпитета! И не мудро: г. Губеръ воспѣваетъ больше свои собственные страданія, свои ощущенія, свои чувства, свою судьбу, словомъ — самого себя. Но это совсѣмъ не субъективность, хотя въ то же время совсѣмъ и не объективность: это скорѣе ошекетизированный эгоизмъ. „Могла Матери“, „На Кладбищѣ“, „Три Сновидѣнія“, „Стрем-

леніе“, „Путь Жизни“, „Три Клада“, „Первое Признаніе“, „Печаль Вдохновенія“, „Друзья“, „Моя Гробница“, „Перепутіе“, „Душѣ“, „Рѣвность“, „Молитва“, „Благовѣсть“, „Одиночество“, „Мертвая Красавица“, „Жалоба“, „Въ минуту скорбныя и гнѣва и волненій“, „Напокой“, „Могила“, „Бессонница“, „Когда въ годину испытанья“, „Пѣсня“, „Разсчетъ“, „Князю Д. П. Салтыкову“, „На чужой Могилѣ“, „Проклятіе“, „Странникъ“: вотъ 29 стихотвореній (изъ числа 50-ти, составляющихъ всю книжку), въ которыхъ авторъ говоритъ о самомъ себѣ. Да какой же поэтъ больше всего не говоритъ о самомъ себѣ? Въдѣ поэтъ потому и поэтъ, что онъ всю дѣйствительность проводитъ чрезъ свое Я, чтобъ она прошла изъ него какъ очищенное золото изъ горнила?—Такъ; но на это нужно имѣть право. А не то толпа какъ разъ скажетъ поэту: „Вы несчастны? — а намъ какое дѣло? Мы тоже несчастны“. Въ самомъ дѣлѣ, что вы, поэтъ, скажете о себѣ столь интереснаго, чтобъ васъ могли съ участіемъ выслушать вотъ эти люди, которые сидятъ вѣстѣ съ вами въ этой комнатѣ, и каждый изъ нихъ занятъ своимъ разговоромъ, своимъ интересомъ? Вотъ этокъ изъ нихъ тоже рыдалъ надъ могилою матери; этокъ оплакалъ кончину любимой женщины, составлявшей счастье его жизни; этокъ глупо влюблялся, негѣно тратилъ силы души; этокъ страдалъ по непреклонной красавицѣ, хотѣлъ застрѣляться, а кончилъ женитьбою по разсчету и охлаждѣлъ къ женщинамъ и къ любви; этокъ обманулся въ своихъ идеалахъ, а этокъ въ разчетахъ своего самолюбія, и всѣ они, каждый по своему, озлоблены противъ жизни, людей и самихъ себя...

Что вы скажете имъ о себѣ таковаго, за что бы признали они васъ выше самихъ себя? Нѣтъ, они скажутъ вамъ:

Какое дѣло намъ, страдаемъ ты или нѣтъ!

А не то, отвѣтять вамъ вашими же стихами:

Какое дѣло намъ до суетныхъ желаній  
 Любви восторженной твоей,  
 Или до жалкихъ ранъ, до мелочныхъ страданій  
 Твоихъ бессмысленныхъ страстей?

.....  
 Да прогремятъ они больному поколѣнью  
 Глаголы гнѣва и стыда:  
 Да соберутъ они бездѣйствіемъ и лѣнью  
 Изнешоженные стада!  
 Въ минуту тяжкую, въ минуту близкой брани  
 Мы ждемъ воззванія къ мечу;  
 Но вы, щедршые пѣвцы своихъ страданій,  
 Вы дѣти, вамъ не по плечу!  
 Что общаго у насъ? Намъ ваши пѣсни чужды,  
 Намъ ваши жалобы смѣшны,  
 Вы плачете шутя, а намъ другія нужды,  
 Другія слезы намъ даны.

.....  
 Мы не хотимъ ни слезъ, ни вздоховъ вопіющихъ,  
 Долой, пустыя ворзуны!  
 Вы не нарушите святой, судебъ грядущихъ  
 Глубоко-полной тишины.

Это будетъ жестоко съ ихъ стороны; но не забудьте, что, подобно вамъ, они люди озлобленные, и о кладбищѣ и смерти думаютъ чаще, нежели о счастіи, любви и другихъ обманахъ сердца и фантазіи...

Поэтъ тогда только имѣетъ право говорить толпѣ о себѣ, когда его звуки покоряютъ ее невѣдомою силою, знакомятъ ее съ иными страданіями, съ инымъ блаженствомъ, нежели какое знала она, и даже ея собственное, знакомое ей страданіе и блаженство передаютъ ей въ новомъ, облагороженномъ и очищенномъ видѣ. Но для этого надо стоять цѣлою головою выше этой толпы, чтобъ она видѣла васъ не наравнѣ съ собою... Таковы бывають истинно субъективные поэты... Опоэтизированный эгоизмъ, вѣчно роющийся въ пустотѣ своего скучнаго существованія и выносящій оттуда одни стоны, хотя бы и искренніе, теперь никому не новость, и всѣмъ кажется пошлымъ.

Для повѣрки нашего сужденія о поэзіи г. Губера прочтите хоть піесы „Печаль Вдохновенія“, „Разсечетъ“ и „Проклятіе— не одна ли и та же это пѣсня? А одно и то же, воля ваша, наскучаетъ... Въ нихъ есть и хорошій стихъ (который, впрочемъ, такъ обыкновененъ въ наше время), есть и чувство, если хотите, даже много чувства, и мы вѣримъ искренности поэта, вѣримъ его страданію; но гдѣ же поэзія? гдѣ же фантазія? гдѣ созданные ею образы?

Объективныя піесы г. Губера всего лучше подтверждаютъ справедливость нашего сужденія. Вотъ одна изъ нихъ.

Волга.

Какъ младенецъ боязлива,  
Одинокъ и дика,  
То тиха, то говорлива,  
Просыпается рѣка  
Оглянулась и выходитъ,—  
Даль чужая передъ ней:  
Буря рѣчи съ ней заводитъ,  
Вѣтеръ пѣсни шепчетъ ей.  
Вотъ она волной стыдливой,  
Чуть колыша въ первый разъ,  
Какъ ребенокъ боязливый  
Выступаетъ на показъ.  
Вотъ пошла и зашумѣла—  
Ей попытка удалась,  
Вотъ волнами закипѣла  
И потокомъ разлилась.  
Необъятная, какъ море,  
Широка и глубока,  
Разгулялась на просторѣ  
Наша царская рѣка.  
Передъ ней края чужбины—  
Но она не измѣнить;  
Никогда чужой должны  
Свѣжій токъ не напоятъ.  
За предѣлъ родной державы  
Наша Волга не пойдетъ;

Свѣтлый поясъ русской славы  
Чуждыхъ странъ не обойметъ.

Видите ли: какъ скоро попробовавъ поэтъ выйти изъ самаго себя и посмотрѣть на міръ и на жизнь, — въ его стихахъ не стало чувства, а явились однѣ фразы, да и тѣ довольно бѣдныя значеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, неужели это мысль, а не фраза, что Волга течетъ тамъ, гдѣ она течетъ, а не тамъ, гдѣ она не течетъ?...

У г. Губера нѣсколько піесъ посвящены поэту, т. е. характеристикѣ поэта. Онъ смотритъ на него, правда, какъ на человѣка очень хорошаго и почтеннаго, но только поэта мы въ немъ все-таки не видимъ. Намъ кажется, что значеніе поэта не довольно вѣрно, ясно и отчетливо понято г. Губеромъ...

Нѣтъ, въ наше время трудно быть поэтомъ, — такъ же трудно, какъ легко писать стихи!...

#### СТИХОТВОРЕНІЕ ПЕТРА ШТАВЕРА. *Спб. 1845.*

Г. Петръ Штаверъ — извините нашу нескромность — долженъ быть молодой, даже очень молодой человѣкъ — можетъ быть, не старше пятнадцати лѣтъ... Въ этомъ увѣрились мы чрезъ впечатлѣніе, которое произвело на насъ чтеніе его стихотвореній. Намъ даже очень хочется, чтобъ автору было никакъ не больше пятнадцати лѣтъ, потому что, въ такомъ случаѣ, мы имѣли бы удовольствіе признать въ его стихотвореніяхъ нѣчто въ родѣ таланта, чувства, и если не мысли, то стремленія къ мысли, — а это не шуточное дѣло! Но что жъ тутъ до лѣтъ, какая нужда въ метрикѣ автора, когда его стихотворенія сами за себя говорятъ?... Метрика иногда много значить не въ однихъ вопросахъ о званіи и наслѣдствѣ, но и

въ вопросахъ искусства и науки. Если двадцатилѣтній малой, наметавшійся въ лавкѣ, ловко и скоро сводитъ счеты, складываетъ и вычитаетъ, множитъ и дѣлитъ, принимаетъ и сдаетъ, — тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, нѣтъ рѣчи ни о гении, ни о талантѣ: тутъ только способность, развитая навыкомъ и рутинною. Но когда семилѣтній ребенокъ, который имѣетъ полное право не знать счета дальше десяти, но который, несмотря на то, по пальцамъ и простымъ соображеніемъ умѣетъ разсчитать сумму, наприм., во сто рублей серебромъ, складывая, вычитая, множа и дѣля, тогда, если вы и не увидите въ немъ гения математики, то все-таки подивитесь въ немъ необыкновенной природной способности. Выйдеть ли со временемъ изъ этого мальчика замѣчательный математикъ, или ничего изъ него не выйдетъ—это другой вопросъ. Фактъ доказанный, что иногда изъ дѣтей, ничего необыкновеннаго, выходятъ гениальные люди, а изъ гениальныхъ дѣтей — дюжинные люди; но мы не будемъ распространяться объ этомъ, чтобъ не уклониться отъ главнаго предмета нашей рѣчи. Известно, что, имѣя болѣе или менѣе вѣрный слухъ, черезъ ученіе и упражненіе, можно сдѣлаться не только сноснымъ музыкантомъ, но даже и сочинять кой-какія фантазійки: обыкновенно до этого доходятъ уже въ лѣта возмужалости, при охотѣ къ музыкѣ, при знакомствѣ со множествомъ музыкальных произведеній. Но это еще не значитъ быть ни музыкантомъ-артистомъ, ни композиторомъ-художникомъ. Когда же семилѣтнее, или еще болѣе малолѣтнее дитя, обнаруживаетъ способность запомнить и вѣрно пропѣть всякую музыкальную піесу, какую удастся ему услышать; въ томъ дитяти, конечно, еще нельзя навѣрное увидѣть будущаго Моцарта, или будущаго Листа, но по крайней мѣрѣ на его счетъ простительно ошибиться въ такихъ неумѣренныхъ надеждахъ. То же можно сказать о значеніи метрики въ отношеніи къ поэзіи. Умѣнье писать стихи—

конечно еще не талант, но все же способность; эту способность владѣть многое-множество дѣтей, и она-то заставляет многих изъ нихъ видѣть въ себѣ талантъ поэтический. И вотъ, когда такой, владѣющій способностью стихотворства человекъ поначитается разныхъ поэтовъ, пообразуется, понаучится, то, въ извѣстныхъ лѣтахъ, ему ничего не стоитъ переключивать въ гладкіе и звучные стихи чужія чувства, чужія мысли, да еще такъ ловко, что ни самъ онъ, ни другіе не подозреваютъ въ немъ вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Въ наше время, чувство и мысли—ни-почемъ. Не говоря уже о другихъ поэтахъ, довольно имѣть Пушкина и Лермонтова, чтобъ владѣть неисчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Возьмите любой стихъ изъ того или другаго — и вотъ вамъ тема, на которую потянутся у васъ нескончаемыя варьяціи... Но варьировать такимъ образомъ на чужія чувства и мысли можетъ только человекъ возмужалый, разившійся; безбородый же юноша, тѣмъ болѣе отрокъ, никогда не съумѣетъ не фальшива пѣть съ чужаго голоса. Его стихъ будетъ неуклюжъ, а заимствованныя чувства и мысли онъ непремѣнно скажутъ, изуродуютъ. И потому, если въ стихахъ слышимъ молодого человека замѣтно что-то въ родѣ оригинальности, чувства и мысли, — явный законъ, что у него есть талантъ. Даже его неумѣнье сладить съ ненокорнымъ языкомъ, съ упрямымъ стихомъ, — не только не портитъ дѣла, но еще придаетъ ему ту прелесть, которою такъ исполненъ несвязанный лепетъ младенца.

Намъ показалось (и мы были бы рады, еслибъ послѣдствія доказали что мы не ошиблись въ этомъ случаѣ), намъ показалось, что стихотворенія г. Штавера носятъ на себѣ всѣ признаки ранней молодости, при условіи которой въ нихъ нельзя не признать дарованія. Не беремся опредѣлять степень этого дарованія, ни предсказывать границы его развитія, потому что неопредѣленность составляетъ главный характеръ слишкомъ



юных дарованій. Они могут развиться—и могут исчезнуть, не давъ цвѣта. Въ нихъ не должно видѣть что-то непремѣнно великое въ будущемъ. Стихотворенія Пушкина-ребенка были довольно плохи, и по нимъ трудно было бы въ то время признать въ немъ будущаго великаго поэта. И такъ, говоря о стихотвореніяхъ г. Штавера, ограничимся настоящимъ, не забывая въ будущее; будемъ говорить о томъ, что есть, не говоря о томъ, что можетъ быть и можетъ не быть.

Всѣ стихотворенія г. Штавера довольно слабы, и еслибъ мы не предполагали ихъ автора очень молодымъ, не стоило бы труда и говорить о нихъ. Но что въ опытахъ возмужалаго человѣка поражаетъ слабостью таланта, или просто посредственностью, которая хуже бездарности, — то самое въ опытахъ слишкомъ молодаго человѣка можетъ быть признакомъ таланта неподдѣльнаго, но еще неовладѣвшаго собственною силою. Намъ кажется, что нельзя не видѣть этого, на примѣръ, вотъ хоть въ пьесѣ—„На Кладбищѣ“. Въ этомъ стихотвореніи есть что-то похожее на поэтическое чувство, даже на поэтическую мысль; стихъ не чуждъ жизни, хотя и бѣденъ изяществомъ и точностью выраженія. И отъ всего этого вѣетъ чѣмъ-то милодѣтскимъ! Даже стихи:

Такъ ее не отгоняетъ  
Мертвецовъ безстрастныхъ *ледъ*,—

даже эти стихи, возбуждая въ читателѣ улыбку, не уничтожаютъ въ немъ благосклонной готовности одобрить пьесу. Но самымъ характеристическимъ стихотвореніемъ въ книгѣ г. Штавера надо признавать „Желаніе“.

Я не хочу, чтобъ всѣ меня любили,  
Я не хочу вездѣ встрѣчать друзей,  
Хочу, чтобы враги меня язвили  
Безсильной злобой своей!

Пусть возстанут! Я каждый шагъ побѣднымъ  
 Готовъ своею кровію залить!  
 Пусть упаду измученный и блѣдный,  
 Но только прежде побѣдить!

Пусть за моей побѣдной колесницей  
 Всегда слѣдить толпа враговъ моихъ:  
 Я понесусь подъ небо вольной птицей,—  
 И хоръ завистниковъ затихъ!

Но не для славы жажду я боренья,  
 А потому, что для моей души  
 Потребны страсти, бури и волненья,  
 Чтобы не замереть въ тиши.

Въ горнилахъ сталь сильнѣе закалится,  
 Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрѣтетъ;  
 Вода чиста, доколь она струится,  
 Въ покое — тиной зарастетъ.

Крѣпись, душа! Познай свое значенье,  
 Познай себя, познай свою всю мочь,  
 И ты поймешь, какъ сладостно мученье,  
 Когда есть сила превозмочь!

И скажешь ты: «за тѣмъ даны страданья,  
 «Чтобъ согрѣвать остывшія сердца,  
 «И назначенье жизни не мечтанье,  
 «А дѣятельность мудреца.

«Мечта,—ты скажешь,—дѣтская забава,  
 «Занятые мужа истиннаго—трудъ!  
 «Не за мечты дается въ мірѣ слава,  
 «Ее страданьями берутъ!»

Будь это стихотвореніе написано взрослымъ человекомъ,—  
 оно было бы плохо въ эстетическомъ отношеніи, особенно въ  
 отношеніи къ стиху, и было бы довольно пошлымъ фразёр-  
 ствомъ, исполненнымъ претензій и жалкаго самолюбія, въ  
 нравственномъ отношеніи. Но какъ стихотвореніе существа,  
 еще колеблющагося на переходѣ отъ отрочества къ юности,—

оно очень замѣчательно. Въ стихѣ, которымъ оно написано, необработанномъ, невыдержанномъ, есть сила и размахъ; въ чувствѣ, которымъ оно согрѣто, есть жизнь и жаръ; въ мысли, которою оно проникнуто, есть достоинство и благородство, именно потому, что это—дѣтская мысль.

Вотъ что сказали бы мы г. Штаверу, если бы онъ захотѣлъ насъ послушать:

Жаль, любезный поэтъ, что вы поторопились издать въ свѣтъ книжку первыхъ своихъ опытовъ, безъ которой публика легко могла бы обойтись, и не подождали болѣе зрѣлыхъ своихъ произведеній, которыя для всѣхъ были бы интереснѣе. Но дѣло сдѣлано, и да проститъ васъ за него Богъ! Но впередъ не торопитесь ни писать, ни печататься, особенно—печататься. Если у васъ есть талантъ, и призваніе ваше велико въ будущемъ—успѣете написаться и напечататься; если же это окажется не болѣе какъ, „книпніемъ крови и избыткомъ силъ“,—ваша преждевременная книжка будетъ вамъ досадна, какъ грѣхъ юности, какъ ошибка самолюбія. Но намъ пріятнѣе думать, что у васъ есть сѣмя таланта, которое современемъ можетъ вырасти и разростись. Приготовьте себя къ этому, и не погубите сѣмени. Въ наше время, поэтъ, какъ поэтъ, не можетъ обѣщать себѣ великаго успѣха, потому что наше время отъ каждаго—слѣдовательно, и отъ поэта,—требуешь, чтобъ онъ прежде всего и больше всего былъ—человѣкомъ. Не заботьтесь же о себѣ какъ о поэтѣ, и воспитывайте въ себѣ человѣка. Не говорите, что вы не хотите, чтобъ васъ всѣ любили, что вы не хотите вездѣ встрѣчать друзей, и жаждете имѣть враговъ: это чувство ложное и парадное, которое извиняется только его юностию. Не покупайте любви людей измѣною истинѣ, уклончивостью и низостью; но и не позволяйте себѣ не дорожить ею или презирать ее: любовь ближнихъ, законно и разумно пріобрѣтенная—благо, которое выше всѣхъ благъ. Вѣрьте, что люди совсѣмъ

не такъ хороши, и совсѣмъ не такъ дурны, какъ дѣлаетъ ихъ фантазія поэтовъ, которые то любятъ въ нихъ восхищаться собственною своею особою, то позволяютъ себѣ вымещать на нихъ свои недостатки, или раны своего самолюбія, клеймя ихъ презрѣніемъ. Вообще, люди, по своей натурѣ, болѣе хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитаніе, нужда, ложная общественная жизнь—дѣлаютъ ихъ дурными. Почти во всякомъ изъ нихъ, даже въ самомъ дурномъ, есть своя прекрасная, человѣческая сторона, только трудно подсмотреть и открыть ее. Последнее составляетъ благороднѣйшую миссію поэта: ему принадлежитъ по праву оправданіе благородной человѣческой природы, такъ же, какъ ему же принадлежитъ по праву преслѣдованіе ложныхъ и неразумныхъ основъ общественности, искажающей человѣка, дѣлающей его иногда звѣремъ, а чаще всего безчувственнымъ и безсильнымъ животнымъ. Люди — братья другъ другу, хотя неразумность ихъ отношеній и дѣлаетъ ихъ естественными врагами. Благородно, велико и свято признаніе поэта, который хочетъ быть провозвѣстникомъ братства людей! Имѣть враговъ, источникъ этого желанія заключается въ эгоизмъ и самолюбивой увѣренности быть лучше и выше всѣхъ людей: чувство жалкое и ничтожное, которое никогда не породитъ высокихъ поэтическихъ созданій! Побѣдить врага приятно: объ этомъ ни слова, — однакожъ врага, котораго мы не вызывали, а который самъ назвался на вражду; но еще пріятнѣе сдѣлать себѣ врага другомъ: это лучшая изъ побѣдъ! Человѣкъ имѣетъ право ненавидѣть въ другомъ ложь и порокъ, но человѣкъ не имѣетъ права ненавидѣть человѣка, подлѣ опасеніемъ ужаснѣйшаго изъ наказаній—перестать быть человѣкомъ. Имѣть враговъ своей мысли, своему убѣжденію и бороться съ ними до послѣднихъ силъ, — въ этомъ есть свое величіе, своя прекрасная сторона; но ничего нѣтъ хуже, какъ имѣть личныхъ враговъ: этого никто не пожелаетъ себѣ, и высочайшее несча-

стие для человѣка—носить въ сердцѣ своемъ личную вражду къ человѣку: это болѣзнь, манія, почти сумашествіе, отъ котораго надо лѣчиться. Бѣздить на побѣдной колесницѣ, конечно, пріятно; но только тогда, когда, вмѣстѣ съ вами, торжествуетъ правое дѣло; иначе вы—Марій или Силла, которые купались въ крови безсильныхъ враговъ... Что жь тутъ хорошаго? Но вы, любезный поэтъ, говорите въ свое оправданіе:

Но не для славы жажду я боренья.  
 А потому, что для моей души  
 Потребны страсти, бури и волненья,  
 Чтобы не замереть въ тиши,  
 Въ горнилахъ сталь сильнѣе завалятся,  
 Въ страданьяхъ — грудь всю силу обрѣтеть;  
 Вода чиста, доколь она струится,  
 Въ полоѣ—тиной зарастаетъ!

Прекрасно! но что бы вы сказали о человѣкѣ, который для того, чтобъ его члены и мускулы не ослабли въ бездѣйствіи и неподвижности, пошелъ бы по улицѣ, да и ну колотить встрѣчнаго и поперечнаго? Не правда ли, это смѣшно?... Нѣтъ, любезный поэтъ, не заботьтесь о врагахъ и страданіяхъ; напротивъ, употребляйте все силы избѣгать ихъ, потому что враги и страданья явятся сами—ихъ никто не избѣгалъ. Обратите прежде всего вниманіе на самого себя, и постарайтесь познакомиться, сблизиться и разумно подружиться съ самимъ собою, чтобъ со временемъ не найти въ себѣ собственнаго своего врага, — а это самый опасный, самый жестокий изъ враговъ! Не льстите себѣ и будьте съ собою строги, чтобъ найти въ себѣ друга разумнаго и честнаго, а не предателя коварнаго. Тогда одержите вы самую великую и блестящую побѣду надъ злѣйшимъ изъ враговъ своихъ: это побѣда! Она будетъ стоить много труда и большой борьбы, которая не дастъ вамъ „замереть въ тиши“... Но это еще не все, чтобъ спастись отъ душев-

наго застоя, отъ нравственной апатіи: передъ вами жизнь, и міръ — полюбите ихъ и наслаждайтесь ими! Для этого также нужны трудъ и борьба. Жизнь, природа, человѣкъ, человѣчество, наука, искусство — какое обширное, великое, безконечное поприще для борьбы благородной, для упражненія юныхъ и свѣжихъ силъ! Зачѣмъ говорить:

Пусть за моей побѣдной колесницей  
 Всегда слѣдятъ толпа враговъ моихъ.  
 Я понесусь на небо вольной птицей,—  
 И хоръ завистниковъ затихъ?...

Въ небѣ, т. е. въ верхнихъ слояхъ атмосферы, пусто и холодно, и человѣку хорошо только съ людьми — „въ тѣснотѣ люди живутъ“... Только гордость, основанная на самолюбіи и эгоизмѣ — одинъ изъ самыхъ гибельныхъ пороковъ, — только гордость гонитъ человѣка изъ общества ближнихъ его, и стремится его на пустую и холодную высоту, откуда онъ находитъ жалкое наслажденію видѣть подъ собою „хоръ завистниковъ“. Скавать: я имѣю завистниковъ, — не значитъ ли это: какой я замѣчательный человѣкъ! Обрадоваться числу своихъ завистниковъ, — не значитъ ли это обнаружить то мелкое и пошлое чувство, которое свойственно только маленькимъ великимъ людямъ — этимъ карикатурамъ на великихъ людей? Нѣтъ, истинно хорошему, дѣльному человѣку, горько имѣть завистниковъ, для него это — несчастіе. Онъ хочетъ имѣть таланты и достоинства, хочетъ много знать, много смѣть и много мочь, но не для потѣхи своего самолюбія, не для жалкаго удовольствія приобрѣсть враговъ и завистниковъ, а для разумнаго и законнаго наслажденія жизнью, потому что чѣмъ болѣе онъ имѣетъ, знаетъ, смѣетъ и можетъ, — тѣмъ болѣе онъ живетъ. Его никогда не порадуешь, повсегда сфорчить вичужество обружающихъ его людей, — и для него было бы величайшимъ блаженствомъ дать имъ еще больше, нежели сколько онъ самъ имѣетъ, поднять

ихъ еще выше самого себя. Благородная душа, исполненная великодушныхъ стремлений, не терпитъ вокругъ себя ни рабовъ, ни угодниковъ, ни хвалителей, ни льстецовъ; ей тѣсно и душно среди этихъ искаженныхъ существъ, и она можетъ дышать свободно только среди братьевъ, связанныхъ съ нею узами симпатіи ко всему разумному и человѣческому. Для нея жизнь — богатая и роскошная трапеза, которую она хотѣла бы раздѣлить со всѣми, чтобъ тѣмъ болѣе самой насладиться ею... Да, любезный поэтъ, учитесь не увлекаться однимъ огромнымъ — оно часто только чудовищно, а не велико; учитесь не увлекаться однимъ поражающимъ, эффектнымъ, блестящимъ, яркимъ. Все истинное и великое — просто и скромно; оно цѣломудренно стыдится своего достоинства, какъ красота цѣломудренно стыдится наготы своей и оттого дѣлается еще прекраснѣе. Истину, благо и красоту надо любить для нихъ самихъ, а не для насъ самихъ, — какъ внутренно-драгоценное само по себѣ, а не какъ пышный нарядъ, возбуждающій къ тому, кто щеголяетъ въ немъ, удивленіе и зависть толпы. Человѣкъ сильный, могущественный, огромный — еще не всегда въ то же время и великій человѣкъ. Нѣтъ спора, что какъ вентиль, Наполеонъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ исторіи человѣчества; но въ глазахъ истинно-мудрыхъ, простой, скромный, неблестящій Вашингтонъ въ тысячу разъ болѣе всѣхъ возможныхъ Наполеоновъ имѣетъ право на имя великаго человѣка. Только невежественная толпа, тупая чернь и жалкое суетное преклоняютъ колѣни и обожествляютъ гнетущую ее наглухую слуху, отражающуюся на безсовѣстности, обманѣ, вѣроломствѣ и злодѣйствѣ.... Покажите дикарю фольгу и золото: онъ бросится на фольгу, потому что она ярко блеститъ; покажите невѣждѣ бѣлый мраморъ Аполлона бельведерскаго и раскрашенную восковую куклу: онъ удивится куклѣ, не обративъ вниманія на Аполлона. Увы! сколько такихъ дикарей и невѣждъ между такъ называе-

мыми умными, учеными, образованными и талантливыми людьми! Бойтесь, любезный поэтъ, попасть въ число этихъ людей, — и чтобъ избѣжать такого несчастія, отвращайтесь всего эффектнаго, натянутаго, ложнаго, прозрачнаго! Будьте просты и скромны, радость предпочитайте горю, веселіе — грусти, наслажденіе—страданію. Снесите все горькое мужественно и благородно, когда горе посѣтитъ васъ, но не желайте, не ищите горя, подобно этимъ романтическимъ совамъ, которыя бояться унизить свое достоинство глубокихъ и высшихъ натуръ, переставъ хоть на минуту морщиться и хныкать и предавшись веселому влеченію минуты. Смотрите на жизнь, какъ на наслажденіе, и умѣйте, наслаждаться ею разумно: тогда увидите вы, какъ прекрасна она, какъ много въ ней счастья и упоенія, и какъ жалки слѣпыя романтическіе клеветники жизни, которые все смотрятъ куда-то туда, сами не зная куда... И пусть руководятъ вами на пути жизни любовь, которая все прощаетъ, все очищаетъ, все облагораживаетъ и освящаетъ, — и смѣлый, свободный разумъ, который не боится мукъ сомнѣнія и, многимъ рискуя, много завоевываетъ для счастья... Тогда вы увидите, что можно хорошо прожить и безъ враговъ, и безъ завистниковъ, и что безъ борьбы съ ними, вамъ будетъ чѣмъ наполнить свою жизнь, не дать очерствѣть чувству, погаснуть уму... Тогда, если вы будете поэтомъ, пѣсни ваши будутъ не только прекрасны, но и живительны, плодородны; а если и не будете поэтомъ—что жъ! вы будете человекомъ, а это, право, стѣнитъ всякаго поэта...



ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА, *составленная из трудов русских литераторов, под редакцію Н. Некрасова, (Съ политипажами). Часть II. Сиб. 1845.*

Лѣто — всегда глухая пора въ русской литературѣ. Тутъ, обыкновенно, даже и журналы какъ-будто устаютъ, истощаются, дѣлаются вялыми, даже тонѣютъ, за исключеніемъ развѣ „Отечественныхъ Записокъ“, на здоровую толстоту которыхъ не дѣйствуютъ и лѣтніе жары. Но оригинальныхъ русскихъ повѣстей уже не пишутъ въ эту пору ни въ одномъ журналѣ. Если найдется хоть одна какая-нибудь плохенькая, то и ею журналистъ запасся еще съ зими. Наши романисты и новеллисты вообще не заслуживаютъ ни малѣйшаго упрека въ излишней дѣятельности, или многописаніи. Мало пишутъ они зимою и осенью, почти не пишутъ и весною, какова бы ни была весна въ Петербургѣ, хотя бы хуже самой дурной осени; но лѣтомъ — пусть оно будетъ хуже самой дурной зимы, они ни за что въ свѣтѣ не станутъ писать. Да и когда?—Они на дачѣ, они наслаждаются прелестями петербургскаго лѣта, гуляютъ по лужамъ, въ которыхъ отражается небо, тоже похожее на лужу; или съ горя играютъ въ преферансъ. Сверхъ того, русскій человѣкъ, какъ извѣстно, тяжелъ на подъемъ. Для того, чтобъ приняться за работу, ему нужно гораздо больше времени, нежели кончить ее. Русскому литератору никогда не понять досужести французскихъ писателей, которые успѣваютъ бывать на балахъ, на гуляньяхъ; въ театрахъ, въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, присутствовать въ засѣданіяхъ палаты депутатовъ и, при этомъ, иногда управлять министерствомъ, — и въ то же время издавать многотомныя исторіи. Французскій литераторъ ѣдетъ на лѣто изъ Парижа въ деревню, отдохнуть, полѣниться, повеселиться; а въ Парижъ изъ деревни привозитъ съ собою нѣсколько рукописей, изданіе ко-

терыхъ по объему, иногда можетъ сравняться съ полнымъ собраніемъ сочиненій самаго дѣятельнѣйшаго русскаго литератора. Какъ они это дѣлаютъ—русскій человѣкъ—я этого рѣшительно не понимаю, и никогда не пойму. Говорятъ будто бы это происходитъ оттого, что трудъ и занятіе составляютъ для Европейца такое же необходимое условіе жизни, какъ воздухъ,—нѣтъ, больше, чѣмъ воздухъ—какъ дѣнь и бездѣйствіе для русскаго человѣка. Говорятъ, будто бы для Европейца и самый отдыхъ есть только нѣсколько ослабленная дѣятельность, потому что для него быть вовсе безъ занятія, безъ дѣла, безъ труда, значитъ — не жить, и будто бы ужъ онъ такъ приученъ съ малолѣтства... Не знаемъ, правда ли это. Должно быть, не правда! Славны бубны за горами: не такъ ли, читатель? Какъ русскій человѣкъ, вы, вѣрно, махнете рукою, повторивъ эту чудесную поговорку, благодаря которой вамъ можно ничего не дѣлать, живя на бѣломъ свѣтѣ? Благодарственная поговорка! вѣчная память тому, кто изобрѣлъ ее: съ нею жизнь такъ проста, ни къ чему не обязываетъ—ни къ труду, ни къ самосовершенствованію...

Но нынѣшній годъ, какъ нарочно Петербургъ посѣтило такое лѣто, о какомъ онъ и мечтать не смѣлъ, помня, что на святой недѣли, которая была во второй половинѣ апрѣля, онъ ѣздилъ на санахъ... Сухое и теплое, почти жаркое лѣто, каково нынѣшнее, должно бы быть порою совершенной засухи для литературной дѣятельности. Кого теперь засадишь задѣло? И чѣмъ бы можно было засадить?—развѣ голодомъ! Пора теперь глухая: у книгопродавцевъ, какъ говорятъ они, лѣтомъ ни копейки, потому что русская публика лѣтомъ книгъ не покупаетъ, да и въ городѣ никого теперь не найдешь — все и всѣ на дачахъ. Только журналисты и журнальные сотрудники и теперь, хоть и стонутъ, а работаютъ, для нихъ нѣтъ канікулъ, какъ для полицейскихъ и извозчиковъ нѣтъ праздниковъ.

Поэтому, въ нынѣшнее лѣто, нечего бы и ожидать появленія чего-нибудь похожаго на сносную книгу. Но вышло иначе: весною появились — „Тарантасъ“, „Вчера и Сегодня“ и первая часть „Физиологій Петербурга“, въ июнѣ, среди лѣта, началось изданіе романовъ Валтеръ Скотта „Квентиномъ Дорвардомъ“, а теперь вышла вторая часть „Физиологій Петербурга“. Но все это совсѣмъ не весеннія и не лѣтнія произведенія, а запоздалыя зимнія. Извѣстное дѣло: на Руси все дѣлается безъ торопливости и съ проволочкою. Объ иной тяжбѣ каждый день говорятъ: завтра рѣшится; а глядишь это „завтра“ тянется лѣтъ пятьдесятъ, иногда и больше. Такъ точно, объ иной книгѣ полгода твердятъ: на дняхъ выйдеть; самъ издатель крѣпко убѣжденъ въ этомъ, а между тѣмъ, книга обѣщенная въ январѣ, глядишь, появится въ июлѣ, и притомъ не всегда того же года. Какъ и отчего это дѣлается — Богъ знаетъ!... Да то ли еще дѣлывалось у насъ! Бывало, журналистъ объявляетъ къ новому году подписку на свой журналъ, съ обѣщаніемъ „въ скорѣйшемъ времени“ додать пять книжекъ за предпрошлый и семь книжекъ за прошлый годъ, — для чего, говорить онъ, — приняты имъ самыя дѣятельныя мѣры; а глядишь: въ февральской книжкѣ, напримѣръ, 1844 года, являются моды и политическія извѣстія за июль 1842 года.... Теперь въ журналистикѣ снова воскресаютъ милая, пасторальныя и наивныя обычаи старины. Недавно одинъ плохой журналъ, издававшійся года три, и только въ концѣ третьяго года догадавшійся о себѣ, что онъ никуда не годится, — принялъ благое намѣреніе исправиться на 1845 годъ, т. е. сдѣлаться умнымъ, дѣльнымъ и интереснымъ. Пышная программа, съ обѣщаніемъ коренной реформы, вышла въ свѣтъ за тѣмъ, чтобы журналъ могъ въ четвертый разъ поймать въ силки „почтеннѣйшую“ публику. И въ самомъ дѣлѣ, первыя три книжки были и пограмотнѣе и, будто, подѣльнѣе, но съ четвертой дѣло

пошло прежнимъ порядкомъ, а реформы нѣтъ и слѣдовъ, такъ же, какъ и слѣдовъ таланта, или смысла... Пятая же книжка отличалась одною изъ тѣхъ старыхъ новостей, къ которымъ, впрочемъ, этотъ журналъ прежде не прибѣгалъ; но, видно, ему пришлось плохо, потому что „почтеннѣйшая“— то не допустила въ четвертый разъ <sup>1</sup>поймать себя, вполне удовлетворившись тремя первыми разами; на пятой книжкѣ, выставлены числа V и VI, въ знакъ того, что эту книжку, которая, несмотря на чудовищную толстоту бумаги, вышла, какъ-то тоньше первыхъ четырехъ, должно считать за двѣ книжки... Обертка извѣщаетъ, что такимъ же точно образомъ выйдетъ и шестая книжка, которую подписчики этого журнала (подѣломъ имъ пусть не подписываются впередъ на плохіе журналы!) волею или неволею, а должны принять за седьмую и восьмую... Все это дѣлается для того, чтобъ не отстать отъ времени, которое, какъ извѣстно имѣетъ преглупую привычку идти да идти себѣ, не дожидаясь остальныхъ книжекъ плохихъ журналовъ... По истинѣ, легкій, дешевый и выгодный способъ не только не отставать отъ времени, но и опережать его!...

И такъ вторая часть „Физиологіи Петербурга“ должна одна составить собою всю собственно русскую лѣтнюю литературу нынѣшняго года... нѣтъ—чуть было не забыли! — нынѣшнее лѣто необыкновенно богато книгами бѣллетрическаго содержания: недавно вышелъ третій томъ „Сто Русскихъ Литераторовъ“. Книга, какъ сами можете видѣть изъ ея названія, столько же важная, сколько и толстая: изъ трудовъ цѣлой сотни литераторовъ, хотя бы и русскихъ, можно выбрать много хорошаго, много такого, что можетъ эту книгу сдѣлать представительницею русской литературы. И такъ, еще разъ, здравствуетъ лѣто 1845 года! Сухое, теплое, бездождливое, оно оставило насъ вовсе безъ грибовъ, но за то надѣлило книгами.

О „Сто Русских Литераторах“ мы говорили (Ч. IX стр. 439), займемся же второй частью „Физиологій Петербурга“

Мысль этой книги прекрасна. Это иллюстрированный альманахъ, или сборникъ статей, относящихся только до Петербурга. Статьи должны быть не столько описательныя, сколько живописныя, нечто въ родѣ повѣстей и очерковъ, а иногда и взглядовъ, изложенныхъ въ формѣ журнальной статьи, нѣстами серьёзныхъ, но всегда оттѣненнымъ легкимъ юморомъ. Цѣль этихъ статей—познакомить съ Петербургомъ читателей провинціальныхъ и, можетъ-быть, еще болѣе читателей петербургскихъ. Какъ достигнута цѣль?—На этотъ вопросъ трудно было бы отвѣчать утвердительно. Не должно забывать, что „Физиологія Петербурга“ первый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ такое время русской литературы, которое никакъ нельзя назвать богатымъ. Несмотря на то, можно сказать утвердительно, что это едва ли не лучшій изъ всѣхъ альманаховъ, которые когда-либо издавались, — потому едва ли не лучшій, что, во первыхъ, въ немъ есть статьи прекрасныя и нѣтъ статей плохихъ, а во вторыхъ, всѣ статьи, изъ которыхъ онъ состоитъ, образуютъ собою нѣчто цѣлое, несмотря на то, что онѣ писаны разными лицами. Первая часть „Физиологій Петербурга“ имѣла большой успѣхъ. И не удивительно: статьи—„Дворникъ“ и „Петербургскіе Углы“ могли бы украсить собою всякое изданіе; статья „Петербургскіе Шарманщики“ не испортила бы никакого изданія; что касается до статьи „Петербургъ и Москва“, ее прочли всѣ, многіе оцѣнили выше, нежели чего она стоитъ въ самомъ дѣлѣ, а многіе не хотѣли замѣтить въ ней того хорошаго, что въ ней есть дѣйствительно, хотя и видѣли его: это, по нашему мнѣнію, успѣхъ. Замѣчательнѣе всего отзывы журналовъ о „Физиологій Петербурга“. Одна газета выписала изъ статьи „Петербургъ и Москва“ пять строкъ, заключающихъ въ себѣ мысль одного великаго нѣмец-

каго философа, назвала эту мысль вздорною и нелѣпою, а виѣсть съ нею и всю статью. Такимъ же точно образомъ выплесала она нѣсколько строкъ изъ „Петербургскихъ Угловъ“ и коретко, безъ изложенія содержанія статьи, безъ доказательствъ, объявила, что статья плоха, исполнена сальностей, грязи и дурнаго тона. „Дворникъ“—этотъ превосходный физиологическо-юмористическій очеркъ, оскорбилъ въ газетѣ аристократическое чувство и заставилъ ее подивиться, что есть писатели, которые не гнушаются писать о дворникахъ! Но никакой истинный аристократъ не презираетъ, въ искусствѣ и литературѣ, изображенія людей низшихъ сословій и вообще такъ называемой низкой природы, — чему доказательствомъ картинныя галереи вельможъ, наполненныя, между прочимъ, и картинами фламандской школы. Ужь нечего и говорить о томъ, что люди низшихъ сословій прежде всего — люди же, а не животныя, наши братья по природѣ и о Христѣ, — и презрѣніе къ нимъ, особенно изъясняемое печатно, очень неуѣстно. Хорошо также отзывъ одного журнала о первой части „Физиологіи Петербурга“. Хотѣлось ему обнаружить къ ней равнодушное презрѣніе, да не удалось выдержать притворнаго тона: изъ каждаго слова такъ и видно, что *bon homme* сердится. Хотѣлось ему также и съострить à la баронъ Брамбеусъ, да виѣсто остроты у него вышло какъ-то ложное обвиненіе въ преступленіи: натура-то сказала! Въ предисловіи къ первой части „Физиологіи Петербурга“, между прочимъ, сказано, что у насъ, въ литературѣ, болѣе хорошихъ произведеній, означенныхъ печатью художественности, нежели хорошихъ бельетристическихъ произведеній, — болѣе геніяльныхъ талантовъ (какъ, впрочемъ, ни мало ихъ), нежели обыкновенныхъ талантовъ, которыхъ дѣятельность удовлетворяла бы насущнымъ потребностямъ читающей публики. Журналъ, о которомъ мы говоримъ, выдумалъ, будто-бы въ предисловіи сказано, что

у насъ все таланты, а нѣтъ посредственности, и что „Физиологія Петербурга“ рѣшилась сдѣлаться сборникомъ посредственныхъ статей. Изъ этого видно, что бѣдный журналъ нездоровъ и страдаетъ разстройствомъ печени. И не мудрено: его давно ужъ не читаютъ и, чтобъ привлечь къ себѣ подписчиковъ, онъ рѣшился изъ одной своей книжки дѣлать иногда двѣ книжки, выставляя на оберткѣ по двѣ цифры. Слогъ остроумной статьи о „Физиологіи Петербурга“ напоминаетъ своею несвязанностью, сухостью и безталанностью статью того же журнала о поэмѣ г. Тургенева—„Разговоръ“, гдѣ это прекрасное произведеніе наоваль разругано за то, что оно написано не въ славянофильскомъ духѣ,—а слогъ статьи о „Разговорѣ“ напоминаетъ собою слогъ брошюрки о „Мертвыхъ Душахъ“, которая, года три назадъ, насмѣшила весь читающій міръ неглупостію мыслей и бездарностію изложенія. Разумѣется, за подобныя статьи издателю „Физиологіи Петербурга“ остается только благодарить и газету и журналъ, потому что, прочитавъ такую статью, опытный читатель сейчасъ пойметъ, въ чемъ дѣло, и захочетъ прочесть книгу, о которой намѣреваются писать хладнокровно, а пишутъ съ сердцемъ, и скажетъ: *Tu te fâches. Jupiter, donc tu as tort.*

Вторая часть „Физиологіи Петербурга“ содержитъ въ себѣ статьи: „Александринскій театр“, „Чиновникъ“, „Омнибусъ“, „Петербургская Литература“, „Лоттерейный Балъ“, „Петербургскій Фельетонистъ“. Самая лучшая изъ нихъ—„Чиновникъ“, самая слабая—„Петербургская Литература“. Последняя могла бы незамѣтно пройти въ журналѣ, даже имѣть въ немъ какое-нибудь значеніе; но въ книгѣ она какъ-то неумѣстна. „Чиновникъ“—піеса въ стихахъ, г. Некрасова, есть одно изъ тѣхъ въ высшей степени удачныхъ произведеній, въ которыхъ мысль, поражающая своею вѣрностью и дѣльностью, является въ совершенно соответствующей ей формѣ, такъ что никакой,

самый предприимчивый критикъ, не зацѣпится ни за одну черту, которую могъ бы онъ похулить. Пьеса эта написана въ юмористическомъ духѣ и вѣрно воспроизводитъ одно изъ самыхъ типическихъ лицъ Петербурга—чиновника:

Какъ человекъ разумной средины,  
Онъ многого въ сей жизни не желалъ:  
Передъ обѣдомъ пилъ настойку изъ рябины  
И чихиремъ обѣдъ свой запивалъ.  
У Кничерфа закладывалъ одежду,  
И съ давнихъ поръ (простительная страсть!)  
Питалъ въ душѣ далекую надежду  
Въ коллежскіе ассесоры попасть, —  
За тѣмъ, что былъ онъ крови не боярской  
И не хотѣлъ, чтобъ въ жизни кто-нибудь  
Дѣтей его породой семинарской  
Осмѣлился надменно попрекнуть.

.....  
Сиротъ и вдовъ онъ не былъ благодѣтель,  
Но нищимъ иногда давалъ гроши,  
И называлъ святую добродѣтель  
Первѣйшимъ украшеніемъ души,  
Объ ней твердилъ въ семействѣ непрерывно,  
Но не во всемъ ей слѣдовалъ подчасъ,  
И извинялъ грѣшки свои наявно  
Женой, дѣтьми, какъ многіе изъ насъ.  
По службѣ велъ дѣла свои примѣрно  
И не бывалъ за взятки подъ судомъ,  
Но (на жену, какъ водится), въ Галерной  
Купилъ давно пяти-этажный домъ.  
И радовалъ родительскую душу  
Сей прочный домъ—спокойствія залогъ.  
И на Оому, Ванюшу и Феклушу  
Безъ сладкихъ слезъ онъ посмотрѣть не могъ....

.....  
Въ недѣлю разъ, пресытившись игрой,  
Въ театрѣ Александрійскій ради скуки,  
Являлся нашъ почтеннѣйшій герой.  
Удвоенной дѣной на бенефисы  
Отечественный геній поощрялъ,  
Но званіе актера и актрисы



Постыднымъ по преданію считалъ.  
 Любилъ палубу, яровые сюжеты,  
 Гдѣ при концѣ карается порокъ...  
 И слушая стромныя куплеты,  
 Толкалъ жену тихонько подъ бочокъ.  
 Любилъ шепнуть въ антрактѣ толстой дамѣ—  
 (Всему научить хитрый Петербургъ)—  
 Что страсти и движенія нужны въ драмѣ  
 И что Шекспиръ—великій драматургъ,—  
 Но, впрочемъ, не былъ твердо въ томъ увѣренъ  
 Черезъ часъ другое подтверждалъ:  
 По службѣ былъ всегда благонамѣренъ,  
 Онъ прочее другимъ предоставлялъ.  
 За то, когда являлася сатира,  
 Гдѣ авторъ—туеведецъ и нахалъ—  
 Честь общества и украшеніе міра  
 Чиновниковъ за взятія порицалъ,—  
 Свирѣпствовалъ онъ, не жалѣя груди,  
 Дивился, какъ допущена въ печать  
 И какъ благонамѣренные люди  
 Не совѣстятся видѣть и читать.  
 Съ досады пилъ (сильна была досада!)  
 Въ удвоенномъ количествѣ чихирь,  
 И говорилъ, что авторовъ бы надо  
 За дерзости подобныя—въ Сибирь!...

Выписывая эти мѣста, мы выбирали не то, что лучше, а то, что короче, слѣдовательно, читатели вполне могутъ судить, по этимъ выпискамъ, о цѣлой піесѣ. Найдутся люди, которые, пожалуй, скажутъ: „что за предметъ! и какъ можно восхищаться піесю, которая изображаетъ такой предметъ!“<sup>14</sup> Такихъ людей мы отсылаемъ къ сочиненіямъ Марлинскаго, которыя изображаютъ все предметы высокіе и колоссальныя. Что же касается до насъ, мы цѣнимъ литературныя произведенія прежде всего по ихъ выполненію, а потомъ уже по ихъ содержанію, предмету и цѣли. Последнее необходимо имѣть въ виду особенно при сравненіи двухъ однако хорошо выполненныхъ произведеній, чтобъ опредѣлить ихъ относительную другъ къ

другу цѣнность. Поэтому, для насъ одна изъ лучшихъ басенъ Крылова лучше всѣхъ трагедій Озерова, хотя и трагедіи эти имѣютъ свое достоинство; но лучшей изъ басенъ Крылова нельзя, по важности, равнять, напримѣръ, съ „Онѣгина“ Пушкина: тутъ огромная, неизмѣримая разница въ достоинствѣ „Онѣгина“ предъ баснею, — и эта разница заключается въ содержаніи, въ предметѣ, а не въ формѣ, или, лучше сказать, въ выполненіи. Такъ какъ мы не имѣемъ въ виду сравнивать „Чинովника“ г. Некрасова ни съ какимъ извѣстнымъ произведеніемъ, то и скажемъ просто, что эта піеса — одно изъ лучшихъ произведеній русской литературы 1845 года. — Изъ прозаическихъ статей, лучшая во второй части „Физиологіи Петербурга“ — статья г. Панаева: „Петербургскій Фельетонистъ“. Она уже была напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ“; но здѣсь перепечатана нѣсколько переправленная и пополненная, — отъ чего она много выиграла въ достоинствѣ. Она очень идетъ къ „Физиологіи Петербурга“, потому что вѣрно изображаетъ одно изъ самыхъ характеристическихъ петербургскихъ явленій. Есть у г. Панаева еще статья „Тля“, напечатанная въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1843 года, которая такъ и просится въ „Физиологію Петербурга, — и еслибъ къ ней можно было сдѣлать картинки получше, то она произвела бы сильный эффектъ, хотя и была бы уже не новымъ произведеніемъ. — „Лоттерейный Балъ“ г. Григоровича — статья не безъ занимательности, но, кажется, слабѣе его же „Шарманщиковъ“, помѣщенныхъ въ первой части „Физиологіи“. Она слишкомъ сбивается на дагерротипъ и отзывается его сухостью — „Омнибусъ“ г. Кульчицкаго (Говорилина) — статья совершенно дагерротипическая, вѣрный списокъ съ случая, лишённый занимательности. Ее упрекаютъ многіе за сальность въ изображеніи безпрестанно рыгающаго купца-бороды. По нашему мнѣнію, писатель, изображающій дѣйстви-

тельность, только въ двухъ случаяхъ можетъ впасть въ сальность и грязность; или когда онъ самъ тѣмъ болѣе восхищается своими картинами, чѣмъ грязнѣе онѣ, — по своей личной любви ко всему грязному: или, когда онъ впадаетъ въ противоположную крайность, и черезчуръ рѣзкимъ изображеніемъ грязи, несмягченнымъ художественностію выраженія, старается выразить свое отвращеніе отъ грязи. Последнее нерѣдко бываетъ съ людьми, которыхъ чувства и образованность выше таланта. Можетъ-быть, въ этомъ отношеніи, г. Кальчицкій немножко и погрѣшилъ противъ вкуса въ своемъ „Омнибусѣ“; но все-таки его купецъ-борода и его герой очень похожи на дѣйствительныхъ людей этого разряда, — и потому „Омнибусъ“ для насъ все-таки много лучше множества произведеній съ изображеніями великихъ и колоссальныхъ предметовъ, а купецъ-борода и герой въ тысячу разъ интереснѣе Грѣминыхъ, Звонскихъ, Лидиныхъ, Зоричей и тому подобныхъ такъ называемыхъ „идеальныхъ“ созданій. — Въ статьѣ: „Александринскій театръ“, собрано все, что уже было говорено и сказано новаго объ этомъ театрѣ,—такъ что теперь едвали уже можно сказать о немъ что-нибудь, чего уже не было бы сказано. Особенно любопытно въ этой статьѣ сравненіе петербургскаго русскаго театра съ московскимъ, въ отношеніи къ ихъ артистамъ.

Въ заключеніе скажемъ, что такая книга, какъ „Физиологія Петербурга“, была бы замѣчательнымъ явленіемъ, и не будучи первымъ опытомъ, — была бы хороша и для зимняго, не только для лѣтняго чтенія.

ГРАМАТИЧЕСКІЯ РАЗЫСКАНІЯ. В. А. Васильева. 1) *О бук-  
въ ё.* 2) *Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода  
мужескаго и женскаго.* Спб. 1845.

Появленіе книжки г. Васильева очень порадывало насъ. Въ самомъ дѣлѣ, давно бы уже пора приняться намъ за разрабо-  
тываніе русской грамматики.—А то—вѣдь стыдно сказать!—  
грамматика полагается у насъ въ основаніе ученію обществен-  
ному и частному,—а между тѣмъ у насъ нѣтъ рѣшительно ни  
одной удовлетворительной грамматики! И какъ же бы могла  
она явиться у насъ, когда теорія языка русскаго почти не на-  
чата, и для грамматики, какъ систематическаго свода законовъ  
языка, не приготовлено никакихъ данныхъ? Оттого, если сли-  
чить двѣ русскія грамматики разныхъ составителей, напри-  
мѣръ, грамматику г. Греча съ грамматикою г. Востокова,—  
подумаешь, что каждая изъ нихъ разсуждаетъ объ особен-  
номъ языкѣ, или что онѣ отдѣлены одна отъ другой большимъ  
промежуткомъ времени. Каждый пишущій въ Россіи руковод-  
ствуется своею собственною грамматикою; нововведеніямъ,  
этимологическимъ, синтаксическимъ и орфографическимъ,  
нѣтъ числа и мѣры: всякій молодецъ на свой образецъ! И ме-  
жду тѣмъ, несмотря на вопли нѣкоторыхъ старыхъ писакъ  
противъ этой грамматической анархіи, въ которой они видятъ  
злоупотребленіе и чуть не разбой,—при настоящемъ положе-  
ніи русскаго языка, эта грамматическая анархія неизбежна и  
необходима — даже полезна и благотворна... Русскій языкъ  
еще не установился,—и дай Богъ, чтобъ онъ еще какъ мож-  
но долѣе не установился, потому что чѣмъ долѣе будетъ  
онъ устанавливаться, тѣмъ лучше и богаче установится онъ.  
Есть люди, которые вѣрятъ, или только дѣлаютъ видъ, что  
вѣрятъ, будто Карамзиннымъ русскій языкъ совершенно утвер-  
дился и дальше идти не можетъ: много благодарны за этотъ

языкъ-скоропѣлку, которому только безъ году недѣля, а онъ ужь и состарѣлся! Какъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ моментовъ развитія русскаго языка, мы принимаемъ Карамзинскій языкъ съ любовію, уваженіемъ, благодарностью и даже, если хотите, съ удивленіемъ; но намъ и даромъ не нужно Карамзинскаго языка, если въ немъ должно видѣть совершенно установившійся языкъ русскій... Мы думаемъ, что если Крыловъ и обязанъ Карамзину чистотою своего языка, то все же языкъ Крылова во сто разъ выше языка Карамзина, по той простой причинѣ, что языкъ Крылова до *pes plus ultra* языкъ русскій, тогда какъ языкъ Карамзина только въ „Исторіи Государства Россійскаго“ обнаружилъ стремленіе быть языкомъ русскимъ, а до тѣхъ поръ обнаруживалъ стремленіе только не быть славяно-латинско-нѣмецкимъ, или Ломоносовскимъ языкомъ (что и было со стороны Карамзина великою заслугою). Но сфера языка Крылова сама по себѣ довольно ограничена, и потому не въ ней русскій языкъ могъ достигъ своего установленія, и не на баснѣ остановиться. Ему надо было идти, и онъ пошелъ впередъ, содѣйствіемъ Жуковскаго, Батюшкова, Гнѣдича, самого Карамзина, который, въ своей „Исторіи Государства Россійскаго“, говорилъ совсѣмъ другою манерою, нежели прежде, — правда, манерою еще болѣе искусственною, но зато и болѣе полезною для успѣха русскаго языка. Явился Пушкинъ — и русскій языкъ обрелъ новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное — сталъ развязанъ, естественъ, сталъ вполнѣ русскимъ языкомъ. Поэтому, слухая людей, которые наивно утверждаютъ, что Карамзинъ кончилъ, такъ сказать, воспитаніе русскаго языка; и совсѣмъ умалчиваютъ о Пушкинѣ, какъ будто бы, въ дѣлѣ языка, онъ не заслуживаетъ и упоминованія, — невольно вспоминаемъ стихъ Крылова, обратившійся въ пословицу:

Слова-то я и не замѣтилъ!

Теперь посмотрите: Ломоносовъ устанавливаетъ славяно-латинско-нѣмецкую форму русскаго языка, всѣми принятую безусловно; но въ писателяхъ Екатерининскаго вѣка уже видѣнъ въ ходѣ языка значительный успѣхъ: Державина и Фонъ-Визина, по отношенію къ языку, уже никакъ нельзя сравнивать съ Ломоносовымъ. Карамзинъ, такъ сказать, убиваетъ на-смерть языкъ Ломоносова, съ одной стороны, представивъ образцы новой прозы, а съ другой, вмѣстѣ съ Дмитриевымъ, представивъ образцы стиха, далеко, въ отношеніи къ языку (а не поэзіи), опередившаго стихъ Державина. Мало этого: лишь только проза его сдѣлалась образцовою и начала развиваться далѣе содѣйствіемъ Жуковскаго, какъ онъ самъ отрекается отъ нея и, въ своей „Исторіи“, силится создать совѣтъ другаго рода прозу. О Крыловѣ мы говорили. Стихъ Жуковскаго и Батюшкова неизмѣримо далеко оставляетъ за собою стихъ Дмитриева и Карамзина; Гнѣдичъ создаетъ русскій гекзаметръ и дѣлаетъ русскій языкъ способнымъ для воспроизведенія изящной древней рѣчи эллинской. Кажется, много сдѣлано? Трудно повѣрить, чтобъ можно было идти далѣе? И что же? — Пушкинъ является полнымъ реформаторомъ языка, увлекаетъ за собою Крылова, писателя, опередившаго его цѣлою четвертью вѣка, увлекаетъ Жуковскаго. Вмѣстѣ съ Пушкинымъ, является Грибоедовъ и создаетъ языкъ русской стихотворной комедіи, какъ Крыловъ создалъ языкъ русской басни. Самъ Пушкинъ не стоялъ на одномъ мѣстѣ: съ „Полтавы“ вышедшей въ 1829 году, началась для его поэтической дѣятельности новая эпоха въ отношеніи и къ творчеству и къ языку. Прозою онъ писалъ до того времени мало; но и въ его прозаическихъ отрывкахъ (особенно въ „Арапѣ Петра-Великаго“) видно уже начало совершенно новой русской прозы. И все это сдѣлалось въ камина-мибудъ девяностѣ лѣтъ, считая отъ первой оды Ломоносова — „На Востокѣ Хотина“, написанной

правильнымъ тоническимъ размѣромъ, навсегда утвердившимся въ русской поэзіи (1739), до „Полтавы“ Пушкина (1829)!... Какая же могла тутъ явиться грамматика? Вѣдь грамматика есть абстракція языка, существующаго въ созданіяхъ литературы, а литература измѣнялась съ каждымъ годомъ? При такихъ условіяхъ, какую ни напишите грамматику,—она усѣетъ отстать отъ языка литературы, пока вы будете печатать ее.

Но почему же, спросятъ насъ, мы говоримъ все о языкѣ литературы, а не о языкѣ народа? По самой простой причинѣ: масса народа отстала отъ образованнаго общества, и языкъ ея сдѣлался для общества слишкомъ бѣднымъ и неудовлетворительнымъ: вѣдь не у всякаго же достанетъ духа объясняться маленько-мужицкимъ слогомъ. Языкъ же общества безпрестанно измѣнялся вмѣстѣ съ литературою.

Однакожь и Пушкинымъ не кончилось развитіе русскаго языка, котораго и теперь еще далеко отъ того, чтобъ установиться. Особенно бѣденъ доселѣ разговорный, общественный русскій языкъ. Для поэзіи, преимущественно высокой, еще нашими писателями до Пушкина (преимущественно Державинимъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ) сдѣлано было много, а Пушкинымъ довершено ихъ дѣло. И не мудрено: русскій языкъ необыкновенно богатъ для выраженія явленій природы, и, по своему близкому сродству съ древне-церковнымъ славянскимъ языкомъ, причащенъ гонію древнихъ классическихъ языковъ, способенъ въ передачѣ произведеній древне греческой и латинской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, какое богатство для изображенія явленій естественной дѣйствительности заключается только въ глаголахъ русскихъ, имѣющихъ виды! „Плывать, плыть, приплывать, приплыть, заплывать, отплыть, заплыть, приплыть, уплыть, уплыть, заплыть, заплыть, поплыть, поплыть, расплываться, расплы-

ться, наплаваться, заплаваться“: это все одинъ глаголь для выраженія двадцати оттѣнковъ одного и того же дѣйствія!

Степь раздольная  
 Далеко вокругъ,  
 Широко лежитъ,  
 Ковылемъ травой  
*Разстиляется!*  
 Ахъ, ты степь моя,  
 Степь привольная,  
 Широко ты, степь,  
*Пораскинулась,*  
 Къ Морю Черному  
*Понадвинулась!*

На какомъ другомъ языкѣ передали бы вы поэтическую прелесть этихъ выраженій покойнаго Кольцова о степи: „разстиляется, пораскинулась, понадвинулась“?...

Да, благодаря уже самому свойству русскаго языка, поэзія природы, поэзія чувствъ и мыслей, не ознаменованныхъ ни печатію абстракціи, ни печатію общественности, навсегда установилась у насъ Пушкинымъ, и языкъ для нея вполне выработался,—такъ что дальнѣйшій прогрессъ для языка будетъ уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержанія. Но такой прогрессъ возможенъ не только для юнаго русскаго языка, еще далеко не во всѣхъ отношеніяхъ вышедшаго изъ пеленъ, но и для вполне развивавшагося слишкомъ два вѣка назадъ французскаго языка. Каждый вновь появляющійся великій писатель открываетъ въ своемъ родномъ языкѣ новыя средства для выраженія новой сферы созерцанія. Такъ, напримѣръ, въ грамматическомъ отношеніи, нѣтъ почти никакой разницы между языкомъ Руссо и Жоржъ-Занда; но за то какая разница между тѣмъ и другимъ языкомъ въ отношеніи къ ихъ содержанію! Въ этомъ отношеніи, благодаря Лермонтову, русскій языкъ далеко подвинулся впередъ послѣ Пуш-



кина, и такимъ образомъ онъ не перестанетъ подвигаться впередъ до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ на Руси являться великіе писатели.

Но за то, какъ еще бѣденъ русскій языкъ для выраженія предметовъ науки, общественности, — словомъ, всего отвлеченнаго, всего цивилизованнаго, глубоко и тонко развитаго, даже ежедневныхъ житейскихъ отношеній! И причина этой бѣдности заключается, къ несчастію, не въ томъ только, что русскій языкъ молодъ, неразвѣтъ, необработанъ, но еще и въ историческомъ развитіи русскаго народа. Какъ богаты передъ нимъ, въ этомъ отношеніи, языки народовъ Западной Европы! — А почему? — Потому, что они образовались большею частію изъ обломковъ латинскаго, черезъ который приняли въ себя не малое число даже греческихъ словъ. Исключеніе остается за нѣмецкимъ языкомъ, какъ самостоятельнымъ; а попробуйте исключить изъ него всѣ взятые Нѣмцами латинскія и греческія слова, — и вы увидите, какъ страшно обѣднѣетъ онъ. Вѣстѣ съ словами искаженнаго латинскаго языка, тевтонскіе варвары взяли отъ Римлянъ и тѣ понятія, тѣ идеи, которыя могла породить и развить только гуманическая классическая древность, и которыя не могли бы инымъ путемъ достаться варваражъ. Отъ этого, напримѣръ, французскій языкъ такъ богатъ словами, которыя заключаютъ въ себѣ философскій смыслъ, и которыя, несмотря на то, употребляются въ самомъ простомъ житейскомъ разговорѣ: „Субъектъ, объектъ, индивидуумъ, индивидуальный, абсолютный, субстанція, субстанціальный, конкретный, универсальный, абстрактный, категория, рационализмъ, рациональный, обскурантизмъ, индифферентизмъ, специальный, специализмъ, коллизія“; всѣ эти слова считаются у насъ книжными, свѣшными и дикими, и навлекаютъ на себя глумленіе невѣждъ, если употребляются и не въ разговорѣ, а въ разсужденіяхъ объ умственныхъ предметахъ. Оно отчасти

и понятно: ихъ не было въ русскомъ языкѣ, потому что въ русской цивилизаціи до Петра-Великаго не было выражаемыхъ ими понятій; а во французскомъ языкѣ они существуютъ какъ весьма обыкновенныя слова: „l'objet, le sujet, l'individu, individuel, l'individualité, absolut, la substance, substantiel, concret, universel, l'universalité, abstrait, la categorie, le rationalisme, rationel, l'obscurantisme, l'indifférentisme, le specialisme, la collision“... Такихъ словъ мы не перечли здѣсь и сотой доли. Всѣ такія слова мы по неволѣ должны брать цѣликомъ у иностранцевъ; многія изъ нихъ совершенно обрусѣли, и мы такъ привыкли къ нимъ, что какъ-будто и не считаемъ ихъ за чужія: „коммерція, монополія, манифестъ, декларація, прокламація, инстинктъ, фабрика, мануфактура, брильянтъ, поэзія, проза, музыка, гармонія, мелодія, администрація, губернія, мастеръ, мастерство, маляръ, кучеръ, солдатъ, офицеръ, и пр. и пр. и пр. Такихъ словъ мы не исчисляли здѣсь и тысячной доли. Многія изъ иностранныхъ словъ удачно переведены на русскій языкъ и получили въ немъ право гражданства: „правительство, промышленность, предметъ, личность (не оскорбленіе, а *personnalité*), дѣвственность, любезность, воспроизведеніе (*reproduction*), вліяніе, отношеніе, заключеніе (*conclusion*), изложеніе (*éxposition*)“ и пр. Нечего уже говорить, что, чрезъ столкновеніе русскаго ума съ доселѣ чуждыми ему идеями, русскій языкъ сталъ богаче словами, которыя умножились, этимологическимъ производствомъ, для выраженія отгѣнковъ уже существовавшихъ понятій. Такимъ образомъ, произошло неизчислимое множество словъ въ родѣ слѣдующихъ: „враждебность, количественность, творчество, знаменитость (въ смыслѣ славнаго чѣмъ-нибудь человека, *célébrité*), множественность, письменность, сладостный, принадлежность, влюбчивость, письменность, грамотность“ и т. п. Но, несмотря на то, во французскомъ языкѣ остается множество

словъ, въ значеніи которыхъ мы не можемъ не нуждаться, но которыхъ, въ то же время, не можемъ ни перевести (потому что у насъ нѣтъ соотвѣствующихъ имъ словъ), ни взять цѣликомъ (потому что они какъ-то не вошли сами въ нашъ языкъ). Впрочемъ, нѣкоторыя изъ нихъ мы по неволѣ иѣшаемъ въ свой русскій разговоръ, къ величайшему неудовольствію пуристовъ, которыхъ ограниченность не вилить въ нихъ нужды; таковы: „compromettre, solidarit , alternative, charit , exag rer, se prononcer, pretendre, conception, garantir, garantie, exploiter, initier, initiation, initiative, varier, remonter, pr pond rance, chance, camaraderie, association, attribut,  taler, détailler, assortir, revanche и пр. (компрометтировать, эксажировать, прононсироваться, претендовать, концепція, гарантировать, эксплуатировать, варіировать, ремонтировать, препондерансъ, шансъ, ассоціація, атрибутъ, эталировать, летальировать, сортировать, реваншъ). Н чего говорить о богатствѣ французской фразеологіи, о гибкости французскаго языка, способнаго на выраженіе всевозможныхъ тонкостей и оттѣнковъ мыслей. Выписанныя нами выше слова важны еще и по опредѣленности, съ какою выражаютъ они заключенное въ нихъ понятіе: поэтому, многія изъ нихъ можно бы перевести, да только переводъ будетъ неточенъ—то же, да не то. Такъ, напри- мѣръ, „charit “ можно перевести словомъ „милосердіе“, а будетъ не то: схвачено понятіе, но потеряны нѣкоторыя оттѣнки его;  taler — выставлять, раскладывать на показъ—опять близко, но не то, „revanche—возмездіе“: похоже, а не совсѣмъ! Вотъ почему французскій языкъ не у однихъ у насъ въ такомъ употребленіи. Можно быть въ немъ не слишкомъ сильнымъ, — и несмотря на то, подлинникъ хорошаго французскаго сочиненія понимать лучше, нежели превосходный переводъ его по русски. Писать по-русски нисѣма—просто мученіе: фраза выходить тяжелая, пахнетъ грамматикою и семинаріею, обороты не-

уклужи. Пишете, мараете — и кончите тѣмъ, что сразу напишите по французски — и выйдетъ хорошо. Говорить по русски, не вмѣшивая фразъ и словъ французскихъ, очень трудно. Наши литераторы и такъ называемые патріоты упрекали и теперь упрекаютъ высшее общество въ равнодушіи и даже презрѣніи къ русскому языку и русской литературѣ, въ пристрастіи и даже страсти къ французскому языку и французской литературѣ: обвиненіе несправедливое и въ высшей степени мѣщанское! Наше высшее общество, вдругъ столкнувшись, такъ сказать, съ Европою, увидѣло, что для его новыхъ потребностей, идей и общественныхъ отношеній русскій языкъ бѣденъ и недостаточенъ, хотя для своего общества (до временъ Петра-Великаго), онъ, какъ и естественно, былъ не только удовлетворителенъ, но еще и очень богатъ. Русскому обществу по-русски читать было нечего; однакожь, то немного, что было, оно читало: при Екатеринѣ-Великой, оно читало Державина и Богдановича, смотрѣло въ театрѣ трагедіи Сумарокова и комедіи Фонъ-Визина; при Александрѣ I-мъ оно не по однимъ слухамъ знало о Карамзинѣ, Дмитріевѣ, Озеровѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Батюшковѣ. Но это вѣдъ еще не была литература, способная занять и наполнить досуги образованнаго общества: годовой бюджетъ произведеній всѣхъ этихъ писателей едва могъ ставать на недѣлю чтенія. Явился Пушкинъ — высшее общество прочло его. Въ наше время, оно не только прочло Гоголя и Лермонтова, но перелистываетъ иногда и не столь крупныхъ писателей, заглядываетъ даже въ журналы. Въ чемъ же упрекаютъ его? — Развѣ въ томъ, что оно не проглатываетъ всего, что производитъ досужество россійскихъ сочинителей? — Ну, за это надо извинить высшее общество: оно немножко деликатно и боится индѣжестіи... Но оно не говоритъ по русски? — Правда; и это оттого, что, какъ сказалъ Пушкинъ,

Доселѣ гордый нашъ языкъ  
Къ почтовой прозѣ не привыкъ.

и оттого, что онъ еще менѣе привыкъ къ разговору: мѣстоименія его такія длинныя, напримѣръ, который, безъ котораго, между тѣмъ, нельзя составить фразы; а его причастія, и дѣйствительныя и страдательныя, такъ долговязы, главное же — такъ отзываются „высокимъ слогомъ“; его фраза такъ пахнетъ книгою.

Для устраненія всѣхъ этихъ препятствій, еще очень мало сдѣлано и высшимъ обществомъ и литературою; но „мало“ не значить еще „ничего“. Немного сдѣлано, но уже дѣлается: съ одной стороны, высшее общество, все больше и больше читая по-русски, естественно, больше и говоритъ по-русски; а когда русская литература будетъ ежегодно производить хорошаго и интереснаго столько же, сколько ежегодно производитъ французская литература, или хоть около того, — тогда наше высшее общество будетъ и читать и говорить по-русски, безъ сомнѣннйя, больше, чѣмъ по-французски. А то вѣдь согласитесь сами — двѣ или три, много-много пять порядочныхъ повѣстей въ годъ, романъ въ иной годъ, да десятокъ журналовъ, которые больше чѣмъ наполовину наполняются переводами, и изъ которыхъ развѣ только два удобны для чтенія, — согласитесь, что такая литература, если только она и въ самомъ дѣлѣ — литература, немного времени возьметъ у самого жаднаго до чтенія, но хотя немного разборчиваго читателя? Съ другой стороны, русская литература теперь на доброй дорогѣ для того, чтобы выработать изъ языка книги языкъ общества и жизни. Она давно уже стремится къ этому, — съ тѣхъ поръ, какъ заговорили о важности такъ называемой легкой поэзйи и легкой литературы. Перебирая нашихъ дѣятелей въ этомъ отношеніи, пропустимъ Сумарокова, Богдановича, даже Хемницера, и начнемъ съ Фонъ-Визина, потомъ упомянемъ Кры-

лова и Дмитриева (басни и сказки; въ особенности „Модная Жена“); отъ нихъ перейдемъ къ безсмертному созданію Грибоѣдова, „Горе отъ Ума“, къ „Евгенію Онѣгину“ и „Графу Нулину“ Пушкина, при чемъ упоминается о прозаическихъ опытахъ Пушкина (преимущественно объ „Арапѣ Петра-Великаго). Съ Гоголя начинается новый періодъ русской литературы, которая, въ лицѣ этого гениальнаго писателя, обратилась преимущественно къ изображенію русскаго общества. Пурристы, грамматоеды и корректоры нападаютъ на языкъ Гоголя, и—если хотите не совсѣмъ безсознательно: его языкъ точно неправиленъ, нерѣдко грѣшитъ противъ грамматики и отличается длинными періодами, которые изобилуютъ вставочными предложеніями; но совсѣмъ тѣмъ, онъ такъ живописенъ, такъ ярокъ и рельефенъ, такъ опредѣлителенъ и точенъ, что его недостатки, о которыхъ мы сказали выше, скорѣе составляютъ его прелесть нежели пороки, какъ иногда нѣкоторыя неправильности чертъ, или веснушни, составляютъ прелесть прекраснаго женскаго лица. Возьмите самый неуклюжій періодъ Гоголя: его легко поправить, и это сдѣлаетъ всякій грамотѣй десятаго разряда; но покуситься на это значило бы испортить періодъ, лишить его оригинальности и жизни. Гоголь далъ направленіе прозаической литературѣ нашего времени, какъ Лермонтовъ далъ направленіе всей стихотворной литературѣ послѣдняго времени. И направленіе, данное Гоголемъ, особенно плодотворно для литературы и для языка, которые по этому учатся и научатся хорошо говорить о простыхъ вещахъ, и уже не поучать, какъ прежде, торжественно и важно публику, а бесѣдовать съ нею. Съ другой стороны, еще съ появленія „Московскаго Журнала“ и „Вѣстника Европы“ Карамзина, наша журнальная литература оказала стремленіе объясняться съ публикою не параднымъ языкомъ книги, а живымъ языкомъ общества. Но Карамзинъ не долго дѣйстви-

валъ на журнальномъ поприщѣ, — и потому только съ появленія „Московского Телеграфа“ начинается періодъ настоящей журнальной дѣятельности, полезной и для общества и для языка. И нельзя сказать, чтобъ, въ этомъ отношеніи, журналистика наша не сдѣлала съ тѣхъ поръ значительныхъ успѣховъ.

Но какъ бы ни былъ языкъ неразвитъ и необработанъ, — онъ все же вѣдь имѣетъ свой геній, свой духъ, свои законы и свои, только ему свойственныя, характеръ и физиономію: изслѣдовать, опредѣлить, — словомъ, привести ихъ въ ясное сознаніе, есть дѣло грамматики. Взглянемъ же на то, что сдѣлала у насъ для языка грамматика. Сначала, подобно русской поэзіи и русской литературѣ вообще, русская грамматика нисколько не была русскою, но представляла какой-то странный сколокъ съ латинской, французской и нѣмецкой грамматики. Наши грамматисты, отъ Мелетія Смотрицкаго до Ломоносова и бывшей Академіи Россійской, составляя русскую грамматику, какъ-будто ничего другаго не дѣлали, какъ только переводили латинскую, — и потому они въ русскихъ глаголахъ, кромѣ трехъ временъ — и а стоящаго, прошедшаго и будущаго, дѣйствительно существующихъ, нашли еще „неопредѣленное прошедшее (преходящее), совершенно-прошедшее, давно-прошедшее, неопредѣленно-будущее, совершенно-будущее и другія, при каждомъ глаголѣ открыли по-нѣсколько неокончательныхъ наклоненій. Также неудовлетворительна была грамматика, изданная Россійской Академіею. Впрочемъ, за это облатыненіе русской грамматики не должно строго судить нашихъ старинныхъ грамматѣвъ: вся ихъ вина состояла въ томъ, что они начали съ начала, по естественному ходу человѣческаго ума. Вслѣдствіе реформы Петра-Великаго у насъ все русское неизбежно должно было обиностраниваться. Наконецъ, знаменитый лингвистъ, Нѣмецъ Фатеръ, первый пре-

никнувъ въ особенныя свойства русскихъ глаголовъ, положилъ твердое основаніе русской грамматикѣ, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ ее возможною. Онъ доказалъ, что совершающееся въ глаголахъ другихъ языковъ посредствомъ множества временъ у насъ дѣлается черезъ виды, что каждый русскій глаголь имѣетъ нѣсколько видовъ, что каждый видъ имѣетъ только одно неокончательное наклоненіе, и что глаголы неопредѣленнаго и многократнаго вида имѣютъ три времени—настоящее прошедшее и будущее, а глаголы совершеннаго (или опредѣленнаго) и многократнаго вида имѣютъ только два времени—прошедшее и будущее (последнее спрягается совершенно такъ, какъ настоящее время глаголовъ неопредѣленнаго и многократнаго видовъ). Объ этомъ самомъ писалъ покойный профессоръ Болдыревъ, котораго обвиняли въ томъ, что онъ присвоилъ себѣ мысли Фатера. Справедливо ли это, мы рѣшить не можемъ; а лучше скажемъ, что профессоръ Болдыревъ написалъ еще прекрасное разсужденіе о „степеняхъ сравненія русскихъ прилагательныхъ“, въ которомъ доказалъ, что степень, которую принимали за превосходную и которая оканчивается на *айшій* и *льшій*, есть, напротивъ, сравнительная степень полной формы прилагательныхъ, тогда какъ степень, которая одна считалась сравнительною и которая оканчивается на *ле*, *ль* и *е*, есть только сравнительная усѣченной формы прилагательныхъ. Потому, мы помнимъ еще небольшую, но дѣльную статейку профессора И. И. Давыдова „О Порядкѣ Словъ“. Имя г. Востокова по справедливости должно быть упоминаемо съ почетомъ, какъ автора лучшей доселѣ русской грамматики. Но все это—не корень, не начало. Прежде составленія грамматики, необходимо аналитическое изслѣдованіе русскаго языка, глубокое проихновеніе въ анатомію, въ физиологію, въ тайну организма языка. Надо начать съ звука, съ буквы. Это и сдѣлалъ знаменитый фило-



логъ нашъ, Г. П. Павскій, который одинъ стѣитъ цѣлой академіи. Его „Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка“ положено прочное основаніе филологическому изученію русскаго языка, показанъ истинный методъ для этого изученія. Это превосходное сочиненіе еще не кончено; но мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, что послѣдняя, шестая, часть его приводится къ окончанію авторомъ и вмѣстѣ съ четвертою и пятою не замедлитъ поступить въ печать. Первые три части этого творенія уже всѣ распроданы и выйдутъ вторымъ изданіемъ, когда окончатся печатаніемъ три послѣднія части. Это успѣхъ, успѣхъ блестящій и славный тѣмъ болѣе, что у насъ нѣтъ еще публики для ученыхъ сочиненій, и что журналы не оцѣнили великій трудъ о. Павскаго, какъ слѣдуетъ, — а не оцѣнили потому, что для него, какъ сочиненія совершенно самобытнаго и оригинальнаго, которое первое полагаетъ основаніе русской филологіи, не нашлось цѣнителей, достаточно сильныхъ для подобной оцѣнки. Но придетъ время, когда сочиненіе о. Павскаго слѣдается классическою и настольною книгою для всякаго ученаго, который посвятитъ себя изученію русскаго языка. Ужъ и теперь плоха и ничтожна была бы самая хорошая грамматика, которой авторъ, при ея составленіи, много и крѣпко не посоветовался бы съ „Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка“.

„Грамматическія Разысканія“ г. Васильева явились вслѣдствіе книги г. Павскаго и написаны по указанному ею методу и въ ея духѣ. Не сомнѣваемся, что найдутся остряки, забавники и потѣшники: они будутъ смѣяться надъ ничтожностью и мелочностью предмета, о которомъ такъ серьезно хлопочетъ книжка г. Васильева. Пусть глумятся на здоровье себѣ и на потѣху своимъ читателямъ! Положимъ что книжка г. Васильева порождена даже педантизмомъ; не развѣ не такому педантизму обязаны Французы удивительною разработкою своего языка?

Что бы ни говорили, но грамматика именно учить не чему другому, какъ правильному употребленію языка, т. е. правильно говорить, читать и писать на томъ или другомъ языкѣ. Ея предметъ и цѣль—правильность, и ни до чего остального ей нѣтъ дѣла. Съ педантической кропотливостью задумывается она надъ тѣмъ, какъ правильнѣе произносить, склонять, спрягать, согласовать, писать, словомъ, употреблять то или другое слово,—и все это иногда для того, чтобъ, добившись цѣли своихъ изысканій, сказать: „такъ должно бы по правилу употреблять это слово, но такъ употребляется оно въ живомъ языкѣ общества“! Можно знать хорошо грамматику, говорить и писать правильно, и въ то же самое время можно говорить и, особенно, писать дурно: это правда; но также можно хорошо и говорить и писать, и въ то же самое время не знать языка. А между тѣмъ, теоретическое знаніе языка важно и полезно, даже необходимо, и безъ приложенія. Грамматика есть логика, философія языка, и кто знаетъ грамматику своего языка, для того, по крайней мѣрѣ, возможно знаніе всеобщей грамматики—этой прикладной философіи слова человѣческаго. Сверхъ того; люди, которые только и по инстинкту хорошо говорятъ или пишутъ на своемъ языкѣ; по необходимости часто ошибаются противъ духа языка, въ ущербъ своему успѣху на поприщѣ устной или письменной изящной рѣчи. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что когда къ инстинктивной способности хорошо говорить или писать, присоединяется теоретическое знаніе языка,—сила способности удваивается, утрачивается. Грамматика, не даетъ таланта, но даетъ таланту большую силу; а грамматику только тотъ знаетъ, кто знаетъ, какъ слѣдовало по правилу сказать или написать то или другое слово, ту или другую фразу, которымъ живая власть употребленія (*visus—tyrannus*) дала неправильную форму. Сидѣльцы овощныхъ лавокъ и кухарки говорятъ и пишутъ, руководствуясь толь-

ко употребленіемъ, а отнюдь не грамматикою; не потому-то иногда смѣшно слышать ихъ говорящими и всегда такъ трудно понимать написанное ими...

Грамматика не даетъ правилъ языку, но извлекаетъ правила изъ языка. Общее незнаніе этихъ правилъ, т. е. незнаніе грамматики, вредитъ языку народа, дѣлая его неопредѣленнымъ и подчиняя его произволу личностей: тутъ всякій молодецъ говоритъ и пишетъ на свой образецъ. Въ формахъ языка должно быть единство. А этого единства можно достигнуть только строгимъ изслѣдованіемъ, какъ правильнѣе должно говорить или писать то или другое. Это исканіе правильности должно быть доведено до педантизма—для успѣха самого языка. Пусть будутъ тутъ злоупотребленія: они отвергнутся обществомъ, и живое слово не покорится имъ; но за то, все ценное и полезное, но несвязывающее языка мелочными и ненужными правилами, будетъ принято всѣми. Посмотрите на русскую орфографію, что это такое! Въ этомъ отношеніи русскій языкъ представляетъ собою странное исключеніе изъ общаго правила: у насъ столько же орфографій, сколько книгъ, сколько журналовъ, сколько литераторовъ,—и потому нѣтъ никакой орфографіи. Неужели это хорошо? А между тѣмъ, за это никакъ нельзя ничего винить: виноватаго нѣтъ! И такъ, вмѣсто того, чтобъ пѣть іереміады противъ нововведеній,—не лучше ли было бы приняться за разработку орфографіи, за изслѣдованіе—какой орфографіи должно держаться, сообразно съ духомъ языка и его правилами. Объ этомъ стоитъ разсуждать и спорить. Пусть въ этихъ разсужденіяхъ и спорахъ наговорено будетъ много страннаго и нецѣпаго, лишь бы только результатомъ всего этого было, рано или поздно, удовлетворительное рѣшеніе вопроса. Но видно, обвинять и бранить другихъ гораздо легче, нежели доказать, почему они-они-баются и какъ имъ надо писать, чтобъ писать правильно...

Вотъ почему мы очень рады появленію брошюрки г. Васильева. Можетъ-быть, ею начинаются безконечный рядъ филологико-грамматическихъ брошюръ, разсужденій, полемическихъ статей и статейекъ, которыми должна разработаться наша грамматика и прійти въ единство наша орфографія. Брошюрка г. Васильева раздѣляется на двѣ части. Въ первой онъ пытается рѣшить, правы ли тѣ, которые, вмѣсто почетный, счетъ, въ чешь, черный, пишутъ: почотный, счотъ, въ чомъ, чорный,— и правы ли тѣ, которые нападаютъ на нихъ, какъ это дѣлаетъ фельетонистъ „Сѣверной Пчелы“. Г. Васильевъ несогласенъ ни съ тою, ни съ другою стороною. Онъ говоритъ, что наши грамматисты, гг. Востоковъ и Гречъ, ошибаются, утверждая, будто бы буква *ѣ* не можетъ слѣдовать за зубными буквами: *жс, ч, ш, щ, џ*, или, по крайней мѣрѣ, произносится послѣ нихъ не какъ *ѣ*, но какъ *о*; но что если внимательнѣе прислушаться въ произношеніи словъ: *счетъ* и *счотъ*, *щетка* и *щотка*, *жѣлтый* и *жолтый*, то нельзя не увѣриться, что слова эти, при звукахъ *ѣ* и *о*, совсѣмъ не одинаково произносятся, и что, слѣдовательно, должно писать въ этихъ словахъ не *о*, а *ѣ*. Съ другой стороны, онъ не согласенъ съ доводами фельетониста „Сѣверной Пчелы“, который, въ употребленіи буквы *о* въ номанутыхъ словахъ, видитъ нарушеніе некони соблюдавшагося правила. Г. Васильевъ справедливо замѣчаетъ, что некони писали: *Оскверненіи, отшедшия, продающыи, идущыи, російсти, распенши, денми*, и что „Библиотека для Чтенія“ слѣдуетъ коренной древней, хотя и неправильной привычкѣ русскаго народа, утвержденной въ ками, употребляя дательный падежъ вмѣсто родительнаго, между тѣмъ, какъ фельетонистъ „Сѣверной Пчелы“ нападаетъ же за это на „Библиотеку для Чтенія“.

Спорныя буквы *ѣ* и *о* суть бѣглыя, т. е. такія, которыя то исчезаютъ, то опять появляются въ словѣ, какъ наиримѣръ:

ледь, льда, орель, орла, близкій, близокъ. Г. Павскій говоритъ, что когда надъ этими буквами должно стоять удареніе, то ихъ должно употреблять по правиламъ сочетаемости буквъ, т. е. *о* ставить послѣ согласнымъ тупыхъ, а *е*—послѣ согласныхъ острыхъ. Г. Васильевъ, напротивъ, утверждаетъ, что бѣглая гласная, находясь между двумя согласными и ниѣя на себѣ удареніе, должна угождать обѣимъ,—такъ что, если послѣднія въ словѣ требуютъ передъ собою *е*, а предыдущія *о*,—то такъ какъ обѣихъ поставить нельзя, должно поставить среднюю между *о* и *е*, то-есть *ѣ*. Основываясь на этомъ правилѣ, г. Васильевъ положительно утверждаетъ, что слова: дружекъ, лужекъ, мужичекъ, колпачекъ, кружекъ, и т. п. должно писать черезъ *е*, а не черезъ *о*.

Прекрасно! Но что же дѣлать съ выговоромъ-то и употребленіемъ? Что вы говорите, а далеко не во всѣхъ словахъ звукъ *ѣ* отличается въ произношеніи отъ *о*. Въ словѣ жолтый не слышно ни какого *ѣ*, а слышно одно чистое *о*; то же должно сказать о словѣ хорошо, которое, какъ усѣченіе слова хороше *е*, должно бы и писаться: хороше, а произноситься хорошѣ; но—вопреки правилу, по прихоти употребленія, ни то ни другое невозможно,—поэтому оно и пишется и говорится хорошо, а не хорошѣ. Мы согласны, что въ словахъ: „щетка, счесть, въ чемъ, черный, щелокъ, щеголь“, слышится звукъ болѣе похожій на *ѣ*, нежели на *о*, и что, слѣдовательно, нельзя для слуха и безобразно для глазъ писать щотка, счотъ, въ чомъ, черныи, щолокъ, щоголь. Но такъ же точно, сколько ни прислушайтесь къ словамъ: „лицо, крыльцо, яйцо, колѣдо, словцо, жолтый, щорахъ, щецеть, кружокъ, лужокъ, отцомъ“—а воля ваша, звука *ѣ* въ нихъ вы не услышите; если же и услышите, то вамъ трудно будетъ выговаривать эти слова, и этотъ звукъ оскорбитъ вашъ слухъ, — слѣдовательно, нельзя для слуха и безобразно для глазъ писать: лице, крыльце, яйцо,

кольце, желтый, шепоть, кружекъ, лужекъ, отцемъ. Въ первомъ случаѣ, буква, *о*, какъ говорится, деретъ глаза; во второмъ то же дѣйствіе производитъ буква *е*. Согласны: правило г. Васильева вѣрно, да та бѣда, что употребленіе попортило его цѣлостъ, такъ что теперь, избѣгая педантизма, который иногда бываетъ хуже невѣжества, необходимо уступить деспотической волѣ употребленія, и изъ одного стараго правила слѣлать два, т. е. помириться на серединѣ: съ буквами *щ* и *ч*. писать *е*, а съ буквами *жс* и *ш*, писать *о*. Возьмите слово: плече, — и произнесите на концѣ острое *ѣ*: вы выговорите его такъ, какъ оно въ самомъ дѣлѣ выговаривается, слѣдовательно, нѣтъ никакой нужды нарушать общаго правила и писать *о* (плечо); но въ словѣ: лицо какъ ни старайтесь выговаривать *ѣ*, не выговорите, а если выговорите, вамъ самимъ будетъ смѣшно своего усилія, равно какъ и звука, который вымучите вы изъ своихъ губъ. Остановимся на серединѣ, избѣгая равно и педантизма и произвольности: обѣ крайности равно нехороши. Чтѣ жъ дѣлать, если духъ новаго русскаго языка часто бываетъ въ противорѣчїи съ духомъ стараго русскаго языка, и если всѣ акустическія и орфографическія преданія разорваны такъ, что иногда и слѣдовъ нельзя отыскать? Тутъ остается только покориться необходимости.

Мы не обратили бы особеннаго вниманія на брошюрку г. Васильева, еслибъ въ ней было сказано только то, въ чемъ мы съ нею не согласились. Нѣтъ, въ ней, кромѣ этого, много дѣльнаго и интереснаго, какъ, наприимѣръ, критика мнѣній разныхъ грамматистовъ и изслѣдованіе, въ какихъ случаяхъ буква *е* выговаривается какъ *ѣ*. Последнее изслѣдованіе стоило автору большихъ трудовъ: чтобъ повѣрить справедливость своихъ выводовъ, онъ долженъ былъ перечестъ весь лексиконъ русскій. Хлопотливо и тяжело, — а нельзя иначе при подобныхъ изслѣдованіяхъ, если не хотите нагромоздить кучу про-

извольныхъ правилъ, которыхъ языкъ и не думалъ признавать. Г. Васильевъ приводитъ въ своей брошюрѣ разительный примѣръ подобной произвольности, происшедшей отъ легкости въ работѣ. Г. Гречъ говоритъ: „Если надъ буквою *e* находится удареніе и гласная (также полугласная), то она произносится какъ *йо* (т. е. какъ *ё*); напримѣръ елка, твердо, лерну, блеклый, медъ. То же бываетъ, когда *e* находится въ концѣ слова: житье, сине, мое“ („Практ. Русская Грамматика“, 1834 г., стр. 416). Г. Васильевъ приводитъ множество словъ въ опроверженіе этого правила: „верба, векша, жертва, трапеза, горе, ложе, море, поле“, и проч. Но изложеніе правилъ, открытыхъ (числомъ 12) г. Васильевымъ объ употребленіи буквы *ё*, было бы излишне въ нашей статьѣ. Наше дѣло указать хорошее, а кто хочетъ увидѣть его самъ, можетъ обратиться къ самой брошюркѣ.

Очень интересно и второе разысканіе: „Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужескаго и женскаго“, — интересно, какъ по разбору ииѣній гг. Греча и Востокова объ этомъ предметѣ, такъ и по выводамъ самого автора. Вообще, брошюрка г. Васильева такого рода, что ни одинъ будущій составитель грамматики не обойдется безъ того, чтобъ, при трудѣ своемъ, не принять ея къ свѣдѣнію, а иногда даже и не посоветоваться съ нею.

Слова на оберткѣ брошюры: „первый выпускъ“, обѣщаютъ намъ продолженіе трудовъ г. Васильева по части разработыванія русской грамматики: очень рады!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЛОДЫ БЕЗСОННИЦЫ. Соч. барона Алек-  
сандра Бюде. Спб. 1845.

Это книга ископаемая, допотопная! Помилуйте, да кто же теперь рѣшится прочесть книжонку, которую кому-то вздумалось накропать отъ бессонницы? И кто теперь пишетъ отъ бессонницы? Отъ бессонницы не пишутъ, а читаютъ плохія книги и славянофильскіе журналы. Теперь пишутъ отъ потребности что нибудь высказать, а не то — изъ денегъ, или изъ самолюбія; но и въ послѣднихъ двухъ случаяхъ всегда говорятъ, что пишутъ оттого, что просится наружу мысль, что не даетъ покоя излишество таланта... А баронъ Бюде изволяетъ писать отъ бессонницы, да еще стихами, да еще какими — чудовищными! Баронъ Бюде признается, въ предисловіи къ своей книжкѣ, что онъ не знаетъ русскаго языка: вѣрнѣе, потому что предисловіе написано безграмотно; онъ говоритъ, что это ему, какъ иностранцу, никогда неучившемуся русскому языку, извинительно: согласны! Но вѣдь это было ему извинительно, пока онъ писалъ статьи по части сельскаго хозяйства: дѣльность и полезность ихъ содержанія, еслибъ онѣ были дѣйствительно дѣльны и полезны, могла бы заставить забыть невнятность ихъ слога; но чѣмъ же извинится баронъ Бюде передъ здравымъ смысломъ въ томъ что, не зная русскаго языка, принялся писать стихи на этомъ языкѣ! — Ужь не бессонницею ли? — Вотъ какъ пишетъ баронъ Бюде русскою прозою: „Притязанія на изящность слога я не могъ имѣть, потому что не родился въ Россіи, т. е. родился не въ Россіи и никогда не обучался русскому языку; а все, что знаю изъ этого языка, есть плодъ самоучки, подкрѣпленная памятью и слухомъ“.... Не только не лучше этого, но гораздо хуже пишетъ баронъ Бюде стихами..



РУССКОЕ ЧТЕНІЕ. *Отечественные историческіе памятники XVIII и XIX столѣтій, издаваемые Сергѣемъ Глинкою. Часть I. Спб.*

РУССКОЕ ЧТЕНІЕ, издаваемое Сергѣемъ Глинкою. *Выпуск вторы(о)й: отечественные историческіе памятники XVIII и XIX столѣтій. Спб. 1845.*

Въ этомъ странномъ изданіи, которое, по номеровкѣ, составляетъ одну, а по заглавію—двѣ книжки, нѣтъ никакихъ историческихъ и отечественныхъ памятниковъ, а если и есть, они составлены не современниками, а г. Сергѣемъ Глинкою. Онъ рассказываетъ большею частію все, что извѣстно о Петрѣ Великомъ, о князѣ Юріи Владиміровичѣ Долгорукомъ, о Потемкинѣ, и рассказываетъ разумеется, по своему—съ отступлениями, страннымъ языкомъ, темно, сбивчиво, нескладно, хотя и съ амфазомъ, какъ-будто въ вдохновенномъ упоеніи. Подъ перомъ литератора, болѣе даровитаго и менѣе упоеннаго восторгомъ, эти рассказы могли бы имѣть большую занимательность. Правда, они и подъ перомъ г. Сергѣя Глинки имѣютъ нѣкоторую занимательность, но уже не сами по себѣ, а по отношенію къ сочинителю. Онъ все тотъ же, какинъ былъ въ то время, какъ началъ издавать свой „Русскій Вѣстникъ“, назалъ тому болѣе четверти вѣка; нисколько не измѣнился, хотя вокругъ него измѣнились—и люди, и языкъ, и литература, и понятія, и обычаи, и нравы. Еслибъ подобное окаменѣніе постигло литератора съ замѣчательнымъ талантомъ,—его сочиненія никогда не перестали бы быть интересными для новыхъ поколѣній, какъ мемуары о старинѣ, какъ живые памятники старины; но... г. Сергѣй Глинка „чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ“... Человѣкъ русскій, радушный и гостепріимный, онъ всегда готовъ васъ угощать своимъ добромъ; вы давно уже сыты по горло отъ другихъ кушаній, а онъ все вамъ кланяется да

говорить: „прошу покорно; чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ“. Вы смотрите: страшно было бы и на голодный желудокъ, а дѣлать нечего, берете изъ вѣжливости; о слѣдствіяхъ нечего и говорить... И—когда г. С. Глинка молчать, молчить такъ, что вы думаете, что его восторгъ прошелъ совсѣмъ, и онъ уже больше не будетъ писать; глядь: онъ, вдругъ, говоря его собственнымъ языкомъ, „предъявить“ вамъ такой „погромъ“, что вы, подобно Оукъ Крылова,

Скорѣй въ охапку  
Бушанъ и шапку...

Но мы, несчастные рецензенты, мы не можемъ этого дѣлать и ѣдимъ всякую уху, какую ни заварить досужество стараго или молодаго литератора...

---

РÉTROUSNA. (*Moeurs russes.*) Par Hippolyte Auger (пет-гуша. *Русскіе нравы. Соч. Ипполита Ожè*) Спб. 1845.

Г. Ипполитъ Ожè обязателенъ и любезенъ, какъ истинный Французъ. Ему, видно, понравилось наше гостепрїимство, и онъ рѣшился отблагодарить насъ изображеніемъ, въ формѣ романа, нашихъ нравовъ, которые ему, какъ видно изъ его книги, такъ понравились. Благодарны за честь, очень благодарны! Но, чтобъ благодарность наша не осталась на однихъ словахъ, какъ не осталась на однихъ словахъ благодарность г. Ожè, рѣшаемъ сдѣлать ему нѣсколько совѣтовъ, которые будутъ ему очень полезны, если ему угодно будетъ ихъ послѣдовать. Первый совѣтъ: благодарность — прекрасное чувство, но она не можетъ замѣнить таланта, который необходимъ для того, чтобъ писать романы. Второй совѣтъ: нельзя изображать нравовъ народа, о которомъ мы имѣемъ только легкое и поверхностное

понятіе. Есть русская пословица: чтобъ узнать челоуѣка, надо съ нимъ съѣсть кулъ соли. Народъ—не одинъ челоуѣкъ, и его въ тысячу разъ труднѣе узнать, нежели челоуѣка. Въ романѣ г. Ожѣ такъ же нѣтъ русскихъ нравовъ, какъ и нѣтъ характеровъ и лицъ; а если что въ немъ есть, такъ это развѣ общія мѣста, блѣдныя описанія, риторика и скука, да еще русскія имена, каковы: Iegor, Ivan Alexiévitich, Pétre Ivanovitch, Natalie Antonovna, Roman Ilitch Velcanoff, Dmitri Borissovitich и т. п. Скажемъ еще по секрету г-ну Ожѣ, что мы, Русскіе, несмотря на молодость, незрѣлость и даже бѣдность своей литературы, довольно избалованы романами и повѣстями, и въ этомъ родѣ на насъ не такъ-то легко угодить. „Петруша“ г. Ожѣ написанъ въ родѣ романовъ дѣвицы Марьи Извѣковой; онъ, если хотите, не хуже ихъ; но когда вспомните, что романы дѣвицы Марьи Извѣковой писаны назадъ тому болѣе тридцати пяти лѣтъ, то признаѣтесь, что романъ, который написанъ въ 1845 году, и который достоинствомъ не выше посредственныхъ романовъ, писанныхъ въ 1806 и 1809 годахъ, долженъ быть далеко ниже ихъ...

---

СТИХОТВОРЕНІЯ АЛЕКСАНДРА СТРУГОВЩИКОВА, *заимствованныя изъ Гёте Шиллера. Книга первая. Спб. 1845.*

Г. Струговщиковъ давно уже снискалъ себѣ въ нашей литературѣ лестную извѣстность замѣчательнымъ талантомъ, съ какимъ передаетъ онъ на русскій языкъ сочиненія Гёте. О его счастливыхъ переводахъ говорили, спорили и писали; словомъ, г. Струговщиковъ въ короткое время сдѣлалъ себѣ имя этими трудами. Въ самомъ дѣлѣ, нисколько не увлекаясь пристрастіемъ, можно сказать что нѣкоторыя піесы Гёте усвоены

русской литературѣ г. Струговщикова; „Римскія Элегіи“, „Пѣнь Маргериты“, Молитва Маргериты“, „Пѣснь Клары“, „Фантазія Клары“ и, въ особенности, исполненное произведеніе гениа Гёте — „Прометей“: всѣ эти пѣсы воспроизведены переводчикомъ по-русски съ блестящимъ успѣхомъ, который могъ внушить всѣмъ смѣлую надежду, что, можетъ-быть, нѣкогда лучшія произведенія Гёте, а можетъ быть и весь Гёте, явятся въ достойномъ ихъ русскомъ переводѣ. Особенную честь таланту г. Струговщикова дѣлаетъ его переводъ „Прометея“: одного такого перевода достаточно, чтобъ переводчикъ сдѣлалъ себѣ имя въ литературѣ. Таково было почти общее мнѣніе о переводныхъ трудахъ г. Струговщикова и о прекрасныхъ надеждахъ для русской литературы, которыя они подавали въ будущемъ. Но стали замѣчать, что г. Струговщикова не всегда переводитъ, иногда и передѣлываетъ. Даже самъ г. Струговщикова не старался скрывать этого; напротивъ, онъ гдѣ-то печатано сказалъ, что, по его мнѣнію, переводить иностраннаго писателя значить заставлять его творить такъ, какъ онъ самъ бы выразился, еслибъ писалъ по-русски. Подобное мнѣніе очень справедливо, если оно касается только языка; но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, оно болѣе, нежели несправедливо. Кто угадаетъ, какъ бы сталъ писать Гёте по-русски? Для этого самому угадывающему надобно быть Гёте. Кто имѣетъ право модифицировать, измѣнить, укоротить, распространить мысль гениа, передѣлать его созданіе? — развѣ только такой же гений! Какая цѣль перевода? — дать возможно близкое понятіе объ иностранномъ произведеніи, такъ какъ оно есть. Въ такомъ случаѣ, если вы своими придѣлками и передѣлками сдѣлали его даже и лучше, нежели какъ оно написано авторомъ, — переводъ невѣроенъ, слѣдовательно, нехорошъ. Но это случается только съ слабыми произведеніями; хорошаго же произведенія великаго поэта нельзя сдѣлать въ переводѣ лучшимъ про-

тивъ подлинника: поправки и передѣлки только портятъ его. Въ переводѣ изъ Гёте мы хотимъ видѣть Гёте, а не его переводчика; еслибъ самъ Пушкинъ взялся переводить Гёте, мы и отъ него потребовали бы, чтобъ онъ показалъ намъ Гёте, а не себя. Говорятъ: переводчикъ въ прозѣ—рабъ, переводчикъ къ стихахъ—соперникъ. Последнее справедливо только во половину: соперникъ по языку, слогу и стиху, словомъ—по выраженію, но не по мысли, не по содержанію. Тутъ онъ рабъ. Талантъ переводчика есть талантъ формы, разумѣется, при способности вникать въ духъ чужихъ произведеній и чувствовать ихъ красоты. Это человѣкъ, который мастеръ рассказывать, но который, въ тоже время, лишень дара изобрѣтенія, и вѣчно ищетъ сюжетовъ.

Какъ бы то ни было, если г. Струговщиковъ оставилъ свое убѣжденіе касательно переводовъ, то не для того, чтобъ воротиться назадъ, а для того, чтобъ пойти дальше. Это доказываетъ вышедшая теперь книжка его стихотвореній. На первомъ заглавномъ листкѣ сказано просто: „Стихотворенія Струговщикова“; на второмъ заглавномъ листкѣ: „Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте и Шиллера“. Но въ предисловіи еще яснѣе высказалась душевная мысль автора: „Стараясь“ говорить онъ: „оставаться вѣрнымъ подлиннику въ поэзіи повѣствовательной и драматической, не допускающей произвола и исключющей, такъ сказать, въ переводчикѣ всякое творчество, я не могъ и не хотѣлъ покориться тому же условію, когда вступилъ въ очаровательную область лиризма. Убѣжденія, что для произведеній лирической поэзіи переводовъ не существуетъ, приширяло меня съ чувствомъ ответственности передъ лицомъ гениевъ, избранныхъ мною въ руководители. Здѣсь, забывая и отбрасывая иногда подробности, я былъ напутствуемъ одними главнѣйшими впечатлѣніями подлинника: такъ иногда воспоминанія дѣйствуютъ на душу

сильнѣе самыхъ явленій“... Это откровенное объясненіе со стороны автора избавляетъ насъ отъ труда объяснять идею его произведеній.

Это — поэтическія варьяціи, разыгрываемыя на темы, взятыя изъ Гёте и Шиллера. Такой способъ творчества имѣетъ свою выгодную сторону: читаясь чужимъ вдохновеніемъ, заимствователь, въ то же время, обнаруживаетъ и свое собственное вдохновеніе, и самъ является какъ-будто творцомъ. Но этотъ способъ творчества имѣетъ также и свою невыгодную сторону, которая хорошаго заимстввателя ставитъ ниже хорошаго переводчика: послѣдній, какъ немѣющій претензій на творчество, выказываетъ самостоятельную способность формы, обогащающую родную литературу сокровищами иностранныхъ; тогда какъ талантъ перваго есть не болѣе, какъ „плывной мысли раздраженіе“, — не говоря уже о томъ, что заимствователь обязанъ выдерживать соперничество съ великими поэтами. Но г. Струговщиковъ, кажется, думаетъ объ этомъ иначе, какъ это можно заключить по двустышію „Переводчику поэту“.

Ежели твой переводъ пересталъ переводомъ казаться  
Стань свое имя въ челѣ, самъ за себя отвѣчай.

Конечно, всякій воленъ и правъ въ выборѣ своей дороги, потому именно, что не воленъ въ немъ. Г. Струговщиковъ тоже правъ въ своемъ стремленіи такъ же, какъ были бы неправы всѣ тѣ, которые не захотѣли бы признать законности этого стремленія. Теперь посмотримъ, какъ осуществляетъ г. Струговщиковъ свою теорію.

Признаемся откровенно, муза г. Струговщикова несомнѣнно удовлетворяетъ насъ съ этой стороны. Вновь перечли мы съ новымъ наслажденіемъ его переводы изъ Гёте; но переводы и заимствованія изъ Шиллера показали намъ несомнѣнно удачны, отчасти по выполненію, отчасти по выбору. Такъ, напри-

мѣръ, піесы: „Поэзія жизни“, „Три Слова“, „Женщину чтите“, „Величіе Вселенной“, „Надежда“, „Колумбъ“, „Олимпійскіе Гости“, „Къ Радости“, „Три Зablужденія“, „Иліада“, „Раздѣлъ“, „Сбиралися тучи“, выбраны удачно, но въ ихъ исполненіи мы не узнаемъ Шиллера; въ нихъ мало художественности, и мысль высказывается съ какою-то прозаическою наготою. Нѣкоторыя измѣнены противъ оригинала очень неудачно, особенно „Величіе Вселенной“. Шиллеръ говоритъ въ этомъ стихотвореніи не о величіи, а о великости, безконечности вселенной, *die Grösse der Welt*; что же до выполнения то представляемъ самимъ читателямъ быть судьями въ этомъ дѣлѣ, и для того просимъ ихъ сравнить переводъ г. Струговщикова съ переводомъ г. Шевырева.

Но піесы Шиллера: „Крестоносцы“, „Пегазъ“ (впрочемъ, прекрасно переведенный), „Панорама Свѣта“, „Фортуна и Мудрость“, до такой степени не въ духъ нашего времени, что нельзя похвалить ихъ выборъ. Особенно же удивилъ насъ выборъ такихъ піесъ изъ Гёте, каковы: „Волвореніе правъ“ и „Пляска мертвецовъ“, особенно послѣдняя. Кому ее читать?—развѣ старой нанѣ дѣтямъ, для того, чтобъ запугать ихъ фантазію чудовищными образами, порожденными невѣжествомъ? Взрослымъ смѣшны эти пустяки, въ какіе бы стихи ни были облечены они...

Къ чему также переведена изъ Уланда баллада—„Слуга-Убийца“? Она уже была переведена Жуковскимъ въ то еще время, когда поэтическія бредни среднихъ вѣковъ были въ ходу, и переведена была превосходно. Сравнимъ первыя двуступниа обонхъ переводовъ,—Жуковского:

Измѣной слуга палачина убилъ:  
Убийца завиднѣ самъ рыцаря билъ

Г. Струговщикова:

Завиднѣ слуга господина  
Слугою убить палачина.

Піеса эта всѣмъ извѣстна по превосходному переводу Жуковского, и потому не выписываемъ ее всю. Слуга убилъ рыцаря, надѣлъ на себя его доспѣхи и, переѣзжая рѣку, утонулъ отъ тяжести панцыря. Какая мораль этой піесы? — Та, что слабосильный слуга, убивъ рыцаря, не долженъ надѣвать на себя его панцыря, изъ опасенія утонуть. И стоило такую нелѣпицу переводить дважды!...

Изъ антологическихъ піесъ г. Струговщикова многія прелестны и по мысли и по выполнению; но есть между ними и такія, которыя какъ-то странно видѣть въ печатной книгѣ: напримѣръ:

#### Совершенствовапіе.

Какъ достигать совершенства? Этому учитъ растение:  
Волей стремися къ тому, чѣмъ *мимо воли* оно.

Это что-то темновато! Не знаемъ, что хорошаго въ двустишіяхъ: „Тайна“, „Гекзаметръ и Пентаметр“, „Претензія...“

Странное впечатлѣніе производитъ на читателя манера г. Струговщикова обращаться съ старыми стихотвореніями, какъ будто съ написанными сегодня. Онъ переводитъ піесу Шиллера и пишетъ на нее отвѣтъ. Вотъ переводъ его „Антиковъ въ Парижѣ“ и отвѣтъ на эту піесу:

#### Антики въ Парижѣ.

Что искусство создавало  
Въ вѣкъ Эллады золотой,  
Забираетъ онъ, грабитель,  
Святотатственной рукой:  
Вѣковыми образцами  
Наполняетъ свой музей—  
И боговъ Олимпа  
Кажетъ какъ трофей.

Но они съ своихъ поднодій  
На паркетъ не сойдутъ



И въ сердца безсмертной жизни  
 Прометей не вдохнуть;  
 Тотъ лишь бога понимаетъ,  
 Въ комъ огонь его горитъ —  
 Музы и Хариты  
 Вандалу — гранить.

Отвѣтъ.

Въ вѣкъ судьбою обреченный  
 Въ жатву будущимъ вѣкамъ,  
 Шлетъ она, предтечей міра,  
 Изумленнымъ племенамъ  
 Сына съ волей необъятной,  
 Съ всеобъемлющимъ умомъ —  
 Непоспѣдымымъ  
 Онъ идетъ путемъ.

Онъ сооружаетъ съ царствомъ  
 Благо Франціи своей,  
 И грома полсвѣта ставитъ  
 Грани деспоту морей —  
 И грабитель исчезаетъ  
 Передъ гениемъ, какъ тѣнь  
 Мимолетной тучи  
 Въ лучезарный день.

Не говоря уже о томъ, что неумѣстно и странно отвѣчать на вопросъ по истеченіи почти полувѣка, — отвѣтъ г. Струговщикова совсѣмъ не приходится на вопросъ. Шиллеръ этою піесомъ не столько мѣтилъ въ грабителя, сколько во французскій народъ, который онъ хотѣлъ огласить варваромъ, Скивоомъ въ дѣлѣ искусства. До нѣкоторой степени Шиллеръ былъ правъ: Франція при Наполеонѣ до того была исполнена грубо-солдатскаго духа, что чувство изящнаго должно было въ ней до времени притаяться и какъ бы исчезнуть, вмѣстѣ съ литературою и всѣми науками, развивающими въ человѣкѣ мыслительность: такъ нужно было самовластію цивилизованнаго Атиллы XIX вѣка. Ясно, что стихотвореніе Шиллера внушено минутою, обстоятельствами, по прекращеніи которыхъ оно потеряло

все свое значеніе. Г. Струговщиковъ въ отвѣтъ на него написалъ въ защищеніе цѣлой націи отъ несправедливаго навѣта одного человѣка, а апологію Наполеона, которая такъ же хорошо можетъ идти и къ Тамерлану, какъ и къ Наполеону. Къ чему все это?

Страннымъ еще показалось намъ, почему изъ своего превосходнаго перевода Гётева „Прометей“, г. Струговщиковъ помѣстилъ въ „Стихотвореніяхъ“ тотъ небольшой отрывокъ, неимѣющій никакого интереса, а не всю піесу.

Въ заключеніе скажемъ, что книжка стихотвореній г. Струговщикова во всякомъ случаѣ пріятное явленіе въ нашей литературѣ. Правда, въ ней нѣтъ этого жгучаго, охватывающаго интереса, потому что нѣтъ ничего современнаго, жизненнаго, но все исключительно посвящено искусству. Это что-то въ родѣ академической антологіи, рядъ блестящихъ и прекрасныхъ замѣтокъ объ искусствѣ; это не поэзія жизни, но поэзія кабинета. Въ этомъ ея главный недостатокъ, но въ этомъ же и ея главное достоинство.

Книга издана прекрасно.

---

НА СОПЪ ГРЯДУЩІЙ. *Отрывки изъ вседневной жизни. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. Изданіе второе. Спб. 1845.*

У насъ часто жалуются то на равнодушіе публики къ русской литературѣ, то на злонамѣренныя, будто-бы, толки нѣкоторыхъ журналовъ, поддерживающіе въ публикѣ ея равнодушіе къ произведеніямъ роднаго слова. Справедливы ли эти жалобы? Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ! Книжная торговля наша пала, публика не покупаетъ книгъ, — правда; да что же бы стала она покупать, если въ цѣлый годъ выходитъ едва

пять-шесть хороших книг? И эти пять-шесть книг она раскупает цѣлыми изданіями. Книга графа Соллогуба служитъ однимъ изъ многихъ доказательствъ этой истины. Повѣсти этого писателя всѣ первоначально помѣщались въ періодическихъ изданіяхъ, и тамъ были всѣ прочтены. Несмотря на то, когда онѣ были изданы отдѣльно, все изданіе тотчасъ же разошлось, — и вотъ теперь второй томъ „На Сонъ Грядущій“ выходитъ вторымъ изданіемъ, несмотря на то, что новаго, нигдѣ прежде напечатаннаго въ немъ былъ и есть только одинъ рассказъ, занимающій собою какихъ-нибудь 37 страницъ. Говорить о содержаніи этого тома мы не считаемъ нужнымъ, потому что въ свое время говорили о каждой піесѣ особенно. Прекрасный талантъ графа Соллогуба всѣмъ извѣстенъ, всѣми признанъ и не имѣетъ нужды въ похвалахъ à propos.

И такъ, все хорошее по части литературы у насъ расходится. Откуда же эти вопли противъ людей, будто-бы съ умысломъ унижающихъ русскую литературу, непризнающихъ никакихъ достоинствъ въ ея представителяхъ и тѣмъ самымъ охлаждающихъ публику къ чтенію русскихъ книгъ? Гдѣ эти хулители, кто они? — А вотъ тѣ (отвѣтятъ вамъ иные), что бранять Державина, не признаютъ заслугъ Карамзина. Но нѣтъ никакой возможности повѣрить фактами этого обвиненія; вмѣсто брани и униженія, удивленный читатель найдетъ бы только уваженіе, основанное на сознаніи, оцѣнку строгую, но безпристрастную, отрицаніе заслугъ небывалыхъ и признаніе заслугъ дѣйствительныхъ. И такъ, не вѣрьте этимъ крикамъ и воплямъ. Мнимые поклонники Державина и Карамзина думаютъ только о себѣ, прикрывая этими великими именами досаду своего мелкаго самолюбія. Не за то сердятся они, что не отдають, будто-бы, должной справедливости Державину и Карамзину, а за то, что не хвалятъ издѣлій ихъ собственной посредственности. Они кричатъ о мирѣ, о согласіи между

литераторами, какъ единственномъ вѣрномъ средствѣ возвысить русскую литературу, и для этого хотѣли бы составить литературную лигу, родъ заговора на карманъ „почтеннѣйшей публики“: этотъ миръ и согласіе состояли бы въ томъ, чтобъ литераторы выхваляли другъ друга, а публика раскунала бы ихъ сочиненія... Нѣтъ, мы не хотимъ такого мира, не будетъ у насъ мира съ посредственностью, шарлатанствомъ и торгашествомъ, и дурное мы всегда будемъ называть дурнымъ, такъ же какъ хорошее—хорошимъ, — и пусть клевета посредственности и бездарности изливааетъ на насъ безсильный ядъ свой...

---

РОМАНЫ ВАЛЬТЕРА СКОТТА. *Томъ третій. АНТИКВАРІЙ. Съ послѣдними примѣчаніями и прибавленіями автора. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціею А. А. Краевскаго. Спб. 1845.*

Немного было въ русской литературѣ предпріятій, которыя были бы такъ интересны сами по себѣ и обѣщали бы столь прекрасныя слѣдствія, какъ этотъ переводъ романовъ Вальтера Скотта; и потому, вѣроятно, всякій пожелаетъ отъ всей души счастливаго окончанія этому изданію — окончанія не столько зависящаго отъ издателей, сколько отъ публики. Объ успѣхѣ его судить еще нельзя, потому что изданіе едва начато, и только въ декабрѣ нынѣшняго года кончится первая его серія; и хотя, несмотря на выходъ „Квентина Дорварда“ въ лѣтнюю пору, всегда глухую для нашей книжной торговли, этотъ романъ привлекъ къ себѣ много читателей, — однако, по обширности изданія заранѣе требующаго отъ издателей весьма значительныхъ издержекъ, только по выходѣ четвертаго романа,

„Гей-Менринга“, можно будетъ предвидѣть успѣхъ или неуспѣхъ этого, по нашей литературѣ, огромнаго предпріятія, дѣлающаго истинную честь предпримчивости г. Ольхина и его товарища, г. Жернакова. Впрочемъ, за успѣхъ тысяча вѣроятностей противъ неуспѣха. Вѣдь публика платила же по двадцати и болѣе рублей ассигнаціями за романы Вальтера Скотта, нерѣдко въ чудовищныхъ, бессмысленныхъ переводахъ, дурно изданныхъ. Теперь каждый романъ, совѣстливо и литературно переведенный съ подлинника, красиво, даже изящно напечатанный въ одной книгѣ, стоитъ семь рублей ассигнаціями, а для тѣхъ, которые купятъ цѣлую серію, обойдется по шести рублей двѣнадцати копѣекъ ассигнаціями. Вальтеръ Скоттъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые прочтываются разъ и потомъ навсегда забываются. Не одинъ разъ въ жизни можетъ человѣкъ возобновить невыразимое очарованіе впечатлѣній отъ чтенія романовъ Вальтера Скотта. Это не то, что знакомый вамъ писатель: это неизмѣнный другъ всей вашей жизни, обаятельная бесѣда котораго всегда утѣшитъ и усладитъ васъ. Это поэтъ всѣхъ половъ и всѣхъ возрастовъ, отъ отрочества, едва начинающаго пробуждаться для сознанія, до глубокой старости. Онъ для всѣхъ равно увлекателенъ и назидателенъ; чтеніе его романовъ, унося человѣка въ міръ роскошныхъ, хотя и дѣйствительныхъ явленій, проливаетъ въ его душу какое-то бодрое и вѣстѣ съ тѣмъ кроткое, успокоительное чувство; очаровывая фантазію, образуетъ сердце и развиваетъ умъ, потому что поэзія Вальтера Скотта не эксцентрическая, не драматическая, не мечтательная и не болѣзненная: она всегда здѣсь, на землѣ, въ дѣйствительности; она—зеркало жизни исторической и частной. Для молодыхъ людей особенно полезны романы Вальтера Скотта: увлекающая ихъ въ міръ поэзія, они не только не отвлекаютъ ихъ отъ науки, но еще воспитываютъ и развиваютъ въ нихъ исто-

рическое чувство, безъ котораго изученіе исторіи бесплодно, пробуждаютъ въ нихъ охоту и страсть къ этому первому величайшему знанію нашего времени.

СОЧИНЕНІЯ Державина. *Біографія писана Н. А. Полевымъ.*  
*Изданіе Д. П. Штукина. Спб. 1845.*

При жизни Державина и въ продолженіи двадцати-пяти лѣтъ, протекших со дня его смерти, было только одно полное (и то не совсѣмъ) изданіе его сочиненій. Четыре первыя части были изданы самимъ имъ, въ 1808 году, пятая вышла въ 1816, который былъ годомъ его смерти. Сверхъ того, въ разныя времена были издаваемы отдѣльные сборники его стихотвореній, какъ-то: „Четалагайскія Оды“; „Анакреонтическія Оды“; „Иродъ и Маріамна“, трагедія; „Лира Державина“. „Второе изданіе сочиненій Державина“ въ четырехъ томахъ, было напечатано г. Смирдинымъ въ 1831 году; оно же, безъ перемѣны, было перепечатано имъ въ 1834 году. Въ 1841 году, кончилось двадцатипятилѣтіе отъ смерти Державина, и право изданія сочиненій этого поэта сдѣлалось общимъ. Первый воспользовавшійся имъ книгопродавецъ г. Глазуновъ: въ 1842 году, онъ напечаталъ четвертое изданіе сочиненій Державина, которое было полнѣе первыхъ трехъ тѣмъ, что въ него вошла трагедія „Иродъ и Маріамна“. Теперь выходитъ пятое изданіе, напечатанное книгопродавцемъ г. Штукинымъ. Оно несравненно лучше первыхъ четырехъ. Во первыхъ, оно компактно, въ одной книгѣ, напечатанной въ два столбца, — выгода неопредѣлимая для публики: и дешевле и меньше мѣста занимаетъ. Потомъ, оно полнѣе всѣхъ прежнихъ изданій; въ него вошли: „Четалагайскія“ (или Читалагарскія) Оды“, которыя считались потерянными, „Рассказъ Термена“ (изъ

Расина), „Ода на смерть Кутузова“ и „Разсужденіе о лирической поэзіи“. Не худо было бы, еслибъ къ этому изданію приложены были: „Ключъ къ Сочиненіямъ Державина“ (Спб. 1821) и „Объясненія на сочиненія Державина“ (Спб. 1834), изданныя гг. Остолоповымъ и Львовымъ. Говорятъ, у г. Бороздина, которому супруга Державина завѣщала всѣ бумаги своего мужа, хранится нѣсколько неизвѣстныхъ драмъ (вѣроятно, трагедій) и огромная тетрадь записокъ Державина; увѣряютъ даже, что г. Бороздинъ намѣренъ напечатать эти записки. Дай-то Богъ, чтобъ это была правда! „Записки“ Державина должны имѣть величайшій интересъ, какъ въ отношеніи къ его личности, столь мало еще знакомой намъ, такъ и въ отношеніи къ его времени, отъ котораго теперь мы отдѣлены какъ-будто нѣсколькими вѣками, и которое, вѣроятно, не могло не отразиться въ нихъ съ болѣе или менѣе яркою истиною и вѣрностью. Немалую услугу оказалъ бы г. Бороздинъ русской литературѣ, если-бы, кстатіи ужъ, напечаталъ все, что у него есть, и что онъ можетъ достать изъ неизданныхъ сочиненій Державина, не принимая въ расчетъ эстетическаго достоинства и руководствуясь только мыслію, что все, написанное Державинымъ, не можетъ не имѣть историческаго интереса.

Если-бы г. Бороздинъ, къ общему ожиданію и удовольствію всѣхъ любителей русской литературы, выполнилъ это желаніе, котораго мы не смѣемъ назвать нашимъ, потому что оно принадлежитъ не однимъ намъ, — тогда, послѣ отдѣльнаго изданія „Записокъ“ и новыхъ неизданныхъ сочиненій Державина, потребовалось бы шестое изданіе сочиненій великаго поэта Екатерининскаго времени. И еслибъ это шестое изданіе было лучше напечатано и лучше редижировано, нежели пятое, то мы имѣли бы не только красивое, съ толкомъ сдѣланное, но и полное изданіе его сочиненій. Если мы сказали, что пятое изданіе лучше и полнѣе четырехъ прежнихъ, — это вовсе еще

не значить, чтобъ оно было хорошо. Нѣтъ, оно очень далеко того, чтобъ быть хорошимъ! Во первыхъ, бумага сѣрвата и толстовата; печать какая-то блѣдная, слѣпая, что и некрасиво и трудно для глазъ; буквы довольно заслуженныя, т. е. довольно избитыя; ореографія варварская: страница такъ и перстрить невѣроятнымъ множествомъ безъ нужды наставленныхъ заглавныхъ буквъ. Въ последнемъ отношеніи, вотъ для примѣра два стиха:

Левъ именемъ—звѣрный Ц(ц)арь,  
Ты родомъ богатырь, сынъ Б(б)арскій.

Къ изданію приложенъ портретъ Державина, рисованный г. Жуковскимъ, и имъ же сдѣланный заглавный листъ, съ изображеніемъ гробницы Державина; въ началѣ книги политипажная виньетка съ картины Рафаэля, и въ концѣ изображеніе памятника, воздвигаемаго Державину въ Казани. Портретъ, говорятъ, похожъ, гравированъ на стали, въ Лондонѣ, и съ этой стороны о немъ, кромѣ хорошаго, сказать нечего; но нарисованъ онъ плоховато. Политипажная виньетка въ началѣ книги, хотя и взята съ картины Рафаэля, но нѣсколько не соответствуетъ величію своего сюжета. Вотъ все, что относится до внѣшнихъ качествъ изданія; взглянемъ на внутреннія.

Въ корректурномъ отношеніи, мы уже указали на изобиліе безъ всякой причины, вопреки здравому смыслу натканыхъ заглавныхъ буквъ; но не этимъ только ограничивается корректурное достоинство пятаго изданія сочиненій Державина. Заглянувъ, между прочимъ, въ оду „на возвращеніе графа Зубова изъ Персіи“, мы вдругъ встрѣтили, въ девятой строфѣ, трехстопный стихъ:

«Какъ блещутъ чешуею».

Что такое? Заглядываемъ въ Смирдинское изданіе 1831 года, и видимъ, что тамъ этотъ стихъ напечатанъ такъ:

«Какъ блещутъ *пестрой* чешуею».



Это одинъ только примѣръ корректурной исправности изданнаго г. Штукинымъ Державина; но, можетъ-быть, мы нашли бы такихъ примѣровъ и еще нѣсколько, если бы имѣли время внимательное пересмотрѣть изданіе. Такъ какъ къ нему не приложено, въ концѣ, опечатокъ, то купившему его не мѣшаетъ имѣть и Смирдинское изданіе, чтобъ прибѣгать къ нему для возстановленія пропусковъ и искаженій новаго изданія. Это также очень удобно и выгодно для покупателей...

Однимъ изъ важнѣйшихъ внутреннихъ недостатковъ этого изданія должно считать расположеніе піесъ по родамъ. Вотъ что говоритъ объ этомъ г. Полевой, авторъ біографіи Державина:

«Многіе считаютъ хронологическія изданія самыми лучшими для твореній поэта. Мы можемъ изучить въ его изданіяхъ жизнь, и обратно въ его жизни его созданія, говорятъ намъ. Но не получите ли вы безобразнаго хаоса впечатлѣній изъ такого изученія, и не потеряете ли идеи поэта? Систематическое распредѣленіе, бесспорно, представляетъ неудобство всякой системы—произволь, руководствующій систематикомъ. Стараюсь примирить обѣ крайности, мы представили для любителей хронологическаго порядка отдѣльный списокъ, гдѣ по возможности указано время сочиненія каждой піесы Державина, но въ самомъ расположеніи ихъ приняли слѣдующее раздѣленіе: стихотворенія *духовныя*, гдѣ вдохновляло поэта чувство вѣры и блаженствіе христіанства. За ними, подъ именемъ *исторической лирики* слѣдуютъ *Фелица*, три другія, принадлежащія къ ней стихотворенія, внутренныя Державину современными событіями, отъ *Рожденія Порфиророднаго Отрока* до взятія Парижа, и всѣ стихотворенія, писанныя къ разнымъ особамъ, изображающія частную жизнь и отношенія поэта. Потомъ слѣдуютъ отдѣленія: стихотворенія *элегическія*, *сказки*, *пастышескія картинныя*, стихотворенія *сатирическія*, *антологическія*, *вакхическія*, переводы и подражанія. За ними, подъ именемъ *Поэтической Автобіографіи*, собрали мы все что сивалъ поэтъ о самомъ себѣ и жизни своей. Далѣе, мелкія стихотворенія, три драматическія сочищенія, прологи, описаніе праздника Потемкина, небольшая драматическая шутка. Все заключается разсужденіемъ о лирической поэзіи, двумя стихотвореніями, пропущенными въ другихъ изданіяхъ, и Читалагаровыми Одами, напечатанными, безъ всякаго замѣчанія, въ изданіи 1774 года» (стр. XIII).

Это дивное, хаотическое раздѣленіе показываетъ только желаніе хоть хитрить, да по своему; тутъ же, кстати, примѣ-

шалась и охота примирить романтизмъ съ классицизмомъ... Пора! Г. Полевой ужь столько времени и съ такою ревностью подвизался за романтизмъ противъ классицизма, такъ жестоко бранилъ бѣдняжку-классицизмъ, — а вѣдь Богъ знаетъ за что: внутренно онъ съ нимъ вовсе не былъ во враждѣ! Это было какое-то странное недоумѣніе. Все дѣло стало изъ спора за слова, плохо понятыя, за нѣкоторыя внѣшнія формы. Отъ этого примиреніе совершилось очень естественно, само собою, почти безъ вѣдома г. Полеваго. Оно началось съ той эпохи, когда г. Полевой началъ нападать на Пушкина, котораго прежде превозносилъ. Восхваляя же онъ Пушкина за его первые опыты, отчасти и за его переходныя произведенія; но какъ скоро Пушкинъ сталъ великимъ повтомъ, художникомъ, мастеромъ во всемъ смыслѣ слова, — г. Полевой объявилъ, что Пушкинъ отсталъ отъ вѣка (т. е. отъ „Московского Телеграфа“), выписался, палъ, увлекшись ничтожною свѣтскою жизнью... Видите ли, какой это былъ романтизмъ! Удивительно ли, что, нѣкогда съ ожесточеніемъ нападая на Баттѣ и Лагарпа, теперь г. Полевой располагаетъ сочиненія Державина по пѣтикамъ; Аполлода, классификуетъ ихъ словно экземпляры произведеній минеральнаго царства, подбирая одно къ одному по строгой системѣ, по редамъ и видамъ и снабжая каждый ярлычкомъ съ надписью и нумеромъ?... Хронологическое распредѣленіе пугаетъ его хаосомъ: въ самомъ дѣлѣ, есть чего испугаться тому, для кого не существуетъ единства въ разнообразіи! Въ хронологическомъ изданіи поэта, мы видимъ на чало, первые опыты его таланта, слѣдимъ за его развитіемъ, видимъ вліяніе на него современныхъ обстоятельствъ, слѣдимъ за его собственнымъ развитіемъ; словомъ, видимъ поэта, челоуѣка и историческое лицо. Творенія его, въ такомъ изданіи, представляются намъ садомъ, который болѣе пѣвндетъ своимъ разнообразіемъ, нежели наводитъ тоску мертвою пра-

вильностью. И у кого станетъ охоты и терпѣнія читать сплошь и рядомъ, напр., одни духовныя стихотворенія, или одѣ торжественныя оды? Жизнь слагается изъ разнообразныхъ впечатлѣній, а поэзія — зеркало жизни. Поэтъ пишетъ пѣтистическое стихотвореніе, и вслѣдъ за нимъ эротическое: какъ это дѣлается, какъ мѣшаются между собою такія противоположныя впечатлѣнія, — намъ до этого нѣтъ дѣла; но что они мѣшаются — это фактъ. Другое дѣло отдѣлить въ авторѣ лирическія произведенія отъ эпическихъ, а эти — отъ драматическихъ, потому что смѣсь мелкихъ піесъ съ большими неестественна.

Не говоря уже о томъ, что раздѣленіе г. Полеваго ложно, произвольно, сбивчиво и уродливо, оно еще невѣрно и самому себѣ. Къ „поэтической лѣтописи“ отнесены піесы, писанныя Державинымъ къ разнымъ особамъ, изображающія частную жизнь и отношенія поэта; кромѣ того, что онѣ смѣшаны некстати съ піесами, внушенными Державину историческими современными обстоятельствами, — онѣ безъ нужды отдѣлены отъ піесъ, въ которыхъ поэтъ говоритъ о самомъ себѣ и которыя помѣщены въ отдѣлѣ автобіографіи. Потому г. Полевой нашелъ у Державина элегіи, которыхъ тотъ никогда не писалъ и не могъ писать, потому что элегія есть по преимуществу романтическій родъ: она оплакиваетъ не смерть историческихъ лицъ, а горькія утраты поэта, только для него важныя — смерть милой, друга, обманы страстей и надеждъ, и т. п. ея колоритъ и тонъ — чисто романтическія, а Державинъ былъ совершенно чуждъ романтизма. Даже „Водопадъ“ попалъ у г. Полеваго въ разрядъ элегій! Ода на смерть Мещерскаго — это могущественное произведеніе скептическаго духа, эта страшная оргія отчаянія, въ которой все — вопль и вопросъ вмѣстѣ, но въ которой нѣтъ ни одного унылаго тона, ни одного задумевнаго звука, — эта ода тоже обратилась у

г. Полеваго въ элегію!... Замѣчательно также изобрѣтеніе г. Полевымъ какихъ-то „поэтическихъ картинъ“, къ которымъ онъ отнесъ піесы: „Ласточка“, „Соловей“, „Павлинь“, „Пѣвочка“, „Чечотка“, „Радуга“ и проч. Удивительная классификація! Тѣмъ Тредьяковскаго должна возрадоваться: и самому почтенному профессору элоквенціи и хитростей піитическихъ не выдумать бы такой школярной и мелочной піитики!... И вотъ вамъ пятое изданіе сочиненій Державина: читайте, покупайте и восхищайтесь!...

Но самое поразительное изъ отрицательныхъ достоинствъ этого изданія составляетъ приложенная къ нему статья г. Полеваго: „Державинъ и его творенія“. Это уже тысяча первый неудачный опытъ стараго журналиста, когда-то имѣвшаго въ русской литературѣ сильный голосъ и считавшагося отличнымъ критикомъ, удержатъ за собою право этого голоса и поддержать въ настоящее время идеи и взгляды, хронологически устарѣвшіе цѣлыми пятнадцатью годами, а исторически цѣлымъ полувѣкомъ. Но хуже всего въ этой статьѣ то, что ея авторъ позволилъ себѣ забыть важность предмета, о которомъ безъ оглядки принялся судить и вкривъ и вкосъ, и въ свои отсталыя сужденія о Державинѣ вмѣшалъ мелкую журнальную полеміку, вслѣдствіе досадъ и огорченій, испытанныхъ имъ отъ успѣховъ нашего времени и отъ уроковъ, полученныхъ имъ отъ людей новаго поколѣнія. Известное дѣло, что, вмѣстѣ съ г. Булгаринымъ и нѣкоторыми другими старыми литераторами, г. Полевой видитъ въ Гоголѣ не больше, какъ безграмотнаго писака, а въ его „Ревизорѣ“—грубый фарсъ. Положимъ такъ: всякій понимаетъ вещи какъ можетъ и какъ умѣетъ. Почему же и г. Полевому не понимать Гоголя по своему? Это вѣдь старая исторія: Карамзина молодое поколѣніе встрѣтило восторгомъ, а старое — бранью; Пушкина молодое поколѣніе встрѣтило чуть не идолопоклонствомъ, а ста-

рое—ожесточенною враждою. Почему же и Гоголю не раздѣлять участи такихъ людей, какъ Карамзинъ и Пушкинъ?— это доказываетъ только его великость, какъ поэта. И почему же г. Полевому не смотрѣть на Гоголя по-старчески? — это доказываетъ только его отсталость отъ вѣка и близорукость, какъ критика. Но вотъ что худо: зачѣмъ мѣшать Гоголя въ біографію Державина? зачѣмъ, восхваляя Державина, бранить Гоголя?... Это значитъ некстати вмѣшивать свою личность туда, гдѣ о ней не можетъ быть рѣчи, — досаду и раздраженіе, мелочныя и ничтожныя, прицѣплять къ великому имени... Это ли уваженіе и благоговѣніе къ имени Державина, которыя г. Полевой вмѣняетъ себѣ въ такую заслугу?... Вотъ что, между прочимъ, говоритъ онъ на VI-й страницѣ своей злополучной статьи: „Веревкинъ (директоръ Казанской Гимназіи, въ которой воспитывался Державинъ) учредилъ даже театръ, ибо и самъ онъ былъ драматическій писатель, и заставлялъ хохотать своимъ Такъ и Должно не менѣе Филатокъ и Ревизоровъ нынѣшнихъ“... Какъ! „Ревизоръ“ наравнѣ съ Филатками! Но съ чѣмъ, же послѣ этого, можно сравнить „Парашу Сибирячку“, Елену Глинскую“, „Черезполосныя Владѣнія“, „Федосью Сидоровну“ и другія изящныя произведенія, которыми досужество г. Полеваго обогатило сцену Александринскаго театра?... Если „Ревизоръ“— „Филатка“, то что же онѣ, эти пьесы, эти побочныя дѣти искусства, которыхъ народила досужая фантазія г. Полеваго?...

Но не однимъ этимъ достается Гоголю: увидимъ нѣчто лучше; увидимъ, что и не одному Гоголю достается. Уже тысячу-тысячъ разъ повторилъ г. Полевой, что „Пушкинъ смѣнилъ поэзію на прозу и увлекся ничтожною свѣтскою жизнью“: это же повторено и въ біографіи Державина (стр. IV). Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ Пушкинъ увлекся ничтожною

свѣтскою жизнью, а не увлекся великою мѣщанскою жизнью? Но на Пушкина г. Полевой не до конца разгнѣвался: онъ говоритъ, что послѣ Державина у насъ былъ одинъ истинный поэтъ — Пушкинъ (стр. XIV). Полноте!... Но эти слова явно порождены скромностію автора статьи: иначе онъ нашелъ бы на Руси и третьяго „истиннаго“ поэта: наприимѣръ, хоть знаменитаго автора „Клятвы при Гробѣ Господнемъ“, „Аббадонны“, „Живописца“, „Блаженства Безумія“, „Параши Сибирячки“, „Федосьи Сидоровны“ и другихъ во-истинну поэтическихъ созданий...

Статья г. Полеваго раздѣляется на двѣ части: въ одной—собственно біографія Державина, въ другой—сужденіе о Державинѣ. За исключеніемъ пятенъ, о которыхъ мы говорили и которыми кой-гдѣ позапачкана біографія Державина, — она такъ себѣ, и за неимѣніемъ лучшей, годится. Въдъ всякій пишетъ какъ можетъ и какъ умѣетъ; должно быть снисходительнымъ. Но вторая, критическая часть статьи возбуждаетъ только состраданіе и жалость. Тутъ видно не одно отсутствіе определенной, ясной, хотя бы и ложной мысли: тутъ видно желаніе и, въ то же время, безсиліе остановиться на какой-нибудь мысли. И усиліе перекричать всѣхъ, и уступочки, и храбрванье, и смиренномудрая боязнь, и брань на противниковъ и искаженіе ихъ мнѣній, и самодовольство, и много словъ, и мало дѣла, и въ заключеніе — ровно ничего... Наговоривъ много и не сказавъ ничего, авторъ, собравшись съ силами и сдѣлавъ *tour de force* отчаянной храбрости, въ такихъ выраженіяхъ пускается на брань и полемику:

«Къ сожалѣнію, *многіе* критики ваши, не понимая Державина, говорятъ иначе (т. е. не такъ, какъ говоритъ г. Полевой—именно, *къ сожалѣнію!*). Какъ безусловно хвадили его въ старину, какъ по ложной мѣрѣ классицизма разиѣривали прежде его творенія, такъ нынѣ, когда обязанностью критика многіе считаютъ непремѣнное *осужденіе*, когда каждый предметъ, подвергну- тый критическому воззрѣнію, многіе почтаютъ чѣмъ-то въ родѣ обвиненна-

го, призваннаго къ допросу передъ прокурора журнальнаго, и великая тѣнь Державина призывается къ пигмейскому суду, и осуждается по статьямъ мидонскаго Журнальнаго уложенія. Причѣты не далеко. Не упоминая имени, вспоминимъ о критикѣ, послѣ долгаго мудрованія, осудивъ Державина за недостатокъ *художественности*, стоя на колѣннхъ передъ *жалкими* произведеніями новѣйшихъ *романтиковъ* (?), и съ восторгомъ разсматривая *воюющую грязь* какого-нибудь *малограмотнаго романиста*. Такия сужденія не стоили бы другаго отвѣта, кромѣ улыбки сожалѣнія, ибо время и безъ насъ омываетъ ихъ, какъ грязныя пятна, съ истинно великаго, но намъ жалъ, если подобныя близорукія сужденія увлекаютъ юное поколѣніе.

Читая эти строки, невольно думаешь, что читаешь выходы старыхъ поборниковъ такъ называвшагося въ старину „классицизма“ противъ г. Полеваго, когда онъ ратовалъ за такъ называвшійся въ тѣ блаженныя времена „романтизмъ“. Тотъ же слогъ, тотъ же языкъ, та же манера, тѣ же уловки и та же враждебность противъ всего новаго, противъ всякаго движенія впередъ, противъ всякаго успѣха! Напрасно же г. Полевой въ то время отнималъ у своихъ антагонистовъ всякое дарованіе, всякую заслугу: вѣдь вотъ пригодились же они, пришлось же и ему теперь играть ихъ роль, которая тогда ему казалась такою жалкою! Но разберемъ сказанное г. Полевымъ.

Напрасно избѣгаетъ онъ упоминать имена, особенно тамъ, гдѣ они сами собою выставляются и бросаются въ глаза каждому, кто не слѣпъ. Мы скажемъ, о какомъ критикѣ-пигмее вспоминаетъ нашъ критикъ-колоссъ, критикъ-великанъ; скажемъ, передъ какими жалкими произведеніями и какихъ новѣйшихъ романтиковъ заставляетъ критикъ-исполинь становиться на колѣни критика-пигмея; скажемъ, наконецъ, какую грязь какого м а л о г р а м о т н а г о романиста критикъ-гигантъ заставляетъ съ восторгомъ разсматривать критика-пигмея. Разгадать все это очень нетрудно. Во второй книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ 1843 года, былъ напечатанъ критическій разборъ сочиненій Державина, по случаю издавнаго г. Глазуновымъ собранія твореній этого поэта. Въ означенной

статьѣ, авторѣ, или, если угодно, критикѣ-пигмей, равно удаляясь отъ дѣтскаго, безочетно восторженнаго удивленія къ Державину, и отъ ложной гордости успѣхами современности, — гордости, которая мѣшаетъ отдавать должную справедливость заслугамъ прошедшаго, — попытался взглянуть на сочиненія Державина и съ эстетической и съ исторической точки зрѣнія. Результатомъ его изслѣдованій было то, что, со стороны естественнаго, непосредственнаго таланта, Державинъ — гораздо болѣе, нежели необыкновенный талантъ, что въ сочиненіяхъ его брызжутъ искры геніяльности; но что эпоха, въ которую онъ жилъ, не могла ни воспитать такого таланта, ни дать богатаго содержанія для его творческой дѣятельности, и потому сочиненія Державина, удивляя насъ страшною силою естественнаго таланта, мгновенными вспышками и проблесками геніяльности, въ то же время бѣдны внутреннимъ содержаніемъ, часто до совершенной пустоты, мотивы ихъ вертятся на внѣшностяхъ и отзываются газетными реляціями; и что, наконецъ, почти ни одна піеса Державина не выдержана въ цѣломъ, не чужда риторики, и всѣ онѣ бѣдны художественностью. Все это въ статьѣ было развито, на все приведены были доказательства, скрѣпленные выписками стиховъ Державина. Статья была замѣчена публикою (которая давно уже привыкла только въ „Отечественныхъ Запискахъ“ замѣчать критическія статьи, вѣроятно, по особенной любви ея къ критикамъ-пигмеямъ, и по совершенному равнодушію къ критикамъ-исполнителямъ) и произвела большое волненіе въ литературномъ мірѣ, неумолкающее и теперь. Это естественно: успѣхи пигмеевъ особенно должны раздражать гигантовъ, на которыхъ никто не обращаетъ вниманія... Такъ вотъ о какомъ критикѣ-пигмей вспоминаетъ г. Полевой, есть критикъ-атлетъ! Въ „Отечественныхъ Запискахъ“ съ вниманіемъ и любовію слѣдятся всѣ современные дарованія; но особенное ихъ вниманіе всегда было



обращено на два великія явленія нашей эпохи—Лермонтова и Гоголя: знайте же, что передъ жалкими произведеніями этихъ-то двухъ современныхъ романтиковъ г. Полевой становится на колѣни критика-пигмея. Что же касается „до вонючей грязи какого-нибудь малограмотнаго романиста“, знайте, что дѣло идетъ о „Мертвыхъ Душахъ Гоголя“... Еслибъ г. Полевой замѣтилъ намъ, что мы угадываемъ невѣрное,—мы готовы представить ему печатныя доказательства вѣрности нашихъ отгадокъ—именно, множество точно такихъ же фразъ самого г. Полеваго на счетъ Лермонтова, Гоголя вообще и его „Мертвыхъ Душъ“ въ особенности,—фразъ, взятыхъ изъ „Русскаго Вѣстника“ и другихъ журналовъ, мирно скончавшихся... Не считаемъ за нужное разувѣрять г. Полеваго въ его по-истинѣ достойномъ сожалѣніи мнѣніи о Лермонтовѣ и Гоголѣ: это былъ бы трудъ лишній; г. Полеваго не переувѣришь—ему уже поздно переучиваться; притомъ, къ безсильной отсталости надо имѣть снисхожденіе... Но пусть же его мнѣніе и говорить само за себя и за него: въ этомъ мнѣніи наше оправданіе и его обвиненіе...

Однако въ чемъ же, скажите, вина критика-пигмея? гдѣ, съ его стороны, грязное пятно на русскую литературу? Неужеливъ недостаткѣ художественности, который онъ находитъ въ сочиненіяхъ Державина? Вамъ это кажется несправедливымъ: докажите, и тогда уже бранитесь, если вы не можете не браниться... Странно! тѣмъ болѣе странно, что самъ г. Полевой съ голоса критика-пигмея, находитъ уже въ Державинѣ и недостатки, которыхъ прежде не находилъ, какъ-то: преобладаніе внѣшности, исключительное увлеченіе тѣми интересами и мнѣніями своего времени, которые теперь уже мертвы для насъ, и пр. Конечно, эти у критика-пигмея занятые мысли высказаны г. Полевымъ такъ робко и нерѣшительно, и смѣшаны съ собственными его фразами и возгласами такъ не-

умѣстно, что ихъ и не замѣтишь съ перваго взгляда; но все же г. Полевому слѣдовало бы быть нѣсколько попризнательнѣе къ критику пигмею. Г. Полевой уже въ другой разъ судить и ридить о Державинѣ, но въ этой послѣдней статьѣ уже меньше риторики и пустыхъ фразъ, въ родѣ: „потомокъ Багрима, въ его поэзіи разсыпаются брильянты, яхонты, сапфиры, рубины, топазы, бирюза“ и т. п. И за это слѣдовало бы поблагодарить критика-пигмея, вмѣсто того, чтобъ ругать его ни за что, ни прѣ что...

Отдѣлавъ критика-пигмея, г. Полевой бросается на г. Шевырева за его слова о Державинѣ, что „Россія вѣка Екатерины была Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азійскіе жемчуги и камни, полудикая, полуварварская, полу-грамотная“ и что „такова поэзія Державина во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ“. Мы не поборники мнѣній г. Шевырева,—это всѣмъ извѣстно; но что касается до этого его мнѣнія, оно истинно и дѣльно въ высочайшей степени. Еслибъ г. Полевой принялъ его и за парадоксъ,—все-таки онъ долженъ бы былъ увидѣть въ немъ одинъ изъ тѣхъ парадоксовъ, которые можно опровергать, но надъ которыми не должно глумиться. Вмѣсто этого, г. Полевой „съ христіанскимъ смиреніемъ“ посылаетъ критику отпущеніе въ невольномъ грѣхѣ его—не вѣсть бо что творить“. Отдѣлавъ г. Шевырева, г. Полевой, чтобъ лучше доказать свое благоговѣніе къ генію Державина, заключаетъ свою статью слѣдующею бранью на г. Галахова:

Какой-то литературный судья сшилъ недавно *Русскую Хрестоматію*, и послѣ сора и грязи, выметенныхъ изъ современной литературы, которые вѣжутся ему образцовыми <sup>1)</sup> удостоилъ помѣстить нѣсколько стихотвореній Державина, откинувъ ихъ какъ *устарѣлыя*, звѣздочки. *За такой лодыжъ стояло бы поставить звездочку на чело собирателя Хрестоматіи*. Разумѣется, что подобная смѣлость ужѣ не подходитъ подѣ

<sup>1)</sup> Г. Галаховъ не помѣстилъ въ своей Хрестоматіи ни одного отрывка изъ «драматическихкихъ представленій» г. Полеваго.

судь здраваго смысла, но грустно думать, если собиратель Хрестоматіи назначалъ свою книгу для юныхъ читателей, и ему могутъ повѣрить не только они, но и учитель ихъ, не держающій сомнѣваться въ томъ, что напечатано (стр. XVI).

Въ этомъ случаѣ, г. Полевой былъ бы совершенно правъ, еслибъ только онъ умышленно не исказилъ факта. Г. Галаховъ, при изданіи своей „Хрестоматіи“, имѣлъ въ виду только образцы правильнаго и чистаго языка, не болѣе, и потому въ нее законно могли войти піесы даже слабыя въ эстетическомъ отношеніи, но лишь бы замѣчательныя по правильности и чистотѣ языка. Можно оспаривать пользу подобнаго сборника; но нельзя не согласиться, что г. Галаховъ, желая быть вѣрнымъ идеѣ своего изданія, какова бы она ни была, былъ совершенно правъ, что, соблазнившись красотами нѣсколькихъ стихотвореній Державина, принялъ ихъ въ свой сборникъ и, чтобъ загладить отступленіе отъ плана изданія, отмѣтилъ ихъ звѣздочками, „какъ устарѣлыя по языку“. Неужели же это преступленіе—назвать піесы Державина устарѣлыми по языку? Боже мой! изъ какихъ пустяковъ затѣялъ г. Полевой такую шумную исторію! Неужели это изъ благоговѣнія къ имени Державина? Нѣтъ, скорѣе изъ досады, изъ старой журнальной привычки къ журнальнымъ схваткамъ и перебранкамъ. А пора бы, кажется, остепениться, и, вмѣсто того, чтобъ играть роль задорливаго юноши, только что начинающаго писать, пора бы показывать собою молодымъ людямъ примѣръ умѣренности, уваженія къ себѣ и другимъ, личнаго достоинства; пора бы изъ полемическаго гладиатора сдѣлаться литераторомъ, котораго литературное поведеніе соответствовало бы почтеннымъ лѣтамъ... А какой тутъ примѣръ для юношей: г. Полевой печатно, и притомъ вслѣдствіе ложно представленнаго имъ факта, хочетъ поставить господину Галахову „звѣздочку на лбу“!... Послѣ этого, г. Галахову остается печатно

же изъяснить желаніе поставить г. Полевому какіе-нибудь другіе знаки на какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ, — чего, впрочемъ, мы увѣрены, г. Галаховъ никогда не позволитъ себѣ сказать, изъ уваженія къ самому себѣ, къ публикѣ и къ литературѣ...

Г. Полевой говоритъ, что двѣнадцать лѣтъ назадъ, онъ безпристрастно опредѣлилъ значеніе Державина въ русской литературѣ, и „имѣлъ наслажденіе видѣть, что съ выводами его согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ, большинство мнѣній, — имѣлъ счастье слышать свое мнѣніе повтореннымъ другими, писавшими послѣ того о Державинѣ“, и поэтому, не изъ ничтожнаго тщеславія осмѣливается считать свое мнѣніе не вовсе ошибочнымъ, и что, наконецъ, двѣнадцать лѣтъ размышленія и опыта жизни не измѣнили основной его мысли о Державинѣ.

Удивительное постоянство — надо согласиться! Однакожъ, его нельзя назвать безпримѣрнымъ: Мерзляковъ (умершій въ 1830 году) тоже въ двѣнадцать (даже больше) лѣтъ не измѣнилъ своего мнѣнія, что Ломоносовъ выше Пушкина; Каченовскій оставался вѣренъ этому мнѣнію лѣтъ двадцать слишкомъ. И эти люди имѣли еще то преимущество передъ г. Полевымъ, что знали, въ чемъ состоитъ ихъ мнѣніе... Въ статьѣ г. Полеваго о Державинѣ, написанной имъ двѣнадцать лѣтъ назадъ, кромѣ „потомка Багрима, щедрою рукою разсыпавшаго въ своей поэзіи разныя ювелирскія издѣлія“, и тому подобныхъ фразъ, доказывавшихъ безотчетный восторгъ, — ничего другаго не было. Но съ нею, говоритъ онъ, согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній: правда ли это? Вѣдь когда-то г. Полевой сказалъ же, что „онъ знаетъ Русь и Русь знаетъ его“; а вѣдь оказалось же, что это знакомство было только шапочное, — плачевное обстоятельство, вслѣдствіе котораго „Исторія Русскаго Народа“ не могла достигнуть вождѣльнаго конца и остановилась на серединѣ. Но положимъ, что многіе

и согласились съ статьею г. Полеваго, такъ какъ другой тогда не было: но вѣдь это было двѣнадцать лѣтъ назадъ; много воды утекло, многое измѣнилось въ двѣнадцать лѣтъ; публика стала не та и не тѣ стали ея требованія. „Телеграфъ“ давно уже забытъ: его помнятъ только тѣ, которымъ нужно заглядывать для справокъ даже въ „Вѣстникъ Европы“... Но видно, самолюбіе писателей похоже на самолюбіе кокетокъ: ни тѣ, ни другія никогда не признаются въ старости... Мнѣніи г. Полеваго о Державинѣ никто не повторялъ, потому что послѣ того никто не писалъ о Державинѣ: этотъ фактъ изобрѣтенъ авторскимъ самолюбіемъ.

Но довольно; вспомнимъ русскую пословицу о лежачемъ, и оставимъ г. Полеваго въ покоѣ, чтобъ сказать нѣсколько словъ о предметѣ гораздо поважнѣе—о самомъ Державинѣ.

Державинъ истинно великій поэтъ, но въ возможности, а не въ дѣйствительности. Природа создала его геніемъ, но эпоха, въ которую онъ жилъ, обрѣзала ему крылья: видимъ могучій взмахъ, видимъ смѣлые и быстрые порывы въ небо, но ровнаго и спокойнаго паренія не видимъ: взлетитъ—и опустится, упадетъ—и опять ринется вверхъ... Если ужъ пошло на сравненія, Державинъ—могучій дубъ, котораго вершина должны бы уйдти высоко въ небо, а широкія вѣтви покрыты густою тѣнью необъятное пространство, но который никогда не могъ развиваться до размѣровъ и до могучей красоты, назначенной ему природою, потому что корни его встрѣтили каменную почву, которая не дала имъ ни углубиться, ни найти для себя достаточнаго питанія. Какъ!—скажутъ—блестящее царствованіе Екатерины II было бесплодною почвою для поэзій?... Отвѣчаемъ: царствованіе Екатерины II потому и было велико и плодотворно для русской земли, что оно первое приготовило почву для всѣхъ благоуханныхъ и роскошныхъ цвѣтовъ гражданственности и общественности, слѣдовательно и поэзій; поэзія и не замол-

лила явиться въ благословенное царствованіе Александра I, на закатѣ котораго она развернулась, въ лицѣ Пушкина, пышнымъ цвѣтомъ. Все на свѣтѣ начинается не съ середины и не съ конца, а съ начала: истина простая, но въ приложеніи немногими понимаемая. Посредствомъ извѣстнаго химическаго раствора, до невѣроятной степени можно ускорить выходъ изъ земли и развитіе нѣкоторыхъ растений; но для гражданственности, обществѣнности и поэзіи нѣтъ такого химическаго раствора. Екатерина II именно тѣмъ и много сдѣлала для внутренней жизни Россіи, что многое начала, не торопясь видѣть результаты своихъ начинаній. Она могла способствовать началу, возникновенію русской литературы, но русской литературы создать не могла, хотя русская литература и обязана своимъ быстрымъ развитіемъ тѣмъ попеченіямъ, которыя великая монархиня прилагала о ея возникновеніи. Литература и поэзія — растения, которыя требуютъ, чтобъ для нихъ была приготовлена почва, потомъ положены въ нее зерна, и тогда они сперва всходятъ стебелькомъ, потомъ опушаются листомъ, потомъ долго растутъ прежде, нежели дадутъ цвѣтъ и плодъ. Тутъ скачковъ не можетъ быть.

И вотъ, этотъ-то законъ постепенности и послѣдовательности въ развитіи осудилъ Державина не достигнуть полнаго обладанія огромными силами, данными ему природою. Въ его время не было и не могло быть истиннаго понятія о поэзіи уже потому только, что не было въ обществѣ потребности въ поэзіи. О ней тогда знали только чрезъ Ломоносова, и то потому, что она обратила на него вниманіе и милости монарши и изъ низкаго званія довела его до большихъ чиновъ. Еслибъ въ то время за стихи не давали чиновъ, о стихахъ никто и знать не хотѣлъ бы... Сами поэты того времени понимали поэзію, какъ воспитаніе, въ смыслѣ восхваленія сильныхъ земли, и поэзія была риторикою. Такъ понималъ ее и Державинъ, съ чувств-

вомъ смиренія удивлявшійся паренію Ломоносова, Хераскова и даже Петрова. Чтò дало Державину извѣстность и славу въ тогдашней Россіи: его талантъ, его гений, его творенія—Нисколько! На него обратила вниманіе Императрица, которую „Фелица“ его восхитила до слезъ; онъ получилъ отъ Фелицы драгоцѣнную табакерку съ червонцами; онъ, бѣдный, ничтожный дворянинъ и чиновникъ, вскорѣ послѣ того былъ представленъ Императрицѣ, которая, проходя мимо его остановилась, пристально на него посмотрѣла и молча дала ему поцѣловать свою руку. Этого было достаточно, чтобъ все и всѣ признали стихи Державина за гениальнѣйшее произведеніе, каковы бы эти стихи не были... Какая же поэзія могла быть въ такомъ обществѣ и на чтò ему была поэзія? О Державинѣ заговорилъ дворъ, и гулъ этого говора болѣе или менѣе отозвался глухо тамъ и сямъ въ среднемъ дворянствѣ и ученомъ классѣ. Достоинство стиховъ Державина измѣряли важностію данныхъ ему наградъ, гений мѣряли чиномъ... Но развѣ, скажутъ намъ, это Державину могло мѣшать быть гениемъ и писать гениальные стихи: вѣдь его поэтомъ сдѣлала природа, а не общество? — Такъ; но въ томъ то и худо, что только природа участвовала въ его художественномъ образованіи, а тогдашнее общество только убивало въ немъ талантъ и мѣшало ему развиваться. Поэтъ столько же зависитъ отъ общества, сколько и отъ природы: и какъ одно общество безъ природы, такъ и природа безъ общества не могутъ создать полнаго поэта. Державинъ служитъ самымъ блестящимъ и самымъ разительнымъ доказательствомъ этой истины. Г. Полевой какъ-будто ставитъ Державину въ вину, что въ немъ всю жизнь его чиновникъ боролся съ поэтомъ, и что онъ, во чтò бы ни стало, хотѣлъ быть дѣловымъ человекомъ и бросалъ поэзію для приказныхъ бумагъ. Мы, напротивъ, нисколько не винимъ въ этомъ Державина, потому что онъ не могъ иначе чувствовать, мыслить и дѣйствовать, и ему дѣлаетъ

великую честь то, что въ немъ, наконецъ, поэтъ побѣдилъ чиновника, хотя и поздно. Еще и теперь, въ наше время, когда правительство давно уже затрудняется не наборомъ чиновниковъ, а ихъ излишествомъ, когда на каждое самое ничтожное мѣсто является по сту кандидатовъ и искателей, и когда деньги смѣло уже соперничаютъ съ чиномъ, — и теперь, говоримъ мы, кто не служить, не имѣетъ чина, на того все смотрятъ съ такимъ удивленіемъ и такимъ любопытствомъ, какъ стали бы смотрѣть на человѣка, который лѣтомъ, въ жары, ходитъ въ медвѣжьей шубѣ, а зимою босикомъ, въ одной рубашкѣ... Вотъ какіе глубокіе корни пустила бюрократія въ русскую жизнь, вотъ какъ хорошо принялась на русской почвѣ германская табель о рангахъ!... Что же въ этомъ отношеніи, должно было быть во времена Державина? Тогда никакой геній, какъ бы онъ ни былъ огроменъ, не могъ имѣть къ себѣ ни малѣйшаго уваженія до тѣхъ поръ, пока не видѣлъ себя въ чинѣ по крайней мѣрѣ статскаго совѣтника... И это очень просто, очень естественно. Развѣ Байронъ, этотъ либеральный поэтъ, не гордился своимъ аристократическимъ происхожденіемъ болѣе, нежели своимъ поэтическимъ геніемъ? А почему? — потому что онъ былъ Англичанинъ. Какъ же было Державину не увлечься общою заразою чиновничества? Человѣку невозможно жить безъ людей, а подъ какимъ званіемъ вошелъ бы въ ихъ кругъ Державинъ — неужели подъ званіемъ поэта? Но тогда такого званія не было, а если и было, то чѣмъ-то похожимъ на званіе шута, или скомороха. Званіе же чиновника тогда не только было, но и находилось въ почетѣ: и вотъ, чтобъ войти къ людямъ и выйти въ люди, Державинъ захотѣлъ быть чиновникомъ. Не самъ ли биографъ Державина говоритъ: „Дивились, что дѣла поручаются пить, стихоплету, или, какъ они себя великолѣпно называютъ, — говоритъ Кургановъ въ своемъ Письмовникѣ: стихотворцу, и что чины и деньги даютъ —



за стихи“ (стр. IX). Чѣмъ же званіе шута, или скомороха было тогда выше званія поэта?...

Этотъ духъ чиновничества, насквозь проникавшій тогдашнее общество, наложилъ свою печать и на поэзію Державина. Это поэзія хвалебная, воспѣвательная, преисполненная богами и полубогами, которые теперь всё сдѣлались простыми людьми, а нѣкоторые и вовсе забыты. Это поэзія исполненная аффектаціи, искренняя въ отношеніи къ самому, поэту, но лицемерная въ отношеніи къ эпохѣ, — этой эпохѣ меценатовъ, милостивцевъ, поклонниковъ и прихлебателей. Это поэзія риторическая, крикливая до хрипоты и надрыва груди, поэзія, разсуждавшая въ стихахъ и располагавшая торжественныя оды по правиламъ схоластической дессертациі. Пусть критики-исполнины нашего времени, говорятъ, что, при извѣстіи о взятіи Измаила, Державинъ грянулъ одою: мы, критики-пигмеи, только съ трудомъ можемъ дочитать до конца эту длинную „похвальную рѣчь въ стихахъ“, гдѣ, въ видѣ риторики, философическимъ блескомъ вспыхиваютъ мѣстами искры поэзіи. Пусть люди, привыкшіе по преданію видѣть въ одѣ „Богъ“ какое-то колоссальное произведеніе, величаютъ Державина пѣвцомъ Бога; но мы въ этой одѣ видимъ много внѣшняго блеска, хорошіе по своему времени стихи, больше же всего холодной декламациі. Пѣвецъ „Водопада“,—другое дѣло! Тутъ Державинъ великъ. Многіе не знаютъ какъ и восхвалитъ Державина за „Оду на возвращеніе графа Зубова изъ Персіи“: а между тѣмъ, что въ ней?—сперва резонёрство въ холодныхъ стихахъ, потомъ не совѣшь вѣрныя и живыя (даже поэтически) картины Кавказа. Чтò такое, напримѣръ, эти стихи:

Ты видѣлъ, какъ въ степи средь зною  
*Огромныхъ змѣй стога* кишать,  
 Какъ блещутъ пестрой чешуею  
*И льютъ, шипя, другъ изъ друга ядъ.*

Въ тѣ времена поэту не было никакого дѣла до дѣйствительности; онъ опирался только на свою фантазію. Чтò ему за дѣло, что Кавказъ — не Индія, и въ немъ нѣтъ огромныхъ змѣй, что змѣи нигдѣ не кишатъ стогами, что въ стога складывается только сѣно, и что змѣи никогда не забавляются переливаніемъ яда другъ въ друга? Но возьмемъ піесу „Русскія Дѣвушки“. Не будемъ ея выписывать — она и такъ слышномъ вѣснъ извѣтна, потому что написана прекрасными стихами. Если вы видѣли въ деревняхъ „россійскихъ дѣвушекъ“, то знаете, какъ граціозно онѣ пляшутъ, и знаете, что онѣ пляшутъ не въ башмачкахъ, а въ котакъ, а иногда и въ ляптяхъ, въ сарафанахъ, которые вовсе не граціозно перерѣзываютъ поперегъ имъ грудь, съ головами, ушачеными коровьимъ масломъ, съ красными и заскорузлыми руками, незнакомыми съ мыломъ; знаете, какъ богаты онѣ „золотыми лентами“ и „драгими жемчугами“; знаете, чтò такое „россійскій“ пастушокъ и его свирѣль: сравните же то, чтò вы знаете, съ тѣмъ, чтò описалъ Державинъ, и въ восторгѣ воскликните, вмѣстѣ съ нимъ, къ Анакреону:

*Коль бы видѣлъ дѣвъ сихъ красныхъ,  
Ты бь Гречанокъ позабылъ,  
И на крыльяхъ сладострастныхъ  
Твой зреть прикованъ былъ.*

Несчастный Анакреонъ, счастливый Державинъ!...

И, однакожъ, Державинъ въ свое время все-таки былъ великій поэтъ: чѣмъ бы онъ былъ, еслибъ явился въ наше время? Время много значить, но при талантѣ природномъ. Тредьяковскій и въ наше время былъ бы плохимъ поэтомъ. Державинъ кропаетъ плохіе стихи, смиренно удивляется недостижимому генію Ломоносова и Хераскова, — и вдругъ рѣшается проложить себѣ особый путь, и пишетъ „Фелицу“, промавление до того самобытное и оригинальное, исполненное ума и

поэтической грации, что эстетика сбились съ толку, не зная, къ какому роду сочиненій отнести его. Для „Фелицы“, Державину не было образцовъ ни въ русской и ни въ какой другой литературѣ. Какъ бы онъ много выигралъ, еслибъ никогда не сходилъ съ „своего особаго пути!“ Но на одной струнѣ не много наиграешь, а другихъ не было. Да и не такое тогда было время, чтобъ поэтъ могъ всегда идти своею дорогою, не забѣгая на чужія: Державинъ, этотъ колоссъ не только въ сравненіи съ какимъ-нибудь Херасковымъ, но и съ самимъ Ломоносовымъ никогда не переставалъ смотрѣть на нихъ, какъ на высшіе образцы.

И удивительно ли это, если Дмитріевъ, поэтъ уже другаго несравненно болѣе образованнаго поколѣнія, сказалъ о Херасковѣ:

Пускай отъ зависти сердца въ зонтахъ ноютъ:  
Хераскову они вреда не нанесутъ;  
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ  
И въ храмъ безсмертья приведутъ.

Все это доказываетъ только, что поэзія не являється вдругъ готовою: поэзія нужно время для развитія. Державинъ былъ только первымъ ея проблескомъ и провозвѣстникомъ на Руси. Дѣлаемое г-мъ Полевымъ раздѣленіе поэтовъ на истинныхъ и ложныхъ совершенно произвольно. Ложный поэтъ такое же ложное выраженіе, какъ и холодный огонь, сухая вода. Одинъ поэтъ можетъ быть выше, другой ниже, и такъ до безконечности; но какъ бы ни малъ былъ поэтъ, онъ уже не ложный поэтъ, если только онъ поэтъ. И потому, мы никакъ не можемъ согласиться съ г. Полевымъ, чтобъ на Руси было два поэта—Державинъ и Пушкинъ. Мы считаемъ поэтами (само собою разумѣется, истинными) не только Крылова, Жуковского и Батюшкова, но Хемницера, Фонъ-Визина, Карамзина, Дмитріева, Озерова, и думаемъ, что русская поэзія, послѣ

Державина, должна была пройти чрезъ всѣхъ ихъ, чтобъ дойти до полнаго своего развитія въ Пушкинѣ. По нашему, Державинъ, это — Пушкинъ, не перешедшій черезъ рядъ поименованныхъ нами поэтовъ и черезъ поколѣнiя, которыхъ они были выразителями; Пушкинъ, это — Державинъ, перешедшій черезъ нихъ. Разумѣется, этого сравненiя, сдѣланнаго для поясненiя нашей мысли, нельзя принимать буквально, уже и потому, что Пушкинъ, и въ отношенiи къ естественному таланту, былъ выше, глубже и многостороннѣе Державина: его талантъ обнималъ и лирику, и эпопею, и драму, и во всѣхъ странахъ мiра былъ у себя дома. Вспомните „Галуба“, „Каменнаго Гостя“, „Египетскiя Ночи“, „Мѣднаго Всадника“, „Русалку“, „Сцену изъ Фауста“, „Моцарта и Сальери“, „Пиръ во время Чумы“, опыты восточной поэзи, антологическiя стихотворенiя:—какое разнообразiе!...

Если у Державина нѣтъ ни одной пiесы, которая была бы художественна, т. е. вполне выдержана, т. е. во время и на мѣстѣ заключена, окончательно отдѣлана, чужда прозаическихъ выраженiй, прозаическихъ стиховъ, охлаждающихъ чувство читателя, чужда риторики, неточныхъ словъ и фразъ, всего лишняго; если у него такъ много пiесъ на половину хорошихъ, на половину плохихъ, и еще больше совершенно плохихъ,—въ этомъ, повторяемъ, виноватъ не онъ, а его время; это происходило не отъ слабости таланта, а отъ времени. На долю Державина выпало неудобство быть начинающимъ и явиться въ неблагопрiятное для поэзи время: вотъ причина всѣхъ недостатковъ его поэзи, тогда какъ всѣ ея красоты принадлежать одному ему и составляютъ его неотъемлемую заслугу.

Но какъ бы то ни было, теперь его уже не читаютъ; теперь его поэзи болѣе предметъ изученiя, нежели наслажденiя. И въ этомъ отношенiи, онъ вполне поэтъ классиче-

скій: немного есть писателей (и не у одних насъ), изученіе которыхъ можетъ быть такъ поучительно для юношества. Таково свойство гениа: его недостатки такъ же поучительны, какъ и достоинства. Только для изученія Державина, одна эстетическая точка воззрѣнія никуда не годится; его должно изучать и съ эстетической и съ исторической точки зрѣнія.

Теперь спрашиваемъ всѣхъ благомыслящихъ людей: что въ нашемъ сужденіи о Державинѣ, еслибъ даже оно было и совершенно ошибочно и ложно, что въ немъ оскорбительнаго для памяти Державина и для чести русской литературы, какъ угодно находить его нашему критику, г. Полевому?...

*СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНІЕ, книжка третья, составленная княземъ В. Ѡ. Одоевскимъ и А. П. Заблоцкимъ. Спб. 1845.*

„Сельское Чтеніе“ составляетъ собою эпоху въ исторіи едва начинающагося у насъ образованія низшихъ классовъ. Правда, книжка эта уже не первая попытка заохотить простой народъ къ чтенію; но это первая удачная попытка въ этомъ родѣ. Можно указать еще на „Письмовникъ Курганова“, разошедшійся по Россіи въ числѣ, можетъ-быть, тоже не одного десятка тысячъ экземпляровъ; но то была книга не для низшихъ собственно классовъ, а для всего полуграмотнаго міра, заключавшаго въ себѣ и дворянъ, и чиновниковъ, и купцовъ, и мѣщанъ, не не поселянъ. Успѣхъ „Письмовника“ былъ основанъ не на цѣли и удачномъ ея достиженіи, а на необразованности тогдашняго читающаго люда. Онъ не былъ приуроченъ къ понятіямъ или потребностямъ какого-нибудь класса общества, но былъ изданъ, какъ книга веселая, съ рассказами и анекдотами, — и полезная, съ чѣмъ-то въ родѣ энциклопедическаго из-

ложенія нѣкоторыхъ знаній; онъ былъ больше вульгаренъ, нежели народенъ, и потому успѣлъ необычайно и принесъ много пользы.

„Сельское Чтеніе“—несмотря на его огромный успѣхъ, основанный на достоинствѣ содержанія и изложенія,—и теперь отнюдь не исключаетъ потребности новаго „письмовника“, составленнаго сообразно съ успѣхами нашего времени; но этотъ новый „письмовникъ“ уже не долженъ быть ни столь спеціальнымъ, какъ „Сельское Чтеніе“, ни столь универсальнымъ, какъ Кургановскій письмовникъ: подобно послѣднему, онъ долженъ быть изданъ для мало-образованныхъ, полуграмотныхъ, но въ будущемъ образованіи которыхъ не предполагается никакихъ определенныхъ границъ. Здѣсь разумѣются люди, которымъ нужна не столько ученость, сколько образованность, и которые, по неизбѣжному средствъ, не иначе могутъ образоваться, какъ черезъ собственныя усилія, посредствомъ чтенія. И цѣль такого новаго письмовника должна состоять не въ томъ, чтобъ образоватъ этихъ людей, но въ томъ, чтобъ помочь имъ образоваться, направивъ ихъ вкусъ въ чтеніи, оторвать ихъ отъ „Еруслана Лазаревича“ и романовъ Орлова, познакомивъ ихъ съ произведеніями литературы, на первый случай, по содержанію, доступными уму неразвитому, но въ то же время отличающимся высокими литературнымъ достоинствомъ. Это долженъ быть огромный альманахъ, раздѣленный на двѣ части: энциклопедію наукъ, искусствъ, ремеселъ, открытій и т. д., и на бельетристику—повѣсти, сказки, рассказы, стихотворенія, анекдоты, и т. п. Все это не должно быть ни слишкомъ высоко, ни слишкомъ низко: тутъ не должны быть сочиненія въ родѣ „Фауста“, „Манфреда“, „Моцарта и Сальери“, „Цыганъ“ и т. п.; но почему бы не войти туда, напримѣръ, „Полтавѣ“ и „Русалкѣ“ Пушкина? Энциклопедія должна быть изложена языкомъ самымъ простымъ и яснымъ, но столько же

не простонароднымъ, сколько и не книжнымъ. Если къ этому будутъ призваны на помощь политипажи,—это могущественное средство для распространенія популярнаго образованія: какая бы это вышла книга для чтенія купцовъ, мѣщанъ, и даже людей, принадлежащихъ къ нѣскольکو вышему противъ нихъ классу, но не болѣе ихъ образованныхъ!

„Сельское Чтеніе“—изданіе число спеціальное, и въ этомъ его великое достоинство. Оно назначено для крестьянъ земледѣльцевъ и приноровлено къ ихъ быту и потребностямъ. Были и прежде „Сельскаго Чтенія“ опыты для такого рода изданій; люди, бравшіеся за нихъ, не имѣли никакого понятія о низшихъ классахъ, и потому опыты ихъ не имѣли никакого успѣха. Нѣкоторые, взманенные успѣхомъ „Сельскаго Чтенія“, начали издавать книжки въ этомъ родѣ, думая, что вѣдь барину легко учить мужика; но вышло иначе: спекуляція осталась спекуляціею, и печатный вздоръ пошелъ на растопку печей. Колоссальный успѣхъ „Сельскаго Чтенія“ основанъ былъ на глубокомъ знаніи быта, потребностей и самой природы русскаго крестьянина, и на талантѣ, съ какимъ умѣли издатели воспользоваться этимъ знаніемъ. Поэтому, въ два года разошлось до тридцати тысячъ двухъ первыхъ книжекъ „Сельскаго Чтенія“. Подобный успѣхъ имѣетъ великое значеніе, свидѣтельствуя, что издатели „Сельскаго Чтенія“ умѣли угадать, что нужно для чтенія простому народу, а во всякомъ важномъ дѣлѣ, для котораго не было прежде образца, въ томъ то и состоятъ все дѣло, чтобъ угадать...

О первыхъ двухъ книжкахъ мы говорили въ свое время; теперь поговоримъ о третьей. Какъ и въ первыхъ двухъ, въ ней статьи раздѣляются на два разряда: статьи (большую частію въ разсказахъ) нравственнаго содержанія, и статьи, до быта и хозяйства крестьянскаго касающіяся. Тѣ и другія равно необходимы, потому что нравственность тѣсно связана съ мате-

рiальнымъ бытомъ, и успѣхъ одной невозможенъ безъ успѣха другаго. Крестьянинъ, котораго жилище не лучше хлѣва, который раздѣляетъ его съ домашними животными, и который дурно одѣтъ, дурно ѣстъ,—такой крестьянинъ не можетъ быть нравственнымъ человѣкомъ: если онъ и не воръ, то лѣнтяй, и во всякомъ случаѣ существо оскотинившееся. Добродѣтель въ нищетѣ есть явленiе исключительное, достоянiе тѣхъ сильныхъ организацiй, тѣхъ энергическихъ характеровъ, которые такъ же рѣдки, какъ и генiй. Добродѣтель гораздо хуже уживается съ нищетою, чѣмъ съ чрезмѣрнымъ богатствомъ, хотя она и рѣдка въ богатствѣ. Съ другой стороны, если крестьянинъ живетъ чисто и въ довольствѣ, будучи безнравственнымъ человѣкомъ, — его благосостоянiе выгодно только для него самого, но не для общества,—не говоря уже о томъ, что оно не всегда прочно. Изъ этого двоякаго рода статей въ „Сельскомъ Читенiи“, самъ собою, по законамъ необходимости, выходитъ третiй рядъ статей, которыя способствуютъ развитiю интеллектуальности и знакомятъ крестьянина съ понятiями и фактами, доселѣ вовсе ему недоступными. Чтобъ научить его обращаться съ хлѣбомъ и травою, необходимо познакомить его съ свойствами растительнаго царства вообще; слѣдовательно, нѣкоторымъ образомъ ввести его въ созерцанiе природы, въ миръ естествознанiя. Такова статья г. Заблоцкаго въ третьей книжкѣ „Сельскаго Читенiя“—„О томъ, что такое растенiе, какъ оно живетъ и чѣмъ оно питается“. Жалѣемъ, что не можемъ познакомить съ нею нашихъ читателей: безъ выписокъ этого слѣдовать нельзя, а вырывать ее клочками, только портить: ее надо читать всю. Это образецъ яснаго изложенiя, вполне доступнаго для крестьянина, понятiй не совсѣмъ общихъ и не такъ-то простыхъ! Такова же статья князя Одоевскаго: „Что такое выставка сельскихъ произведенiй, на что она, и какая отъ нея польза, и что было на прошедшей выставкѣ“. Это лучшiя ста-



тъи въ третьей книжкѣ „Сельскаго Чтенія“. Послѣ нихъ замѣчательны статьи: „Разсказъ дяди Ириней о томъ, что вокругъ человѣка, и о человѣкѣ“ князя Одоевскаго; „О томъ, какъ съ домашнею скотиною надобно обращаться“ г. Заблоцкаго и „Записки для памяти“ князя Одоевскаго.

Изъ нравственныхъ разсказовъ особенно замѣчательны два: „Какъ дядя Ириней разсказывалъ о томъ, что такое чистота и къ чему она пригодна“ князя Одоевскаго; и „Нечистая Сила“ графа Соллогуба. Первая особенно важна тѣмъ, что она имѣетъ цѣлю искорененіе гибельнаго и наиболѣе свойственнаго русскому простонародью порока — неопрятности. Впрочемъ, опрятность и у городскихъ нашихъ жителей не можетъ считаться особенною добродѣтелью. Бани и чистая рубаха въ субботу—у нашего простонародья больше какой-то обрядъ, какой-то мистическій долгъ, какъ омовеніе у мусульманъ, нежели требованіе опрятности и чистоплотности, не говоря уже о томъ, что перемена бѣлья одинъ разъ въ недѣлю—плохая опрятность. И потому, въ такой книгѣ, какъ „Сельское Чтеніе“, особенно надо дорожить статьями, когда, будучи хорошо написаны, онѣ имѣютъ предметомъ искорененіе не общихъ, всѣмъ людямъ равно свойственныхъ недостатковъ, а пороковъ, составляющихъ какъ-бы исключительную болѣзнь класса, для котораго издается „Сельское Чтеніе“. Такіе пороки суть: пьянство, неопрятность, лѣнь, непредусмотрительность и авось, которое простой народъ иронически называетъ авоськой. „Нечистая Сила“ — мастерской разсказъ графа Соллогуба, удачно воспользовавшагося извѣстнымъ анекдотомъ, чтобъ сдѣлать изъ него столько же занимательную, сколько и поучительную для простыхъ умовъ повѣсть.

Послѣ нихъ, можно указать на разсказы: „Отчего крестьянинъ Демьянъ себѣ ноги ознобилъ и навѣкъ калекой пошелъ“ князя Одоевскаго; „Плохо тому, кто не умѣетъ жить

въ своемъ дому“, г. Заблоцкаго, и юмористическій, въ народномъ духѣ разсказанный анекдотъ „Ось и Чека“ г. Даля.

Но, признаемся, мы не желали бы больше встрѣчать въ „Сельскомъ Читеніи“ такихъ статей, какъ „Кто такой Давыдъ Ивановичъ, и за что люди его почитаютъ“ и „Что легко наживается, то еще легче проживается“. Въ первой описанъ какой-то герой добродѣтели безъ образа и лица, безъ всякихъ признаковъ характера; и не мудроно: онъ описанъ, а не представленъ; за него говоритъ самъ авторъ, а самъ онъ ничего не говоритъ. Такими мертвыми идеями никого не убѣдишь ни въ чемъ: имъ никто не повѣритъ. Въ другой піесѣ представленъ бѣдный перевозчикъ, который, неожиданно получивъ отъ дальняго родственника, купца, огромное наслѣдство, и не умѣя управляться ни съ торговыми дѣлами, ни съ деньгами, все спустилъ въ короткое время и опять сталъ голъ какъ соколъ. Какая мораль этого разсказа? неужели та, что отъ наслѣдства надобно отказываться? Ну, а еслибъ кто написалъ повѣсть, что одинъ бѣднякъ, получивъ большое наслѣдство, съумѣлъ имъ распорядиться и къ своей и къ чужой пользѣ, и издатели „Сельскаго Читенія“ помѣстили бы этотъ разсказъ рядомъ съ піесю „Что легко наживается, то еще легче проживается“: чему бы тогда долженъ былъ вѣрить грамотный крестьянинъ?... Судя по заглавію разсказа, мы думали, что дѣло идетъ о пріобрѣтеніи черезъ воровство, грабежъ, или разбой: тогда бы— другое дѣло! Но положимъ, что авторъ и тутъ правъ: все-таки трудно повѣрить, чтобъ его разсказъ убѣдилъ кого-нибудь отказаться отъ законнаго наслѣдства...

Многіе возстаютъ противъ „Сельскаго Читенія“ за простонародность его языка, „маленько-мужицкаго“, утверждая, что къ такому языку въ книгѣ простой народъ недоувѣрчивъ, поддѣваясь охотѣе обаянію книжнаго языка. Признаемся откровенно, мы не считаемъ тажого мнѣнія ложнымъ, и готовы были

бы рѣшительно обвинить „Сельское Чтеніе“ въ простонародности языка, какъ, въ недостаткѣ, еслибъ въ тридцати тысячахъ экземплярахъ этой книжки, разошедшихся въ два года, не видѣли факта, слишкомъ оправдывающаго издателей въ ихъ манерѣ говорить печатно съ простолюдинами. Стало-быть, это еще вопросъ, который можетъ быть рѣшенъ только фактически; надо издать для народа книжку, написанную городскимъ, образованнымъ языкомъ: если она будетъ имѣть такой же успѣхъ, какъ и „Сельское Чтеніе“, вопросъ будетъ рѣшенъ не въ пользу издателей послѣдняго; а до тѣхъ поръ... подождемъ. Одно, что мы можемъ не похвалить въ „Сельскомъ Чтеніи“,—это употребленіе презрительно-уменьшительныхъ собственныхъ именъ: Ванюха, Ванька, Сенька, Васька, Машка, и т. п. „Сельское Чтеніе“ должно способствовать истребленію, а не поддержанію отвратительнаго обычая называть себя не христіанскими именами, а кличками, унижающими человѣческое достоинство...

Впереди времени много, и, при знаніи дѣла и талантѣ издателей „Сельскаго Чтенія“, недостатки этого изданія, конечно, скоро исчезнутъ, а достоинства еще болѣе возвысятся. Много уже сдѣлано этими тремя книжками, и ихъ содержаніе нельзя будетъ вполне изчерпать и тридцатую; а сколько еще сторонъ нетронутыхъ, напримѣръ, отношенія, въ которыхъ женскій полъ находится въ простомъ быту къ мужскому: и наоборотъ! Русскій человѣкъ вообще не умѣетъ уважать женщину, а у крестьянъ женщина—рабъ, скотъ, нѣчто въ родѣ домашняго животнаго. За то, посмотрите въ деревняхъ на мужиковъ: сколько между ними красивыхъ лицъ, а женщины, за весьма рѣдкими исключеніями—вещное безобразіе, и въ тридцать лѣтъ уже старухи. И не диво: выполняя всѣ тяжелыя мужскія работы, онѣ еще несутъ тягости беременности и родовъ... Вообще, семейный бытъ долженъ быть однимъ изъ главнѣйшихъ

предметовъ „Сельскаго Чтенія“. Какъ можно больше статей объ обращеніи съ дѣтьми, о необходимости часто мыть ихъ, беречь отъ грязи, отъ простуды, объ уходѣ за больными! Сколько умираетъ дѣтей оттого, что за ними дурно смотрятъ во время оспы, кори. Топится печка—въ избѣ сверху дымъ, внизу холодъ, дверь отворена: какъ тутъ уцѣлѣть и взрослому больному, и родительницѣ, которая, сверхъ того, вчера родила, а сегодня таскаетъ дрова и воду!...

---

СТОЛѢТІЕ РОССИИ, СЪ 1745 ДО 1845 ГОДА, или историческая картина достопамятныхъ событій въ Россіи за столѣтіе. Сентября 5-го 1845, въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голицына-Кутузова Смоленскаго. Сочиненіе Николая Полеваго, Часть первая. 1845.

Во всякой литературѣ должно отличать двѣ стороны—ученую и художественную, и бѣльетрическую. Къ первой принадлежатъ произведенія глубокой эрудиціи, строгаго искусства, въ обоихъ случаяхъ—плоды труда обдуманнаго, зрѣлаго. Ни ученый, ни художникъ ничего не производятъ безъ призванія, безъ любви, безъ страсти, ничего не производятъ по случаю, кстати (à propos), на-заказъ, къ сроку. И потому оба они творятъ не для минуты, не для мгновеннаго удовольствія толпы, и если не каждому изъ нихъ суждено творить для вѣковъ, то каждый изъ нихъ, трудясь, думаетъ, не о настоящемъ только времени, но и о будущемъ, желая успѣха при жизни, желаетъ, чтобъ и послѣ смерти трудъ его не терялъ своего интереса. Не ученые и художники, особенно великіе—аристократы челоуѣчества: они трудятся не для всѣхъ, а только для избранныхъ. Это осо-

бенно относится къ обществу, въ которомъ просвѣщеніе и образованіе не равно разлиты по всѣмъ его классамъ, но однимъ доступны больше, другимъ меньше, а третьимъ и вовсе недоступны. Однакожь благодѣянія литературы—этого могущественнаго средства къ образованію массъ, должны простираться на всѣхъ. Не всякій можетъ и долженъ быть ученымъ, но всякій долженъ имѣть общія познанія; не всякому доступно высокое искусство, но для всякаго должно существовать наслажденіе прекраснымъ. Для этого, наука и искусство должны быть сведены съ ихъ высокаго, недоступнаго для толпы пьедестала, и, черезъ это, приближены къ понятію массъ. Эта, въ одно и то же время, и мелкая и великая роль принадлежитъ бельетристикѣ. И наука и искусство имѣютъ свою бельетристику и своихъ бельетристовъ. Что такое бельетристъ? Слово „бельетристъ“ происходитъ отъ belles-lettres, т. е. изящная словесность; слѣдовательно, въ первоначальномъ своемъ значеніи, слово бельетристъ есть тоже, что литераторъ, занимающійся изящною словесностью,—то же, что стихотворецъ, нувелистъ, романистъ. Но какъ, въ послѣднее время, изящество изложенія сдѣлалось необходимымъ условіемъ даже сочиненій, не принадлежащихъ къ области искусства, а потребность въ образованіи для массъ сдѣлала популярность изложенія необходимымъ условіемъ науки, то, вслѣдствіе этого, литература приняла новый характеръ: съ одной стороны, она перестала быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ избранныхъ, а съ другой, угождая вкусу и потребностямъ всѣхъ и каждаго, она перешла, такъ сказать, въ руки дѣятелей болѣе скоро и много, нежели прочіе пишущихъ, болѣе многочисленныхъ, нежели замѣчательныхъ по силѣ таланта: эти то люди и должны называться бельетристами. Бельетристъ относится къ ученому и художнику, какъ переводчикъ къ автору, котораго онъ переводитъ: вла-

дѣя своимъ собственнымъ талантомъ, онъ все-таки живетъ чужимъ умомъ, чужимъ гениемъ. Наука и искусство никогда не бываютъ ремесломъ; беллетристика тоже не ремесло — она выше ремесла, но ниже искусства: она середина между ними. Беллетристика къ поэзи относится какъ диллетантизмъ къ художественной дѣятельности; къ наукѣ—какъ образование къ просвѣщенію. Чтобы быть беллетристомъ, надо имѣть призваніе, страсть, талантъ, особенно талантъ, но не гений. Можно сказать, что всякій поэтъ, всякій ученый, у котораго есть талантъ, но нѣтъ генія,—беллетристъ. Поэтому, главное, существенное различіе между произведеніями ученаго и художника и между произведеніями беллетриста состоитъ въ томъ, что первые пишутъ для вѣковъ, а послѣдній—для минуты. Есть ученныя сочиненія, давно потерявшія цѣну, вслѣдствіе дальнѣйшаго развитія и большихъ успѣховъ науки; но, переставъ быть авторитетомъ, они все-таки не забыты, не потеряны изъ вида, но гордо и непоколебимо стоятъ, какъ вѣхи, указывающія путь, по которому шла наука, разстоянія, которыхъ она достигала. Несуществующіе для толпы и диллетантовъ, эти старые труды гениевъ науки всегда живы для новыхъ ученыхъ, знающихъ исторію своей науки. Что касается до произведеній искусства, ихъ достоинство утверждается только временемъ, и, подобно вину, они отъ него приобрѣтаютъ свой букетъ. Для произведеній же беллетристики, время есть безпощадный Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ: время производитъ ихъ тысячами, — время и пожираетъ ихъ тысячами. Беллетристъ торопится рвать лавры, пока они растутъ для него; ему нужно утомятъ вниманіе публики, и онъ изумляетъ ее своею дѣятельностью, какъ-бы зная, что забывъ его на минуту, она совѣтъ его забудетъ. Беллетристъ пишетъ легко и скоро; онъ на все способенъ, талантъ его глубокъ; его дѣятельность можно подстрекать и,

такъ сказать, покупать. Ему можетъ сказать и журналистъ и книгопродавецъ; „напишите мнѣ то, или это, въ такомъ-то родѣ, въ такомъ-то объемѣ и къ такому-то времени“, и онъ возьмется и напишетъ. Известно, что „Вѣчный Жидъ“ написанъ Эженомъ Сю по заказу журнала Constitutionnel, и Тьеръ, мнѣній котораго этотъ журналъ есть органъ, сказалъ Эжену Сю, какіе вопросы должно поднять въ этомъ романѣ—напасть на іезуитовъ, напомнить о пѣезии Наполеоновскаго солдата и т. д.: вотъ бельетристъ! Жоржъ Зандъ тоже печатаетъ свои романы въ фѣльетонахъ журналовъ и беретъ за нихъ деньги; но пишетъ не по заказу, и не торгуется за романъ, который еще не написанъ, или только пишется: вотъ художникъ! „Вѣчный Жидъ“ надѣлалъ шума въ тысячу разъ больше, нежели, напримѣръ, „Теверино“; „Вѣчный Жидъ“ нравился толпѣ, — „Теверино“ восхищаетъ немногихъ; но за то, первый уже умеръ въ самой Франціи, едва успѣвъ дойти до конца, а торжество втораго еще впереди, и все больше и больше...

Однакожь, было бы нелѣпнымъ педантизмомъ смотрѣть на бельетристику и бельетристовъ съ презрѣніемъ: они необходимы и совершаютъ великое дѣло. Безъ нихъ, умственные наслажденія и — результаты этихъ наслажденій — развитіе ума, образованіе сердца, не существовали бы для огромнаго числа людей, которые, по своей натурѣ, или по недостатку воспитанія, не могли бы черпать изъ истиннаго источника искусства. Есть люди, для которыхъ „Вѣчный Жидъ“ — колоссальное твореніе, идеаль романъ; и которыхъ эстетическія требованія никогда не пойдутъ дальше этой сказки: пусть же они читаютъ ее, въдѣ и нивъ надобно же что нибудь читать! Есть другіе: они начнутъ „Вѣчнымъ Жидомъ“, а кончатъ „Теверино“, отъ котораго уже никогда не воротятся ни къ какому „Вѣчному Жиду“, за что все-таки спасибо „Вѣчному“ же „Жиду“...

Бельлетристика сама по себѣ не можетъ составить богатства литературы; но, при сильномъ развитіи науки и искусства въ народѣ, она дѣлаетъ литературу богатою и блестящею. Доказательствомъ тому служитъ французская литература, переводы съ которой наводняютъ всё другія европейскія литературы.

Вотъ почему одинъ изъ недостатковъ, одинъ изъ очевидныхъ признаковъ бѣдности русской литературы состоитъ въ томъ, что у насъ почти нѣтъ бельлетристики и больше гениевъ, нежели талантовъ (что бы ни говорили и какъ бы ни издѣвались надъ этою мыслию невѣжды, умѣющіе притворяться только къ словамъ, но не понимающіе мыслей!). Чтобы убѣдиться въ этомъ, стѣдуетъ только взглянуть на исторію русской литературы. Почти до временъ Екатерины, Ломоносовъ одинъ составлялъ всю русскую литературу. Потомъ явились Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Богдановичъ, Фонъ-Визинъ, — и всё они равно слыли за великихъ писателей, за гениевъ, — а между тѣмъ въ ихъ время нельзя насчитать и десятка второстепенныхъ писателей, которые пользовались бы тогда какою-нибудь извѣстностью. Въ Карамзинскую эпоху явились уже и бельлетристы, но въ маломъ числѣ и мало писавшіе; за Пушкинымъ ихъ вышло уже и довольно; но это были бельлетристы по таланту, а не по дѣятельности, и почти всё они писали такъ мало, что ихъ можно было счесть скорѣе за литературныхъ наѣзниковъ, нежели за дѣятельныхъ и плодovitыхъ бельлетристовъ. Изъ нихъ должно исключить двухъ: это — гг. Полеваго и Кукольника. Вотъ бельлетристы въ истинномъ значеніи слова! Г. Кукольникъ пишетъ по крайней мѣрѣ за десятерыхъ самыхъ дѣятельныхъ русскихъ литераторовъ, вѣстѣ взятыхъ; г. Полевой — по крайней мѣрѣ за сто... Такъ какъ предметъ этой статьи — г. Полевой, то и будемъ говорить только о немъ. Мыслие дврятся, когда



успѣваетъ онъ писать книгу за книгою, статью за статью, романъ за романомъ, повѣсть за повѣстью, драму за драмою: удивленіе не совсѣмъ основательное! Оно больше шло бы къ Пушкину (еслибъ Пушкинъ такъ много писалъ), нежели къ г. Полевому. Г. Полевой — бѣльетристъ: этимъ все сказано, въ этомъ разгадка загадки. У него есть подъ рукою классическіе писатели, біографическіе, историческіе и энциклопедическіе словари: матеріалъ готовый, источники неизчерпаемые, — а онъ вѣдь не создаетъ: онъ только пересказываетъ сказанное, передѣлываетъ сдѣланное, но пересказываетъ и передѣлываетъ такъ, какъ нужно для пользы и удовольствія той многочисленной братіи, чающей движенія воды, которая стоитъ въ преддверіи храма грамотности, еще не готовая войти въ самый храмъ. И эта дѣятельность, столь пестрая, если не многосторонняя, столь безпокойная, если не энергическая и не могущественная, столь шутивая, если не громкая, столь плодущая, если не плодородная, — эта дѣятельность есть даръ природы, призваніе, страсть, а не труженничество, не торгашество, какъ у нѣкоторыхъ писакъ, которые готовы перебить у другаго всякое предпріятіе и вопіють о своихъ заслугахъ, своей благонамѣренности и безкорыстіи при всякомъ чужомъ успѣхѣ, отнимающемъ у нихъ сонъ и аппетитъ... И такъ, несмотря на наше рѣшительное несогласіе со взглядами г. Полеваго, высшими и низшими, на воѣ предметы, подлежащіе вѣдомству литературы, несмотря на его вылазки противъ нашихъ мнѣній, мы все-таки скажемъ, что желаемъ русской литературѣ побольше такихъ бѣльетристовъ, какъ г. Полевой; но вмѣстѣ съ тѣмъ, желаемъ, чтобъ, для ея чести и пользы, они чаще смѣнялись новыми, и тѣмъ избавляли бы русскую литературу отъ устарѣлыхъ мнѣній, отсталыхъ понятій и бессмысленныхъ, возбуждающихъ бездѣльное состраданіе попытокъ играть важную роль въ чуждомъ имъ мірѣ новыхъ поколѣній...

Новая книга г. Полеваго — „Столѣтіе Россіи“, есть чисто-беллетристическое произведеніе. Оно написано случайно и на случай, какъ признается самъ авторъ. Въ одинъ прекрасный день — нѣтъ, въ одинъ прекрасный вечеръ... но пусть самъ г. Полевой расскажетъ вамъ это событіе:

Сѣверная русская столица, освѣщенная свѣтомъ *невечерящаго* лѣтняго вечера, лиѣла жизнью, когда задумчиво остановился передъ изваяніемъ великаго *вожденачальника*, архистратига *Дванадцатаго года*, князя Михаила Кутузова-Смоленскаго, и въ душѣ моей мелькнула мысль: *сто лѣтъ!*

«Сто лѣтъ», думалъ я, смотря на изваяніе русскаго воеводы: «сто лѣтъ совершилось съ того года, когда родился ты, мужъ великій! Сто лѣтъ, въ которые совершилъ ты свои подвиги (?!), и уже тридцать два года, какъ почилъ ты среди вогнувшихъ громовъ!»

Правду говорятъ иные, что поэзія—врагъ логики: по словамъ г. Полеваго — „сто лѣтъ, въ которые совершилъ ты свои подвиги“ — можно подумать, что Кутузовъ началъ свои подвиги съ перваго же дня своего рожденія, т. е. съ 5-го сентября 1745 года... Но это сказано такъ—для красоты слога... Далѣе, твои же слогомъ описывается, какъ г. Полевой стоялъ на колѣняхъ, подлѣ могилы великаго полководца и, облокотясь на ея рѣшотку, плакалъ, думалъ и мечталъ...

Теперь посмотрите, что такое беллетристъ. У ученаго подобная книга была бы плодомъ долговременнаго замысла, труда строгаго, хлѣвнаго, серьезнаго, обдуманнаго. У г. Полеваго это было дѣломъ минуты: лѣтомъ онъ гулялъ, а осенью вышла книга. Не поди онъ гулять—и не было бы книги. После этого удивляйтесь, что паденіе яблока съ древа было причиною великой теоріи Ньютона о тяготѣнн земли!... Потомъ: кому бы пришло въ голову писать исторію Россіи по поводу столѣтія, совершившагося со дня рожденія Кутузова? Кутузовъ — спаситель Россіи, мужъ доблестный и великій — это аксіома; но все-таки важны и велики его подвиги, а совѣмъ не день его рожденія, который никакъ не могъ быть эпохою

въ исторіи Россіи. Но бельетристу нуженъ только поводъ, случай, придрка къ составленію книги. Г. Полевой придрался—и довольно. Но ко дню рожденія Кутузова онъ придѣлалъ родъ введенія, въ которомъ кратко обозрѣлъ исторію Россіи отъ пришествія въ Русь Норманновъ до царствованія императрицы Анны Іоанновны, которое у него уже не просто обозрѣно, а рассказано, и съ котораго до конца рассказъ становится все подробнѣе и подробнѣе.

Разбирать книгу г. Полеваго нѣтъ надобности: это чисто-бельетристическое произведеніе, что-то похожее на компиляцію кстати, или по случаю. Ни въ фактахъ, ни въ воззрѣніяхъ нѣтъ ничего новаго, ничего такого, что бѣ не было много разъ говорено г. Кайдановымъ и подобными ему бельетристами исторіи. Ученый (а не бельетристъ) не сталъ бы писать такую книгу, еслибъ видѣлъ, что онъ не умѣетъ или не можетъ сказать въ ней ничего новаго. Г. Полевой не затруднился, а какъ будто бы даже обрадовался такому обстоятельству. И хорошо сдѣлалъ! Отъ него, какъ отъ бельетриста, никто и не будетъ требовать ничего особеннаго, а между тѣмъ найдется много людей, которые въ его книгѣ повторають, для памяти, читанное ими въ другихъ книгахъ, а нѣкоторые черезъ нее и въ первый разъ узнають то, чего прежде не знали... Итакъ, для публики новая книга, для журналовъ новая мозлива, для литературы какъ-будто новое движеніе: чего же болѣе? Да здравствуетъ бельетристика! А тамъ, глядишь, выйдетъ и вторая часть „Столѣтія Россіи“. Что же будетъ въ ней?—Мечты. — Какъ? что такое? — Мечты! Царейницей мѣръ вотъ какъ выразился самъ авторъ: „Нѣсколько мыслей будущему—мыслей, которыя могутъ назвать мечтами“. Это, вѣроятно, невольная дань прешедшему со стороны автора. Нѣкогда онъ издалъ свои повѣсти и рассказы подъ названіемъ: „Мечты и Были“; это названіе (а особенно выраженная имъ мысль) такъ

понравилось г. Полевому, что онъ рѣшился возобновить его, — и въ первой части „Столѣтія Россіи“ предлагаетъ публикѣ Были, а во второй предлагаетъ ей то, что можно назвать Мечтами...

---

ИСТОРИЯ КОНСУЛЬСТВА И ИМПЕРІИ, соч. Тьера, бывшаго президента Совѣта Министровъ, члена Палаты Депутатовъ и Французской Академіи. Перевелъ съ франц. И. Д—в. Части I, II и III. Спб. 1845.

Несмотря на огромный успѣхъ, который имѣлъ во всей Европѣ новый историческій трудъ г. Тьера — „Исторія Консульства и Имперіи“, — это сочиненіе не принадлежитъ къ ряду произведеній, запечатлѣнныхъ достоинствомъ науки. Это произведеніе чисто бѣлетристическое. Для Наполеона уже настаетъ потомство, и уже не далеко время, когда будетъ возможна его исторія; но пока она еще невозможна. Низвергнутый съ вершины могущества, Наполеонъ былъ черниль и унижаемъ даже тѣми, которые недавно еще были его униженнѣйшими слугами. Партія бурбонистовъ имѣла причину и ненавидѣть и бояться даже тѣни Наполеона, и бурбонистъ Шатобрианъ справедливо сказалъ, что стоитъ только, на западномъ берегу Франціи, воткнуть палку и надѣть на нее сѣрый сюртукъ съ трехугольною шляпою Наполеона, чтобъ взволновать весь міръ. Поэтому, партія бурбонистовъ во Франціи должна была вести ожесточенную борьбу не только съ либералами, наставлявшими на дѣйствительность конституціи, и республиканцами, еще забывшими Конвента и Якобинскаго клуба, но и еще болѣе съ бонапартистами: человекъ, сидѣвшій въ плѣну на островѣ Св. Елены, до того былъ облитъ съ ногъ до головы лучами

чудеснаго, что никто и не думалъ, чтобъ для него было что-нибудь невозможно... Но вотъ онъ умеръ; французское правительство отдохнуло: герцогъ рейхштадскій былъ для него опасностью уже въ десять разъ меньшею; а другихъ народовъ онъ нисколько не беспокоилъ. Тогда началась эпоха какого-то идолопоклонническаго восторга къ Наполеону. Когда же на французскомъ престолѣ явилась новая династія, почти всѣ партіи во Франціи единодушно сошлись въ обожаніи этого огромнаго имени. Франція забыла бѣдствія, которыми онъ терзалъ ее столько времени, забыла темные пути, по которымъ этотъ сынъ судьбы пробирался къ владычеству, — все забыла!... Онъ сталъ героемъ, полубогомъ! Но теперь и круговоротъ идей мчится съ невѣроятною быстротою: забвеніе начало проходить, память начала возвращаться, и число обожателей и восторженныхъ поклонниковъ Наполеона со дня на день уменьшается, а безотчетныя фразы о его безупречномъ величій остались на долю только крикунамъ и фразѣрамъ. Это особенно произошло оттого, что стали иначе смотрѣть на „политику“ и не хотятъ болѣе уважать въ ней вѣроломства, а хотятъ, чтобъ она соединялась съ нравственностью; успѣхъ и право, вслѣдствіе этого, сдѣлались для всѣхъ понятіями особенными, а не тождественными. Какъ возвысился Наполеонъ? Однихъ ли своимъ гениемъ?—Нисколько! При всемъ своемъ гениі, онъ не далеко бы ушелъ, еслибъ не одаренъ былъ отъ природы весьма гибкою, уступчивою и сговорчивою совѣстью. Онъ подбивается въ милость къ гнусному, безчестному и развратному Баррасу, оказываетъ Конвенту важную услугу, при помощи Якобинцевъ, хитростью, интригами уничтожаетъ Пятисотенный-Совѣтъ, разыгрываетъ роль жертвы будто бы едва ускользнувшей отъ кинжаловъ республиканцевъ, дѣлается консуломъ и назначаетъ играть республиканскую комедію, замышляя объ императорской коронѣ. Последняя интрига до того исполнена коми-

зна, что самъ г. Тьеръ, запоздалый обожатель Наполеона, не могъ придать ей ни историческаго, ни героическаго величія: вспомните о неловкихъ продѣлкахъ жалкаго и ничтожнаго Камбасереса, бывшаго посредникомъ между Наполеономъ и сенатомъ!... Наконецъ, онъ императоръ Франціи, протекторъ Германскаго-Союза, а его братья — короли ббльшей части европейскихкихъ государствъ и въ то же время васаллы раздавателя скипетровъ. Сколько было въ душѣ и сердца Наполеона уваженія къ правамъ чловѣчества и законности, — это онъ вполне показалъ, разстрѣлявъ герцога энгіенскаго и, въ египетскомъ походѣ, велѣвъ умертвить четыре тысячи Турковъ, которыхъ по договору, имъ же утвержденному, онъ долженъ былъ выпустить изъ Яффы живыми и невредимыми. Самъ г. Тьеръ, отъявленный поклонникъ Наполеона, не могъ одобрить послѣдняго изъ этихъ поступковъ, хотя и старается уменьшить его вопіющую несправедливость. Онъ говоритъ, что, не имѣя средствъ отослать этихъ плѣнниковъ въ Египетъ подъ надежнымъ прикрытіемъ, и не желая, чтобъ они увеличили собою непріятельскую армію. — „Bonaparte se decida à une mesure terrible, et qui est le seul acte cruel de sa vie. Transporté dans un pays barbare il en avait involontairement adopté les moeurs: il fit passer au fil de l'épé les prisonniers qui lui restaient. L'armée consumma avec obeissance, mais avec une espèce d'effroi, l'exécution qui lui était commandée.“ То-есть: „Бонапарте рѣшился на ужасную мѣру, которая была его единственнымъ жестокимъ дѣйствіемъ во всю жизнь его“ (а смерть герцога энгіенскаго?...). „Очутившись среди варварской страны, онъ противъ воли усвоилъ себѣ ея нравы: онъ приказалъ переколоть плѣнниковъ. Армія исполнила приказаніе съ покорностію, но и съ отвращеніемъ“. О нарушеніи же договора г. Тьеръ безпристрастно умалчиваетъ. Но нарушать святость договоровъ Наполеонъ считалъ дѣломъ выс-

шей политики и высшей мудрости: не даромъ говорилъ онъ, что „эта старая Европа наскучила ему“... Всѣ его дѣйствія, и злыя и добрыя, выходили изъ его личнаго эгоизма, и потому, можетъ-быть, они были для него самого такъ безплодны. Въ самомъ дѣлѣ, чего онъ хотѣлъ? Сдѣлать Францію могущественнѣйшею землею въ мірѣ, чтобъ, опираясь на ея поработеніи, самому деспотически владычествовать надъ всѣмъ міромъ, ругаясь надъ народнымъ правомъ, и упрочить это владычество за своею династією. А чего достигъ онъ?—Разореніи, обезлюженіи и позора Франціи, а себя—тюрьмы на безплодной скалѣ Атлантическаго океана.

И однакожь, онъ нуженъ былъ міру—и міръ увидѣлъ и вострепеталъ его... Будучи врагомъ духа времени, грозя, новый Бриарей, задушить его въ своихъ сторукихъ объятіяхъ,—онъ, самъ того не зная, былъ только его послушнымъ орудіемъ... Духъ времени воспользовался имъ, сколько было ему надобно, и потомъ бросилъ его какъ уже ненужное орудіе,—и тщетно тогда развертывалъ онъ всю силу своего генія, всю немощность своихъ титаническихъ силъ и средствъ—ни что не помогало, и онъ палъ...

Есть люди, которые, разъ остановившись на чемъ-нибудь, уже не двигаются впередъ, и въ другую эпоху, въ міръ новыхъ страстей и убѣжденій, переносятъ съ собою свой запоздалый восторгъ къ идеямъ стараго времени. Къ такимъ людямъ принадлежитъ г. Тьеръ. Считая себя великимъ политическимъ и государственнымъ неловкомъ, г. Тьеръ считаетъ себя еще военнымъ геніемъ первой величины. Поэтому, Наполеонъ—его идеалъ во всѣхъ отношеніяхъ. „Исторію Французской Революціи“ г. Тьеръ написалъ въ духѣ оппозиціи правительству возстановленныхъ Бурбоновъ; „Исторію Консульства и Имперіи“ составилъ онъ въ духѣ оппозиціи нынѣшнему французскому правительству, котораго, впрочемъ, онъ раздѣляетъ всѣ при-

ципы, кромѣ одного—миролюбія, не понимая, что на немъ то оно больше всего и держится. Цѣль его книги была—напомнить Французамъ бурное время ихъ „блистательнаго позора“, какъ сказалъ нашъ Пушкинъ, ихъ побѣдъ и завоеваній. Г. Тьеръ—великій воеватель, истинный Наполеонъ въ карриатурѣ <sup>1)</sup>,—и будь онъ опять министромъ, въ Европѣ запылало бы пламя войны, при заревѣ котораго г. Тьеръ выгодно игралъ бы на биржѣ въ азіотажъ; но потому-то, вѣроятно, онъ теперъ и не министръ... И вотъ онъ пишетъ исторію Наполеона, чтобъ апофеозомъ генія войны кольнуть миролюбивые умы правителей Франціи. Но—странное дѣло!—у него изъ апофеозы Наполеона какъ-то выходитъ, совершенно противъ его воли и намѣренія, совсѣмъ другое, потому что какъ ни силится онъ софизмами оправдать его дѣйствія, истина такъ и блещетъ сквозь эти софизмы. И не мудрено, во первыхъ, прошло уже время для безотчетнаго восторга къ Наполеону, а во вторыхъ, нѣтъ ничего опаснѣе для оправданія дурныхъ дѣлъ историческаго лица, какъ апологистъ, котораго нравственныя убѣжденія составились и укрѣпились на биржѣ, въ министерскихъ и въ палатскихъ интригахъ. Такимъ образомъ, самый злой ожесточенный врагъ Наполеона не могъ бы оказать ему такой дурной услуги, порицая его, какую оказалъ ему г. Тьеръ, превознося, почти обожествляя его...

Многіе критики въ Европѣ уличили г. Тьера въ искаженіи слишкомъ извѣстныхъ фактовъ. Конечно, это искаженіе не умышленное, происшедшее отъ послѣдней работы, но все же оно не возвышаетъ цѣны его историческаго труда. Еще важ-

<sup>1)</sup> Намъ случилось видѣть преостроумную и презлую карриатуру г. Тьера: онъ изображенъ въ видѣ Наполеоновской статуи на вандалской колоннѣ, въ Наполеоновскомъ сюртукѣ, въ Наполеоновской трехугольной шляпѣ, а внизу подписано: Monsieur Tiers (Thiers), ainsi appelé par ce qu'il ne fait pas la moitié d'un grand homme.



нѣе искаженіе истинъ нравственности и справедливости, во имя оправданія челоѣческой слабости...

ЧАСТНАЯ РИТОРИКА, *Н. Кошанскаго. Изданіе шестое. Спб. 1845.*

УМОЗРИТЕЛЬНЫЯ И ОПЫТНЫЯ ОСНОВАНІЯ СЛОВЕСНОСТИ ВЪ ІV ЧАСТЯХЪ. *Соч. А. Глазалева. Изданіе второе. Спб. 1845.*

Вотъ двѣ книги—два ужаснѣйшіе анахронизма,—книги, которыя, среди книгъ нашего времени то же, что былъ бы между людьми нашего времени челоѣкъ въ напудренномъ парикѣ съ пуклями до плечь, съ кошелькомъ на затылкѣ, съ корабликомъ на головѣ, въ красномъ камзолѣ и голубомъ кафтанѣ, въ чулкахъ до колѣнъ и башмакахъ съ золотыми пряжками и высокими красными каблуками... Здравствуй, дѣдушка, привѣтъ тебѣ, выходецъ съ того свѣта, житель другаго міра! Поговори съ нами о твоёмъ времени, въ которое было сдѣлано такъ много великаго, сказано такъ много умнаго! Мы готовы тебя слушать! Твой нарядъ намъ не смѣшонъ, а только любопытенъ; и не смѣяться, а учиться у тебя хотимъ мы. Мы такъ интересуемся твоимъ временемъ, съ такою жадностію изучаемъ его въ книгахъ. Но что книга! Твоя живая рѣчь будетъ лучше всякихъ книгъ! Говори же! Но что же ты такое заговорилъ? ты рассказываешь намъ не о себѣ самомъ, а о насъ, не о твоёмъ времени, а о нашемъ! Ты разсуждаешь о Пушкинѣ, тогда какъ мы хотѣли услышать отъ тебя о Сумароковѣ и Херасковѣ, о Державинѣ и Богдановичѣ! ты увѣряешь насъ, что и Петровъ великій лирикъ, и Пушкинъ отличный поэтъ... А мы ожидали, что ты съ восторгомъ будешь говорить о Державинѣ и ничего хорошаго не найдешь въ Пу-

шкинѣ, еслибѣ мы, твои правнуки, вздумали тебѣ читать его. Но ты какъ же не сынъ того времени, какъ и не сынъ нашего, ты междуумокъ, недоросль изъ словесниковъ, педантъ, который равно не понимаетъ ни того, ни нашего времени. Ты надѣлъ напудренный парикъ и накрылъ его корабликомъ потому только, что эти вещи остались тебѣ по наслѣдству еще отъ дѣдушки; истаскавъ ихъ, ты нарядишься по нашему—вѣдь тебѣ все равно! Поди же прочь съ твоимъ болтаньемъ—мы не хотимъ тратить времени на разговоръ съ тобою!

Такое, или почти такое чувство возбуждаютъ въ читателѣ двѣ книги, заглавіе которыхъ выписано въ началѣ этой статьи. О риторикѣ г. Кошанскаго нечего и говорить; вотъ уже въ шестой разъ является она учить писать такъ, какъ никто теперь не пишетъ, учить тому, чему нельзя выучиться изъ книгъ. Она вѣрна своей роли—придавать способности несчастныхъ, обязанныхъ твердо знать все пустяки, все вздоры, все нечестности, изъ которыхъ она сшита. Честь и слава ея постоянству! Бѣда и горе тѣмъ, которые учатъ и учатся по ней! смѣхъ и потѣха тѣмъ, которые читаютъ ее для развлечения, по охотѣ прочесть иногда что-нибудь курьёзное, добродушно-нелѣпное, искренно-пошлое! Вотъ другое дѣло—книжца г. Глаголева: она еще только въ другой разъ (?) является въ свѣтъ... Но если и такъ,—зачѣмъ вышла она теперь на бѣлый свѣтъ изъ мрака сырыхъ погребовъ. Ужь не за тѣмъ ли, чтобъ ей снова было доказано, что ей мѣсто тамъ, въ подвалахъ? Если такъ, мы готовы послужиться ей этимъ.

Прежде всего, любопытно происхождение на свѣтъ этой книжицы. Самъ сочинитель говоритъ, что „этотъ ученый (?) трудъ выходитъ изъ круга его настоящихъ занятій и родился у него случайно“. Московскій университетъ обнародовалъ, въ началѣ 1831 года, программу о конкурсѣ для занятія кафедры краснорѣчія, стихотворства и языка русскаго. „Трудность

предложенныхъ въ программѣ задачъ (говорить г. Глаголевъ) возбудила во мнѣ особенное любопытство: я старался разгадать ихъ рѣшеніе, и углубляясь въ соображенія, непримѣтнымъ образомъ составилъ въ умѣ нѣчто цѣлое, имѣвшее систематическую послѣдовательность<sup>4</sup>. Признаемся, несмотря на увѣреніе самого сочинителя, мы въ его книгѣ не замѣтили ни малѣйшихъ слѣдовъ чего-либо похожего на систему или послѣдовательность. И не мудрено. Что за наука словесность? Ее выдумали педанты, школяры, которые стихотворство смѣшиваютъ съ поэзією, а краснорѣчіе считаютъ искусствомъ, въ смыслѣ художества, творчества, и ораторовъ, слѣдовательно, почитаютъ артистами, художниками, творцами. Г. Глаголевъ подъ словесностью, какъ наукою, разумѣетъ грамматику, риторику и шиттику: такъ думали люди только во времена варварской схоластики, рабски подражая во всемъ древнимъ, которыхъ они не понимали. Но подобные предразсудки не стоить опроверженія, и потому лучше представимъ читателямъ самыя курьёзныя диковинки изъ книжицы г. Глаголева.

На V-й страницѣ предисловія, г. Глаголевъ приводитъ слѣдующій примѣръ римскаго краснорѣчія:

«Въ нонѣ мѣсяца октября (,) въ преддверіи храма Беллоны (,) Марцій и Спурий Постумій, консулы, въ присутствіи сената, *слушали предложеніе* Клавдія, Валерія и Минуція о празднествахъ бакусовыхъ (слѣдуютъ пункты предложенія). Въ заключеніе *приказали*: объявить о семъ всенародно въ продолженіе трехъ нундінъ. Если же кто поступитъ вопреки вышечисланному, того предавать суду уголовному; а для всенароднаго свѣдѣнія вырѣзать СІЕ постановленіе на мѣдной доскѣ и выставить ОНОЕ во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ».

И такъ, вотъ что разумѣетъ г. Глаголевъ подъ словомъ краснорѣчіе?... Но погодите смѣяться: самое забавное впереди. Вотъ оно:

«Въ нашихъ дѣловыхъ бумагахъ кроется *все* древнее краснорѣчіе со *всеми* его видами: судебнымъ, совѣщательнымъ и описательнымъ; различіе

состоить лишь въ томъ, что древніе декламировали свои рѣчи въ собраніяхъ народныхъ или въ сенатѣ, а у насъ секретари читаютъ свои записки въ присутствіяхъ, начальники отдѣленія передъ министрами, оберъ-секретари въ сенатѣ и т. д.

Въ примѣчаніи, между предисловіемъ и вступленіемъ, Шишковъ, авторъ „Разсужденія о Старомъ и Новомъ Слогѣ“, краснорѣчиво произведенъ г. Глаголевымъ въ „Катоны нашей грамматики“; на 72 стр. второй части, о немъ же г. Глаголевъ выразился не только краснорѣчиво, но и очень грамотно, такъ: „Ученныя Извѣстія Россійской Академіи, коей онъ есть президентомъ“ и пр. На 30 и 31 страницахъ четвертой части, г. Глаголевъ утверждаетъ, что „появленіе Риторики г. Рижскаго, которая въ первый разъ издана въ свѣтъ въ 1706 году, составило новую эпоху въ исторіи русской литературы, по части теоріи краснорѣчія“, и что „Правила Словесности г. профессора Толмачева также заслуживаютъ вниманія“. На страницѣ 40, г. Глаголевъ говоритъ: „По части учебной достойны уваженія труды: Тредьяковскаго, Ломоносова, Соколова, Борна, Рижскаго, Никольскаго, Талызина, Левитскаго, Кошанскаго (!?), Остолопова, Могилевскаго, Балига, Плакшина (?!)“. Всѣмъ сестрамъ по сергамъ! Въ самомъ дѣлѣ, изъ всѣхъ нашихъ схоластовъ, учившихъ въ школахъ писать такъ, какъ никто не пишетъ въ свѣтѣ, самые замѣчательные, безспорно, суть гг. Тредьяковскій, Рижскій, Толмачовъ, Кошанскій, Плаксинъ и — Глаголевъ... На стр. 53, г. Глаголевъ говоритъ, что „Шишковъ украсилъ періодами лучшія изъ своихъ сочиненій въ высшемъ дипломатическомъ родѣ“. Вообще, г. Глаголевъ большой поборникъ иѣрной и плавной періодической рѣчи на манеръ древнихъ, столь несвойственной духу новѣйшихъ языковъ, и большой врагъ такъ-называемой „отрывистой“, или, лучше сказать, естественной рѣчи, столь свойственной духу новѣйшихъ языковъ: всѣ схоласты крѣпко держатся этого мѣтѣна, и искусственный, надутый слогъ похвальныхъ рѣчей

Ломоносова считаютъ за образцовый... Но забудемъ слогъ и вкусъ схоластическаго „словесника“, и замѣтимъ только, что его книга является теперь въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ вышла въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда забытыя теперь „Повѣсти Бѣлкина“ (Пушкина) были свѣжею новостью, когда Гоголь издалъ только еще свои „Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки“, а повѣсти Марлинскаго считались гениальными произведеніями. Неужели же съ тѣхъ поръ ничего не измѣнилось въ литературныхъ понятіяхъ и взглядахъ? И что такое исторія какой бы то ни было литературы, прерывающаяся слишкомъ за десять лѣтъ до минуты, въ которую она выходитъ изъ типографіи? Не слѣдовало ли бы г. Глаголеву поправить и пополнить свою книгу, выдавая ее въ свѣтъ въ другой разъ, чрезъ десять слишкомъ лѣтъ послѣ ея перваго изданія? Хотя для схоластовъ нѣтъ прогресса, и время ничто не измѣняетъ въ ихъ фразахъ, которыя они, зазубривъ разъ въ школѣ, твердятъ всю жизнь свою, однако же тутъ есть и другая причина: вторымъ изданіемъ чуть ли не напечатанъ только заглавный листокъ залежавшейся въ подвалахъ книги г. Глаголева; самая же книга вовсе не перепечатывалась вторымъ изданіемъ...

---

**КОВАРСТВО.** *Сочиненіе М. Чернявскаго. Спб. 1845. Въ двухъ частяхъ.*

Въ Москвѣ сочинители пятнадцатаго класса любятъ изображать „Таньку Ростокинскую“, „Стеньку Разина“ и всякихъ другихъ разбойниковъ и разбойницъ, которыхъ или выкапываютъ въ исторіи, или изобрѣтаютъ при помощи пылкаго воображенія. Петербургская же тля чрезвычайно склонна къ изображенію аристократическаго быта, и въ своихъ мараньяхъ

почитаеть для себя унизительнымъ имѣть дѣло съ кѣмъ-нибудь кромѣ князей и графовъ. Страсть у этой тли изображать расписанные плафоны, мраморныя колонны съ капителями такого-то и такого то ордена—коринтскаго, или тамъ и еще помудренѣй; знай-дескать нашихъ! Героини ихъ всегда восхищенно „полулежатъ на роскошномъ гамбсовскомъ пате съ англійскимъ кисекомъ въ рукахъ; герои ихъ всегда завиты „художественною рукою мосея Геліо“ и раздушены благоволеніями отъ Марса (по понятіямъ тли, аристократъ непременно долженъ быть завитъ и раздушенъ; для нея амбре такое же необходимое условіе аристократизма, какъ пожилой супругъ городничаго Сквозника-Дмухановскаго)... Наконецъ, разговоръ ихъ героевъ и героинь... о! что касается до разговора... Но образчики разговора ниже будутъ приведены на лицо. Прежде нужно сказать, что „Коварство“, сочиненіе г. М. Черныявскаго—романъ изъ аристократической жизни. Дѣйствіе начинается въ домѣ князя Александра Бѣльскаго. „Мраморныя колонны съ вызолоченными коринтскаго ордена капителями, поддерживали расписной плафонъ. Мебель совершенно соответствовала пышности и вкусу, съ которыми были убраны какъ зала, такъ и всѣ прочіе покои роскошнаго жилища богатаго вельможи“. У окна сидѣла дочь князя дѣвица Елена. „Когда родители ея жили въ столицѣ, то Елена была одною изъ примѣчательныхъ дѣвицъ аристократическаго общества и умѣла привлечь къ себѣ вниманіе и уваженіе какъ знатныхъ почтенныхъ особъ, такъ и кавалеровъ высшаго тона“. Елена сказала (въ комнатѣ никого не было, но уже у аристократовъ такой обычай, что онѣ за неимѣніемъ слушателя разговариваютъ съ мраморными колоннами и расписаннымъ плафономъ)—она сказала:

«Роскошь, богатство!... а въ душѣ грусть, тоска!—какъ не соответствуете вы одно другому! Блескъ *перемъ* и тяжесть *послѣднихъ* не гармонируетъ въ разстроенной душѣ моей! Пышная темница моей матери! ты ужасна для меня.»

Блескъ первыхъ и тяжесть послѣднихъ! Вотъ и различіе аристократическаго разговора. Такъ говоритъ княжна Елена, обращающая на себя вниманіе какъ знатныхъ почтенныхъ особъ, такъ и кавалеровъ высшаго тона. Еще лучше говорила и писала ее мать. Но она умерла... Ее устное краснорѣчіе сошло съ нею въ могилу; за то княгиня оставила Еленѣ рукопись, изъ которой можно видѣть, какъ она писала. Дѣло идетъ о бабушкѣ Елены.

«Ея желаніе было купить на южномъ берегу въ Крыму одно изъ значительныхъ имѣній, какъ по выгодамъ своимъ, такъ и по отличному мѣстоположенію, разстилающемуся на берегу Чернаго моря. Тамъ думала она соорудить на лучшемъ мѣстѣ домъ новѣйшей архитектуры, и любоваться виноградными лозами, наслаждаясь вполнѣ какъ превосходнымъ климатомъ, такъ и такой природой, которая способна привести духъ человѣка въ восторженное состояніе. Всѣ эти превосходныя фантазіи образованной дамы, вполнѣ обладающей какъ изяществомъ вкуса, такъ и возвышенностію чувствъ...»

Какъ-такъ! какъ-такъ! какъ-такъ! Неправда ли, хорошо? музыкально? Но мы поговолимъ о слогѣ княгини и графини г. Чернявскаго и вообще объ его слогѣ—ниже. Нужно рассказать вамъ романъ.

Князь пришелъ къ дочери и сказалъ ей, что хочетъ ѣхать въ Петербургъ, а ее оставить въ домѣ друга своего графа О\*\*. „Это будетъ завѣсть отъ васъ, почтенный родитель“ отвѣчала Елена. Князь, тронутый такимъ изъяснимымъ знакомъ покорности, сказалъ ей: „Всевышній даритъ меня отрадною расположенностію къ тебѣ“, и повелъ ее къ графу О\*\*. У графа было нѣсколько дочерей и сынъ—„стоящій (?) молодой человекъ и поэтъ въ душѣ, котораго имя и фамилія могли безъ зазрѣнія совѣсти печататься подъ его стихотвореніями“. Гости были приглашены въ гостиную и „усѣлись чинно: старшіе на диванѣ, а младшіе заняли кресла“. (Такъ! точно такъ! Надо вовсе не знать аристократовъ, надо сроду не бывать дальше аристократической прихожей, чтобъ оспоривать столь вѣрное

замѣчаніе!) Князь уѣхалъ, а дочь его влюбилась въ „стоящаго молодого человѣка“, который принялся читать ей свои стихи.

Поэтъ тотъ счастливъ, кто для *лиры*  
 Въ душѣ имѣетъ идеалъ,  
 Кто не одинъ блуждаетъ въ *мірѣ*  
 Кто самъ въ себѣ созналъ  
 Чьи фантазій родятся  
 Въ созвучіи любви прямой  
 И чьи мечты, носясь кружатся  
 Надъ грудью дѣвы молодой.

Подъ такими стихами, по мнѣнію г. Черныявскаго, можно безъ зазрѣнія совѣсти печатать свое имя!... По прочтеніи стиховъ „Ксенія только успѣла лечь въ постель какъ и заснула; а съ Еленюбыло совѣсть не то: ей пришла охота помечтать“. Изъ этого читатель можетъ видѣть, на сколько одна изъ этихъ дѣвицъ глупѣе другой. На другой день „стоящая молодой человѣкъ“ заговорилъ съ Еленой о любви, на что образованная аристократка отвѣчала ему:

«Согласна съ вами, Петръ Владиміровичъ, что взаимная любовь, конечно, можетъ дѣлать людей благополучными. Понять другъ друга и уважать, чрезвычайно должно быть приятно для людей» и пр.

Петръ Владиміровичъ сталъ просить руки ея.

«Петръ Владиміровичъ! сказала она: я не ожидала, чтобъ нашъ разговоръ завелъ васъ такъ далеко: должно объяснить вамъ, что я рукою своею владѣть не могу, и очень сомалю, что вы дали волю чувствамъ и словамъ не узнавъ прежде будутъ ли предположенія ваши и взаимная наша любовь приятны моему родителю: но вы можете быть увѣрены въ моемъ къ вамъ уваженіи.... и котъ князя Ксенія знаетъ расположенность, которою душа моя полна къ вамъ.»

Такъ объяснились Елена и Пьеръ! Но не достанетъ никакого терпѣнія разсказать подробно всю ералашъ, которая за тѣмъ еще происходила. Доскажемъ какъ можно короче: князь возвратился изъ столицы и привезъ съ собою Жоржа, которому обвѣщали руку Елены. Но Елена и слышать не хочетъ о



Жоржъ. Тогда князь благословляетъ ее на бракъ съ возлюбленнымъ, съ тѣмъ только, чтобъ онъ прежде поѣхалъ въ Петербургъ и послужилъ годика три. Разъяренный Жоржъ соединяется съ Вѣрою — сестрой Петра Владиміровича, которая поклялась разстроить союзъ Елены и своего брата... Зачѣмъ?... А ужъ такъ было надобно сочинителю. Жоржъ прикидывается влюбленнымъ въ Ксенію... словомъ, начинаются различныя козни и ухищренія, но къ концу романа все раскрывается: поэтъ женится на Еленѣ, Вѣру выгоняютъ изъ родительскаго дома; только Ксенія сходитъ съ ума, но и то для того больше, чтобъ растрепать косу и провизжать нѣсколько патетическихъ монологовъ...

Конецъ! Пятьсотъ слишкомъ страницъ прочли и пересказали мы, и, признаемся, никакой романъ, никакая „Жизнь, какъ она есть“, — словомъ, никакая книга бездарнѣйшаго изъ бездарнѣйшихъ не утомила насъ столько, не казалась намъ до такой степени скучною, пустою, безталанною. Языкъ варварскій. Видно, что, сочинитель съ достою ревностію затвердилъ риторикѣ г. Кошанскаго и, простодушно повѣривъ вздорамъ, которые въ ней рассказываются, ни на шагъ не отступалъ отъ нея въ своемъ слогѣ. Фразы его обыкновенно начинаются съ не только, за которымъ всегда слѣдуетъ *но* и; напримѣръ: „Этотъ сочинитель не только безталаненъ, *но* и простодушно убѣжденъ въ своей даровитости“ Частицы какъ и отвѣтствующая ей такъ — любимыя его частицы. Онѣ у него почти въ каждомъ періодѣ. Напримѣръ: „Онъ подвергнется осмѣянію какъ умныхъ людей, такъ и глупцовъ“ и т. под. Изъ самой книги можно бы привести сотни примѣровъ, но довольно и тѣхъ, которые назвали выше сами собою. И такимъ мертвымъ, надутымъ семиварскими языкомъ заставляетъ сочинитель говорить князей, графовъ и прочіихъ своихъ аристократовъ! Хороши аристократы! Нечего и гово-

рять о содержаніи, о характерахъ. Содержаніе бѣдное, пош-  
 лое, истасканное; характеровъ не найдете и слѣда, какъ ни  
 ищите. Замѣтите только жалкую претензію безталантности,  
 довольной собою; почувствуете скуку смертельную, досаду  
 невыносимую. Жаль бумаги, на которой напечатанъ этотъ  
 вздоръ! жаль бѣдныхъ типографскихъ буквъ, которымъ, не-  
 смотря на ихъ свинцовую натуру, вѣроятно и теперь еще со-  
 вѣстно, что онѣ принуждены были перепутаться, сложиться  
 и выровняться въ такую жалкую форму, что изъ нихъ выш-  
 ла галиматья рѣдкая и въ російской литературѣ!

---

БУКЕТЫ (,) ИЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЦВѢТОВЪСІЕ. *Шутка въ  
 одномъ дѣйствіи. Соч. гр. В. А. Соллогуба. Спб. 1845.*

Драматическая русская литература представляетъ собою  
 странное зрѣлище. У насъ есть комедіи Фонъ-Визина, „Горе  
 отъ Ума“ Грибоѣдова, „Ревизоръ“, „Женитьба“ и разныя дра-  
 матическія сцены Гоголя — превосходныя творенія разныхъ  
 эпохъ нашей литературы, — и, кромѣ нихъ, нѣтъ ничего, рѣ-  
 шительно ничего хоть сколько-нибудь замѣчательнаго, даже  
 сколько-нибудь сноснаго. Всѣ эти произведенія стоятъ какъ-  
 ми-то особняками, на неприступной высотѣ, и все вокругъ  
 нихъ пусто: ни одного счастливаго подражанія, ни одного удач-  
 наго опыта въ ихъ родѣ. „Бригадиръ“ и „Недоросль“ по-  
 родили много подражаній, но до того неудачныхъ, пошлыхъ и  
 вздорныхъ, что о нихъ нельзя и помнить. Еще прежде Фонъ-  
 Визина, нѣкто Аблесимовъ проговорился, обмолвился какъ-то  
 прелестнымъ, но своему времени, народнымъ водевилемъ  
 „Мельникъ“, и, кромѣ этого водевиля, не написалъ ничего  
 порядочнаго. Были ли подражанія „Мельнику“, не знаемъ, но

если и были, то навѣрное уродливыя и пошлыя, а потому и забытыя. Капнистъ написалъ „Ябеду“—комедію, замѣчательную болѣе по цѣли, нежели по исполненію. Отъ „Ябеды“ должно перейти прямо къ „Горе отъ Ума“, а отъ него къ драматическимъ опытамъ Гоголя, потому что все написанное въ эти два промежутка времени рѣшительно не стоить упоминовенія.

То же самое можно сказать и о нашей трагедіи, или патетической драмѣ. Еще изъ классическихъ трагедій, и оригинальныхъ и переводныхъ, найдется нѣсколько такихъ, которыя заслуживали вниманіе и послѣ трагедій Озерова. Но когда классическая трагедія у насъ пала, съ тѣмъ, чтобъ никогда уже не вставать,—мы до сихъ поръ имѣемъ только „Бориса Годунова“ Пушкина, да его же драматическія сцены: „Пиръ во время Чумы“, „Моцартъ и Сальери“, „Скупой Рыцарь“, „Русалка“, „Каменный Гость“. И, подобно комедіямъ Фонъ-Визина, Грибоѣдова и Гоголя, эти произведенія Пушкина тоже стоятъ въ труппномъ одиночествѣ, сиротами, безъ предковъ и потомковъ. Но касательно трагедіи, дѣло по крайней мѣрѣ понятное: наша дѣйствительность еще не довольно развилась, чтобъ поэты могли извлекать изъ нея матеріалы для патетической драмы. И потому, это пока возможно, болѣе или менѣе, только привилегированнымъ геніямъ; для талантовъ же рѣшительно невозможно. Но вотъ вопросъ: почему и наша комедія сдѣлалась тоже какою-то привилегією одного генія и не дается таланту? Развѣ есть въ мірѣ такое общество, которое не представляло бы, въ своихъ нравахъ, богатыхъ матеріаловъ для комедіи? Развѣ наши поэты и беллетристы не находятъ ихъ въ изобиліи и не пользуются ими болѣе или менѣе удачно, когда дѣло идетъ о повѣсти? Повѣсть хорошо принялась на почвѣ нашей литературы: лучшее доказательство въ томъ, что повѣстью у насъ занимаются съ успѣхомъ и таланты и даже полуталанты—не одни генія... А комедія?... Гдѣ она у насъ?—нигдѣ!..

Узнавъ, что графъ Соллогубъ пишетъ что-то для театра, мы порадовались, что человекъ съ умомъ, талантомъ и свѣтскимъ образованіемъ (которое въ дѣлѣ драматической литературы иногда можетъ быть своего рода талантомъ) рѣшился попробовать силы на поприщѣ, которымъ издавна завладѣли посредственность и бездарность. Но вотъ новое произведеніе графа Соллогуба дано и на театрѣ, куда съѣхалось для него почти все высшее общество; вотъ наконецъ вышла и книжка... и мы все-таки не знаемъ, что сказать о „Букетахъ“... Въ заглавіи, „Букеты“ названы шуткою: въ этомъ нѣтъ ничего дурнаго и хорошая шутка, хорошій фарсъ въ тысячу разъ лучше плохой трагедіи, или комедіи. Но для шутки тоже нуженъ драматическій талантъ, и въ ея основаніи должна лежать истина, хотя бы и преувеличенная для возбужденія смѣха. Мы не скажемъ, чтобъ въ основаніи шутки графа Соллогуба вовсе не было истины, равно какъ и болѣе или менѣе дѣйствительно вѣрныхъ и смѣшныхъ чертъ; но все это у него испорчено преувеличеніемъ. Хуже всего то, что пьеса основана на избитыхъ пружинахъ такъ-называемаго русскаго водевиля. Чиновникъ, изъ угожденія своему начальнику, бросаетъ букетъ, но не той пѣвицѣ, партизаномъ которой считалъ себя его начальникъ; за это онъ лишается мѣста. Если это шутка, то нельзя не согласиться, что очень смѣлая. Но бѣдному Тряпкѣ мало было лишиться мѣста: авторъ лишилъ его еще и невѣсты, и все по поводу букетовъ. Надо было въ это вмѣшаться любви, и вотъ „влюбленный“ перебиваетъ у Тряпки его невѣсту, благодаря глупости ея матери, провинціальной барыни... Но на чемъ же вертятся всѣ наши водевили, какъ не на этой бѣдной интригѣ, съ вѣчнымъ пожилымъ женихомъ, надъ которымъ къ концу торжествуетъ юный, хотя и глупый любовникъ?... Странно, что графъ Соллогубъ, съ его умомъ и талантомъ, не придумалъ чего-нибудь болѣе оригинальнаго! Мы уже не говоримъ о томъ, что эта шутка есть

шутка заднимъ числомъ: петербургское цвѣтобѣсіе произошло прошлой зимою, а шутка надъ нимъ явилась почти чрезъ годъ.

Не такъ понимаютъ à ргорос Французы: чтобъ пошутить кстати на ихъ манерь, графу Соллогубу слѣдовало бы написать свою шутку въ одинъ вечеръ, пріѣхавъ домой изъ итальянской оперы, а черезъ недѣлю вечеромъ этой шуткѣ должно бы смѣшнить цвѣтобѣсіемъ публику Александрынскаго театра, въ то самое время, какъ на Большомъ-театрѣ цвѣтобѣсіе разыгрывалось бы на самомъ дѣлѣ. Тогда шутка была бы по крайней мѣрѣ кстати...

Впрочемъ, все это такъ неважно, что не стоило бы и словъ, елибъ тутъ не вмѣшались два обстоятельства — имя автора „Букетовъ“ и нѣкоторые фельетонные толки, порожденные „Букетами“. Такъ, напримѣръ, по поводу этого водевиля „Сѣверная Пчела“ обвинила всю современную русскую литературу въ злостномъ стремленіи унижать полезный и почтенный классъ чиновниковъ, и изображать ихъ не иначе какъ людьми безнравственными и глупыми. Первою причиною этого направленія современной русской литературы „Сѣверная Пчела“ считаетъ Гоголя... Если эта газета позволяетъ себѣ взводить напраслину на современную литературу (изъ которой она себя не безъ основанія исключаетъ), то мы не менѣе ея считаемъ себя въ правѣ защитить современную литературу отъ такихъ несправедливыхъ наветовъ. Это даже нашъ долгъ.

Надобно сказать, что „Сѣверная Пчела“, неимѣющая похвальной привычки держаться одного и того же мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ, сперва расхвалила „Букеты“ графа Соллогуба, — въ чемъ любопытные читатели могутъ удостовѣриться сами изъ фельетона 253 номера ея, вышедшаго 8 ноября; гроза надъ „Букетами“ и надъ современною русскою литературою разразилась въ 261 номерѣ, вышедшемъ 17 ноября, —

ровно чрезъ десять дней... Этотъ обвинительный фельетонъ начинается такъ:

«Несомнѣнный признакъ образованности и общешительности каждаго чело­вѣка въ особенности и народа вообще—это умѣние понимать шутку и отличать сатиру отъ пасквила. Литература и общество, не тѣряющія шутокъ и легкой, умной насмѣшки (causticité), то же, что пища безъ соли, вино безъ бунета, красавица безъ выраженія въ лицѣ и огня въ глазахъ. Нигдѣ болѣе не шутятъ и не колотъ, какъ въ Англии и Франціи, и никто тамъ за это не гнѣвается. Холодные и чинные по наружности Англичане обладаютъ неподражаемымъ качествомъ, юмора (humour), одушевляющимъ и ихъ рѣчи и ихъ литературу. Французы умѣютъ во всемъ найти смѣшную сторону, даже въ дѣлахъ самыхъ серьезныхъ.

Все это очень справедливо и не разъ говорилось въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Но фельетонистъ „Сѣверной Пчелы“ повторилъ эти мысли, чтобъ вывести изъ нихъ заключеніе діаметрально противоположное тому, какое изъ нихъ само собою естественно должно выходить. Опираясь на томъ, что шутка должна имѣть границы, онъ хочетъ совершенно уничтожить въ русской литературѣ шутку и юморъ и, для этого, силится возстановить противъ нихъ цѣлое сословіе. Во первыхъ, какъ могутъ развиваться шутка и юморъ, когда имъ заранѣе предписываются границы? Англійскій юморъ и французская шутливость потому процвѣтаютъ, что не боятся переходить за границы. И это очень естественно: какъ можно заставить чело­вѣка быть веселымъ, сказавъ ему заранѣе, что онъ будетъ тотчасъ оштрафованъ, какъ скоро хоть немного зайдетъ за черту позволенной веселости! Какъ объясните вы ему, гдѣ эта черта?... Ужъ хоть бы на Англичанъ-то не ссылался г. фельетонистъ; еслибъ только сказать нашей чинной публикѣ, какъ позволяютъ себѣ Англичане шутить, такъ она пришла бы въ ужасъ... И немудрено: Англичане имѣютъ привычку, вошедшую въ ихъ нравы и обратившуюся въ обычай, печатать не только то, что они говорятъ, но и что они думаютъ,—и не объ однихъ теорети-

ческих предметах, но и о лицах... Очевидно, что наш фельетонист писал по наслышке об Английском юморе. Советуем ему справиться, например, хоть о том, как разыгрывался юмор Байрона насчет Соутэ... Потом, словоохотливый фельетонист уверяет, будто-бы лучший и чистейший образец шутки юмора в русской литературе должно видеть—в „Иванъ Выжигинъ“, и что этот романъ, написанный самим фельетонистомъ, который по этому поводу одинъ и превозноситъ его, лучше „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“ Гоголя!

«Въ сатирическихъ статьяхъ (говоритъ фельетонистъ) я никогда не имѣлъ передъ глазами какого-нибудь лица, но всегда *бралъ съ міра по ниткѣ*. Въ моемъ *Иванъ Выжигинъ*, выставя пороки и злоупотребленія, я помѣщалъ ихъ всегда рядомъ съ добродѣтелью и честностью. Въ *Иванъ Выжигинъ* вы встрѣчаете хорошаго помѣщика рядомъ съ дурнымъ, честнаго чиновника въ противоположность злоупотребителю, благороднаго судью возлѣ взяточнаго».

Затѣмъ, г. фельетонистъ, скромно предоставляя публикѣ сказать, хорошо или дурно разрѣшилъ онъ эту задачу, присовокупляетъ, что правила его вѣрны, и что молодое поколѣніе писателей, отвергнувъ эти правила, дѣйствуетъ по китайски, т. е. пишетъ безъ тѣней. Какъ на поразительный примѣръ этой китайской живописи въ литературѣ, указываетъ г. фельетонистъ на „Ревизора“ и „Мертвыя Души“, говоря, что всѣ дѣйствующія лица въ нихъ—ущищныя враны, идіоты, паяцы, невозможные въ дѣйствительной жизни...

Но намъ что-то крѣпко сдается, что г. фельетонистъ хлопочетъ тутъ больше о себѣ, нежели о чиновникахъ. Это не трудно доказать. Онъ рассуждаетъ объ искусствѣ по китайски, и тѣхъ, кто понимаетъ искусство по человѣчески, называетъ Китайцами. Онъ извлекъ эстетическія правила, которыя почитаетъ вѣрными и непогрѣшительными, изъ сочиненій, которыхъ мы нисколько не считаемъ образцовыми. Поэтому,

очень естественно, если онъ думаетъ, что романы и комедіи можно писать по рецепту, т. е. подлѣ взяточника поставьте безкорыстнаго судью, послѣ лѣниваго хозяина — трудолюбиваго, подлѣ вора — честнаго человѣка, и т. д. и выйдетъ хорошо. Такъ писать легко! Но, къ сожалѣнію такъ писать теперь уже невозможно, потому что такихъ „нравственно-описательныхъ“ романовъ публика уже не читаетъ и не покупаетъ. Вотъ это-то горестное обстоятельство и вооружаетъ устарѣлую посредственность и бездарность противъ молодаго поколѣнія писателей. Имъ, т. е. посредственности и бездарности, хотѣлось бы не тѣмъ, такъ другимъ, не мытьемъ, такъ катаньемъ, воспрепятствовать молодому поколѣнію писать съ талантомъ; имъ хотѣлось бы заставить его писать какъ писывали прежде, т. е. вѣсто живыхъ лицъ выводить куклы, съ ярлычками на лбу: вотъ это, молъ, безкорыстіе, это благонамѣренность, это взяточничество, и т. д. Такъ и былъ написанъ „Иванъ Выжигинъ“: почему всѣ дѣйствующія лица его и носятъ характеристическія названія Благодѣльныхъ, Честоновыхъ, Воробьевыхъ, Ножовыхъ и т. д. И „Выжигинъ“ имѣлъ успѣхъ, хотя и минутный потому что въ то время, когда онъ явился, еще не совсѣмъ прошла мода на такую восковую и картонную литературу, еще не всѣ забыли романъ Измайлова, въ подражаніе которому былъ написанъ „Выжигинъ“, и который назывался „Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества“: въ немъ дѣйствующія лица также носятъ характеристическія названія Негодяевыхъ, Развратныхъ, Вѣтровыхъ и т. д. Но этотъ самый успѣхъ и погубилъ „Ивана Выжигина“, потому что объ немъ всѣ заговорили и начали судить, и такимъ образомъ скоро дошли до лучшихъ воззрѣній на романъ, какъ произведеніе искусства. Всему свое время, и романъ Измайлова былъ хорошъ для своего времени. Мы не скажемъ, чтобъ и „Выжигинъ“ воспользовался совершенно незаслуженнымъ успѣхомъ, равно какъ не скажемъ и того



чтобъ онъ незаслуженно пришель въ скорое и конечное забвеніе. Его заслуга именно въ томъ и состояла, что онъ спасъ нашу литературу отъ наводненія подобными романами, которые такъ легко писать, не имѣя таланта, не зная ни дѣйствительности, ни людей. Послѣ „Выжигина“ въ нашей литературѣ пошумѣлъ не одинъ романъ много получше „Выжигина“; но гдѣ они теперь всѣ?... А между тѣмъ, всѣ они были необходимы и принесли большую пользу въ отношеніи къ нашей юной литературѣ, они были ея черновыми тетрадами, по которымъ она училась писать. Теперь она выучилась писать, и публика не хочетъ знать ея черновыхъ тетрадей, писанныхъ по линейкѣ. Теперь русскій романъ и русская повѣсть уже не выдумываютъ, не сочиняютъ, а высказываютъ факты дѣйствительности, которые, будучи возведены въ идеалъ, т. е. отрѣшены отъ всего случайнаго и частнаго, болѣе вѣрны дѣйствительности, нежели сколько дѣйствительность вѣрна самой себѣ. Теперь романъ и повѣсть изображаютъ не пороки и добродѣтели, а людей, какъ членовъ общества, и потому, изображая людей, изображаютъ общество. Вотъ почему теперь требуется, чтобъ каждое лицо въ романѣ, повѣсти, драмѣ, говорило языкомъ своего сословія, и чтобъ его чувства, понятія, манеры, способъ дѣйствованія, словомъ, все оправдывалось его воспитаніемъ и обстоятельствами его жизни. Фельетонистъ „Сѣверной Пчелы“ довольно справедливо называетъ Гоголя основателемъ теперешней литературной школы; но совсѣмъ несправедливо упрекаетъ Гоголя въ томъ, будто бы онъ оскорбляетъ цѣлое сословіе, изображая нѣкоторыхъ его членовъ негодяями и глупцами. Что же касается до того, что всѣ его герои будто бы дураки, — это рѣшительная неправда. Въ „Ревизорѣ“ глупы только Бобчинскій съ Добчинскимъ, да Хлестаковъ; простоватъ немного наивный почтмейстеръ; остальные всѣ ушны, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ, городничій, даже очень ушны. О нихъ

можно сказать, что они грубы, невѣжды и невѣжи, но никакъ вельзя сказать, что они глупы. Въ „Мертвыхъ Душахъ“ глупъ одинъ Маниловъ и простоваты предѣдатель и почтмейстеръ, а всѣ остальные очень умны, положимъ, умны по своему, но все-же умны, а не глупы. Потому, еслибъ Гоголь и изображалъ только однихъ негодаевъ и глупцовъ, это бы отнюдь не значило, что онъ дурнаго мнѣнія о цѣломъ сословіи, не значило бы только, что онъ мастеръ изображать однихъ негодаевъ и глупцовъ, которыхъ довольно во всякомъ сословіи. Кто можетъ сказать поэту, зачѣмъ онъ изображаетъ то, а не это? Кто можетъ сказать живописцу, зачѣмъ онъ пишетъ ландшафты, а не историческія картины, или зачѣмъ, пиша ландшафты, изображаетъ деревья кривыя и сухія, а не прямыя и пышно зеленѣющія?... Когда талантъ проявляетъ себя въ произведеніяхъ исключительно одного рода, называйте его, если хотите, одностороннимъ, но не дѣлайте изъ его односторонности уголовнаго преступленія...

Г. фѣльтонистъ „Сѣверной Пчелы“ говоритъ:

«Смотря на выведенныхъ на сцену чиновниковъ въ новой пьесѣ: *Букеты*; или *петербургское цѣлѣобіе*, у насъ сердце обливалось кровью при мысли, что на представленіе этой пьесы явился весь большой свѣтъ (который—замѣтимъ мы отъ себя—не явился на представленіе *Шкуни Нюкарлеби*), и что многіе, особенно многія изъ этого большого свѣта, не имѣя понятія о чиновникахъ, подумали, что это списано съ натуры! Нѣтъ, милостивыя государыни и милостивыя государи, Mesdames et Messieurs, такихъ чиновниковъ, какихъ вы видите въ *Ревизорѣ*, въ *Цѣлѣобіи*, и т. п. нѣтъ, а между чиновниками могутъ быть и сибѣшныя, и дурныя люди, какъ вездѣ. Съ людьми, называющими себя *писателями новаго поколѣнія*, и не намѣренъ спорится: они должны быть превосходные писатели, потому что безпрестанно то сами себя, то другъ друга ужасно расхваливаютъ; славу только: простите ихъ, добрые люди, не вѣдаютъ бы что творить!»

Не понимаемъ, какое отношеніе нашелъ г. фѣльтонистъ между „Ревизоромъ“—превосходнѣйшимъ произведеніемъ гевія, и „Букетами“—шуткою таланта? Вотъ другое дѣло, еслибъ

онъ поставилъ „Букеты“ на одну доску съ „Выжигинимъ“: конечно, всё отдали бы преимущество первымъ... А потомъ: съ чего вздумалъ г. фельетонистъ обвинять графа Соллогуба въ намѣреніи оскорблять чиновниковъ? Положимъ, онъ невѣрно изобразилъ ихъ; но это вина таланта, а не человѣка. Въдъ г. Булгаринъ еще хуже изобразилъ въ своемъ „Выжигинѣ“ всё сословія въ Россіи, — такъ худо, что даже добродѣтельные лица его романа вышли необыкновенно безобразны; однакожь, всё критики, и съ ними публика единодушно приписали этотъ недостатокъ рѣшительному отсутствію въ сочинителѣ поэтическаго таланта, а отнюдь не какимъ нибудь особеннымъ намѣреніемъ... Далѣе: какіе писатели новаго поколѣнія хвалятъ безпрестанно то сами себя, то другъ друга? Пожилуйте! это дѣлаютъ только нѣкоторые писатели равно и стараго и новаго поколѣнія, потому что самоквалы есть везде. Говорить о себѣ ежедневно: „я стою за правду, я готовъ умереть за правду“, или плохой и забытый романъ свой ставить выше гениальныхъ произведеній, — вотъ это значитъ безпрестанно хвалить себя, — и это не хорошо. Но еще хуже приписывать другимъ дурныя намѣренія, — единственно изъ зависти къ чужому успѣху и въ надеждѣ дать литературѣ насильственный поворотъ...

---

**ПЕТЕРБУРГСКІЯ ВЕРШИНЫ, описанныя Я. Бутковымъ. Книга первая. Спб 1845.**

Справедливо говоритъ латинская пословица, что у книгъ есть своя судьба. „Петербургскія Вершины“ г. Буткова — живое доказательство этой истины: о нихъ было писано и говорено еще прежде ихъ появленія; появленіе же встрѣчено разными толками. И между тѣмъ, эти толки нисколько не от-

носились къ книгѣ г. Буткова: говоря о ней, говорили о Гоголѣ, а не о г. Бутковѣ. Но это самое и послужило въ пользу книги: она сдѣлалась черезъ это болѣе замѣчательнымъ явленіемъ, нежели сколько замѣчательна она на самомъ дѣлѣ. Спорьте послѣ этого противъ важности нѣкоторыхъ литературныхъ именъ! Имя Гоголя такъ велико въ нашей литературѣ, что стѣнитъ только кого-нибудь, изъ шутки или изъ зависти къ Гоголю, поставить наравнѣ съ Гоголемъ или выше его,—и этотъ кто-нибудь—уже знаменитое лицо въ нашей литературѣ, по крайней мѣрѣ хоть на столько времени, пока шутка или сплетня не забудутся. Это напоминаетъ намъ всѣмъ извѣстную басню Крылова, въ которой паукъ, прицѣпившись къ хвосту орла, взлетѣлъ съ нимъ на вершины—не Петербурга, а Кавказа, и величался и хвастался на нихъ передъ орломъ—до перваго порыва вѣтра, который опять сбросилъ его въ изменную долину. Такъ можно и маленькимъ именамъ прицѣпляться къ именамъ великимъ и на мгновеніе подняться съ ними на всякія вершины. Но г. Бутковъ и не думалъ прицѣпляться къ имени Гоголя: по крайней мѣрѣ, этого не замѣтно въ его книгѣ. Не самъ онъ прицѣплялся, а его прицѣпили нѣкоторые мнимые его доброжелатели. Жаль, очень жаль, что г. Бутковъ, при первомъ появленіи на литературное поприще, сдѣлался невинною жертвою,—тѣмъ болѣе жаль, что онъ человѣкъ не безъ таланта, какъ это ясно видно изъ его книги...

Вотъ что было напечатано о книгѣ г. Буткова, тотчасъ по ея выходѣ, въ фельетонѣ 242 N „Сѣвѣрной Пчелы“:

«Еслибъ судьба дала г. Буткову столько золота, или даже столько искусства жить въ свѣтѣ, сколько дала ему ума, чистаго юмора и наблюдательности, то при выходѣ въ свѣтъ этого томика поднялся бы шумъ и крикъ (конечно!) и томикъ расхватили бы въ одинъ день. Когда г. Гоголь назвалъ собраніе своихъ повѣстей *Вечера(ми) близъ Диканки*, онъ доказалъ, что климатъ Малороссіи, хотя не столь нѣжный какъ климатъ Італіи, все же способству-

еть всѣмъ тонкостямъ (какими же это?...!) Днянна, село вельможи, всѣмъ извѣстное, возбудило общее вниманіе, и доставило покровительство автору (чье?...). *Петербургскія Вершины*, при всѣмъ умѣ своемъ (!), не возвысятъ автора (*жаль!*), потому что у него взглядъ самостоятельный, юморъ неподдѣльный, и достоинство не въ грязныхъ картинахъ, а въ истиннѣ. Г. Гоголь смѣшитъ парриатурами, и сидя на высотѣ (?), *пишетъ картины грязью*; г. Бутковъ сидитъ внизу (?), но рисуетъ съ натуры и свѣтлыми красками. Мы не сравнимъ (*а что же вы дѣлаете?*) двухъ писателей, но это одинъ родъ (*именно!*), съ тою разницею, что языкъ г. Буткова чистъ и правиленъ и картины свѣтлы, и что онъ не рѣшится назвать своей повѣсти *поэмой*, и не найдетъ пріятеля (*не знаемъ истиннаго или ложнаго, но уже нашело!*), который бы звалъ его Гомеромъ. Рекомендуемъ книгу г. Буткова всѣмъ любителямъ забавнаго, остроумнаго чтенія. Г. Бутковъ достигъ вполне (*неужели?*), что такое юморъ, и заставляя хотеть, заставляетъ въ то же время и мыслить и чувствовать. Прочтите (*пожалуйста!*) *Петербургскія Вершины*; второй книги г. Буткова мы уже не станемъ рекомендовать: вы и сами поторопитесь купить. Нѣкоторые журналы, разумѣется, употребятъ все свое усиліе, чтобы уничтожить г. Буткова зато, что Сѣверная Пчела его хвалитъ (а это ужасное преступленіе!) и зато что при его имени *вспомнили* имя г. Гоголя, какъ творца натуры 15-го класса; но это и должно радовать г. Буткова. Это ему новый предметъ изъ изученія, жалкій, но поучительный!

Мы нисколько не удивляемся тому, что „Сѣверная Пчела“ не можетъ ни о чемъ говорить не вспоминая Гоголя. Это понятно: что у кого болитъ, тотъ о томъ и говорить. По старому теперь писать нельзя...

Еще разъ повторяемъ: мы нисколько не удивляемся этой неутомимой враждѣ къ Гоголю; но вотъ чему мы удивляемся—безсилію вражды къ нему, крайней неловкости нападокъ на него. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, повѣритъ „Сѣверной Пчелѣ“, что она не признаетъ никакого таланта въ писателѣ, который имѣлъ такой огромный успѣхъ, который далъ новое направленіе русской литературѣ и котораго она безпрестанно зацѣпляетъ? Чѣмъ виноватъ Гоголь, что одинъ изъ неловкихъ, восторженныхъ его почитателей (всѣ восторженные почитатели бывають неловки и смѣшны) провозгласилъ его Гомеромъ?

Но Гоголь пишет свои картины грязью, говорит „Съверная Пчела“: еслибъ это было и такъ, что жъ тутъ худаго, когда его картины, писанныя грязью, лучше картинъ, писанныхъ красками? Говорятъ, Мибель-Анджело разъ начертилъ на стѣнѣ углемъ фигуру головы,—и этотъ очеркъ былъ недосагаемо выше милліоновъ картинъ, писанныхъ не углемъ на стѣнѣ, а дорогими красками на холстѣ... Дѣло не въ матеріалахъ, а въ творествѣ, въ исполненіи. Какой-нибудь Держиморда изъ „Ревизора“ конечно, не герой, не Александръ Македонскій; но, какъ художественно очерченное лицо, онъ въ тысячу разъ выше Годунова, Димитрія Самозванца, Мазепы и другихъ каррикатуръ, намалеванныхъ авторомъ „Выжигина“ красками, а не углемъ, не мѣломъ, не грязью... Намъ даже жаль „Съверную Пчелу“, что она такъ неловко ратуетъ противъ Гоголя. Посмотрите, какъ ловко, напримѣръ, „Иллюстрація“, по поводу все тѣхъ же „Петербургскихъ Вершинъ“ заступилась за Гоголя...

«Всѣ четвертые, пятые и шестые этажи *столичнаго города С. Петербурга*, попали подъ неумолимый ножъ г. Буткова. Онъ взялъ отрѣзалъ ихъ отъ нивозъ, перенесъ домой, *разрѣзалъ по составчикамъ* (,) и выдалъ въ свѣтъ частичку своихъ анатомическихъ препаратовъ. Скользкій путь! Мы тяжелы на сатиру (*правда*), которую едва ли жалуетъ наша публика (*не правда!*). Вотъ каррикатуры приспособленныя ко времени, наша страсть. Что можетъ быть не правдоподобіе повоинныхъ Выжигинныхъ, а Иванъ читался (*опять правда!*); Петръ Ивановичъ прошелъ даже не замѣченнымъ, а дальнѣйшія каррикатуры того же автора (*сочинителя?*) не возбудили даже улыбки (*трижды правда!*). Конечно, талантъ не старѣется; сочиненія Н. В. Гоголя также представляютъ, не сатиру, а каррикатуры современнаго міра (*неужели?—это новости!*). Того нѣтъ въ природѣ, что онъ описываетъ (*полноте—что за шутки!*). Типы его—созданія веселой фантазіи; но дѣло мастера бояться. Каррикатуры Гоголя читались съ удовольствіемъ, читаются и будутъ читаться. (*Иллюстрація*, № 31, стр. 490).

Рѣшительно, Гоголь—это вся русская литература! О литературѣ ли русской кто хочетъ заговорить, — непременно

хоть чтонибудь скажетъ о Гоголѣ; о самомъ ли себѣ захочетъ иной поговорить, — опять говорить о Гоголѣ... Но одинъ говорить неловко, не умѣя скрыть, что, толкуя о Гоголѣ, хлопочетъ о самомъ себѣ; другой дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ ловче: онъ хвалитъ Гоголя... хотя и не больше, какъ даровитаго каррикатуриста... Онъ говоритъ, что того нѣтъ въ природѣ, что Гоголь описываетъ; но что все-таки у Гоголя есть талантъ, и его съ удовольствіемъ читали, читаютъ и будутъ читать... Какимъ образомъ можно съ талантомъ описывать то, чего нѣтъ въ природѣ, — объ этомъ не спрашивайте; не говорите и о томъ, что сама карриатура есть только преувеличеніе истины въ смѣшномъ видѣ, что безъ сходства съ оригиналомъ она ничего не стоитъ, и что, наконецъ, только бездарные писаки описываютъ то, чего нѣтъ въ дѣйствительности, — не говорите ничего этого: тутъ дѣло идетъ не объ истинѣ, а о чемъ-то другомъ...

Обратимся къ книжкѣ г. Буткова. Несмотря на всѣ ея недостатки, мы прочли съ удовольствіемъ — если не всю ее, то нѣкоторыя статьи въ ней. По всему видно, что г. Бутковъ только что выступаетъ на литературное поприще и еще не осметрѣлся на немъ, не привыкъ къ нему. Но это недостатокъ неважный, отъ котораго скоро могутъ избавить его трудъ и дѣятельность. Большая часть недостатковъ его книги, самыхъ важныхъ, происходитъ отъ свойства его таланта. Это, во-первыхъ, талантъ болѣе описывающій, нежели изображающій предметы, талантъ чисто-сатирической и нисколько не юмористической. Въ немъ не достаетъ ни глубины, ни силы, ни творчества. Но тѣмъ не менѣе, въ авторѣ видны умъ, наблюдательность и, мѣстами, остроуміе многого комизма. Онъ умѣетъ замѣтить смѣшную сторону предмета и схватить ее. Этого мало: у него не только видѣнъ умъ, но и сердце, умѣющее сострадать ближнему, кто бы и каковъ бы ни былъ этотъ ближній, лишь бы только былъ несчастенъ.

Гоголь имѣлъ сильное вліяніе на талантъ г. Буткова. Особенно часто образъ Акакія Акакіевича (изъ повѣсти „Шинель“) отражается на герояхъ г. Буткова. Чибукевичъ, герой первой повѣсти его, называющейся: „Порядочный Человѣкъ“, сперва является очень близкимъ подобіемъ Акакія Акакіевича, но уже потомъ, какимъ-то чудомъ, извѣстнымъ только одному автору, дѣлается тонкимъ, смѣлымъ и наглымъ плутомъ. Герои повѣстей: „Ленточка“ и „Сто Рублей“ — опять сколки съ Акакія Акакіевича. Мы очень желали бы, чтобъ эта подражательность поскорѣ замѣнилась въ г. Бутковѣ самостоятельностью. Самая худшая изъ всѣхъ статей, составляющихъ первую часть „Петербургскихъ Вершинъ“, есть „Почтенный Человѣкъ“: это что-то до того блѣдное, вялое, растянутое, плоское и скучное, что трудно повѣрить, чтобъ оно могло быть написано человѣкомъ съ талантомъ. Самая лучшая статья — „Сто Рублей“. Это не повѣсть, а очеркъ, рассказъ, что-то даже въ родѣ анекдота; но тутъ много хорошаго. Особенно понравилось намъ явленіе безвакантнаго Авдѣя въ контору гошеводъ Щетинина и компаніи и его пребываніе въ этой конторѣ. Тутъ много полнѣчено кое-что рѣзко-характеристическаго. Но всего лучше въ этомъ рассказѣ физиологически очерченъ характеръ Ерша.

И другіе рассказы не лишены достоинства. Жаль только, что они не ровны, т. е. хороши мѣстами, но въ цѣломъ не выдержаны. И вотому, мы не скажемъ, чтобъ статьи: „Порядочный Человѣкъ“, „Ленточка“ и „Битка“ были хороши, но скажемъ, что въ нихъ много хорошаго. Такъ, напримѣръ, въ „Порядочномъ Человѣкѣ“, кромѣ самого героя, который сначала является естественнымъ, а потому и интереснымъ, очень рѣзко, хотя мѣстами и грязновато, описанъ мотъ изъ купеческихъ сынковъ. Очень недуренъ и рассказъ половаго въ гостинницѣ на Вознесенскомъ проспектѣ.



Вообще, языкъ автора „Петербургскихъ Вершинъ“ мѣстами бываетъ довольно мѣтокъ и цѣпокъ, и г. Бутковъ иногда умѣетъ говорить довольно оригинально о вещахъ самыхъ простыхъ. Но, повторимъ еще разъ, у г. Буткова во всемъ и вездѣ неровности. За выраженіемъ сильнымъ и характеристическимъ слѣдуютъ вялыя и безцвѣтныя; за яркою страницей—страницы блѣдныя. Правда, за то надо сказать, что и въ самомъ плохомъ разсказѣ — „Почтенный Человѣкъ“, кое-гдѣ блещутъ искорки ума и остроумія. Но какъ достоинства, такъ и недостатки сочиненій г. Буткова происходятъ прямо изъ сущности его таланта. Какъ талантъ чисто-сатирической и описательный, а не юмористическій и творческій онъ часто бываетъ колокъ, остроуменъ, но часто и гоняется за остроуміемъ. Такъ, напримѣръ, въ книгѣ своей г. Бутковъ множество разъ, безъ всякой нужды и вовсе некстати, употребилъ слово самость, вездѣ отмѣчая его курсивомъ, какъ бы думая, что это ужъ и Богъ знаетъ какъ зло и остроумно. Мѣстами въ языкѣ замѣтна и небрежность и стремленіе къ неудачнымъ нововведеніямъ: такъ, напримѣръ, отъ слова каста онъ произвелъ небывалый эпитетъ кастическій.

Во всякомъ случаѣ, мы душевно рады появленію новаго таланта. Разовьется ли талантъ г. Буткова, или завянетъ самъ собою отъ слабости своего корня, выйдетъ ли изъ него что-нибудь важное, или такъ что-нибудь, или ничего не выйдетъ, — объ этомъ мы погодимъ разсуждать. Пока скажемъ только, что у г. Буткова есть умъ и дарованіе, и пожелаемъ ему всевозможныхъ успѣховъ на поприщѣ нашей литературы, не только не богатой, но вовсе бѣдной беллетристическими талантами.

**КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА. ГРАФЪ МОНТЕ-КРИСТО, романъ Александра Дюма. Полный переводъ В. М. Строева. Части первая, вторая и третья. Спб. 1845.**

**ГРАФЪ МОНТЕ-КРИСТО. Романъ Александра Дюма. Выпускъ 1, 2, и 3. Спб. 1845.**

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. ТРИ МУШКАТЕРА. Романъ Александра Дюма. Часть I. Спб. 1845.**

**КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА. ТРИ МУШКАТЕРА. Романъ Александра Дюма. Полный переводъ, рассмотренный В. М. Строевымъ. Часть первая и вторая. Спб. 1845.**

Что бы ни говорили о насъ остроумные противники наши, но мы не перестанемъ повторять, что въ русской литературѣ больше геніевъ, нежели талантовъ, больше художниковъ, нежели бельетристовъ. Изъ этого, впрочемъ, еще не слѣдуетъ, чтобъ у насъ геніевъ и художниковъ было очень много, даже просто много; но они замѣтнѣе и долговѣчнѣе талантовъ, и потому ихъ имена у всѣхъ на языкѣ. А таланты бельетристическіе такъ же быстро исчезаютъ у насъ, какъ и рождаются. Притомъ же, они такъ мало пишутъ! Пушкинъ, умершій еще въ порѣ силъ, одинъ написалъ больше, нежели всѣ его подражатели, виѣстѣ взятыя. Да и кто теперь читаетъ крохотныя книжечки сочиненій этихъ подражателей? Новые бельетристы, смѣнившіе ихъ, тоже и мало пишутъ и скоро выписываются. Отъ этого и читать нечего, ибо геніи не рождаются десятками.

Бельетристика есть мѣрка богатства всякой литературы. И ни одна литература въ мірѣ не можетъ равняться въ этомъ отношеніи съ французскою. Искусство писать до того развилось во Франціи, что какъ-будто слѣзлалось второю природою Французовъ. Оттого во Франціи есть что читать, да и вся Европа читаетъ французскихъ писателей, всѣ европейскія литературы живутъ переводами съ французскаго. Въ самомъ

дѣлѣ, что такое всё эти романы — „Матильда“, „Парижскія Тайны“, „Вѣчный Жидъ“, „Королева Марго“, „Монте-Кристо“, „Ночи на Кладбищѣ Отца Лашеза“, если не блестящія произведенія бельлетристики, наполненныя всевозможными натяжками, не естественностями, эффектами, и въ то же время, мѣстами, блистающія вдохновеніемъ, умомъ, мыслию, всегда живыя и занимательныя? Они недолговѣчны, потому что ихъ авторы—обыкновенно таланты, не гении, и пишутъ не для потомства, не для вѣковъ, а только для того года, въ который пишутъ. Всё эти романы и повѣсти, пошумѣвъ на бѣломъ свѣтѣ, скоро забудутся, но смѣненные другими,—и такимъ образомъ публикѣ всегда есть что читать. Если вы не любите эфемерныхъ произведеній бельлетристики, любя только художественныя созданія,—не читайте ихъ, но и не браните, не презирайте бельлетристики: она и безъ васъ найдетъ себѣ множество читателей и будетъ имъ полезна, благотворно дѣйствуя на ихъ образованіе и доставляя имъ умное и благородное развлеченіе. Пусть аристократы искусства читаютъ только своихъ привилегированныхъ авторовъ: масса публики тоже должна имѣть свою литературу. И если какая-нибудь литература удовлетворяетъ вдругъ тому и другому требованію,—тѣмъ больше ей чести и славы!...

Мы ни слова противъ переводовъ французскихъ романовъ и повѣстей; мы даже отъ души рады имъ; но наше дѣло отличить хорошіе отъ дурныхъ. „Карманная Библіотека“, выходящая маленькими красивыми книжками, представляетъ переводы полныя и вѣрныя, а не передѣлки; со стороны языка, они не оставляютъ ничего желать.—Но что такое „Экономическая Библіотека“? Почему она экономическая? О кухнѣ что ли рассуждаетъ она? Нѣтъ, она представляетъ переводы тѣхъ же романовъ, какіе и „Карманная Библіотека“, но переводы плохіе, искаженные съ пропусками и перемѣнами. „Графъ

Монте-Кристо“, изданный въ 8-ю долю листа и содержащій въ себѣ три выпуска, есть не что иное какъ отдѣльно отпечатанныя листки перевода первыхъ частей этого романа, помещеннаго въ одномъ изъ русскихъ журналовъ нынѣшняго года. Переводъ этотъ нѣсколько сокращенъ, но въ отношеніи къ языку хорошъ. — Что за роскошь! одинъ и тотъ же романъ въ нѣсколькихъ переводахъ! Это не роскошь, а соревнованіе, конкуренція, которая, впрочемъ, должна принести успѣху дѣла не пользу, а вредъ. У насъ обыкновенно куда одинъ, туда и всѣ, за что одинъ, за то и всѣ, какъ-будто выгода всѣхъ заключается только въ томъ, что придумалъ одинъ для своей выгоды! Нежели теперь во Франціи только и романовъ что „Монте-Кристо“, да „Три Мушкетера“...

---

КОЧУБЕЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ. *Историческая повесть.*  
*Николая Семеновскаго. Спб. 1845.*

Посредственность хуже бездарности. Бездарность, по крайней мѣрѣ, смѣшитъ читателя; посредственность наводитъ на него апатію. Это не сонъ, успокоивающей и освѣжающій, а тяжелая дремота, родъ какого-то одъшенія, слишкомъ хорошо знакомаго людямъ, которые обязаны читать всякій печатный вздоръ. Увы! пишущій эти строки читалъ „Кочубея, генеральнаго судью“, и крѣпко сердился на него, зачѣмъ онъ погубилъ добраго Самуйловича, зачѣмъ позволялъ женѣ драть себя за чупрыну и цѣловать у ней за это руку, зачѣмъ подавалъ Петру-Великому недѣло составленный доносъ на Мазепу: не дѣлай онъ ничего этого, — и г. Семеновскій не написалъ бы плохой повѣсти, а я, несчастный рецензентъ, не прочелъ бы ея, не испыталъ бы въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ давленія кошмара, не спалъ бы съ открытыми глазами и не

думалъ бы съ ужасомъ, что читаемое мною въ книгѣ есть мой собственный бредъ отъ начинающейся горячки... О, Кочубей! ты дважды страдалецъ: разъ погибъ ты отъ Мазепы, другой — отъ г. Сементовскаго... Но я-то, за что же я погибаю тутъ? Вѣдь я невиненъ въ гибели Самуиловича, я не дѣлалъ доноса на Мазепу, я вообще не люблю никакихъ доносовъ, даже литературныхъ, которые считаются самыми невинными, считаются даже особеннымъ родомъ литературы, долженствующимъ замѣнить собою вышедшую изъ употребленія дидактическую поэзію... И ничего, ничего для моего вознагражденія за прочтеніе книги въ 8-ю долю листа въ 377 страницъ! Я даже ни разу не засмѣялся при живописныхъ описаніяхъ, какъ madame Кочубей таскала своего мужа за чупрыну, а онъ благодарилъ ее за науку... Одно только мѣсто поразило меня, но не какъ фактъ поэзіи, а какъ фактъ славянофильской цивилизаціи, славянофильскихъ нравовъ: это описаніе, какъ Любонко Кочубей свою „доню Мотреньку“ стегала... нѣтъ бишь — „катовала“ казачкою нагайкою по спинѣ и по прочему... Во всемъ остальномъ ничто не заняло меня, — ни Юлія, которая сдѣлала Мазепу набожнымъ и кроткимъ (я счелъ это за сказку, и притомъ довольно вздорную), ни высокій слогъ описаній утренней и вечерней погоды, которыми начинается каждая глава этой повѣсти, — щобъ ей лышечко! — ни низкій слогъ казацкихъ разговоровъ — врагъ бы побралъ ихъ душу! Я никакъ не могъ понять, о чемъ и зачѣмъ толкуютъ эти люди; мнѣ даже казалось, что это не люди, а марионетки, плохо вырѣзанные изъ картона и еще хуже размалеванные... Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ, виновать не сочинитель, а дремота и зѣвота, съ какими я услаждалъ себя чтеніемъ этой несравненной исторической повѣсти; но кто же нагналъ на меня эту дремоту, если не самъ сочинитель, г. Сементовскій?... Богъ ему судья!..

**МОГИЛА ИНОКА.** *Иностранное происшествіе XIX столѣтія.* Сочиненіе Ф. Садовникова. Спб. 1845.

Вотъ г. Садовниковъ совсѣмъ не то, что г. Сементовскій! Г. Садовникову я очень благодаренъ: онъ разбудилъ меня отъ дремоты, которою магнетически оковалъ меня г. Сементовскій. Истинное происшествіе XIX столѣтія—презабавная книжка, она же и не велика. Читая ее, вы безпрестанно смѣтаетесь, и тамъ, гдѣ герои ея страдаютъ, плачутъ и говорятъ высокимъ слогомъ, и тамъ, гдѣ они шутятъ и снисходятъ до низкаго слога, или выражаются среднимъ. „Мои́ла Инока“ доставила намъ такое удовольствіе, что мы рѣшаемся подѣлиться имъ съ нашими читателями,—тѣмъ болѣе, что они самой книги, конечно, не прочтутъ и даже не увидятъ. И такъ, слушайте!

*«Мелена крака* исчезла съ *эфирнаго небосклона*, и *утро* во всеиъ блескѣ *ниспадало* на окрестности Петербурга. По островамъ было слышно *пѣніе* птицъ, и до *чувства обонянія* доходило *благоуханіе* цвѣтовъ, или неволью до сердца долетаютъ звуки тихаго инструмента, сливаются... теряются... и, (*заплетая!*) *замираютъ!*... *Безсмыслный* рыбакъ *закладываетъ* *наводъ*, слышишь его *родную пѣсню*, и такъ мило... *восхитительно*. Рыбакъ на *утолмъ* челнокаѣ *несется* въ берегу, таща бичеву въ водѣ; *поспѣшно* *закладываетъ* на *плоть*, *привязываетъ* *челни* и *принимается* за *работу*; *черезъ нѣсколько минутъ* *вытаскиваетъ* *наводъ*, и множество *рыбы* *вытряхиваетъ* въ *воряну*: онъ доволенъ,—*благодарить Бога!*»

Что за перо у г. Садовникова! Какъ онъ пишетъ! Мило... восхитительно! И какая обстоятельность въ его сочиненіяхъ! Чтобы иной недогадливый, или необразованный читатель не подумалъ, что благоуханіе цвѣтовъ доходило до чувства слуха, зрѣнія, вкуса или осязанія, г. Садовниковъ предупреждаетъ его, что оно доходило именно туда, куда ему слѣдуетъ доходить, т. е. до чувства обонянія! Вотъ это сочинитель!...

Свидѣтелемъ этой милой и восхитительной картины былъ Булатъ, а Булатъ былъ мирный Черкесъ, принявшій присягу

и сдѣлавшійся „кровный Русскому“. У Булата былъ другъ Селимъ, тоже Черкесъ, и была дѣва неземная, Варвара, а у Варвары была другиня, тоже дѣва неземная, Елена. Съ Булатомъ случилось весьма забавное, но тѣмъ не менше „истинное“ происшествіе, о которомъ онъ такъ рассказывалъ своему другу: „Я видѣлъ могилу инока, и на зеленомъ дернѣ стояла на колѣняхъ дѣва простирая руки къ небу... взоръ ея былъ устремленъ въ тотъ горный край, и лице прекрасной озоралъ полный мѣсяцъ; она молилась, и роскошная грудь ея высоковоздымалась, рыданія оглашали кладбище!... облака неслись быстро, и порывомъ вѣтра сорвало съ чела ея покрывало, и я узналъ...“ — Кого? — „Вариньку... произнесъ глухо Булатъ“ (стр. 14—15). Между тѣмъ, дѣва Варвара читала записки Булата и ей особенно понравилось въ нихъ слѣдующее мѣсто:

„Булатъ сидѣлъ на камнѣ: у ногъ его *клокотали сады* Каспійскаго моря; онъ (,) глядя на *бурную стихію* и погруженный въ раздумье (,) произнесъ: неужели счастье въ *подземномъ* мірѣ не ожидаетъ меня!... Неужели *тысяча миллионевъ* дѣтъ пройдутъ, и *лучъ солнца* не согрѣетъ мою сирую душу?! Но гдѣ же тотъ *дивный міръ*, въ которомъ такъ счастливо живутъ люди? Можеть ли *духъ мой* поселиться въ той благодатной странѣ?! Но въ эти минуты Булата выводитъ изъ *міра очарованій* громкій выстрѣлъ; Булатъ бросается на коня, быстро несется конь его, перепрыгивая глубокія ущелья, за нимъ погоня Русскихъ, нули вьзвать около его ушей, но его не ранили. Булатъ сарывається... пронадаеть въ вечерней мглѣ...

Прочтя эти строки, дѣва Варвара сказала, дѣвѣ Еленѣ; „Онъ мущина съ душой... можеть любить пламенно, вѣжно“. Потомъ она самому Булатову сказала, что его записки ей нравятся; на что онъ ей отвѣчалъ: „Очень радъ... я не надѣялся, чтобъ моя мораль могла доставить вамъ удовольствіе“. Потомъ Булатъ начисто объяснился въ любви съ дѣвою Варварою и поцѣловался съ нею, а дѣва Елена упала въ обморокъ отъ ревности и растянулась на полу во весь ростъ, впрочемъ, въ приличномъ положеніи. Булатъ принялъ христіанскую вѣру и явился къ

отцу дѣвы Варвары съ предложеніемъ. Тутъ произошла пре-патетическая, т. е. пресмѣшная сцена. Сперва старикъ, ни съ того ни съ сего гонить Булата съ глазъ долой, а потомъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, обнимаетъ его какъ жениха своей дочери. Нѣжные голубки обручились. Но въ это время Наполеонъ позавидовалъ ихъ счастію и пошелъ съ своими полчищами на Москву. Булатъ оставилъ дѣву Варвару и выступилъ изъ Петербурга съ гвѣрдіею. Этимъ оканчивается первая часть „истиннаго происшествія“ г. Садовникова.

Во второй части, въ бородинской битвѣ убили одного барона, который обожалъ дѣву Полину. Убитый, какъ слѣдуетъ на сраженіи, т. е. на-скоро простился съ Булатомъ и попросилъ его отдать записку дѣвѣ Полини. Прочтя эту записку, Полина тутъ же взяла да умерла. Сцена вышла пресмѣшная... Булатъ былъ раненъ, вылечился, пріѣхалъ въ Петербургъ и пошелъ къ дѣвѣ Варварѣ. „Сердце... утихни... не бейся такъ сильно! душа... невоспламеняй мои фантазіи! не потрясай мои нервы!... остановись... остановись... застынь кровь въ жилахъ моихъ!... дай... дай хладнокровно любоваться на это зрѣлище“ (Ч. П. стр. 81). Но вотъ входитъ Варвара, но уже не дѣва — вѣроломная, она жена Селима! „Нѣтъ силъ!... простоналъ Михаилъ“ (онъ же и Булатъ) глухо: „самъ сатана со всей адской силой... потрясаетъ твердь земную подъ пятой моею!... спѣши... спѣши искуситель враотцевъ нашихъ... возьми... вырви адскими когтями мое бѣдное сердце!... растерзай его на тысячи частей... и раздай его завистливымъ врагамъ..... Боже... зачѣмъ... почто ты допустилъ зависть... алчность челоуѣка, отравить мое благополучіе?!... послѣднюю отраду похитили у меня! мои радости украли изъ-подъ руки моею... и кто же... другъ мой... неблагодарный Селимъ!...“ (стр. 91).

Сказавъ таковы слова, Булатъ упалъ въ обморокъ, и раны его открылись. Селимъ отвезъ его въ Измайловскій полкъ,



откуда взяла его дѣва Елена и привезла къ себѣ домой. Выздоровливая, онъ влюбился въ эту неземную дѣву, а выздоровѣвъ, женился на ней. Они „обожали“ другъ друга, и на портретъ *si-devant* дѣвы Варвары Булатъ не могъ смотрѣть: „Черты ея казались ему чертами искусителя праотцовъ нашихъ“ (стр. 109). И Варвара, переставъ быть дѣвою, стала несчастна: Селимъ не любилъ ея и женился на ней изъ денегъ — такой извергъ! Но и счастье Булата продолжалось, не долго: жена его, *si-devant* дѣва Елена, скоро умерла чахоткою, съ горя онъ пошелъ въ монахи и умеръ; Варвара, тоже слѣзавшись монахинею, плакала по ночамъ на его могилѣ. И вотъ вамъ — „Могилы Инока“!...

Но „истинное происшествіе“ и тутъ еще не оканчивается: г. Садовниковъ, въ видѣ эпилога, приложилъ объясненіе, какими хитростями Селимъ успѣлъ разорвать два любящія сердца, какъ перехватывалъ ихъ письма и увѣрялъ дѣву Варвару, что Булатъ убитъ на сраженіи...

И вотъ какія произведенія не перестаютъ еще появляться въ русской словесности!... Въ октябрѣ появилось „Коварство“ г. Чернявскаго; въ ноябрѣ вышла „Могилы Инока“ г. Садовникова: что-то еще явится въ этомъ родѣ въ продолженіи декабря?... Спасибо имъ хоть за то, что смѣшны, и рецензентъ можетъ передлистывать ихъ для потѣхи; особенно хорошо дѣйствуютъ они на расположеніе духа рецензента...

**III.**

**ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.**



**РАЗМЫШЛЕНІЯ ПО ПОВОДУ НѢКОТОРЫХЪ ЯВЛЕНІЙ ВЪ ИНО-  
СТРАННОЙ ЖУРНАЛИСТИКѢ.**

Въ литературномъ, или, лучше сказать, журнальномъ мірѣ Западной-Европы часто случаются презабавныя исторіи. Какъ извѣстно, тамъ журналъ можетъ существовать и держаться только мнѣніемъ, и потому тамъ стараются имѣть литературное или политическое мнѣніе даже такіе люди, которые способны имѣть только кухонное или туалетное мнѣніе. Многие съ умысломъ хватаются за какую-нибудь явную нелѣпость и всѣми силами поддерживаютъ ее, вопреки приличію, нравственности и здравому смыслу, чтобъ только казаться людьми съ мнѣніемъ. О такихъ людяхъ нечего и говорить: ясно, что это безсовѣстные промышленники. Но между ними есть и невинные люди, которые, по вѣнкости, легко могутъ быть смѣшаны съ торгашами мнѣнія, но которыхъ, ради истины и справедливости, должно отличать отъ продавцевъ лжи. Это люди очень неглупые, иногда даже умные, съ познаніями и не безъ дарованій, но которые, при большемъ честолюбіи, не имѣютъ довольно силы, чтобъ вырваться изъ-подъ уровня посредственности. Еслибъ ихъ самелюбіе не превосходило ихъ интеллектуальныхъ средствъ, они ограничились бы второстепенною ролью—развѣщать мнѣніе, основанное человекомъ выше ихъ, и эту роль они выполнили бы прекрасно и отличились бы въ ней отъ толпы, какъ люди съ умомъ и талантомъ,—потому что на свѣтѣ

гораздо больше генераловъ, которые весьма способны помочь полководцу одержать блистательную побѣду, а сами могутъ одержать верхъ развѣ только въ стычкѣ, гдѣ нужна личная храбрость, а не искусство стратига. И благо имъ, если они не претендуя на предводительство арміями, скромно остаются не предводителями, а участниками битвы! Но жизнь—комедія, люди — актёры, и рѣдкіе изъ нихъ такъ благоразумны, что честь—съ умомъ и талантомъ выполнить маленькую, или незначительную роль въ пьесѣ, предпочитаютъ безчестію нелѣпо и бездарно выполнить въ ней первую роль... Обратимся къ литературнымъ актёрамъ, о которыхъ заговорили. Имъ хочется, во что бы ни стало, быть основателями доктрины; но она не рождается свободно изъ ихъ головы, подобне Палладѣ, вышедшей во всеоружіи изъ головы Зевса, хотя голова у нихъ бѣлѣтъ не меньше Зевсовой, и они стучатъ по ней не легче Гефестова молота. Тогда они хватаются за первую нелѣпость, которая можетъ имѣть видъ, или призракъ истины. Если они не въ состояніи изобрѣсти новой нелѣпости, то даютъ особенный оттенокъ чужой, и смятся основать особую, отвлеченную секту въ сферѣ этой нелѣпости. Разумѣется, все это происходитъ въ предѣлахъ пріятельскаго кружка, и за эту роль беретъ главное лицо въ кружкѣ, первенствующее въ немъ своимъ нравственнымъ или умственнымъ превосходствомъ, или характеромъ. Кружокъ радъ, что у него есть свой гений, который долженъ прославить его въ вѣкахъ и преобразовать современную действительность. Надо издавать журналъ, божество котораго пропаганда невозможна. Для журнала нужны деньги. Такія негеріи случаются только въ Германіи; гдѣ денегъ, какъ извѣстно, не только куры не клюютъ, но и люди мало видятъ. Во Франціи и Англій журналы издаются на акціяхъ, капиталистами, и характеръ журналовъ — во большей части политическій. Въ Германіи, для торговли капиталъ бьются; но на

журналы, которые, особенно теперь, имѣютъ характеръ теологическій, капиталовъ тамъ не тратятъ. И потому, гению реформатору общаются денежное содѣйствіе два или три члена кружка, если въ него замѣшаются и богатые люди. Гений принимается за дѣло; вся работа вваливается на него, особенно черновая; пріятели его пишутъ больше стихки (въ Германіи до сихъ поръ свирѣпствуетъ ярость виршеплѣтства), и только изрѣдка раздражаются тощими статейками въ прозѣ. Выходитъ книжка, двѣ, три, иногда и больше; журналъ отличается ультра-свирѣпостью: всѣ раздѣляющіе его мнѣніе—гении; всякое дрянное стихотвореніе, перелагающее это мнѣніе на стихи; есть гениальное произведеніе; за то, противниковъ этого мнѣнія журналъ объявляетъ людьми бездарными, глупыми, низкими, спекулянтами, торгашами; всякое произведеніе, какъ бы ни было прекрасно и чуждо всякой котеріи, безпощадно разрушается уже не за то, что оно противнаго мнѣнія, а за то только, что оно держится не его (журнала) мнѣнія. А мнѣніе? *A force de forger*, гений-реформаторъ больше и больше въ немъ убѣждается, потому что въ немъ дѣйствительно есть жажда убѣжденія и способность къ нему, — словомъ, есть душа, есть сердце; и со дня на день онъ приходитъ въ большее и большее свирѣпство, глубже и глубже впадая въ неистощность, которую выдаетъ за мнѣніе; наконецъ, это мнѣніе дѣлается его *idée fixe*, и самъ онъ становится рѣшительнымъ мономаномъ. Искренно, добросовѣстно, безкорыстно, чисто, свято убѣжденъ онъ, что спасеніе міра только въ его мысли, и что всѣ, кто не признаетъ его доктрины—погибшіе люди, а всѣ, кто отвергаетъ, оспариваетъ ее, или смѣется надъ нею—враги общественного спокойствія, враги человеческого рода, изверги и злодѣи... И воп-вопше не замѣчаетъ, что основа его вѣрованія, столь искренняго, столь безкорыстнаго, заключается въ его самолюбіи, а не въ любви къ истинѣ, и что сила и энергія его убѣж-

денія выходятъ изъ болѣзненно-страстнаго желанія прославить-ся реформаторомъ... Человѣкъ добрый и любящій по натурѣ, онъ дѣлается теперь, по своимъ чувствамъ, настоящимъ инквизиторомъ и готовъ бы былъ доносить на своихъ противниковъ, жечь ихъ на кострахъ... да, къ счастью, вѣкъ инквизицій прошелъ, да и бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ... Но публика остается равнодушною къ „миѣнію“, пожимаетъ плечами и посмѣивается надъ геніемъ-реформаторомъ; подписчиковъ такъ мало, что третьей книжки журнала не на что выкупить изъ типографіи... Геній-реформаторъ обращается къ богатымъ друзьямъ, которые, если вѣрить ихъ стишкамъ и статейкамъ, готовы за „миѣніе“ пожертвовать женою и дѣтьми, жизнью и честью, не только всѣмъ своимъ имѣніемъ. Но, увы! какое разочарованіе! Въмѣсто денегъ, ему даютъ—стихи! Мало этого: да наго сыплются упреки, что онъ дурно повелъ дѣло, ошибся тамъ, не то сказалъ здѣсь, и т. д. Бѣдняку остается съ горя и отчаянія или удавиться, или—что еще хуже—начать писать стихи... Журналъ падаетъ, переходитъ въ другія руки, и съ четвертой книжки начинаетъ толковать уже совсемъ о другомъ миѣніи, а иногда и умираетъ медленною смертію просто безъ всякаго „миѣнія“. Публика смѣется, а враги „миѣнія“ лукаво повторяютъ?

Идѣшила книжка славы,

А моря не замгла!

Вотъ какія забавныя исторіи случаются въ иностранныхъ литературахъ. Какъ счастливы мы, что наша литература совершенно чужда такимъ уродливымъ явленіямъ!

## 2.

**НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ФЕЛЬЕТОНИСТѢ „СѢВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ“  
И О „ХАВРОНЬ“.**

Но, къ сожалѣнію, въ нашей литературѣ есть свои негѣпости, которыя стоятъ всякихъ другихъ. Къ числу ихъ принадлежитъ дурная привычка нѣкоторыхъ журналовъ и газетъ приписывать своимъ противникамъ такія мнѣнія, которыхъ тѣ никогда и не думали имѣть. Это особенно худо тѣмъ, что есть много читателей, которые добродушно вѣрятъ всему печатному и справокъ наводить не любятъ (да и всякій ли можетъ имѣть для этого время?), и прочтя будто бы выписанную изъ того или другаго журнала фразу, повторяютъ: „какая негѣпость! какъ не стыдно утверждать такіе вздоры!“ Или — что еще хуже — восклицаютъ: „какъ можно это печатать! какъ позволяютъ это печатать!“ Въ прошломъ мѣсяцѣ мы представили печатныя доказательства, что нашему журналу приписываются мнѣнія совершенно противоположныя его мнѣніямъ. И что жъ? Какъ воспользовались этимъ урокомъ наши противники? — Они прибѣгли къ другому средству: вырвали тамъ и сямъ по нѣсколькѣ строкъ изъ страницы, по нѣсколькѣ словъ изъ фразы, — и дѣйствительно перепечатали наши слова, безъ всякихъ искаженій, или измѣненій, словомъ, поступили въ этомъ случаѣ съ возможною (для нихъ) добросовѣстностію; но худо то, что эти вырванные фразы, будучи отдѣлены отъ дѣлѣй статьи, дѣлѣй страницы, цѣлаго періода, явились съ такимъ смысломъ, что, читая ихъ не въ нашемъ журналѣ, по неволѣ воскликнешь: „что за вздоръ!“ „какъ это можно печатать!“ Вотъ доказательства: въ фельетонѣ 106-го нумера „СѢВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ“ вышедшаго 12 мая нынѣшняго года, вырвана изъ четвертой книжки „Отечественныхъ Записокъ“ фраза: „Молодое поколѣ-



ніе опытиѣ и мудрѣ прежняго“. Подобная фраза, взята отдѣльно, безъ связи съ статью, изъ которой вырвана, — и рѣзка и неаппа. И потому да позволено намъ будетъ вновь повторить наши слова вполнѣ, чтобъ читатели могли видѣть сами: то ли говорили мы, что приписываетъ намъ благонамѣренный фельетонистъ „Сѣверной Пчелы“.

Самолюбіе играетъ большую и чуть-ли не главную роль въ нерасположеніи стариковъ ко всему новому. Видя, что все на свѣтѣ идетъ и дѣлается не такъ, какъ бы имъ хотѣлось, не такъ, какъ все шло и дѣлалось въ ихъ время, старики *обижаются* и говорятъ юношамъ: «что же мы глупѣе васъ, а вы умнѣе насъ? Развѣ мы затѣмъ прожили вѣкъ свой, набрались уму-разуму, богатѣли мудрою опытностію, чтобъ на старости дѣтъ неопытные мальчишки вздумали учить насъ?» Люди молодого поколѣнія должны были бы отвѣчать на это старикамъ: «каждый изъ насъ, отдѣльно взятый, можетъ быть менѣе опытенъ и мудръ нежели каждый изъ васъ отдѣльно взятый; но наше молодое поколѣніе и опытнѣе и мудрѣе вашего, потому что оно старше вашего, и къ вашей опытности приложило свою собственную.» Но, въ сожалѣнію, молодые люди такъ же имѣютъ свои *молодые* слабости и недостатки, какъ старые люди имѣютъ свои *старые* слабости и недостатки, — и почти каждый юноша готовъ смотрѣть на старика, какъ на ребенка, а на себя, какъ на взрослого человѣка, не понимая, что все его заслуги и все преимущество передъ старикомъ состоятъ только въ томъ, что онъ позже его родился, и что это вѣдь *содѣмъ* не заслуга... И такъ, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда не правы въ отношеніи къ молодымъ, а молодые всегда правы въ отношеніи къ старикамъ. Но борьба между ними не превращается ни на минуту, и одно время рѣшаютъ безъ лицепрятія, кто правъ, кто виноватъ, хотя некогда доживаютъ до рѣшенія своей тямбы, и старики по большей части умираютъ съ убѣжденіемъ, что они правы, что ихъ тямба выиграна, и что горе новому поколѣнію, которое пошло невою дорогою...

Другая фраза: „Наполеонъ есть вверху ногами поставленный Карлъ Великій“, надѣмся, никому не покажется странною, если ее прочтутъ не отдѣльно, а въ этомъ отрывкѣ:

«Непомню, гдѣ и когда я читалъ какую-то статью Эдгара Кане о нѣмецкой философіи; статьи не очень важная, но въ ней было интересное сравненіе нѣмецкой философіи съ французскою революціею. Кане — Мирабо, Фихте — Робеспьеръ, а Шеллингъ — Наполеонъ; вообще, это сравненіе не чуждо нѣкоторой вѣрности; я самъ готовъ сравнить Шеллинга съ Наполеономъ, только обратнo Эдгару Кане. Ни философія Наполеона, ни философія Шеллинга

устоять не могли—и по одной причинѣ: ни то, ни другое не было вполнѣ организовано и не имѣло въ себѣ твердости ни отрѣзаться отъ прошлыхъ односторонностей, ни идти до крайняго послѣдствія. Наполеонъ и Шеллингъ явились миру, провозглашая примиреніе противоположностей и снятіе ихъ новымъ порядкомъ вещей. Во имя этого новаго порядка вещей, признали Бонапарте императоромъ; и душевный дымъ не помѣшалъ наконецъ разглядѣть, что Наполеонъ остался въ душѣ человѣкомъ прошедшаго. Историческій маскарадъ à la Charlemagne, въ которомъ Наполеонъ одѣлся очень не къ лицу, окруженный своими герцогами-соддатами—былъ *intermedia buffa*, за которой слѣдовало Ватерлоо съ настоящимъ герцогомъ во главѣ. Шеллингъ въ своей области поступилъ такъ, какъ Наполеонъ: онъ обѣщалъ примиреніе мышления и бытія; но, провозгласивъ примиреніе противоположныхъ направлений въ высшемъ единствѣ, остался идеалистомъ; въ то время, какъ Окенъ учреждалъ Шеллинговское управленіе надъ всею природою, и «Изида»—мониторъ натурфилософій, громко возвышала свои побѣды, Шеллингъ одѣвался въ Якова Бѣма и начиналъ задумывать реакцію самому себѣ, для того, между прочимъ, чтобъ не сознаваться, что онъ обманутъ: Шеллингъ вышелъ вверхъ ногами поставленнымъ Бѣмъ, такъ какъ Наполеонъ вверхъ ногами поставленный Карлъ Великій. Это худшее, что можетъ быть, потому что чрезвычайно смѣшно.

Прочитавъ эти строки, кто не согласится, что онѣ написаны не фельетонистомъ „Сѣверной Пчелы“, а человѣкомъ новаго поколѣнія, который владѣетъ умомъ, свѣдѣніями и талантомъ? Кто не согласится, что фельетонисту въ этой статьѣ все должно казаться нелѣпностью, потому что человѣческому, и особенно, старческому самолюбію отрадно считать вздоромъ все, что нехотятъ оно не въ состояніи...

Но самый свѣтлый *tour de force* благонамѣреннаго фельетониста заключается въ выпискѣ словъ Наполеона и замѣчанія „Отечественныхъ Записокъ“ на эти слова. Наполеонъ назвалъ народъ пескомъ и считалъ нужнымъ бросить въ этотъ песокъ гранитныя массы религіи и аристократіи. Мы замѣтили, что эти слова показываютъ въ Наполеонѣ отсутствіе чувства порядка, который у него былъ самъ по себѣ только чувствомъ дисциплины. Что жъ тутъ страннаго? Источники религіи — народъ, который сеювѣкъ не песокъ; а плодотворная почва, изъ которой возникаютъ цвѣты всеміръ правдивныхъ установлений. Вели-

гія не дається приказомъ. Такъ думать могъ только Наполеонъ, который уважалъ всѣ религіи изъ политическихъ расчетовъ, даже мухаммеданскую, во время своего египетскаго похода, и льстилъ Арабамъ мыслию, что онъ можетъ сдѣлаться мухаммеданиномъ. Если во Франціи возстановился католицизмъ, то не волею Наполеона, а тѣмъ, что большая часть народа осталась вѣрна католицизму. Чего нѣтъ въ народѣ, того нельзя дисциплинировать. Доказательство—аристократія: несмотря на всѣ усилія Наполеона возстановить ее, несмотря на то, что онъ призывалъ во Францію эмигрантовъ и дѣлалъ своихъ солдатъ герцогами, — теперь господствующее и правительствующее сословіе во Франціи не аристократія, а bourgeoisie. Неужели это неизвѣстно г. фельетонисту? Гдѣ же софизмы въ нашихъ словахъ? Неужели въ томъ, что „порядокъ основывается на удовольствіи, на равновѣсіи всѣхъ законныхъ интересовъ, всѣхъ жизненныхъ силъ“?...

Велика сила привычки: отъ нея не легко отставать! Сдѣлавъ такія выписки, фельетонистъ не могъ удержаться, чтобъ не приписать намъ кое-чего такого, чего мы вовсе не говорили, или не дѣлали. Ему почему-то очень не понравилось нанечатанная въ „Отечественныхъ Запискахъ“ басня „Хавронья“. О вкусахъ спорить нечего! Онъ нашелъ крайне неприличными слова: „грязная щетина, запахъ и вонь“. И объ этомъ не спорить. Кому не извѣстно, что и басня Крылова „Свинья“, въ блаженной памяти доброе старое время, показалась неприличною, и что въ провинціальныхъ обществахъ даже теперь, по свидѣтельству Гоголя, даны, вѣдетъ того, чтобъ сказать: „стананъ воняетъ“, говорятъ: „стананъ душно вѣдетъ себя“, вѣдетъ „вымернаться“, говорятъ: „обойдѣть посредствомъ платна?... И потому, не будемъ объ этомъ спорить съ чопорнымъ и жеманнымъ вкусомъ нѣкоторыхъ людей; замѣтимъ вѣдь что: фельетонистъ узрѣваетъ, будто сикхотвореніе „Хавронья“ не

означено въ заглавіи книжки, и будто страница, внесенная въ книгу послѣ стр. 326, не нумерована. Все это чистая выдумка: стихотвореніе „Хавронья“ означено на оберткѣ четвертой книжки „Отечественныхъ Записокъ“ и въ общемъ оглавленіи къ 39-му тому „Отечественныхъ записокъ“; слѣдующая за 325 (а не 326, какъ утверждаетъ фельетонистъ) страница не означена это правда, но не по той причинѣ, чтобы басня незаконно явилась въ печати, а по той, что въ „Отечественныхъ Запискахъ“, какъ во многихъ другихъ журналахъ, никогда не означаются цифрами тѣ страницы, на которыхъ начинается новая статья, — а такъ какъ на страницѣ, слѣдующей за 325-ю, напечатано стихотвореніе „Современная Ода“, то 326-я страница и не означена цифрами, — и такъ какъ это стихотвореніе оканчивается на 326-й же страницѣ, а на 327-й начинается новое стихотвореніе, именно оскорбившая фельетониста „Хавронья“, то и 327-я страница тоже не означена цифрами. Зачѣмъ же выдумывать? Зачѣмъ стараться придавать криминальный характеръ такому вздорному дѣлу, какъ цифровка страницъ?... Поневолѣ вспомнишь эти смѣшные стихи:

Странная вещь!  
Непонятная вещь!

Г. фельетонистъ выдумалъ еще, будто мы сказали, что „Гоголь гораздо выше Карамзина и всѣхъ писателей его эпохи“ и даже имѣлъ смѣлость выставить, въ выноскѣ, страницы (56 и 27 „Библиографической Хроники“ 4-й книжки „Отечественныхъ Записокъ“), на которыхъ будто бы мы сказали это. Но ничего даже подобнаго нѣтъ ни на 26, ни на 27 и ни на какой другой страницѣ „Отечественныхъ Записокъ“: это чистая выдумка фельетониста. Да и какъ бы мы могли сказать такую нелѣпость? Какъ можно Карамзина, литератора, журналиста, историка, сравнить съ поэтомъ Гоголемъ? Правда, Карамзинъ писалъ стихи и повѣсти, по своему времени очень

замѣчательныя и даже прекрасныя, но все-таки въ стихахъ и въ повѣстяхъ онъ былъ только литераторомъ, и совѣтъ не поэтъ. Гдѣ жъ тутъ возможность какого-нибудь сравненія? Сказать, что Пушкинъ выше Державина—тутъ есть смыслъ, потому что Державинъ поэтъ и Пушкинъ поэтъ; но сказать, что Пушкинъ выше Карамзина—это чистая нелѣпость, потому что Карамзинъ былъ только стихотворецъ, а не поэтъ, а Пушкинъ былъ поэтъ. Сравниваются предметы однородные; можно сказать, что шампанское лучше донскаго, или, пожалуй, и рейнвейна, (хоть это и совѣтъ различныя вина); но нельзя сказать, что шампанское лучше шелка... Карамзинъ въ своихъ стихахъ былъ только стихотворцемъ, хотя и даровитымъ, но не поэтъ; такъ точно и въ повѣстяхъ, Карамзинъ былъ только беллетристомъ, хотя и даровитымъ, а не художникомъ,—тогда какъ Гоголь въ своихъ повѣстяхъ—художникъ; да еще и великій. Какое же тутъ сравненіе?... Фельетонистъ увѣряетъ, что „просвѣщенные Нѣмцы, Финляндцы и Поляки находятъ наслажденіе только въ чтеніи сочиненій Карамзина и писателей его эпохи и не могутъ постигнуть тѣхъ прелестей, которыми постоянно восхищаются наши журналы, служащіе отголоскомъ литературной партіи, называющейся новымъ поколѣніемъ, къ которому примкнули (о?) нѣсколько старыхъ писателей, не имѣвшихъ успѣха во время новой своей дѣятельности“. Мы не знаемъ, о какихъ это старыхъ писателяхъ, примкнувшихъ къ новому поколѣнію, говоритъ г. фельетонистъ, ни того, какая литературная партія называется у насъ новымъ поколѣніемъ, и какая старымъ,—а потому не будемъ разгадывать этихъ загадокъ. Разнымъ образомъ, мы не знаемъ и не можемъ знать, одного ли Карамзина и писателей его эпохи читаютъ просвѣщенные Нѣмцы, Финляндцы и Поляки, презирая новыхъ писателей, каковы Жуковский, Пушкинъ, Грибоедовъ, Лермонтовъ и Гоголь: кто знаетъ вкусъ

людей, разсыянных по лицу такихъ совѣтъ немаленькихъ земель, какъ Польша, остзейскія губерніи и Финляндія? По крайней мѣрѣ мы за это не беремся. Если же это правда, мы поздравляемъ просвѣщенныхъ Нѣмцевъ, Финляндцевъ и Поляковъ, и не хотимъ имъ мѣшать въ такомъ невинномъ удовольствіи. Мы сами въ дѣтствѣ были такъ счастливы отъ чтенія Карамзина и современныхъ ему писателей, и даже теперь иногда заглядываемъ въ ихъ сочиненія, которыя интересуютъ насъ, какъ мемуары эпохи, которой мы не застали.

Далѣе, г. фельетонистъ говоритъ о зависти къ талантамъ и стремленіи къ ихъ униженію, намекая на насъ. Но какихъ писателей унижали мы? Назовите ихъ. Рѣшительно никакихъ, ни старыхъ, ни новыхъ. Крыловъ, конечно, не новый писатель, потому что пользовался славою въ то время, когда мы еще и не родились, — и по нашему мнѣнію, Крыловъ въ своемъ родѣ, т. е. въ баснѣ, дошелъ до такого же совершенства, какъ Пушкинъ, Грибоедовъ, Лермонтовъ и Гоголь въ своемъ родѣ. Если бы кто въ наше время сталъ писать басни по влеченію таланта, мы первые посоветовали бы ему выучить наизусть „дѣдушку Крылова“; но въ другихъ родахъ, мы указали бы молодому таланту не на Карамзина, а на Пушкина, на Лермонтова, на Гоголя, совѣтуя не быть незнакомымъ ни съ Державинымъ, ни съ Фонъ-Визинимъ, ни съ Дмитриевымъ, ни съ Озеровымъ, и тѣмъ болѣе ни съ Жуковскимъ (какъ гениальнымъ переводчикомъ, создавшимъ себѣ свой языкъ и свой стихъ, достойные глубочайшаго изученія) и Батюшковымъ, да кое съ кѣмъ еще и изъ новыхъ. Странно, однакожъ! Г. фельетонистъ почему-то какъ-будто избѣгаетъ упоминать имя Пушкина и все толкуетъ, вотъ уже сколько времени, объ одномъ Карамзинѣ и современныхъ ему писателяхъ. Тутъ что-то не даромъ! И намъ слается, что фельетонистъ хлопочетъ не столько о Карамзинѣ (который вовсе не нуждается въ его защитѣ),

а о другихъ писателяхъ, не столь старыхъ, но уже и далеко-не молодыхъ, — на примѣръ, объ авторѣ „Ивана“ и „Петра Выжигиныхъ“... Право, такъ! Но кто же станетъ завидовать романамъ г. Булгарина? Въ свое время они могли на минуту показаться новыми, и потому воспользоваться минутнымъ успѣхомъ; но имъ былъ нанесенъ страшный ударъ еще романами гг. Загоскина и Лажечникова, а появленіе Гоголя просто заставило публику даже совсѣмъ забыть, что были на свѣтѣ романы г. Булгарина, и что она, публика, не то читала ихъ когда-то и гдѣ-то, не то слышала о нихъ отъ кого-то. Неужели же молодое поколѣніе должно читать ихъ и по нимъ учиться писать?... Но довольно о романахъ г. Булгарина; мы люди снисходительные и слѣдуемъ латинской пословицѣ: *de mortuis aut bene, aut nihil...*

Къ довершенію всего, г. фельетонистъ позволилъ себѣ отпустить слѣдующую вѣжливую фразу на счетъ „Иллюстраціи“, издаваемой г. Кукольниковъ, и „Отечественныхъ Записокъ“: нападая на дурной вкусъ „Иллюстраціи“, перепечатавшей изъ „Отечественныхъ Записокъ“ стихотвореніе „Хавронья“, фельетонистъ говоритъ: „Мы бы не прикоснулись ни къ Иллюстраціи, ни къ Отечественнымъ Запискамъ, чтобъ не уподобиться Хавроньѣ Крылова, искавшей только сора въ барскихъ палатахъ, еслибъ“ и проч. Нельзя не согласиться, что эта фраза какъ-будто поделушана фельетонистомъ у какой-нибудь Хавроньи... Далась же ему эта Хавронья! И за что это онъ такъ опечлился на нее, какъ-будто на самаго страшнаго врага своего?...

## СОВѢТЬ „МОСКВИТЯНИНУ.“

Что дѣлается въ современной русской литературѣ? спросить читателя.—Ничего особеннаго, — отвѣтимъ мы. О библиографическихъ новостяхъ мы отдали читателямъ нашимъ полный отчетъ въ отдѣлѣ „Библиографической Хроники“; а изъ другихъ, замѣчательно только развѣ появленіе новой двойственной книжки „Москвитянина“. Книжка одна, но въ двухъ номерахъ: 7 и 8. Мы не обратили бы на это никакого вниманія, еслибъ самъ „Москвитянинъ“ не явился къ намъ съ пріѣтствомъ. Извѣщая о выходѣ книжки піэтическихъ стихотвореній какого-то англійскаго дьякона, между прочимъ, переведшаго стихами какое-то стихотвореніе г. Хомякова, „Москвитянинъ“ замѣчаетъ въ выноскѣ:

«Отечественныя Записки *терпятъ не могутъ* духа гг. Хомякова и Языкова, и *ругаютъ* ихъ во всякомъ номерѣ. *Ругательства* ихъ для образованныхъ и благонамѣренныхъ замѣняютъ хвалу. Но есть еще толпа... для толпы мы помѣщаемъ это свидѣтельство, съ какою точію зрѣнія иностранцы смотрятъ на сочиненія г. Хомякова, Англичане, проглядывая ихъ, какъ безпрестанно твердятъ «Отечественныя Записки. Точно такъ въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, 1828 г. помѣщено было свидѣтельство Гёте о критикѣ г. Шевырева, вопреки возгласамъ тогдашнихъ *мародеровъ* русской словесности. Одни отзывы стоятъ другихъ» (стр. 112).

„Отечественныя Записки“ имѣютъ честь отвѣтить на это „Москвитянину“, что онѣ никогда и не думали не терпѣть духа гг. Хомякова и Языкова и еще менѣе думали когда-нибудь ругать ихъ. „Отечест. Записки“ и не имѣютъ и не берутъ на себя права ругать кого-нибудь; онѣ ограничиваются только законнымъ правомъ высказывать свое мнѣніе о сочиненіяхъ кого бы то ни было. Что сочиненія гг. Хомякова и



Языкова, особенно перваго, не нравятся „Отечественнымъ Запискамъ“, — это должно быть прискорбно и „Москвитяину“ и реченнымъ стихотворцамъ: мы понимаемъ ихъ горе, но изъ уваженія къ правдѣ не можемъ помочь ему. А что какой-то Англичанинъ перевелъ на свой языкъ піесу г. Хомякова, — это ровно ничего не говоритъ въ пользу поэзіи и таланта этого русскаго стихотворца: вѣдь и сочиненія г. Булгарина (да еще почти всѣ) переведены, да еще не на одинъ, а на нѣсколько европейскіхъ языковъ; но г. Булгаринъ тщетно ссылался на это обстоятельство въ доказательство высокаго достоинства своихъ сочиненій: переводы не спасли ихъ отъ забвенія... Вообще, странно доказывать чей нибудь талантъ тѣмъ, что знакомый иностранецъ перевелъ какое-нибудь его произведеніе: само произведеніе должно отвѣчать за талантъ. Однакожь, у насъ обыкновенно тутъ то и прибѣгаютъ къ подобнымъ уловкамъ, когда въ сочиненіяхъ уже не обрѣтается и признаковъ таланта. Такимъ же образомъ, если Гёте, изъ вѣжливости, сказалъ ласковое слово о статьѣ г. Шевырева, въ которой онъ расхвалилъ междудѣйствіе ко второй части „Фауста“, — это тоже ровно ничего не говоритъ въ пользу критическаго таланта г. Шевырева.

Отвѣтивъ „Москвитяину“ *sine ira et studio*, отъ всей души даемъ ему добрый совѣтъ — не сердиться и не браниться изъ пустяковъ...

ПЕРЕВОДЪ СОЧИНЕНІЙ ГОГОЛЯ НА ФРАНЦУЗСКІЙ ЯЗЫКЪ.

Въ Петербургѣ полученъ французскій переводъ пяти повѣстей Гоголя, изданный въ Парижѣ, въ нынѣшнемъ году господиномъ Луи Виарло, подъ названіемъ: „Nicolas Gogol. Nouvelles russes, traduction française, publiée par Louis Viardot. Tarasse Boulba. Les Mémoires d'un Fou. La Calèche. Un Ménage d'autrefois. Le Roi des Gnomes“. Переводъ удивительно близокъ и, въ то же время, свободенъ, легокъ, изященъ; колоритъ по возможности сохраненъ, и оригинальная манера Гоголя, столь знакомая всякому Русскому, по крайней мѣрѣ не изглажена. Разумѣется, въ томъ и другомъ отношеніи сдѣлано было все, что можно было сдѣлать: всего же сдѣлать было невозможно... Но таково свойство оригинальнаго и самобытнаго творчества, ознаменованнаго печатію силы и глубокости: повѣсти Гоголя съ честію выдержали переводъ на языкъ народа, столь чуждаго нашимъ кореннымъ національнымъ обычаямъ и понятіямъ, и сохранили свой отпечатокъ таланта и оригинальности. Говорятъ, что этотъ переводъ, обративъ на себя большое вниманіе во Франціи, имѣлъ тамъ необыкновенный успѣхъ. И не удивительно: до сихъ поръ сколько ни переводили на французскій языкъ русскихъ писателей, Французы видѣли въ этихъ переводахъ не оригинальныя созданія чужаго имъ народа, но блѣдныя подражанія ихъ же писателямъ. По этому Французы, а вмѣстѣ съ ними и вся Европа, никакъ не хотѣли вѣрить существованію русской литературы. Иначе и быть не могло. Что нашли бы иностранцы въ самыхъ лучшихъ переводахъ на ихъ языки—не говорю стихотвореній Ломоносова, но стихотвореній самого Державина? Одушевленіе, по-

леть, даже сила выраженія—все это мало имѣеть цѣны при отсутствіи содержанія, при недостаткѣ идей. Что бы могли иностранцы найти въ переводахъ на ихъ языки сочиненій Карамзина? Что для нихъ Озеровъ, когда у нихъ есть Корнель и Расинъ, и когда второстепенные ихъ трагикъ лучше Озерова? Жуковскій, поэтъ столь важный для насъ, для нихъ не имѣеть значенія: они въ подлинникахъ могутъ читать такъ гениально переданныя имъ на русскій языкъ творенія нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Басни Крылова—непереводимы, и чтобъ иностранецъ могъ вполне оцѣнить талантъ нашего великаго баснописца, ему надо выучиться русскому языку и пожить въ Россіи, чтобъ освоиться съ ея житейскимъ бытомъ. „Горе отъ Ума“ Грибоѣдова могло бы быть переведено, безъ особенной утраты въ своемъ достоинствѣ; но гдѣ найти переводчика, которому былъ бы подъ силу такой трудъ? То же должно сказать о Пушкинѣ и Лермонтовѣ: переводить ихъ должно стихами; но какой же талантъ нужно имѣть переводчику! И при томъ, все таки эти поэты не могутъ имѣть для иностранцевъ полного интереса оригинальности, какъ поэты русскіе. Явись лучшія ихъ произведенія въ достойныхъ имъ переводахъ, — иностранцы не могли бы увидѣть въ нихъ подражателей своимъ поэтамъ, не могли бы не признать въ нихъ оригинальности, и самобытности, но они удивили бы въ нихъ оригинальность и самобытность больше таланта, нежели національности. Возьмите любаго европейскаго поэта, даже не первой величины, — вы сейчасъ увидите, какой націи онъ принадлежитъ. Поэтъ французскій, англійскій, нѣмецкій, итальянскій — каждый изъ нихъ такъ жерѣзко отличается отъ другаго, какъ рѣзко отличаются одна отъ другой ихъ родныя земли. Вотъ этого-то рѣзкаго типа національности и не достало бы лучшимъ произведеніямъ Пушкина и Лермонтова, даже превосходно переведеннымъ на иностранные языки. Гоголь, въ этомъ отношеніи,

составляетъ совершенное исключеніе изъ общаго правила. Какъ живописецъ преимущественно житейскаго быта, прозаической дѣйствительности, онъ не можетъ не имѣть для иностранцевъ полнаго интереса національной оригинальности уже по самому содержанию своихъ произведеній. Въ немъ все особенное, чисто русское; ни одною чертою не напомнитъ онъ иностранцу ни объ одномъ европейскомъ поэтѣ.

Въ свое время, мы отдадимъ отчетъ читателямъ въ сужденіяхъ французскихъ журналовъ о повѣстяхъ Гоголя и, можетъ-быть, еще поговоримъ вообще объ этомъ предметѣ.

---

## 5.

### СЪВЕРНАЯ ПЧЕЛА — ЗАЩИТНИЦА ПРАВДЫ И ЧИСТОТЫ РУССКАГО ЯЗЫКА.

А что новаго въ нашей литературѣ, въ нашей журналистикѣ? Почти ничего. Если хотите, появился даже новый журналъ, но оттого не меньше все пошло по старому. О собственно литературныхъ новостяхъ поговоримъ въ первой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ будущаго года, въ статьѣ: „Русская Литература 1845 года“. Въ этой статьѣ уважемъ мы на все, что являлось замѣчательнаго въ нашихъ журналахъ 1845 года; но собственно о журналахъ говорить не будемъ, за исключеніемъ новыхъ, или, лучше сказать, новаго. Направленіе, духъ, достоинства и недостатки старыхъ журналовъ уже извѣстны публикѣ, и новаго о нихъ сказать нечего. Пусть каждый изъ нихъ идетъ своею дорогою, не мѣшая намъ идти нашею. Но долгъ вѣжливости понуждаетъ насъ отвѣтить на всѣ прямыя и косвенныя вопросы, взгляды, прицѣпки и намеки, обращенныя на нашъ журналъ и наши мнѣнія другими журналами. Это

мы всегда дѣлали и теперь сдѣлаемъ въ концѣ года, въ видѣ литературныхъ и журнальных замѣтокъ, обыкновенно помещаемыхъ нами въ отдѣлѣ „Смѣся“. Говорили же о насъ и нашихъ мнѣніяхъ только два журнала — „Москвитянинъ“ и „Сѣверная Пчела“. Съ первымъ мы объясняться не намѣрены... Другое дѣло — „Пчела“: она такъ любитъ насъ, такъ занята нами, что съ нашей стороны было бы очень невѣжливо за ея годовое къ намъ вниманіе не заплатить ей хотя минутнымъ вниманіемъ.

У „Пчелы“, или „Пчёлки“, какъ иногда она сама себя называетъ, много разныхъ претензій. Главнѣйшія изъ нихъ — правдолюбіе и отличное знаніе русскаго языка. Если повѣрить ей, то всѣ наши журналы терпятъ не могутъ правды, лгутъ на-пропалую, а по-русски не умѣютъ правильно написать двухъ фразъ; только она, только одна „Пчела“ любитъ правду больше всего на свѣтѣ — ежеминутно готова умереть за правду и терпѣть за нее гоненія отъ всей литературной братіи; только она, только одна „Пчела“ умѣетъ писать по-русски, и безъ нея, русскіе литераторы давно бы сгубили русскій языкъ. Хорошо, или дурно пишемъ мы по-русски, — предоставляемъ судить публикѣ; но какъ пишетъ „Пчела“, объ этомъ на сей разъ мы себѣ предоставляемъ судить... Нѣтъ, не хотимъ судить, а вмѣсто этого просто представимъ здѣсь образчики языка и слога „Пчелы“. „Куда бы онъ ни пошелъ, чтобы онъ ни дѣлалъ, таинственный человекъ тутъ какъ тутъ: въ театр(ь), за обѣдомъ, въ церкви, на гуляньѣ, подходя къ окну, когда просыпался, и затворяя его, когда ложился, вездѣ взоръ его встрѣчалъ неизбежнаго незнакомца“ (№ 116). Каковъ взоръ „Сѣверной Пчелы“: онъ умѣетъ подходить къ окну, ложиться, затворять окно, просыпаться!!... Удивительный взоръ! „Въ парижскихъ газетахъ исчисляють, чего стоить у нихъ дать концертъ какому-нибудь артисту“ (№ 116). Парижскія газеты

даютъ концерты артистамъ!... „Сначала мнѣ отвели табачную контору, а черезъ нѣсколько дней откажутъ титулъ пера: нельзя же все сдѣлать вдругъ“ (№ 148): откажутъ титулъ пера—по-каковски это? По-русски слѣдовало бы сказать откажутъ въ титулъ пера... „Сынъ обоготвореннаго Белля, Нинъ, несчастный супругъ Семирамиды, основавшій Ниневію, надѣясь на свое могущество и богатство, вознамѣрился сдѣлать свой городъ столицею міра, царственный городъ, изъ котораго прославленные цари Фелгаѳаласаръ, Салманасаръ, Сеннахеривъ, Аархаддонъ и Навуходоносоръ водили полки свои на покореніе Іудеи, Сиріи, Палестины, Финикіи, Мидіи, Египта, Нубіи, Эѳіопіи и наконецъ Вавилона, роскошествовалъ Вальтасаръ и утопалъ въ развратѣ Сарданапалъ“ (№ 183)... Какъ это хорошо сказано: царственный городъ, изъ котораго роскошествовалъ Вальтасаръ и утопалъ въ развратѣ Сарданапалъ!...—„Какая великая наука исторія, если изучать ее философически! Разсматривать прошедшее и настоящее, будущее открывается само собою“ (№ 183)... Будущее разсматриваетъ прошедшее и настоящее и открывается само собою: что за гадиматя!... — „У меня болитъ сердце, когда я вижу по городамъ разнощиковъ саякъ, яблоковъ“ и пр. (№ 174). Если яблоковъ, а не яблокъ, то должно писать: стекловъ, а не стеколь, селовъ, а не сель, яицовъ, а не яиць и т. д.—„Все это кажутся мелочи“ (№ 185), вмѣсто: все это кажется мелочами.—„Какъ слышно, первоначальныя смѣты будутъ превзойдены“ (№ 199): что это такое?—„Замѣтимъ только, что вообще до сихъ поръ полагали, что артисты почитаютъ за честь утомляться для публики, изъ являющей свое удовольствіе тѣмъ, что требуетъ (кто—публика, или то, что?) песторенія піесы“ (№ 207). Какъ это складно!... — „Зубной врачъ Д. Валленштейль привезъ съ собою столько драгоцѣнностей, что въ двѣ недѣли или болѣе, что онъ здѣсь, еще не

успѣлъ разобрать и разсорттировать всего въ своей квартирѣ“ (№ 207). Такого періода не разберешь и въ три недѣли!... „У г. Лемольта найдете огромную коллекцію нѣжнѣйшихъ медаліоновъ и бареліефовъ изъ этой массы, допускающей теперь за довольно дешевую цѣну украшать письменный столъ“ и проч. (№ 207).—„Дороги Сѣверной Пчелѣ никто не заступитъ, и она довольно опытна для того, чтобъ знать, что на Руси простора вдоволь, и что худую чужаго изданія не улучшить своего собственнаго“ (№ 237). Какъ жаль, что „Пчела“ не довольно опытна для того, чтобъ правильно и складно писать по-русски, или уже знать, что это искусство ей не далось, и что не ея дѣло учить другихъ тому, что другіе знаютъ лучше ея!... „Но, поступаая съ величайшимъ безпристрастіемъ, и руководствуясь одною общою пользою, какъ то дѣлаетъ Сѣверная Пчела, этимъ средствомъ оказывается большая услуга публикѣ и вознаграждается искусство и честность. Какъ иногда затруднительно прискаты въ столицѣ, что намъ нужно, не взираая на тысячи выѣсокъ и объявленій! Напримѣръ, мы, петербургскіе старожилы, пошли на дняхъ отыскивать нѣсколько вещей, нужныхъ для лсовой охоты, и не найдя что намъ было нужно, рѣшились отыскать хорошаго слесаря и заказать ему вещи. Зашедъ въ послѣдній разъ въ одинъ магазинъ (на Невскомъ Проспектѣ), гдѣ на окнахъ стояли ружья, мы просили указать намъ искуснаго слесаря, но прикащикъ, узнавъ, что намъ нужно, сказалъ: Извольте идти въ магазинъ г. Ржеицкаго, въ Большой Мѣщанской, въ домѣ Кракау, на заломѣ улицы, наискось Ломбарда: тутъ вы найдете все, что нужно для охоты“ (номеръ 255). Ай-да русскій языкъ—что ни слово, то Цицеронъ съ языка!... И эти ошибки мы случайно встрѣтили только въ девяти номерахъ „Сѣверной Пчелы“. Что же, еслибъ собрать всѣ 300 номеровъ, составляющихъ годовое ея изда-

ніе? Какой бы отличный кодекс русскаго языка можно было составить изъ нихъ для забавы читателей!...

Но такъ пишутъ, можетъ-быть, только сотрудники „Пчелы“: теперь посмотримъ, какъ правильно пишетъ главный редакторъ ея и великій русскій грамматикъ, г. Гречь. „Достойно замѣчанія, что почти все здѣшніе полковые музыканты не природные Французы, а уроженцы нѣмецкой провинціи ея (кого?), Алзаціи“ (номеръ 205). „Одинъ услужливый экзекуторъ добылъ намъ хорошее мѣсто, но, на бѣду нашу, окна этой залы идутъ на набережную Сены“ (номеръ 221). „Въ 1839 г. онъ сдѣлалъ второй банкротъ на островѣ Джерси“ (тамъ же) Но довольно—всего не перечтешь, не выпишешь! А любопытно бы! Какая драгоценная книжка для примѣровъ какографіи набралась бы изъ фразъ „Пчелы,—этой, какъ она сама себя величаетъ (номеръ 222),—хранительницы и блюстительницы чистоты и правильности драгоценнѣйшаго народнаго достоянія—русскаго языка!...

Постоянною цѣлью нападеній „Пчелы“, по части искаженія русскаго языка, служитъ преимущественно „Библіотека для Чтенія“, а по части извѣстной литературы и понятій о ней — Гоголь, „Отечественные Записки“ и „Физиологія Петербурга“.

О „Физиологіи Петербурга“ „Пчела“ говорила нѣсколько разъ, и два раза разбирала ее. Приговоръ ея былъ тотъ, что эта книга нигуда не годится, что все напечатанное въ ней бездарно, пошло, глупо, плоско, грязно. Такъ изъ чего же бы и хлопотать? Стоить ли нѣсколько разъ говорить о плохой книгѣ! Но у „Пчелы“ своя логика! По ея мнѣнію, въ Россіи не было и нѣтъ писателя бездарнѣе и грязнѣе Гоголя, а между тѣмъ, ни о комъ кромѣ своихъ издателей, такъ много и такъ часто не говоритъ она.. По ея мнѣнію, на Руси не было и нѣтъ журналовъ хуже „Отечественныхъ Записокъ“, а между тѣмъ, только о нихъ и твердитъ она вотъ уже слишкомъ семь лѣтъ



Итакъ, довольно подозрительно, чтобъ „Физиологія Петербурга“ раздражила „Пчелу“ своими недостатками, а не чѣмъ-нибудь другимъ. Мы даже можемъ сказать, чѣмъ именно. Во первыхъ, тѣмъ, что авторы статей, изъ которыхъ состоитъ „Физиологія Петербурга“, пишутъ въ духѣ современнаго направленія русской литературы, а не такъ, какъ писали назадъ тому лѣтъ пятнадцать... Это первая причина; вторая заключается въ томъ, что большая часть статей „Физиологіи Петербурга“ принадлежитъ сотрудникамъ „Отечественныхъ Записокъ“. Послѣ этого, кто-же не согласится, что „Пчела“ не можетъ ничего хорошаго видѣть въ „Физиологіи Петербурга“... И вотъ, въ 234 ея номерѣ снова является грозная статья на эту книгу. Статья начинается изъясненіемъ удивленія, что г. Некрасовъ могъ быть редакторомъ этой книги: А почему же бы онъ не могъ быть ея редакторомъ, какъ и всякій другой?—спросите вы. „Пчела“ отвѣчаетъ вамъ на это, что „быть редакторомъ сочиненія значить имѣть право исправлять и передѣлывать его“. Вотъ новость! Въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“, альманахѣ, издававшемся покойнымъ Дельвигомъ, помѣщались статьи Пушкина и Жуковскаго: значить Дельвигомъ исправлялъ и передѣлывалъ ихъ? Не думаемъ! И г. Некрасовъ не почелъ себя въ правѣ коснуться ни одной статьи, напечатанной въ его сборникѣ. Редакторъ сборника — не то, что редакторъ журнала. По общему мнѣнію, быть редакторомъ сборника, значить набрать статей, сдѣлать имъ выборъ и расположить ихъ, а потомъ присмотрѣть за изданіемъ. Такъ и поступилъ г. Некрасовъ и для этого ему не нужно было имѣть никакихъ особенныхъ правъ и преимуществъ. Доказавъ (выписками по двѣ строки, по вѣсколку словъ, а иногда и по слову изъ той, или другой страницы), что статья — „Петербургъ и Москва“ (NB, написанная однимъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ: „Отечественныхъ записокъ“) никуда не годится и хуже всего худого

на свѣтѣ, рецензентъ „Пчелы“ разбираетъ статью г. Некрасова—„Петербургскіе Углы“, бранитъ ее и называетъ г. Некрасова „питомцемъ новѣйшей школы, образованной г. Гоголемъ, школы, которая стыдится чувствительнаго, патетическаго, предпочитая сѣбѣ грязныя, черныя“ (номеръ 236).

Видите ли: во всемъ этомъ одинъ смыслъ, одна мысль, одно чувство, которое можно назвать болѣзненною досадою, безсильною злобою на существованіе Гоголя и „Отечественныхъ Записокъ“... Выставляя эти факты, мы не имѣемъ намѣренія ни спорить съ „Сѣвѣрною Пчелою“, ни защищаться противъ нея, и еще менѣе имѣемъ въ виду отстаивать отъ нея „Физиологію Петербурга“. Въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, мы сказали наше мнѣніе объ этой книгѣ, при которомъ остаемся теперь, не имѣя нужды ни измѣнять его, ни повторять... И всему этому причиною Гоголь, какъ поэтъ, давшій новое направленіе русской литературѣ, и „Отечественныя Записки“, своею критикою теоретически развивающія и поддерживающія это направленіе! Но слова „Сѣвѣрной Пчелы“ объ основанной Гоголемъ школѣ требуютъ нѣкоторыхъ поясненій. Что эта школа стыдится чувствительнаго — правда, потому что чувствительное или сантиментальное теперь — то же, что прошлое, и его любить только школа, которая мы не знаемъ кѣмъ основана, но которая поражаетъ нелѣпыя и вздорныя произведенія въ родѣ „Аристократки“ г. Леопольда Бранта и другихъ. Но чтобы основанная Гоголемъ школа стыдилась патетическаго, это рѣшительно ложь. Гдѣ больше патетическаго, какъ не въ сочиненіяхъ Гоголя: „Тарасъ Бульба“, „Старосвѣтскіе Помѣщики“, „Невскій Проспектъ“ и „Шинель“? Что же касается до грязныхъ свѣтскихъ кружковъ средней руки въѣдь считаютъ же за непристойность то, что принято въ большомъ свѣтѣ за хорошій тонъ, и считаютъ же за хорошій тонъ, что въ большомъ свѣтѣ считается дурнымъ тономъ. Это бываетъ и въ литературѣ. Было

время, когда Французы называли Шекспира пьянымъ дикаремъ, а его творенія — навозными кучами, въ которыхъ случайно попадаются жемчужины...

Не менѣе забавна въ „Сѣверной Пчелѣ“ рецензія на двѣ книжки „Библіотеки для Чтенія“ нынѣшняго года. Эта рецензія также помѣщена въ трехъ номерахъ „Сѣверной Пчелы“, и явно писана одною и тою же рукою, какъ и длинная рецензія на „Физиологію Петербурга“. Она особенно наполнена жалобами на то, что большая часть вновь выходящихъ книгъ предается въ журналахъ безусловному осужденію. Особенно занимательны въ этой статьѣ строки: „Нѣкоторые авторы, почему-либо очень неоправившіяся иными журналами, преслѣдуются въ нихъ постоянно съ ожесточеніемъ систематическимъ и безпардоннымъ; этихъ писателей безпрерывно бранятъ, хотя бы они и ничего не издавали вновь: надобно же задать острастку!“ (№ 252). Какъ слышится въ этихъ словахъ голосъ сочинителя, который на себя самомъ испыталъ всю горечь этой истины! Въ самомъ дѣлѣ, во всякой литературѣ есть эти несчастные сочинители, которымъ весь міръ — смертельный врагъ, но они сами виноваты: сами лѣзутъ на опасность, не переставая издавать сочиненіе за сочиненіемъ. Такъ иной сочинитель этого рода издастъ книжку плохихъ повѣстей — *ее, somme de raison*, раскритикуютъ: тутъ бы слѣдовало ему и замолчать — нѣтъ, куда! онъ пишетъ книгу противъ своихъ рецензентовъ, доказывая въ ней существованіе какого-то заговора противъ него, тогда какъ ни одинъ рецензентъ, до появленія плохихъ повѣстей, не зналъ о его существованіи. Потомъ сочинитель самъ дѣлается критикомъ и рецензентомъ, вопіетъ о томъ, что русская литература упала отъ самихъ литераторовъ. Напрасно будете вы ему доказывать, что русская литература и не думала падать, а что пали только плохія его повѣсти; что иностранные литераторы тоже безпрестанно спорятъ и даже ссорятся другъ съ другомъ,

и однакожь тѣмъ не менѣе литература находится тамъ въ цвѣтущемъ состояніи; и что несправедливо требовать, чтобъ русскіе литературы были не людьми, а ангелами и превосходили своими добродѣтелями литераторовъ всѣхъ другихъ странъ. Онъ вопіетъ свое, и гордо выставляетъ въ примѣръ свою „доброевѣстность съ легкимъ оттѣнкомъ безобидной ироніи“. Но публика не обращаетъ никакого вниманія на эти жалобы, и новыя сочиненія его дѣлаются добычею букинистовъ.

Такъ какъ, говоря о „Пчелѣ“, мы преимущественно имѣемъ въ виду доставить матеріалы для будущаго историка русской литературы, то и заключаемъ нашу статью такимъ фактомъ, за который не только будущій историкъ литературы, но и будущій историкъ просвѣщенія, образованія и нравовъ нашей эпохи будетъ намъ особенно благодаренъ. Это оригинальныя мысли фельетониста „Сѣверной Пчелы“ (О. Б.), возбужденныя въ немъ по случаю сооруженія памятника Бетховену. Выписываемъ вполнѣ этотъ удивительный образецъ газетной философіи, фельетоннаго глубокомыслія (№ 219):

«При всей любви нашей къ музыкѣ, мы не раздѣляли вовсе печатныхъ восторговъ по случаю сооруженія памятника Бетховену, посреди городской площади, въ Боннѣ. Памятники на площадяхъ, среди народа, должны воздвигаться только мужамъ съ народнымъ именемъ, защитникамъ отечества, добродѣтелямъ и просвѣтителямъ человѣчества. Ставьте памятники великимъ артистамъ и художникамъ въ музеяхъ, въ академіяхъ, въ театрахъ, словомъ, въ мѣстахъ, гдѣ собираются люди на торжество искусство—это дѣло; но на площади долженъ стоять памятникъ мужа, котораго подвиги или творенія были бы въ памяти потомства. Памятникъ на площади ставится для того, чтобъ согрѣвать сердце, воссламенить умъ и служить урокомъ потомству. Тогда памятникъ священъ для народа, когда отецъ можетъ указать на него сыну, примолвить: вотъ примѣръ тебѣ! А что сказать, указывая на памятникъ Бетховена? Развѣ зацѣпъ мотивъ изъ *Фиделіо* (между нами—прескучной оперы), или вспомнить какую-нибудь симфонію!!!—Когда въ Римѣ ставили памятники бойцамъ и скomorохамъ, тогда уже Римъ отжилъ свою славу!—Цивилизація, когда состарѣется, переходитъ въ дѣтство. Выставила ли Германія на-

памятники всѣмъ своимъ героямъ отъ Арминія, или Германа, до поэта-воина Кернере, отъ Лейбница, Кеплера до Гёте? Эта монументоманія дошла въ Западной Европѣ до смѣшнаго. Во Франціи, въ каждомъ мѣстечкѣ воздвигаютъ памятники извѣстнымъ чѣмъ-либо соотечичамъ, и даже воздвигаютъ памятники фермеру Пармантье, за введеніе во Франціи воздѣлыванія картофеля! Пусть-бы поставили бюстъ его въ первой Парижской рестораціи—на слова; но если ставить на площади памятники всѣмъ, кто ввелъ картофель, капусту, кто выдумалъ падовые пироги, или написалъ прекрасную симфонію, то истиннымъ героямъ ужъ надлежитъ воздвигать храмы, какъ было въ древности. Пусть-бы Франція воздвигнула памятники Доктору Паризе, который подвергалъ жизнь свою явной опасности, при изслѣдованіи средствъ къ прекращенію чумной заразы; пусть Англія ставитъ памятники Доктору Женнеру, за открытіе прививанія коревой оспы, имъ преданномъ чело предъ благодѣтелями человѣчества! Но памятники всякой извѣстности возвысятъ неизвѣстность. Хотите непремѣнно, чтобъ ликъ извѣстнаго вашего соотечественника украсилъ площадь, поставьте его на колодезь (какъ памятники Молиера, въ Парижѣ) или въ нишѣ какого-нибудь богоугоднаго заведенія, тогда и не скажу ни слова. Наша юная Русская образованность весьма разборчива, и наши Рускіе памятники достойны славы народной. Монументъ Петра Великаго, Александровская Колонна, памятники Пожарскаго и Минина, Суворова, Рурика, Кутузова, Барилла де-Толли, Ломоносова, Державина, Карамзина, Крылова, суть памятники во славу Россіи и человѣчества! Я готовъ называть Бетховена необыкновеннымъ удивительнымъ человѣкомъ, даже знаменитымъ, но *великимъ мужемъ* не назову. Величіе не въ нотахъ—а въ душѣ, въ умѣ!...

Восклицательный знакъ и нѣсколько точекъ!... Сочинитель какъ-будто самъ удивляется собственнымъ словамъ своимъ... Боже мой! Чего не терпитъ бумага, и какъ для иныхъ сочинителей хорошо, что съ подобныхъ мнѣній не беретъ пошлины... Надо поставить памятники Кернеру, поэту средней руки,—и не надо ставить памятника величайшему изъ гениевъ музыкальнаго міра!... Величіе не въ нотахъ, а въ душѣ, въ умѣ! Видно фэльетонистъ и не слыхивалъ, что иногда душа и умъ бываютъ въ нотахъ, какъ бываютъ они въ ираморѣ, въ краскахъ, въ печатныхъ буквахъ!... Но довольно! старыхъ матеріаловъ у насъ бездна, новые „Сѣверная Пчела“ не замедлятъ представить, а впереди времени еще много...

**IV.**

**ТЕАТРЪ.**



## РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

Давно уже не говорили мы ни слова о современномъ движеніи нашей драматической литературы. А между тѣмъ, оно ознаменовалось явленіями сколько разнообразными, столько и утѣшительными. Безъ всякихъ шутокъ: наша драматическая, или, лучше сказать, наша сценическая литература находится теперь въ самомъ лучшемъ, т. е., въ самомъ худшемъ положеніи. По правилу Макіавелли, очень мудрому, иное положеніе бываетъ, тѣмъ лучше, чѣмъ оно хуже: литература Александринскаго-театра удивительно вѣрно подходитъ подъ это правило. Правда, она еще не дошла до апогея своего отрицательнаго достоинства: въ этомъ отношеніи, ей еще можно идти и развиваться дальше; но уже видѣтъ конецъ этого хода, видны геркулесовы столбы, за которыми уже нечего будетъ дѣлать нашимъ драматическимъ гениямъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто бы изъ нихъ могъ выдумать что-нибудь остроумнѣе „Шулера въ тискахъ и тещи въ малинѣ“, назидательнѣе и трогательнѣе „Павла и Вингріи“, вдохновеннѣе и возвышеннѣе „Импровизатора“? Положимъ даже, что и найдутся такіе смѣльчаки и мастаки; положимъ даже, что и сами почтенные сочинители „Героевъ Преферанса“, „Павла и Виргиніи“, и „Импровиза-



тора“ выдумаютъ еще что-нибудь остроумнѣе, чувствительнѣе и вдохновеннѣе, превзойдутъ самихъ себя (вѣдь кто же можетъ указать границы генію?); но неужели же не притупится удивленіе, не охладѣетъ восторгъ публики къ такимъ произведеніямъ нашего драматическаго генія? Неужели же по прежнему будетъ она вѣрить длиннымъ афишамъ бенефициантовъ, по прежнему хлопать трагическимъ и водевильнымъ фарсамъ, по прежнему вызывать по одному разу сочинителей и по нѣскольку разъ — актеровъ? Положимъ, что и публика Александринскаго-театра такъ же останется вѣрна своимъ вкусамъ и привычкамъ, какъ сценическая литература своей пустотѣ: за то, въ глазахъ людей, непринлежащихъ ни къ той литературѣ, ни къ этой публикѣ, та и другая должны получить значеніе определенное, утвержденное, бесспорное. Эти люди уже ничего не будутъ ждать, ничего не будутъ надѣяться и навсегда перестанутъ слѣдить за этой литературой, которая держится только посредственностью, а безъ нея должна умереть. Чтобъ театръ шелъ впередъ, измѣнялся, — необходима публика требовательная, капризная, которая бы хотѣла не новыхъ названій; а новыхъ пьесъ, которой бы наскучило одно и то же, в которую бы уважали и актеры и авторы. Но такая публика можетъ составиться не изъ дѣловаго люда средней руки, которому послѣ канцелярскихъ бумагъ сегодняшняго утра и послѣ преферанса вчерашняго вечера, всякая пьеса хороша. Это всегда такъ было и всегда такъ будетъ. Поэтому мы рѣшились слѣдить только за общностью этого прекраснаго направленія драматической литературы нашего народнаго театра, не входя въ подробности; говорить только о замѣчательнѣйшихъ пьесахъ, упоминая, или и совсѣмъ не упоминая о незначительныхъ, т. е. о такихъ, которыя не имѣли особеннаго успѣха на сценѣ Александринскаго-театра.

Итакъ, начнемъ. Впервые, —

**ИМПРОВИЗАТОРЪ.** *Оригинальная драма въ двухъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, и прозѣ, соч. Н. В. Кукольника.*

Этотъ удивительною драмою украшена однанадцатая книжка „Библиотеки для Чтенія“ прошлаго года. Читая ее, мы не вѣрили глазамъ своимъ. Конечно, можно шутить съ публикою всякаго театра; но какъ же такъ шутить вообще съ русскою публикою? Вѣдь всему должна же быть мѣра. Отъ этого правила Чацкій не избавилъ даже Репетилова, сказавъ ему:

Послушай, врѣ, да знай же мѣру!

Какой-то нѣмецкій импровизаторъ, Германнъ, бросилъ, по бѣдности, жену и дочь, и пошелъ по бѣлу свѣту промышлять своимъ талантомъ. Вернулся онъ домой уже черезъ нѣскольکو лѣтъ. Такъ какъ всякій импровизаторъ прежде всего просто человекъ, то и естественно зрителю или читателю ожидать, что Германнъ заговоритъ съ женою и дочерью, во первыхъ, прозою, а не стихами, во вторыхъ, можетъ-быть не совсѣмъ складно отъ внутреннаго волненія, за то просто, безъ риторическихъ украшеній. И что же? этотъ человекъ, виноватый передъ женою, которую любилъ и бросилъ, передъ дочерью, которую оставилъ на жертву бѣдности, но, въ то же время, съ трепетомъ тоски и блаженства выдающій милыхъ сердцу, ни съ того ни съ сего вдругъ начинаетъ нести стихами эту надутую галиматью:

Бывало слова будто утки плывутъ,  
Я въ звукахъ купаюсь, что въ морѣ;  
Языкъ и душа и сердце поютъ  
И въ звучномъ и сладостномъ хорѣ;  
Я радость чужую умѣлъ рассказать,  
Я плакалъ чужими слезами...  
За чѣмъ же живая стиховъ благодать  
Не движеть моими устами?...  
За чѣмъ же такъ бьется сердце мое,  
Нѣмѣть привѣтное слово?...

Нѣтъ, горе свое и блаженство свое  
Иѣтъ и глубже чужаго.

Затѣмъ онъ дѣлаетъ стихами классификацію пѣсень, достойную эстетики пѣвцовъ извѣстнаго разряда, которыхъ воздѣ много:

Иная пѣснь съ клеймомъ нужды,  
Бродягой, милостыни просить;  
Ея постыдные слѣды  
Пескомъ забвенія заносить,  
Она безъ тѣни мѣръ пройдетъ,  
Воспоминаній не оставитъ,  
Какъ прокаженная умретъ...  
*Ее презрѣнїе отравитъ (?)...*  
Иная пѣснь съ другимъ клеймомъ,  
Съ ошейникомъ позорной лести;  
Ту пѣснь казнить другимъ стыдомъ —  
Огнемъ неутолимой мести;  
Отъ смрадныхъ ранъ пѣвецъ умретъ,  
Но ихъ забвенью не залечить...  
Ту пѣснь потомство проклянетъ  
Презрѣнїе увѣковѣчитъ...

Какая разница между пѣснями нужды и пѣснями лести — не знаемъ: это не по нашей части, это тайна сочинителя и его импровизатора, который потомъ замѣчаетъ, уже прозою, что „много-де тѣхъ постыдныхъ пѣсень извлекала изъ его устъ нужда, но лести — ни одной“. Узнавъ, что его дочь обольщена однимъ барономъ, онъ приходитъ въ великую ярость, которую выражаетъ высокопарною рѣчью въ стихахъ и въ прозѣ; тащитъ свою дочь къ двору баварскаго курфюрстинна и тамъ читать самые надутые и фразистые стихи, которые могутъ служить примѣромъ самой отчаянной риторики. Мы думали, что курфюртъ велитъ посадить Германа въ домъ сумасшедшихъ; но ни чуть не бывало: его свѣтлости стихи Германа до того понравились, что онъ приказалъ барону Рудольфу Огаю жениться на Матильдѣ, дочери Германа, и разрѣшаетъ

его невѣстѣ, а своей племянницѣ, Кунигундѣ, выйти за барона Эмерсъ, съ которымъ она тайнѣ обожалась. Комедія оканчивается смѣшно. Въ ней три шута: № 1, самъ импровизаторъ, Германнъ; № 2, его дочь, Матильда; № 3, баронъ Шпрингъ.

Матильда несетъ высокопарную дичь, только прозою, тогда какъ ея отецъ некстати фразерствуетъ и въ прозѣ и въ стихахъ. Есть ли, напримѣръ, хоть сколько-нибудь похожего на чувство, на страсть въ этой шумихѣ надутыхъ словъ, которыми Матильда упрекаетъ свою мать: „Ты — мнѣ мать! никогда! ты знала, что онъ не любитъ меня... Больше! ты знала, въ любви этой грѣхъ, проклетіе земли и неба. Все знала ты — и чуть сомнѣніе легкимъ облачкомъ набѣгало на мою совѣсть, кто разгонялъ святой вопросъ невинной души?... Ты! Ты! И ты мнѣ мать!.. Ярмо нищеты стало тебѣ въ тягость; ты продала меня за ничтожное довольство въ этой ничтожной жизни... Маргарита!.. (возвысивъ голосъ) ты ошиблась! Невинность моя при мнѣ! Преступленіе совершилось — но не я преступница. Я любила и вѣрила! Я любила — а ты приказывала мнѣ вѣрить (??!)... Я любила въ первый разъ... а ты одобряла мою любовь... О! Боже мой! И какъ я любила! Теперь только я чувствую, когда перестала любить... Да мнѣ и не чѣмъ любить. У меня вырвали сердце! (?) Но, Маргарита, у меня еще осталось много; я могу ненавидѣть, истить, проклинать... И проклетіе мое уже дрожить въ душѣ... губы его слагаютъ... А я не смѣю“... Вотъ богатый образчикъ романтической риторики! Да и вся эта драма, по неестественности ея содержанія, по ложности характеровъ, кромѣ уже надутости выраженія, есть великолѣпный образецъ риторики...

Но мы забыли сказать о шутѣ № 3-мъ этой комедіи, баронѣ Шпрингъ: это отчаянный пьяница, который без-

преставно толкуеть о винѣ, чтобъ, смѣша публику, не дать ей заснуть отъ кривляній Германна и Матильды. Впрочемъ, вся эта шутка уже черезчуръ перешучена: она не удержалась даже и на сцѣнѣ Александровскаго-театра. — Вотъ другое дѣло —

**ПАВЕЛЪ И ВИРГИНІЯ.** *Драма въ пяти дѣйствіяхъ, соч. Николая Полеваго.*

Эту не могли затмить даже „Герои Проферанса“ съ „Шулеромъ въ тискахъ и съ тещей въ малинѣ“.

Кто не помнитъ романа Бернардена де-Сен-Пьера? кто не восхищался имъ въ юности? Это романъ немножко сантиментальный, немножко даже приторный, но романъ, написанный человекомъ съ талантомъ, романъ наивный, дышащій свѣжестью и не чуждый рациональнаго направленія XVIII вѣка, который въ сближеніи (часто понимаемомъ ложно) видѣлъ средство къ эманципации человѣчества отъ оковъ преданія. Наконецъ и до этого романа, уже весьма забытаго, дошла очередь — быть передоженнымъ на драму трудолюбивою рукою г. Полеваго.

Какъ выполнить эту задачу надъ сочинителемъ, объ этомъ мы не будемъ распространяться. Скажемъ коротко: г. Полевой съ удивительнымъ успѣхомъ умѣлъ уважить законную собственность Бернардена де-Сен-Пьера: онъ не дотронулся ни до чего интереснаго и живаго въ романѣ, а воспользовался только его слабыми сторонами и, благодаря собственнымъ своимъ изобрѣтеніямъ, преимущественно состоящимъ въ сентенціяхъ и букольныхъ характерахъ, умѣлъ слѣпить драму, въ которой все неправдоподобно, вяло, неестественно, сантиментально, скучно. Больше нечего сказать объ этомъ посредственномъ созданіи.

## Третья пьеса—

**ПРОКЛЯТІЕ МАТЕРИ, ИЛИ АРФИСТКА.** Драма въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. Раунута, передъланная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ.

Баронъ Гольмъ влюбленъ въ дочь слѣпца арфиста Бертрана и хочетъ сдѣлать ее своею любовницею. Бертранъ вызываетъ его на дуэль. Дерутся, но другъ въ друга не попадаютъ: баронъ по великодушію, Бертранъ—по слѣпотѣ. Обрадовавшись этому, баронъ изъ повѣсы дѣлается нравственнымъ молодымъ человекомъ, и хочетъ жениться на Кларѣ. Графиня фонъ-Даленъ, его бабка, ссорится съ нимъ за это, но онъ не уступаетъ ей. Между прочимъ, она говоритъ внуку, что уже прокляла одного изъ сыновей своихъ за неравный бракъ. Разумѣется, оказывается, что этотъ сынъ ея — Бертранъ, который сошелъ съ ума, оттого, что мать прокляла его за благородный съ его стороны поступокъ. Послѣ многихъ чувствительныхъ нѣмецкихъ штукъ, все оканчивается благополучно, всѣ дѣлаются счастливы и, вѣроятно, съ радости начинаютъ ѣсть картофель.

Кромѣ этихъ трехъ пьесъ была еще ужасная драма. „Незнакомецъ“, оригинальная драма въ двухъ суткахъ; сутки первыя: „Разбойникъ по неволѣ“; сутки вторыя: „Грозный свать“, — въ коей драмѣ г. Смирновъ 1-й пѣлъ пѣсню: „Не судите люди добрые“, музыка г. Варламова. Эта двух-суточная драма принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ российскихъ сочиненій: эффектовъ въ ней бездна, смысла мало — вѣчная ей память!

Упомянемъ о водевиляхъ: „Маркизь де-Караба“; „При счастья бранятся, при бѣдѣ мирятся“; „Семь дней любви“ (романъ-водевиль); „Женихъ, чемоданъ и невѣста“; „Домашнія обстоятельства, или кредиторы въ заперти“; „Французскій Гусаръ“;

„Дружба вѣрнѣ любви“; „Дружеская лотерея съ угощеніемъ“; „Сюрпризы“ (съ полькою). Нѣкоторыя изъ этихъ водевилей очень хороши — во французскихъ подманияхъ и на Михайловскомъ-театрѣ, особенно—„Дружба вѣрнѣ любви“ (Quand l'amour s'en va).

Чуть-было не забыли русскаго народнаго водевиля: „Ямщики, или какъ гуляетъ староста Семень Ивановичъ“. Удивительный водевиль: пьяно, пьяно, пьяно, а ужъ какъ нелѣпо — и сказать нельзя!... Вотъ народность, такъ народность, — истинно ямщицкая!

**1846.**

—

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.**



STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

I.

**КРИТИКА.**



## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1845 ГОДУ.

Тихо и незаметно еще канулъ годъ въ вѣчность, канулъ какъ капля въ море! И никто не пожалѣлъ о покойникѣ, никто не проводилъ его ласковымъ словомъ, — онъ былъ забытъ заживо, забытъ совершенно: въ декабрѣ, на него смотрѣли всѣ какъ на докучнаго, засидѣвшагося гостя, который только мѣшаетъ радостной встрѣчѣ съ вежданнымъ новымъ годомъ. Старый годъ, въ своемъ последнемъ мѣсяцѣ, бываетъ похожъ на начальника, который подалъ въ отставку, но, за слачею дѣлъ, еще не оставилъ своего мѣста. Разница только въ томъ, что о старомъ начальникѣ всегда жалѣютъ, если не по сознанию, что онъ былъ хорошъ, то по боязни, что новый будетъ еще хуже; новаго же года люди никогда не боятся: напротивъ, ждуть его съ нетерпѣніемъ, какъ-будто въ условной цифрѣ заключается талисманъ ихъ счастья. И все это для того, чтобъ измѣнить ему, когда онъ состарѣется, и снова возложить свои надежды на его преемника! Такимъ образомъ, непримѣтно уходитъ годъ за годомъ, — и только развѣ тогда, какъ человѣкъ почувствуетъ на плечахъ своихъ порядочное количество годовъ, впадаетъ онъ въ невольное раздумье, и уже не съ такою холодною проживаетъ старый, и не съ такою радостью встрѣчаетъ новый годъ... Ему въ первый разъ приходитъ на умъ очень простая истина, что первое января, которымъ те-

перь называется новый годъ, ничѣмъ не лучше перваго сентября, которымъ прежде начинался годъ; что условныя вѣхи, столбы и станціи на безконечной дорогѣ жизни—въ сущности ничего незначать, и что для каждаго лично всего лучше измѣрять свое время объемомъ своей дѣятельности, или хоть своихъ удачъ и своего счастья. Ничего не сдѣлать, ничего не достигнуть, ничего не добиться, ничего не получить въ продолженіи цѣлаго года, — значить потерять годъ, значить не жить въ продолженіи цѣлаго года. А сколько такихъ годовъ теряется у людей! Не дѣлать—не жить; для мертваго это не-большая бѣда, но не жить живому—ужасно! И между тѣмъ, такъ много людей живетъ не живя, но только собираясь жить! Кто въ самомъ себѣ не носитъ источника жизни, т. е. источника живой дѣятельности, кто не надѣется на себя, — тотъ вѣчно ожидаетъ всего отъ вѣшняго и случайнаго. И вотъ причина чествованія новаго года. Новый годъ даетъ то, чего не далъ прошлый... И вотъ —

Настали святки. То-то радости!  
 Гадаетъ вѣтреная младость,  
 Которой ни чего не жаль,  
 Передъ которой ждши даль  
 Лежитъ свѣтла, не обозрима;  
 Гадаетъ старость съвозъ очей  
 У гробовой своей доски,  
 Все потерявъ невозвратно;  
 И все равно: надежда лишь  
 Лжетъ дѣтскимъ мечетомъ своимъ.

Святочныя гаданія всегда относятся къ новому году; люди убѣждены, что только въ новомъ году могутъ они быть счастливы. О томъ, достойны ли, способны ли они быть счастливы, имъ и въ голову не приходитъ. Еще тѣ, которые ждуть своего счастья отъ денегъ, отъ матеріальныхъ выгодъ, могутъ быть правы, не удалось въ прошломъ году — авось уадется

въ будущемъ! Притомъ же, люди этого сорта дѣятельны и крѣпко держатся поговорки: „на Бога надѣйся, самъ не пропадѣй“. Но романтическіе дѣлнвцы, на вѣчно бездѣятельные, или глупо дѣятельные мечтатели думаютъ объ этомъ иначе: небрежно, въ сладкой задумчивости, спустивъ руки въ пустые карманы, прогуливаются они по дорогѣ жизни, глядя все впередъ, туда; въ туманную даль; и думаютъ, что счастье гонится за ними, ищетъ ихъ и вотъ — того и гляди — наконецъ найдетъ ихъ и броится въ ихъ объятія, чтобъ никогда уже не разставаться съ ними. „О, что-то сулишь ты мнѣ, таинственный новый годъ!“ восклицаютъ они, въ стихахъ и въ прозѣ. А о томъ и не подумаютъ, что они перехитрились, перемудрились до того, что сами не знаютъ, чего имъ надо и чего не надо; что они утратили способность просто чувствовать, просто понимать вещи; что сдѣлались олицетвореннымъ противорѣчіемъ — *de facto* живутъ на землѣ, а мыслятъ на облакахъ; что стали ложны, неестественны, натянуты,

Съ своей безнравственной душой  
 Самолюбивой и сухой,  
 Мечтанью преданной безвѣрно,  
 Съ серымъ озлобленнымъ умомъ,  
 Кипящемъ въ дѣйствіи пустомъ...

Въ наше время, особенно много людей мечтающихъ и разсуждающихъ, о которыхъ, впрочемъ, не всегда можно сказать, чтобъ они были въ то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и разсуждать о жизни — вотъ въ чемъ заключается ихъ жизнь... Нельзя не подивиться, что юморъ современной русской литературы до сихъ поръ не воспользовался этими интересными типами, которыхъ такъ много теперь въ действительности, что ему было бы гдѣ разгуляться! Это существа странныя, иногда жалкія, иногда достойныя участія, но всегда равно любопытныя для наблюденія. Ихъ зна-

ченія у насъ очень важно; они явились вслѣдствіе внутренней необходимости, какъ выраженіе нравственнаго состоянія общества. Еще недавно были они „героями своего времени“. Теперь на нихъ мода проходить, но ихъ все еще много, и они еще не скоро переведутся. Притомъ же, они ни столько переводятся, сколько измѣняются, принимая новыя формы. Поэтому, они раздѣляются на множество оттѣнковъ, заслуживающихъ подробнаго изслѣдованія.

Что же это за люди, что это за типы?—Это высокія натуры, презирающія толпу: вотъ общее ихъ опредѣленіе, довольно полное и вѣрное. Что же касается до оттѣнковъ, начнемъ съ перваго.

Онъ слезы лилъ, добросердечно  
 Бранилъ толпу.  
 И проклиналъ безчеловѣчно  
 Свою судьбу.  
 Являлся горестнымъ страдальцемъ,  
 Писалъ стихи,  
 И не дерзалъ коснуться пальцемъ  
 Ея руки.

Никакой натуралистъ такъ хорошо и полно не составлялъ исторіи какого-нибудь *genus* или *species* животнаго царства, какъ хорошо и полно рассказана въ этихъ восьми стихахъ исторія человѣческой породы, о которой говоримъ мы. Недовольство судьбою, брань на толпу, вѣчное страданіе, почти всегда кропаніе стихковъ, и идеальное обожаніе неземной дѣвы—вотъ родовые признаки этихъ „романтиковъ“ жизни. Первый разрядъ ихъ состоитъ больше изъ людей чувствующихъ, нежели умуствующихъ. Ихъ призваніе—страдать, и они горды своимъ призваніемъ. Не спрашивайте ихъ, по чемъ, отчего они страдаютъ: они презираютъ страданіе, которое можно объяснить какой-нибудь причиною. Они любятъ страданіе для страданія. Имъ стыдно минуты веселаго, беззаботнаго увлеченія, они боятся здоровья, хо-

татъ быть блѣдными, худыми, и ничѣмъ такъ нельзя встревожить ихъ, какъ сказавъ, что они пополнили. Для чего все это?—Для того, что толпа любить ѣсть, пить, веселиться, смѣяться, а они во что бы то ни стало, хотятъ быть выше толпы. Имъ пріятно увѣрять себя, что въ нихъ kloкочутъ неистовыя страсти, что ихъ юная грудь разбита несчастіемъ, свѣтлыя надежды на жизнь давно разлетѣлись, и на долю имъ осталось одно горькое разочарованіе. Имъ непременно нужна душа, которая поняла бы ихъ, но они рѣшительно не знаютъ, что имъ дѣлать съ такою душою, когда имъ удастся найти ее, потому что ихъ страсти въ головѣ, а не въ сердцѣ, и счастливая любовь становится ихъ въ тупикъ. Поэтому, они предпочитаютъ любовь непонятую, нераздѣленную любви счастливой, и желаютъ встрѣчи или съ жестокою дѣвою, или съ измѣнницей... Во всемъ этомъ главную роль играетъ самолюбіе, и однакожь тутъ есть, или была когда-то, своя хорошая сторона; но мы объ этомъ скажемъ ниже, а теперь обратимся къ другому, вышему разряду „романтиковъ“.

Между этими „романтиками“ бывають люди умные, даже очень, хотя и бесплодно умные. Они толкують не о чувствахъ и не о себѣ только: они разсуждаютъ вообще о жизни. Стремленіе весьма похвальное, когда оно имѣетъ прочную основу, практическій характеръ! Но романтики вообще враги всего пракческаго, которое они съ презрѣніемъ отдали на долю „толпы“, не понимая въ своемъ ослабленіи, что всякій гений, всякій великій дѣятель, есть человѣкъ практическій, хотя бы онъ дѣйствовалъ даже въ сферѣ отвлеченнаго мышленія. Разладъ съ действительностію—болѣзнь этихъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спѣшить жить, они, вмѣсто этого, только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздно: именно въ то время, когда человѣкъ не годится уже ни на что лучшее, какъ только на



то, чтобъ разсуждать о жизни, которой онъ никогда не зналъ, никогда не извѣдалъ. Точно живеть, не мысля, и оттого живеть пошло; но мыслить, не живя—развѣ это лучше? развѣ это не такая же, или даже еще не бѣлая уродливость?...

Но теперь всё заговорили о дѣйствительности. У всѣхъ на языкѣ одна и та же фраза:—„надо дѣлать!“ И между тѣмъ, все-таки никто ничего не дѣлаетъ! Это показываетъ, что во что бы ни наряжлся романтикъ, онъ все остается романтикомъ. Не понимая этого, романтики обѣими руками начали хвататься за маски и костюмы,—и вышелъ пестрый маскарадъ, гдѣ на одинъ вечеръ такъ легко быть чѣмъ угодно—и Туркомъ, и Жидомъ, и рыцаремъ. Некоторые, говорятъ, не шутя надѣли на себя теряки, охабень и шапку мурмолку; болѣе благоразумные довольствуются только тѣмъ, что ходятъ дома въ татарской ормоликѣ, татарскомъ халатѣ и желтыхъ сафьянныхъ сапожкахъ—все же историческій костюмъ! Назвались они „партиями“, и думаютъ, что дѣлать значить—разсуждать на приятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они—удивительные люди, и что кто думаетъ не по ихъ, тотъ бродитъ во тьмѣ.

Во всемъ этомъ видно одно: стремленіе жить мимо жизни, глубокий внутренній разладъ съ дѣйствительностью. Сперва хотятъ составить программу жизни, хорошенько обдумать и обсудить ее, а потомъ уже и жить по этой программѣ. Удивительно ли, что вся жизнь такихъ людей проходитъ въ составленіи программъ? Человѣкъ долженъ сознать жизнь, и разумъ долженъ вести человѣка по пути жизни—тѣмъ и отличается человѣкъ отъ животныхъ безсловесныхъ; но основой жизни долженъ быть истинный, непосредственное чувство. Безъ нихъ, жизнь есть пустое, холодное и, къ довершенію, преглупое умничанье; такъ же, какъ безъ мыслительности, непосредственное существованіе есть животное состояніе. Любовь къ женщинѣ—высокое чувство, но оно тогда только

нстинно, когда выходитъ изъ сердца, а не изъ головы. А между тѣмъ, романтики по преимуществу живутъ головными, а не сердечными страстями, и потому вся гамма жизни ихъ портея визгливою фистулою. Ихъ презрѣнiе къ „толпѣ“ такъ велико, что они не могутъ понять, какимъ образомъ самъ гений потому только и великъ, что служитъ толпѣ, даже борясь съ нею. Поэтому, они не хотятъ снизойдти до ознакомленiя себя съ толпою, до изученiя ея характера, положенiя, потребностей, нуждъ. Для обихода цѣлой ихъ жизни достаточно нѣсколькихъ мыслей, иногда нѣсколькихъ фразъ, вычитанныхъ въ книгѣ, поверхностно понятыхъ, не въ попадъ приложенныхъ къ дѣйствительности. Они смотрятъ на толпу не какъ на силу, которая гнется и подается только отъ силы гениа, а какъ на стадо, которое можетъ гнать передъ собою куда угодно первый умникъ, если вздумаетъ взяться за это дѣло. Ихъ любовь и довѣренность къ теорiямъ (разумѣется, преимущественно къ своимъ собственнымъ) такъ велика, что они скорѣе рѣшатся не признать существованiя цѣлаго народа, который не подходитъ подъ ихъ теорiю, нежели отказать отъ нея. Имъ это такъ легко, а для народа это такъ не опасно! Пусть тѣшатся!... Но вѣдь этимъ потѣхамъ долженъ же быть когда-нибудь и конецъ: самъ донъ Кихоть опомнился передъ смертью... Чтѣ жъ! когда горькiй опытъ жизни разобьетъ мечты романтика,—у него не все еще будетъ отнято: у него останется великолѣпная мантия страданiя, вслѣдствiе непризнанной гениальности...

И однакожь, такіе романтики—не случайное явленiе. Они были необходимымъ результатомъ прививнаго образованiя нашего общества; ихъ исторiя тѣсно соединена съ исторiею нашей литературы, съ которою также тѣсно слита и исторiя образованiя нашего общества.

До начала литературы, дѣды и отцы наши жили просто, безъ претензiй, безъ хитростей, безъ мудрованiя, вли, или,

спали (и какъ еще ѣли, пили и спали! намъ, ихъ внукамъ и дѣтамъ, увы! уже не ѣсть, не пить и не спать такъ!), женили дѣтей своихъ (тогда сыновья не могли сами жениться—ихъ женили отцы, такъ же, какъ теперь они выдаютъ дочерей замужъ), умнѣли лѣтъ въ сорокъ, старѣли лѣтъ въ семьдесятъ, умирали лѣтъ въ девяносто... Безъ сомнѣнiя, это была жизнь весьма простая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и грубо простая. Вѣдь простота простотѣ—рознь, и для общества лучшая простота есть та, которая выработалась изъ затейливой вычурности, какъ, напримѣръ, простота обращенiя въ современной Европѣ, вышедшая изъ изысканной хитрости обращенiя XVIII вѣка. Въ этомъ черезчуръ простомъ обществѣ не было жизни, разнообразiя, потому что личность человѣка поглощалась этимъ обществомъ, и каждый долженъ, обязанъ былъ жить какъ жили всѣ, а не какъ указывалъ ему его разумъ, его чувство, его наклонности. Реформа Петра Великаго потрясла въ основанiи это оцѣпенѣлое общество; но она только разбудила, растревожила, взволновала его, и если переѣлила, то извнѣ только. Внутреннее измѣненiе общества долженствовало быть дальнѣйшимъ результатомъ этой реформы. Явилась литература, сперва безъ читателей, безъ публики, литература громозвучная, торжественная, надутая, школьная, риторическая, педантическая, книжная, безъ всякаго живаго отношенiя къ жизни и обществу. Въ блестящее царствованiе Екатерины II было положено основанiе знакомства русскаго общества съ европейскимъ: съ этого времени начало сильно распространяться въ Россiи знанiе французскаго языка, а вмѣстѣ съ нимъ и изысканная вѣжливость обращенiя и сентиментальный характеръ нравовъ. Бѣдный молодой дворянинъ Карамзинъ объѣхалъ большую часть Европы, и своими „Письмами Русскаго Путешественника“, очаровавшими его современниковъ, прочитанными всею грамотною Россiею того времени, довершилъ и утвердилъ знакомство русскаго образо-

ваннаго общества съ Европою. Эта книга, которую теперь такъ скучно читать, — тѣмъ не менѣ великій фактъ въ исторіи нашей литературы и въ исторіи образованія нашего общества. Съ Карамзина, наше сочинительство и писательство уже начало становиться не просто книжничествомъ, а литературою, потому что талантъ Карамзина создалъ и образовалъ публику. Направленіе, данное Карамзинымъ нашей литературѣ, было по преимуществу сантиментальное. Такъ какъ оно было въ духѣ времени, то скоро проникло и въ нравы общества. Чувствительныя души толпами ходили гулять на Лизинъ-прудъ; Эрасты, Леоны, Леониды, Мелодоры, Филалеты, Нины, Лилы, Эмилии, Юліи размножились до чрезвычайности, вздохи превращали самыя тихіе дни въ вѣтренныя, слезы потекли рѣками... Будь это въ наше время, сейчасъ бы составились компаніи на акціяхъ для постройки вѣтренныхъ и водяныхъ мельницъ, въ расчетѣ на движущую силу вздоховъ и слезъ чувствительныхъ душъ... Теперь это, конечно, смѣшно, но тогда имѣло свое глубокое значеніе. Литература въ первый разъ стала выраженіемъ общества, и потому начала оказывать на него сильное нравственное вліяніе. Чувствительныя души были тогда если не лучшія души въ обществѣ, то, безъ сомнѣнія, самыя образованныя. Онѣ рѣзко отдѣлялись отъ безчувственной толпы; но онѣ гордились перель нею только своею способностью чувствовать, умиляться до слезъ отъ всего прекраснаго и человѣческаго, а еще не тянулись въ герои и великіе люди. Но тѣмъ не менѣ раздѣленіе избранныхъ отъ толпы уже обнаружилось. Оно не могло остановиться на одномъ мѣстѣ, но должно было идти впередъ, развиваться. Романтическая муза Жуковскаго, своими очаровательно-задумчивыми звуками, похожими на уныло-гармоническіе звуки золотой арфы, дала сантиментальному обществу болѣе истинный и болѣе поэтической характеръ. Въ ней, несмо-

тра на ея мечтательность, была сила, энергія, и она любила не одну слабую задумчивость, но и мрачныя картины фантастической дѣйствительности, наполненной гробами, скелетами, духами, злодѣйствами и преступленіями — темными преданіями средних вѣковъ... Въ двадцатыхъ годахъ, раздалось въ нашей литературѣ слово „романтизмъ“. Всѣ заговорили о Байронѣ, и байронизмъ сдѣлался пунктомъ помѣшательства для прекрасныхъ душъ... Вотъ съ этого то времени и начали появляться у насъ толпами маленькіе великіе люди съ печатію проклятія на челѣ, съ отчаяніемъ въ душѣ, съ разочарованіемъ въ сердцѣ, съ глубокимъ презрѣніемъ къ „ничтожной толпѣ“. Герои сдѣлались вдругъ очень дешевы. Всякій мальчикъ, котораго учитель оставилъ безъ обѣда за незнаніе урока, утѣшалъ себя въ горѣ фразами о преслѣдующемъ его рокѣ и о непреклонности своей души, пораженной, но не побѣжденной. Эти господа провозгласили своимъ органомъ Пушкина, потому что не поняли его. Они обѣими руками ухватились за его молодыя произведенія, — прекрасныя, но въ то же время и незрѣлыя; за то, когда Пушкинъ нашелъ путь, назначенный ему его натурою, когда онъ развился до всей высоты своего генія и сдѣлался великимъ художникомъ, — они отступились отъ него, какъ отъ падшаго таланта. Истиннымъ выраженіемъ романтическаго направленія были повѣсти Марлинскаго, съ дополненіемъ къ нимъ повѣстей въ родѣ „Живописца“, „Блаженства Безумія“, „Эммы“ и т. п., и потомъ стихотворенія нѣкоторыхъ поэтовъ, явившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ и доведшихъ это направленіе до послѣдней крайности. Въ немъ была и отчаянная фразеологія ложныхъ, натынутыхъ страстей, и притязательная (prétentieuse) фразеологія нѣмецко-бюргеровской мечтательности, пополамъ съ плохо-понятымъ нѣмецко-философскимъ мудрованіемъ, и наша, будте-бы, народная удалъ чувствъ и выраженій, сбивающаяся нѣсколько на ямщицкое ухарство.

Превосходнымъ образчикомъ послѣдняго можегъ служить слѣдующее стихотвореніе, напечатанное въ „Эхо“, альманахѣ на 1830 годъ, изданномъ въ Москвѣ:

Прочь съ презрѣнною толпою,  
 Пыцъ, схоластики, молчать!  
 Вамъ ли черствою душою  
 Жаръ поэзіи понять?  
 Дико, бѣшено стремленье,  
 Чѣмъ подѣть одушевлень:  
 Такъ въ безумномъ упоеньи  
 Богъ поетовъ, Аполлонъ,  
 Съ Марсіаса содралъ кожу!  
 Берегись его дѣтей:  
 Эпиграммой хлопнутъ въ рожу,  
 Рифмой бѣшеною своею  
 Въ поэтическія нѣлты  
 Приударятъ дураковъ,  
 И позоръ вашъ, мрака дѣти,  
 Отдадутъ на свистъ вѣковъ.

Нельзя не согласиться, что это немножко пошло, немножко грязно, даже отчасти глуповато; но нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что это только доведенная до послѣдней крайности та „мило-забубѣнная“ поэзія, которая воспевала удалъ бурсацкой жизни и возвышенныя стремленія разума къ чашѣ съ шипучимъ,—та разудалая поэзія, которою мы съ вами, читатель, такъ восхищались во время оно, и которая и теперь еще имѣетъ простодушіе претендовать на вниманіе и на почетъ... Справедлива русская пословица: яблоко отъ яблони не далеко упало... Что же касается до неистовой и глубокомысленной романтической фразеологій въ стихахъ и прозѣ, мы не высказали бы ясно нашей мысли о романтическомъ направленіи, еслибы не привели здѣсь нѣсколько фразъ, болѣе или менѣе характерическихъ.

Вотъ на выдержку нѣсколько мѣстъ изъ разныхъ романтическихъ авторовъ:

Человѣкъ созданъ изъ Добра и Любви; съ ними все соединилось у него въ первобытной его жизни. Кто былъ добръ тотъ любилъ; кто любилъ, тотъ былъ добръ. И любовь родила душу Человѣка съ мертвою Природою. Философія не разогрѣетъ Вѣры, и не логикою убѣждаются въ ея святыхъ истинахъ: — но сердцемъ. Тагъ въ сердцахъ человѣческомъ *воздвигнуть алтарь святой Вѣры; рядомъ съ нимъ поставленъ алтарь Любви; и на обоихъ горитъ одинокая жертва вѣчной истинѣ — пламень надежды!* Безъ этого пламени, *солнце наше давно погасло бы, и кометы праздновали бы только погребальную тризну на скелетѣ земли, съ ужасомъ спѣша отъ мрачной пустоты* <sup>1)</sup>, гдѣ глѣбеть трунъ ея, спѣша—туда, выше, выше, гдѣ свѣтъ чище, ярче, больше *въчелн...*

Чудная Вѣринька! скажи, кто ты: демонъ или ангелъ? Нѣтъ! ты *неземная*. Это я знаю лучше тебя самой.

Сказали бы мнѣ: *будь поэтомъ* — и чрезъ годъ я склонилъ бы свою увѣнчанную голову передъ тою, которой обязанъ вдохновеніемъ <sup>2)</sup>. Развѣ не поэзія—высокая любовь моя! Развѣ нѣтъ пылу въ моей душѣ! Я бы *разбилъ ее въ искры, и звуки, и мысль — и свѣтъ отвѣчалъ бы мнѣ* вздохами, и слезами, и рукоплесканіями.

Ногу на землю, взоры на небо—вотъ истинное твое положеніе—человѣкъ!

Любовь! любовь! души моей восторгъ!  
 Въ умѣ моемъ ты лучшая идея,  
 Въ познаніяхъ ты лучшее познанье,  
 Въ надеждахъ—нѣтъ надежды равной,  
 Въ мечтахъ моихъ—роскошнѣйшей мечты!

<sup>1)</sup> *Велеволѣнная партиза!* Любопытно было бы взглянуть, какъ кометы сдумѣли бы помѣститься на скелетѣ земли, чтобъ праздновать на ней погребальную тризну и, *въ то же самое время, съ ужасомъ спѣшнѣе* въ мрачной пустоты туда и пр. Для этого стоило бы погасить пламень надежды въ алтарѣ сердца...

<sup>2)</sup> Романтизмъ думаетъ, что стоитъ только влюбиться въ *дѣву неземную*, чтобъ сдѣлаться поэтомъ не хуже Байрона, не имѣя отъ природы таланта ни на грошъ. Не знаемъ, думалъ ли романтизмъ, что если безталантный человѣкъ влюбится въ *дѣву неземную*, то сейчасъ же сдѣлается первымъ умникомъ на свѣтѣ...

Отдайте Вѣрнѣму кому угодно, забросьте ея за моря, за непроходимыя  
лѣса и горы, позвольте мнѣ ползти на колѣнкахъ по всему свѣту, ис-  
пать ее...

Вездѣ есть змѣй коварнаго сомнѣнья.  
Но змѣй любви безмярно ядовитъ.

Душа моя изъѣдена мученьемъ,  
Какъ злой разбойникъ совѣстью и кровью!  
За что, за что? за чистоту страстей,  
За благодѣтельство сердца и души!

Не понимай, не понимай, божественная дѣва,  
Моихъ пустыхъ рычей не понимай!  
Не слушай словъ сердечнаго напѣва,  
Насмѣшками сожги душевный рай;  
О, удержи порывъ нѣжнаго гнѣва,  
Не понимай меня, не понимай!

Уиремъ, моя мечта!... Да и на что намъ жизнь?

Ты мол, мол—ты не вырвешься изъ объятій души моей; я умерщвляю  
тебя кониъ послѣднимъ смертнымъ дыханіемъ.

Душа велѣла жизнь любить.  
А жизнь и душу ненавидѣть...

Все это очень смѣшно, смѣшнѣе ничего нельзя выдумать,  
самая злая народія не могла бы такъ страшно осмѣять этихъ  
вышесокъ, какъ осмѣиваютъ онѣ сами себя; но это смѣшно те-  
перь, а было время — что грѣха таить! — когда это всёхъ  
привело въ восторгъ: явный знакъ, что все это было нужно  
и необходимо въ свое время, и даже имѣло свою хорошую сто-  
рону, принесло свои хорошіе результаты. Уже одно то, что,  
благодаря этимъ туманнымъ, заоблачнымъ и разудалымъ фра-  
зёрствамъ, мы навсегда какъ-будто застрахованы въ будущемъ  
отъ опасности увидѣть нашу литературу на такой страницѣ



дорогъ, — одно это уже большая заслуга. Что же касается до романтиковъ жизни, порожденныхъ и возлелѣянныхъ этою романтическою литературою, высокопарною безъ крыльевъ, глубокою безъ основанія, таинственною безъ смысла, разгульною безъ вдохновенія, смѣлою изъ бравуры, оригинальною изъ фанфаронства, тщеславною по ограниченности, странною по духу противорѣчія, — романтики жизни, какъ мы сказали выше, не перевелись и теперь; нѣкоторые изъ нихъ и остались такими, какими были—ихъ кругъ состоитъ или изъ людей уже слишкомъ пожилыхъ, или изъ дѣтей; другіе, прикинувшись учеными, облекли старыя претензіи въ новыя фразы. Твердя безпрестанно, что абстрактное мышленіе ни къ чему не ведетъ, что достоинство знанія повѣряется его отношеніями къ жизни, а важность теоріи опредѣляется ея приложимостью къ практикѣ, — они тѣмъ не менѣе продолжаютъ жить въ мечтѣ, съ тою только разницею, что сочиняютъ мечтательныя теоріи не объ отвлеченныхъ предметахъ, а о дѣйствительности, которую схватываютъ въ своихъ опредѣленіяхъ такъ вѣрно, какъ вѣрно чудодѣйственная кисть Ефрема писала портреты, изображая Архипа Сидоромъ, а Луку Петромъ.

Стать смѣшнымъ значить проиграть свое дѣло. Романтизмъ проигралъ его всячески — и въ литературѣ, и въ жизни. Онъ самъ это чувствуетъ. Что же было причиною его паденія? — Переворотъ въ литературѣ, новое направленіе, принятое ею: Этого переворота не могъ бы слѣдять ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. Мы видѣли выше, какъ легко наши „романтики“ вообразили себя Байронами, не будучи въ состояніи даже подозревать, что такое была эта титаническая натура. Для всего ложнаго и смѣшнаго одинъ бичъ, итѣный и страшный—юморъ. Только вооруженный этимъ сильнымъ орудіемъ писатель могъ дать новое направленіе литературѣ и убить романтизмъ. Нужно ли говорить, кто былъ этотъ писатель?

Его давно знаетъ вся читающая Россія, теперь его знаетъ и Европа.

Еслибы насъ спросили, въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы,—мы отвѣчали бы: въ томъ именно, за что нападаетъ на все близорукая посредственность, или низкая зависть,—въ томъ, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ—такъ называемой „толпѣ“, исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило совершить окончательно стремленіе нашей литературы, желавшей сдѣлаться вполне національною, русскою, оригинальною и самобытною; это значило сдѣлать ее выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ.

Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго, долженствовало быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполне обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла „Миргородъ“ и „Ревизора“. Съ тѣхъ поръ, весь ходъ нашей литературы, вся сущность ея развитія, весь интересъ ея исторіи заключились въ успѣхахъ новой школы.

Еслибы ежегодныя обозрѣнія русской литературы постоянно помѣщались съ тѣхъ поръ въ какомъ-нибудь журналѣ, — они оправдали бы вполне нашу мысль. Чего нельзя замѣтить въ годъ, то дѣлается замѣтнымъ въ годы. Перечестъ литературныя произведенія за цѣлый годъ ничего не значить; одинъ годъ можетъ быть ими богаче, другой бѣднѣе—это дѣло случайности. Критическій отчетъ за годовой итогъ произведеній долженъ прежде всего показывать успѣхъ литературы, или ея упадокъ въ продолженіи года со стороны ея духа и направленія: Такъ дѣлали мы въ продолженіи пяти лѣтъ сряду; такъ сдѣлаемъ и теперь.

Прошлый 1845 годъ литературными произведеніями былъ нѣсколько богаче своего предшественника. Но главная заслуга 1845 года состоитъ въ томъ, что въ немъ замѣтно определеннѣе выказалась дѣйствительность дѣльнаго направленія литературы. По крайней мѣрѣ, такъ должно заключать изъ отчаянныхъ воплей нѣкоторыхъ отстающихъ или отсталыхъ *сi-devant* талантовъ, теперь плохихъ сочинителей, которые клятвенно увѣряютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ ихъ книги не йдутъ съ рукъ и ихъ никто уже не читаетъ, литература наша гибнетъ, въ чемъ виновата, во первыхъ, новая школа, которая пишетъ такъ хорошо, что только ея произведенія и читаются публикою, а во вторыхъ, толстые журналы, которые принимаютъ на свои страницы произведенія этой школы, или хвалятъ ихъ, когда они являются отдѣльными книгами... Но оставимъ этихъ господъ—и обратимся къ прошлогодней литературѣ.

Отдѣльно вышедшихъ книгъ по части изящной словесности въ прошломъ году было не много, если даже включить сюда и сборники. Первое мѣсто между ними, безспорно, должно принадлежать „Тарантасу“ графа Соллогуба. Эта книга вдвойнѣ интересна — и какъ прекрасное литературное произведеніе, и какъ изящное, великолѣпное изданіе. Въ послѣднемъ отношеніи, „Тарантасъ“ — рѣшительно первая книга въ русской литературѣ. Въ свое время, мы представили публикѣ наше мнѣніе о произведеніи графа Соллогуба въ особой статьѣ, въ отдѣлѣ Критики. Статья наша была понята двояко: одни приняли ее за восторженную и неумѣренную похвалу, другіе—за что-то въ родѣ памфлета.. Это произошло оттого, что и самъ „Тарантасъ“ одними былъ принятъ за искреннее *profession de foi* такъ-называемаго славянофильства; другими — за злоую сатиру на него. Что касается до насъ, мы принадлежимъ къ числу послѣднихъ, и теперь, какъ и тогда, понимаемъ „Тарантасъ“ какъ сатиру, и будемъ его понимать такъ до тѣхъ поръ,

пока онъ не изгладится изъ литературныхъ воспоминаній публики. Мы не можемъ иначе думать, уважая умъ и талантъ автора „Тарантаса“, потому что герой этого сатирическаго очерка, Иванъ Васильевичъ играетъ въ немъ такую смѣшную роль, говорить такія несообразности и странности, что увидѣть во всемъ этомъ искреннее выраженіе убѣжденій автора было бы слишкомъ смѣло и неосторожно. Мы думаемъ, напротивъ, что „Тарантасъ“ тѣмъ и дѣлаетъ особенную честь таланту и изобрѣтательности своего автора, что въ немъ еще впервые въ русской литературѣ является одинъ изъ комическихъ „героевъ нашего времени“ — этихъ героевъ, которые тѣмъ смѣшнѣе, что они считаютъ себя лицами очень серьезными, даже чуть не геніями, чуть не великими людьми. За нихъ давно бы слѣдовало приняться нашимъ даровитымъ писателямъ: это и сдѣлалъ графъ Соллогубъ прежде всѣхъ. Нечего и говорить, что онъ выполнилъ свою задачу съ необыкновеннымъ талантомъ, — хотя, впрочемъ, и нельзя сказать, чтобъ въ его произведеніи не было недостатковъ и довольно важныхъ, какъ, напримѣръ, увѣренія, будто русская кратика пишется для забавы мужиковъ, которые, однакожъ, предпочитаютъ ей шутовъ въ ихъ мужицкомъ костюмѣ; что будто бы литература русская должна набирать идей и вдохновенія у постелей умирающихъ мужиковъ, сидя подлѣ нихъ въ качествѣ стенографа и записывая ихъ послѣднія слова, которыя, — какъ всѣмъ извѣстно, — касаются только разныхъ житейскихъ заботъ и распоряженій на счетъ дѣтей, свихъ, коровъ и барановъ. Но, несмотря на эти недостатки, которые притомъ еще и легко исправить при второмъ изданіи „Тарантаса“, — сочиненіе графа Соллогуба все-таки принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ литературнымъ явленіямъ прошлаго года.

Въ прошломъ же году вышелъ вторымъ изданіемъ второй томъ повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ названіемъ: „На

Сонъ Грядущій“. Это насъ особенно порадовало, какъ неопровержимое доказательство готовности и охоты нашей публики покупать, читать и перечитывать все, что выходитъ изъ-за черты посредственности.

Къ числу замѣчательныхъ произведеній прошлаго года должно причислить и „Петербургскія Вершины“ г. Буткова. Эта книга не обнаруживаетъ въ авторѣ поэта; изъ нея видно, что его талантъ — писать сатирическіе очерки, а не юмористическія повѣсти. Но хорошо и это. Въ наше время, сатирическій талантъ не останется незамѣченнымъ.

Въ Москвѣ есть писатель, нѣкто г. Ваненко, о которомъ почти никто не знаетъ, котораго имя почти неизвѣстно въ нашей литературѣ, но который тѣмъ не менѣе одаренъ талантомъ, нечуждымъ даже и юмора. Жаль только, что г. Ваненко исключительно привязался къ простонароднымъ розсказаніямъ, и считаетъ очень выгоднымъ писать для простаго народа, который не читаетъ его, потому что еще не довольно грамотенъ для занятія литературою. Мы думаемъ, что для г. Ваненко было бы гораздо выгоднѣе взяться за изображеніе сферы жизни ступенью выше. Пусть тутъ будутъ и мужики, но только пусть они дѣйствуютъ не въ сказачномъ, а въ дѣйствительномъ мірѣ. Мы убѣждены, что у г. Ваненко стало бы таланта и на это, и что только тогда нашелъ бы онъ поприще, достойное таланта. Въ прошломъ году, г. Ваненко напечаталъ вторымъ изданіемъ „Дару новыхъ русскихъ Розсказней. 1. О солдатѣ Яшкѣ красной рубашкѣ, синія ластовицы; 2. О молодомъ Ильѣ женатомъ, да о лысомъ Мартинѣ тароватомъ“. Читая эту книгу, видишь въ ней талантъ и жалешь, что онъ потраченъ ни на что!

Прошлый литературный годъ дебютировалъ вдругъ двумя весьма замѣчательными поэмами въ стихахъ. Первая — „Разговоръ“, г. Тургенева, написана удивительными стихами,

какіе теперь являются рѣдко, исполнена мысли; но вообще въ ней слишкомъ замѣтно вліяніе Лермонтова, — и, прочитавъ новую поэму г. Тургенева (поэму Андрей), помѣщенную въ этой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“, нельзя не замѣтить, что, въ этомъ послѣднемъ родѣ, талантъ г. Тургенева гораздо свободнѣе, естественнѣе, оригинальнѣе, больше, такъ сказать, у себя дома, нежели въ „Разговорѣ“. Поэма г. Майкова — „двѣ Судьбы“, доказала, что его талантъ неограниченъ исключительно тѣснымъ кругомъ антологической поэзіи, и что ему предстоитъ въ будущемъ богатое развитіе. Несмотря на явную небрежность, съ какою написаны многіе стихи въ этой поэмѣ, несмотря на то, что нѣкоторые мѣста въ ней отзываются юношескою незрѣлостью мысли, — поэма чрезвычайно замѣчательна въ цѣломъ, и блистаетъ удивительными частностями, исполненными ума и поэзіи.

„Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте и Шиллера“; „Стихотворенія Эдуарда Губера“; „Новыя стихотворенія Н. Языкова“ и пятое (компактное, въ одной книгѣ) изданіе „Сочиненій Державина“ довершаютъ собою рядъ вышедшихъ въ прошломъ году книгъ стихотворнаго содержанія. — Публикѣ извѣстно наше мнѣніе о прекрасномъ талантѣ г. Струговщикова переводить Гёте, который мы глубоко уважаемъ, и потому всегда жалѣли, что г. Струговщикова не хочется ограничиться ролью переводчика, вѣрно, не мудрствуя лукаво, передающаго по-русски творенія великаго германскаго поэта, но, вмѣсто этого, хочется быть какимъ-то полу оригинальнымъ поэтомъ, передѣлывая то, что надо только переводить, и что хорошо само по себѣ. Общее мнѣніе, обнаружившееся по выходѣ книжки г. Струговщикова, показало, что мы были правы. — Поэзія г. Губера, отличающаяся замѣчательно хорошимъ стихомъ и избыткомъ болѣзненнаго чувства, бѣдна оригинальностью. Она не принадлежитъ ни къ какой странѣ,

ни къ какому времени; ее можно считать за переводъ съ какого угодно языка. — „Новыя стихотворенія г. Н. Языкова“ оказались весьма старыми. — Изданіе „Сочиненій Державина“ вышло сѣрвато и плоховато во всѣхъ отношеніяхъ.

„Физиологія Петербурга“ (двѣ части), „Вчера и Сегодня“, „Сто Русскихъ Литераторовъ“ (третій томъ) и второе изданіе двухъ частей „Новоселья“, изданнаго въ первый разъ въ 1833 году, были замѣчательнѣйшими сборниками прошлаго года. О „Физиологіи Петербурга“ было, въ продолженіи всего года, столько говорено, что страшно и вспомнить. Одна газета жила въ 1845 году преимущественно нападками на эту книгу, имѣвшую большой успѣхъ. Статьи этого сборника всѣ безъ исключенія, болѣе или менѣе, могли доставить публикѣ занимательное и пріятное чтеніе; но особенно замѣчательны изъ нихъ, въ прозѣ: „Петербургскій Дворникъ“, В. И. Луганскаго, „Петербургскіе Углы“, Н. А. Некрасова; въ стихахъ: „Чиновникъ“, Н. А. Некрасова. — Въ сборникѣ: „Вчера и Сегодня“ прочли мы два отрывка изъ неоконченныхъ повѣстей Лермонтова, чрезвычайно интересныхъ; его же нѣсколько стихотвореній, впрочемъ, ничѣмъ особенно не замѣчательныхъ; примиленькій разсказъ графа Соллогуба — „Собачка“, и очень интересную статью г. Второва — „Гаврила Петровичъ Камневъ“. — Въ третьемъ томѣ „Ста Русскихъ Литераторовъ“, кромѣ первыхъ двухъ статей, все остальное представляетъ превосходнѣйшіе образцы посредственности и бездарности.

Переводы по части изящной словесности, отдѣльно вышедшіе въ прошломъ году, не нужно пересчитывать; былъ одинъ, но который стоитъ множества. Мы говоримъ о большомъ предпріятіи — перевести всего Вальтеръ Скота. Доселѣ вышли два романа — „Квентинъ Дорвардъ“, „Антиваріи“, и на дняхъ поступитъ въ продажу третій — „Айвенго“. Переводъ и изданіе достойны подлинника.

Теперь перейдемъ къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ по части изящной литературы, явившимся въ журналахъ. Стиховъ теперь вообще мало печатаютъ въ журналахъ. Жалѣть или радоваться? — Намъ кажется, что это очень пріятное явленіе. Писать стихи, даже порядочные, въ наше время ничего не стѣбать, и, въ этомъ отношеніи, „позтовъ“ у насъ несметные легіоны — тьмы темъ. Но — увы! — ихъ уже не печатаютъ, или мало печатаютъ, потому что не читаютъ. Дѣва просто, потомъ № 1, неземная дѣва, № 2, луна, ночь, уныніе, разочарованіе, цыганка, шампанское, лѣнь, похмѣлье, разгулье, отчаяніе, горе, страданіе, дружба, игры, любовь, слава, мечта, — все это до того уже переѣто на разные голоса, что наконецъ надоѣло всѣмъ смертельно. Нужно что-нибудь новое, но новое открываетъ геній, а въ настоящую минуту у насъ, увы! не имѣется въ наличности ни одного геніяльнѣйшаго поэта.

Конечно, и таланту, если онъ друженъ съ умомъ, если онъ умный талантъ, удается угадывать, что можетъ имѣть успѣхъ въ настоящую минуту, особенно, если это указано, или хотя издали намекнуто геніемъ. Въ прошлый годъ явилось, въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ нѣсколько счастливыхъ вдохновеній таланта, которыя впрочемъ, мы можемъ перечестъ все до одного, не утомляя ни себя, ни читателя: „Современная Ода“, г. Не—ва и „Старушкѣ“, его же (въ „Отеч. Запискахъ“); „Чиновникъ“ (въ „Физиологіи Петербурга“), „Духъ Вѣна“, г. Майкова (въ „Финскомъ Вѣстникѣ“). Къ этому небольшому итогу слѣдуетъ прибавить три энергическія шески: „Хавранья“, неизвѣстнаго (въ „Отеч. Запискахъ“) и слѣдующія два посланія во 2-й книжкѣ „Москвитянина“, которыя, — особенно первое, — такъ хороши, что, желая содѣйствовать ихъ извѣстности, мы считаемъ за нужное выпустить ихъ здѣсь.



Въ усошннхъ лѣстѣхъ какъ червь Фиглярнхъ неотвязный.  
 Въ живыхъ не одного друга не найдетъ.  
 За то, когда изъ лицъ почетныхъ кто умретъ,  
 Влеймнть онъ прахъ его своею дружбой грязной.  
 —Таяъ что же? Тутъ расчетъ: онъ съ прибылью двойной.  
 Презрѣнне отъ живыхъ на мертвыхъ вымѣщаетъ,  
 И чтобъ вапнть друзей, какъ Чичиковъ другой,  
 Онъ души мертвыхъ скупасть.

Что ты несешь на мертвыхъ небывицу,  
 Таяъ нагло лѣзешь нъ нимъ въ друзья?  
 Признь посмертная твоя  
 Не запятнасть ихъ гробницю.  
 Все тѣ жъ и Пушкинъ и Крыловъ,  
 Хоть вѣтъ ихъ червь, по воляъ Бога;  
 Не лобызай же мертвецовъ—  
 И безъ тебя у нихъ васъ много.

Справедливость требуетъ еще указать, какъ на довольнозамѣчательныя стихотворныя произведенiя, на нѣкоторые опыты г. Григорьева (въ Репертуарѣ и Пантеонѣ<sup>4)</sup>), какъ напримѣръ, прекрасное стихотворенiе, „Городъ“, и на рассказъ въ стихахъ: „Олимпiй Радинъ“, въ которомъ цѣлое темно, безсвязно, но есть прекрасныя мѣста. Вообще, о г. Григорьевѣ можно сказать, что онъ, кажется, сдѣлался поэтомъ не по избытку таланта, а по избытку ума, и что на немъ мучительно отяготѣло влiянiе Лермонтова, отчего и происходитъ темнота и неопредѣленность въ цѣломъ многихъ пiесей его и большихъ и малыхъ: видно, что онъ не въ силахъ ни отбѣлаться отъ преслѣдующей его мысли генiя, ни овладѣть ею. Онъ написалъ даже драму въ стихахъ: „Два Эгонзма“,—въ цѣломъ довольно блѣдное отраженiе довольно блѣдной драмы Лермонтова: „Маскарадъ“. Г. Григорьевъ, въ этой драмѣ, такъ запутался въ неопредѣленныхъ рефлексiяхъ, возбужденныхъ въ немъ жизнью, что читатель никакъ не въ состоянiи понять чувствъ героевъ ея, ни того, за что они любятъ и ненавидятъ себя и другъ

друга, ни того, за что непонятный герой отравляет ядом непонятную героиню. Но вообще, въ этомъ странномъ и неудачномъ произведеніи промелькиваетъ мѣстами что-то такое, что невольно возбуждаетъ интересъ, если не къ лицамъ драмы, то къ лицу автора. Мѣстами хороши въ ней сатирическія выходы, какъ хорошъ, напримѣръ, этотъ монологъ славянофила Баскакова:

Семья—славянское начало.  
 Я въ диссертациі моей  
 Подробно изложу, какъ въ ней преобладала  
 Безъ примѣси другихъ идей  
 Идея чистая, славянская идея..  
 Читая Гегеля съ Мертвилковымъ вдвоемъ,  
 Мы согласились оба въ томъ,  
 Что, чувство съ разумомъ согласовать умѣя,  
 Различіе половъ—Славяне лишь одни  
 Уразумѣть могли такъ тонко и глубоко..  
 У нихъ однихъ, отъ самой старины,  
 Поставлена разумно и высоко  
 Идея мужа и жены..  
 Жена не гез у нихъ, не вещь, но иѣчто; воля  
 Не признается въ ней конечно, но она  
 Законами ограждена..  
 Мужъ можетъ бить ее, но убивать не смѣетъ:  
 Надъ ней духовное лишь право онъ имѣетъ,  
 И только частію in corpore: притомъ  
 Глубокой смыслъ въ преданьи томъ,  
 Иль, лучше, въ мысли той о власти надъ женою.  
 Пусть проявляется подъ жесткою корою,  
 Подъ формою побой: что форма? Признаюсь  
 Семья меня всегда приводитъ въ умиленье..  
 Власть мужа, и жены покорное смиренье..  
 Чета славянская—я ей не надивлюсь!

Замѣчательными оригинальными повѣстями наши журналы въ прошломъ году были не очень богаты. Начнемъ съ „Библиотеки для Чтенія“. Лучшимъ оригинальнымъ произведеніемъ въ этомъ родѣ былъ въ ней сатирической очеркъ китайскихъ

правовъ, подъ названіемъ: „Совершенство́йшая изъ всѣхъ Женщинъ“, барона Брамбеуса. У этого писателя нѣтъ ни дара творчества, ни юмора, но много таланта каррикатуры, много того, что по малороссійски называется ж а р т о в а н і е м ъ, или жартомъ. Его повѣсти и рассказы мѣстами невольно заставляютъ читателя смѣяться; въ нихъ много блестящихъ и порывовъ ума. Еслибы въ этихъ сатирическихъ очеркахъ было больше опредѣленности въ мысли, больше глубины и дѣльной злости, — ихъ литературное значеніе имѣло бы большую важность. „Совершенство́йшая изъ всѣхъ Женщинъ“ есть одно изъ удачныхъ произведеній шутивлаго пера барона Брамбеуса, и нельзя не пожалѣть, что эта забавная повѣсть осталась неконченною. — „Счастіе лучше Богатырства“, рукопись, найденная и изданная О. В. Булгаринымъ и Н. А. Полевымъ, — романъ, написанный въ сотрудничествѣ, двумя лицами — небывалое до сихъ поръ явленіе въ нашей литературѣ! Умъ хорошо, два лучше, говоритъ русская пословица; но на этотъ разъ, кажется, численность не имѣла никакого вліянія на романъ. Это довольно неудачное усиліе двухъ прежнихъ писателей поддѣлаться подъ новую школу. Особенно жалко тутъ лицо какого-то удалившагося отъ людей добродѣтельнаго химика. Но, если о достоинствѣ вещей должно судить относительно, то скучная сказка „Счастіе лучше Богатырства“ можетъ показаться даже очень сноснымъ произведеніемъ въ сравненіи со всѣми остальными оригинальными изящными произведеніями въ „Библіотекѣ для Чтенія“ прошлаго года. — „Емеля или Превращенія“, первая часть новаго романа г. Вельтмана, рѣшительно напоминаетъ собою блаженной памяти „Русалку“, волшебную оперу, которая такъ забавляла нашихъ дѣдовъ своими „превращеніями“. Тутъ ничего не поймете: это не романъ, а довольно нескладный сонъ. Даровитый авторъ „Кашея Безсмертнаго“ въ „Емелѣ“ превзошелъ самого себя въ странной прихотливости

своей фантазіи; прежде, эта странная прихотливость выкупалась блестящими поэзіи; о „Емель“ и этого нельзя сказать. — „Вояжеры“ quasi комедія г. Основьяненко — высокій образец бездарности и плоскаго вкуса. — „Башня Веселуха“ (вскорѣ потомъ изданная отдѣльно) — такъ себѣ, ни то, ни сѣ. — „Петербургъ Днемъ и Ночью“ — пародія на „Парижскія Тайны“; сочинитель, впрочемъ, не думалъ писать пародію — пародія вышла противъ его воли, и оттого читать ее очень скучно. Ни образъ, ни лицъ, ни характеровъ, ни правдоподобія, ни естественности, ни мыслей! За то, фразъ, — разливашное море! Давно уже не являлось въ русской литературѣ такого страннаго произведенія. — „Три Періода“, романъ г. Кукольника, можетъ служить мѣрою читательскаго терпѣнія. . .

Переводныхъ романовъ и повѣстей въ „Библиотекѣ для Чтенія“ прошлаго года было шесть, кромѣ „Теверино“ и нѣсколькихъ небольшихъ рассказовъ, помѣщенныхъ въ „Смѣси“, и кромѣ окончанія „Лондонскихъ Тайнъ“ и „Вѣчнаго Жида“, начатаго еще съ 1844 года и тянувшагося почти цѣлый прошлый годъ. Лучшими можно назвать „Элену Миддлтонъ“, г-жи Фуллертонъ, и „Якова Ванъ-деръ Несъ“, г-жи Паальцевъ: эти двѣ повѣсти, особенно первая, по крайней мѣрѣ естественны, хотя и страшно растянуты, особенно первая. Конечно, „Графъ Монте-Кристо“ — блестящее бельетристическое произведеніе, которое читается легко и скоро; но оно — не романъ, а волшебная сказка, только не въ арабскомъ, а въ европейскомъ вкусѣ. — Что касается до „Вѣчнаго Жида“, — оя окончательна дорѣзалъ литературную репутацію своего автора. Правда, въ немъ много частныхъ очень интересныхъ, умныхъ, обличающихъ въ писателѣ замѣчательный талантъ; но цѣлое — океанъ фразёрства въ вымыслѣ площадныхъ эффектовъ, невыносимыхъ натяжекъ, невыразимой пошлости. Лица мадуазель Карловиль, мосьё Гарди, Габріеля, двухъ сиротокъ — Розы и Бланки, дра-

жайшаго родителя ихъ, маршала Симона — верхъ неестественности и приторности. Какое отношеніе имѣютъ къ роману „Вѣчный Жидъ и Иродіада? — ровно никакого, гораздо меньше, нежели листъ бумаги, въ которую заворачиваютъ книгу, имѣетъ отношенія къ самой книгѣ. Еслибы авторъ назвалъ свой романъ просто: „Иезуиты“, не ввелъ бы въ него ни вѣчнаго Жида, ни Иродіады, или Самуила съ женою, ни двух-сотъ милліоновъ нелѣпаго наслѣдства, ни приторно-сентиментальныхъ лицъ въ родѣ сиротокъ-сестеръ и Габріеля, еслибы не преувеличилъ характера Родэна, придумалъ поестественнѣе завязку, и, вмѣсто десяти томовъ, написалъ только четыре, и написалъ не торопясь, но обдумывая, — изъ-подъ пера его вышелъ бы прекрасный романъ, потому что у Эжена Сю больше таланта, чѣмъ у гг. Бальзака, Дюма, Жанена, Сулье, Гозлана и tutti quanti вмѣстѣ взятыхъ. Но жажда денегъ и мгновеннаго успѣха равняетъ теперь всѣ таланты, и большіе и малые, поводя ихъ произведенія подъ одинъ и тотъ же уровень ничтожности.

Рядъ оригинальныхъ произведеній по части изящной прозы въ „Отечественныхъ Запискахъ“ „прошлаго года“ заключился одною изъ тѣхъ повѣстей, которыя составляютъ пріобрѣтеніе литературы, а не литературнаго только года. Мы говоримъ о превосходной повѣсти: „Кто Виноватъ?“, напечатанной въ послѣдней книжкѣ нашего журнала. Эта повѣсть не принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, запечатлѣнныхъ высокою художественностью, которая иногда творитъ изъ ничего, не заботясь ни о цѣли, ни о ничтожествѣ содержанія; но эта повѣсть не принадлежитъ и къ числу тѣхъ умныхъ произведеній, въ которыхъ лишенный фантазіи авторъ, словно въ диссертациі, развиваетъ свои мысли и взгляды о томъ или другомъ нравственномъ вопросѣ, и въ которомъ нѣтъ ни характеровъ, ни дѣйствій. Авторъ повѣсти: „Кто Виноватъ?“ какъ-то чудно умѣлъ довести умъ до поэзіи, мысль обратить въ живыя лица,

плоды своей наблюдательности—въ дѣйствиѣ, исполненное драматическаго движенія. Какая не всемъ поразительная вѣрность дѣйствительности, какая глубокая мысль, какое единство дѣйствія, какъ все соразмѣрно — ничего лишняго, ничего недосказаннаго; какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумія, души, чувства! Если это не случайный опытъ, не неожиданная удача въ чуждомъ автору родѣ литературы, а залогъ пѣлаго рода такихъ произведеній въ будущемъ, то мы смѣло можемъ поздравить публику съ пріобрѣтеніемъ необыкновеннаго таланта въ совершенно новомъ родѣ. — „Маменькинъ Сынокъ“, романъ г. Панаева, напечатанный въ первыхъ двухъ книжкахъ „Отечественныхъ Записокъ“, отличается всѣми достоинствами и всѣми недостатками таланта этого писателя. Мы не будемъ распространяться ни о тѣхъ, ни о другихъ, и скажемъ коротко, что они связаны съ сущностью таланта г. Панаева, который, не рискуя ошибиться, можно назвать дагерротипнымъ. Во всякомъ случаѣ, „Маменькинъ Сынокъ“ — одно изъ лучшихъ его произведеній и одна изъ лучшихъ повѣстей прошлаго года. — „Необыкновенный Поединокъ“, романтическая повѣсть Говориллина (псевдонимъ) чуждъ всякаго художественнаго достоинства, но весьма нечуждъ литературнаго интереса, особенно для тѣхъ, кто пойметъ живое отношеніе этого разсказа къ эпиграфамъ, которыми онъ украшенъ, и эпиграфовъ къ разсказу. Съ этой точки зрѣнія, мы считали и считаемъ „Необыкновенный Поединокъ“ произведеніемъ, заслуживающимъ вниманіе и способнымъ навести читателя на нѣкоторыя весьма любопытныя соображенія насчетъ нѣкоторыхъ знаменитыхъ именъ нашей литературы. — „Богатая Девѣста“, драматическій разсказъ г. М., написанъ подъ влияніемъ комедій Гоголя, и есть едва ли не единственный опытъ въ этомъ родѣ, который читается съ наслажденіемъ и послѣ комедій Гоголя. Жаль, что этому разсказу повредило то, что не оз-

начено званіе дѣйствующихъ въ немъ лицъ.—Въ повѣсти Ста-  
 Одного — „Старое Зеркало“, много интересныхъ частныхъ  
 и умныхъ замѣтокъ, хорошо очерчено лицо Ивана Анисимовича  
 и дочки его, Маши; но въ цѣломъ эта повѣсть не выдержана,  
 и развязка ея какъ-то странна, неестественна и неудовлетво-  
 рительна. — „Милочка“, повѣсть г. Побѣдоносцева, не лишена  
 интереса; жаль, что разсказъ ея не довольно сжатъ и быстръ. —  
 Сверхъ того, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ прошлаго года  
 были напечатаны: „Дача на Петергофской Дорогѣ“, повѣсть  
 г-жи Жуковой; „Ошибка“, драматическій анекдотъ, г. Не-  
 строева и „Няня“, повѣсть г. Побѣдоносцева.

„Жанна“, „Теверино“ и „Маркиза“—три романа Жоржа Зан-  
 да, были переведены въ „Отечественныхъ Запискахъ“ прошла-  
 го года. „Маркиза“ одно изъ старыхъ произведеній этой писа-  
 тельницы, „Жанна“—изъ недавнихъ, „Теверино“ — послѣд-  
 нее. Излишне говорить о ихъ художественномъ достоинствѣ:  
 Жоржъ Зандъ безспорно, первый талантъ во всемъ пишущемъ  
 мѣрѣ нашего времени. Скажемъ только, что въ лицѣ Жанны  
 поэтический инстинктъ представилъ міру лучшей и вѣрнѣйшей  
 комментарий на значеніе исторической Жанны (д'Аркъ,) не-  
 жели какой могла представить наука, много хлопотавшая объ  
 этомъ вопросѣ. „Теверино“, въ своемъ родѣ, стоитъ „Жанны“,  
 и оба эти романа, безспорно, принадлежатъ къ лучшимъ со-  
 зданіямъ гениальнаго автора. Замѣчательно, что „Теверино“ на-  
 писанъ послѣ „Le Meunier d'Angibault“, прекраснаго рома-  
 на, но испорченнаго двумя главными лицами, до приторности  
 неестественными, — и послѣ „Изидоры“, во всѣхъ отношеніяхъ  
 слабого и неудачнаго произведенія. — „Вотчимъ“, одна изъ  
 лучшихъ повѣстей одного изъ лучшихъ французскихъ публици-  
 стовъ, Шарля Бернара, который съ замѣчательнымъ тала-  
 нтомъ изображалъ нравы современной Франціи. Можетъ-быть,  
 современемъ выписавшись, и онъ начнетъ писать эффектами

сказки на манеръ „Тысячи и Одной Ночи“, или „Вѣчнаго Жидка“ и „Графа Монте-Кристо“; но, пока, талантъ его еще сохраняетъ всю свою свѣжесть и силу, такъ что послѣ повѣстей Жоржа Занда только и можно читать его повѣсти. — „Американцы“, романъ, переведенный съ нѣмецкаго, представляетъ гораздо меньше художественности, нежели романы Купера, но едва ли не больше ихъ знакомить съ нравами Северо-Американскихъ Штатовъ и ихъ отношеніями къ племенамъ дикихъ, потому что это прямая и положительная цѣль автора, Нѣмца, долго и прилежно изучавшаго интересную страну. Романическая, или поэтическая сторона этого романа, не отличаясь особеннымъ достоинствомъ, въ то же время и не лишена во все достоинствъ. Авторъ „Американецъ“ извѣстенъ въ Европѣ уже не однимъ романомъ въ этомъ родѣ. Имени своего онъ не выставляетъ на романахъ; но мы слышали, что это — Р. Вессельгефтъ, котораго любопытная статья — „Семейная Жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ“ была переведена въ Сибѣи „Отечественныхъ Записокъ“ 1843 года. Говорятъ, будто большаго успѣху нашей публики больше понравилась „Королева Марго“ нежели романы Жоржа Занда, „Ветчинъ“, Шарля Бернара и „Американцы“. О вкусахъ спорить не станемъ, а съ этой книжки начнемъ печатать продолженіе „Королевы Марго“ — т. е. новѣйшій романъ Дюма: „Графиня Монсоро“.

Упомянувъ о статьяхъ: „Бараны“, коротенькій, но исполненный глубокаго значенія восточный аналогъ В. И. Луганскаго (въ „Москвитинѣхъ“); „Иванъ Ивановичъ“, прехорошенькій разсказъ г. Гребенки (въ „Финскомъ Вѣстникѣ“); „Деньщикъ“, физиологическій очеркъ В. И. Луганскаго (тамъ же); „Лука Луничъ“, живописательный очеркъ, г. Д. (тамъ же); „Факторъ“, живописательный разсказъ г. Гребенки (тамъ же); „Чужая голова — темный лѣсъ“, разсказъ г. Гребенки (въ „Иллюстраціи“); „Малышка“, чудесная повѣсть о колдунѣхъ,



отграничивающих старину и приветствующих новый годъ“, повесть Диккенса (переведенная въ „Москвитянинѣ“, )—мы изчислили все, что было замѣчательнаго по части изящной прозы, оригинальной и переводной, въ русскихъ журналахъ прошлаго года. Изъ этихъ послѣднихъ статей, мы должны указать на „Деньщика“, В. И. Луганскаго, какъ на одно изъ капитальныхъ произведеній русской литературы. В. И. Луганскій создалъ себѣ особенный родъ поэзи, въ которомъ у него нѣтъ соперниковъ. Этотъ родъ можно назвать физиологическимъ. Повесть съ завязкою и развязкою—не въ талантѣ В. И. Луганскаго, и всѣ его попытки въ этомъ родѣ замѣчательны только частностями, отдельными мѣстами, но не цѣлымъ. Въ физиологическихъ же очеркахъ лицъ разныхъ сословій, онъ—истинный поэтъ, потому что умѣетъ лицо типическое сдѣлать представителемъ сословія, возвести его въ идеалъ, не въ пошломъ и глупомъ значеніи этого слова, т. е. не въ смыслѣ украшенія дѣйствительности, а въ истинномъ его смыслѣ—воспроизведенія дѣйствительности во всей ея истинѣ. „Колбасники и Бородачи“, „Дворникъ“ и „Деньщикъ“—образцовыя произведенія въ своемъ родѣ, тайну котораго такъ глубоко постигъ В. И. Луганскій. Послѣ Гоголя, это до сихъ поръ рѣшительно первый талантъ въ русской литературѣ.

Книгъ ученыхъ, учебныхъ, и вообще дѣльныхъ въ прошломъ году вышло довольно много. Литература этого рода оказываетъ у насъ видныя успѣхи, которые должны радовать патристическое чувство Русскаго. Причина этихъ успѣховъ заключается сколько въ усиленіи правительства, которое всегда готово поощрять усилія частныхъ лицъ и само предпринимаетъ изданія летописей и всякаго рода историческихъ памятниковъ—столько же и въ быстрыхъ успѣхахъ образованности русскаго общества. Въ жизни все связано гѣмъ: образованность ведетъ за собою просвѣщенію. Пока легкая изящная литература еще

не укоренилась въ обществѣ до того, чтобъ войти въ его привычки, сдѣлаться его необходимою роскошью, — она замѣняетъ ему науку. Но когда она перестаетъ быть исключительнымъ достоинствомъ немногихъ и становится потребностію толпы, — люди избранные дѣлаются требовательнѣе и разборчивѣе въ изящныхъ удовольствіяхъ своего ума и, не оставляя ихъ, стремятся въ то же время и къ болѣе прочнымъ, основательнымъ потребностямъ ума — къ знанію, къ наукѣ. Такимъ образомъ, но иррѣ того, какъ высшіе (нравственно) слои общества переходятъ отъ легкой литературы къ наукѣ, низшіе отъ невѣжества и необразованности восходятъ къ легкой литературѣ. Это круговая порука, и успѣхи легкой литературы — ручательство успѣховъ науки. Одно безъ другаго быть не можетъ. Просвѣщеніе основанное на наукѣ, не можетъ быть удѣломъ всѣхъ, даже удѣломъ большинства; но образованіе, основанное на успѣхахъ легкой литературы можетъ и должно быть удѣломъ всѣхъ даже самыхъ низшихъ слоевъ общества, которые могутъ быть грамотны только тогда, когда имъ есть что читать. Вотъ почему нельзя не радоваться, видя, что у насъ страсть къ легкому чтенію сдѣлалась уже не роскошью, а насущною потребностью, которой едва въ состояніи удовлетворить наши журналы, наполняемые романами и повѣстями. Эта страсть къ легкому чтенію — признакъ распространившагося въ обществѣ образованія, которое, въ свою очередь, свидѣтельствуетъ о близкихъ успѣхахъ просвѣщенія, основаннаго на наукѣ.

Изъ перечня вышедшихъ въ прошломъ году книгъ и изданій серьезнаго содержанія мы увидимъ, что ихъ число несравненно больше числа отдѣльно вышедшихъ книгъ по части легкой литературы. Скажутъ: бѣлетристическія сочиненія преимущественно помѣщаются въ журналахъ; но мы покажемъ, что въ тѣхъ же самыхъ журналахъ помѣщается множество статей и серьезнаго содержанія.

Особенно должно было радовать всѣхъ видное усиленіе литературы русекой исторіи и русскихъ древностей. Въ прошломъ году вышли слѣдующія книги по этой части: „Всеобщая бібліотека Россіи или каталогъ книгъ для изученія нашего отечества во всѣхъ отношеніяхъ и подробностяхъ“. Это—второе прибавленіе въ книгѣ того же названія, изданное г. Чертковымъ въ 1838 году, которая, вмѣстѣ съ первымъ прибавленіемъ, заключала въ себѣ до 7000 званій книгъ; во второмъ прибавленіи, вышедшемъ въ прошломъ году, заключается ихъ до 1800 званій.—„Московская Оружейная Палата“—изданная отъ правительства опись содержащимся въ этомъ палладиумѣ нашей древности вещей; текстъ книги, прекрасно составленный г. Вальтманомъ, объясняется изображеніями, превосходно сдѣланными. Книга эта вышла въ прошломъ году; хотя на ней и выставленъ 1844 годъ. — „Памятники Московской Древности, съ присоединеніемъ очерка монументальной исторіи Москвы и Древнихъ видовъ и плановъ древней столицы“,—великолѣпное и изящное изданіе, начатое въ 1842 году, въ прошломъ году окончилось выходомъ послѣднихъ трехъ тетрадей (9, 10 и 11-й). Эта драгоценная книга равно дѣлаетъ честь и автору, г. Снегиреву, и издателю, г. Семену.—„Памятники, изданные временною комиссіею для разбора древнихъ актовъ, Высочайше утвержденною при кievскомъ военномъ, покольскомъ и волынскомъ генералъ-губернаторѣ и Собраніи древнихъ грамотъ и актовъ городовъ: Вильны, Ковна, Трокъ, православныхъ монастырей, церквей, и по разнымъ предметамъ“ принадлежать къ тѣмъ монументальнымъ изданіямъ, которые возможны только для правительства, а не для частныхъ лицъ,—иногда такъ „Симбирскій Сборникъ“ принадлежитъ къ числу тѣхъ важныхъ изданій, которые, будучи обязаны своимъ появленіемъ усиліямъ и ревности частныхъ лицъ, болѣе всего свидѣтельствуютъ объ успѣхахъ просвѣщенія въ

обществѣ.—„Записки Дюка Лирийскаго и Бервикскаго во время пребыванія его при императорскомъ российскомъ дворѣ въ званіи посла короля испанскаго“, были послѣднимъ трудомъ Д. И. Языкова, оказавшаго столько услугъ русской исторической литературѣ.—Г. Тромонинъ и въ прошломъ году продолжалъ свое интересное изданіе: „Достопамятности Москвы“. Москва теперь дѣятельно изучается, и литература ея древностей уже богата превосходными сочиненіями и изданіями. Здѣсь же имѣсто упомянуть объ интересной брошюрѣ г. Снегирева: „О лубочныхъ картинахъ русскаго народа“, какъ о сочиненіи, относящемся если не къ русской исторіи, то къ русской старинѣ, которая имѣетъ полное право на наше вниманіе. Въ прошломъ году, вышло нѣсколько замѣчательныхъ книгъ по части критическаго изслѣдованія фактовъ русской исторіи, именно: „Юмбергъ и Винета“, историческое изслѣдованіе г. Грановскаго; „Объ отношеніяхъ Новгорода къ Великимъ Князьямъ“, историческое изслѣдованіе г. Соловьева; „Очеркъ литературы русской до Карамзина“, г. Старчевскаго, и „Изслѣдованіе о мѣстничествѣ“, г. Валуева (отдѣльно напечатанная статья изъ „Симбирскаго сборника“). Съ успѣхомъ продолжалось великолѣпное изданіе: „Императоръ Александръ I-й и его сподвижники“; портреты и текстъ этого изданія не оставляютъ желать ничего лучшаго. Второе изданіе первой части „Руководства къ Всеобщей Исторіи“ г. Лоренца, „Краткая исторія крестовыхъ походовъ“, переведенная съ нѣмецкаго, и 4 и 5-я части „Всемирной Исторіи“ Беккера, заключаютъ собою историческую литературу прошлаго года.—Изъ бульетристическихъ сочиненій дѣльнаго содержанія можно указать на 2-й томъ „Вспоминаній Слѣпаго“, интересное описаніе кругосвѣтнаго путешествія Араго, изящно изданное съ прекрасными картинками; „Англійская Индія въ 1843 году“, соч. Варрена; „Римъ и Італія среднихъ и новѣйшихъ временъ“, соч. кн. Волконскаго.—Изъ специаль-

ныхъ сочиненій можно вспомнить 5-ю и 6-ю части „Народной Медицины“, г. Чаруковскаго; 3-ю часть „Руководства къ воспитанію, образованію и сохраненію здоровья дѣтей“, г. Грума; „Карманный Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка“; „Указатель Законовъ для Сельскихъ Хозяевъ“, „Лекціи Популярной Астрономіи“, г. Зеленаго; „Нумизматическіе Факты Грузинскаго Царства“, князя Баратаева.

Какъ на особенно пріятныя явленія въ литературѣ прошлаго года, должно указать на первую часть „Опыта Исторіи Русской Литературы“, г. Никитенко, и третью книжку „Сельскаго Чтенія“, издаваемаго княземъ Одоевскимъ и г. Заблочкинъ.

Теологическая литература наша обогатилась въ прошломъ году изящнымъ изданіемъ „Словъ и Рѣчей“ знаменитаго духовнаго витія нашего, высокопреосвященнаго Филарета, митрополита московскаго, вышедшихъ въ трехъ большихъ томахъ. — Сверхъ того, по части духовной литературы вышли въ прошломъ году: „О Подраженіи Христу“, Фомы Кемпійскаго, въ переводѣ графа Сперанскаго; „Творенія Святыхъ Отцовъ“, въ русскомъ переводѣ, издаваемаыя при Московской Духовной Академіи, первая, вторая и третья книжки третьяго года.

Перечень нашъ едва ли полонъ — такъ много выходитъ теперь у насъ хорошихъ книгъ серьезнаго содержанія: по крайней мѣрѣ втрое больше, нежели хорошихъ книгъ по части легкой литературы.

Въ журналахъ, статьи серьезнаго содержанія тоже едва ли не превосходятъ и числомъ и объемомъ статьи бѣллетристическія. Въ этомъ легко убѣдиться изъ простаго перечня. Въ „Библиотекѣ для Чтенія“, въ отдѣлѣ наукъ и искусствъ, были помѣщены статьи: „Еремія Бентемъ“; „Древніе Мексиканцы“; „Естественная Исторія Пресмыкающихся“; „Метеорическіе камни, преимущественно упавшіе въ Россіи“, Э. Эйхвальда; „Венеція въ 1843 году“ (Уварова); „Врачебное сословіе въ

Англія“; „Письма, Инструкціи и Записки Маріи Стюартъ“, изданныя кн. Лобановымъ; „Лафатеръ и Галль“. С. С. Куторги; „Историческій характеръ Лудовика XIV“, К. П.; „О прекрасномъ и объ искусствѣ“, Виктора Кузена; „Писатели и ученые предыдущаго пятидесятилѣтія“, лорда Брума. — Статья Кузена есть выборка мыслей изъ эстетики Гегеля; знаменитый эклектикъ только поразжилъ и попошилъ такъ легко доставшееся ему пріобрѣтеніе, объ источникѣ котораго онъ счелъ за лучшее скромно умолчать. Статьи лорда Брума о Вольтерѣ и Руссо, о Юмѣ и Робертсонѣ, несмотря на громкое имя изъ автора, довольно пусты и ничтожны. Въ Слѣси „Библіотеки для Чтенія“ была очень уинная и интересная статья: „Судьба повтовъ въ Германіи, къ сожалѣнію, неоконченная.

Въ „Москвитянинѣ“ прошлаго года (№№ 5 и 6-й), насъ удивляла статья: „Письмо изъ Парижа“ подписанная: Н. Л—й; по мыслямъ, духу, направленію, благородному тону, безпристрастію, наблюдательности и мастерству изложенія, это одна изъ такихъ статей, которыя въ нашей литературѣ — слишкомъ рѣдкія явленія.

Въ „Отечественныхъ Запискахъ“, по отдѣлу наукъ и искусствъ были помѣщены статьи: „Англійская Индія въ 1843 году“, изъ книги Варрена; „Письма объ изученіи природы“, Искандера; окончаніе статьи: „Реформація“, начатой и продолжавшейся въ 1844 году; „Консульство и Имперія“, Тьера, „Алтай (естественная исторія егѣ, кони и жители)“, статья Катрфама, написанная по поводу сочиненія г. Чижаева; „Voyage Scientifique dans l'Altaï oriental et les parties adjacentes de la frontière de Chine; „Космосъ“, опытъ физическаго міроописанія, Александра Гумбольдта; „Взрванія Индусовъ“. Сверхъ ученыхъ извѣстій о дѣятельности Парижской Академіи Наукъ, о всѣхъ новыхъ открытіяхъ въ области наукъ, искусствъ и ремеселъ, въ Слѣси „Отечественныхъ Записокъ“

были помѣщены библиографическіе очерки знаменитыхъ современниковъ: Теодора Гука, Талейрана, Берцелиуса, Круга, Мартинеза де-ла-Розы, лорда Брума, Сальватора Тончи, Беранже, Августа Вильгельма Шлегеля, Эспартеро, генерала Джексона, барона Бозію, Джона Росселя, леди Стенгопъ.

Нѣкоторые безпристрастные доброжелатели „Отечественныхъ Записокъ“, и намеками и явно, словесно и печатно, утверждаютъ, будто-бы содержаніе и направленіе „Отечественныхъ Записокъ“ не соотвѣтствуетъ ихъ названію, потому-де, что въ нихъ нѣтъ ничего отечественнаго. Мы не станемъ спорить съ этими благонамѣренными доброжелателями, не только выставимъ имъ на видъ нѣсколько фактовъ. Въ отдѣлѣ Словесности „Отечественныхъ Записокъ“ помѣщаются развѣ одни только переводы? Развѣ не бываетъ оригинальныхъ статей въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ? Развѣ въ отдѣлѣ Критики и Библиографической Хроники разсматриваются не русскія книги? Развѣ не „отечественное“ составляетъ предметъ отдѣла Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще?... Въ „Отечественныхъ Запискахъ“ есть особый отдѣлъ, который, подъ именемъ „Современной Хроники Россіи“ представляетъ собою фактическую лѣтопись русскаго законодательства и распоряженія высшаго правительства по части государственнаго управленія. Что „Отечественныя Записки“ съ особенной охотою принимаютъ въ себя все, исключительно касающееся до Россіи; — для доказательства стоитъ только указать на слѣдующія статьи въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ и Слѣси прошлаго года: „Коронаваніе императрицы Екатерины Алексѣевны Петромъ Великимъ (статья, доставленная редакціи покойнымъ Д. И. Языковымъ)“, „Воспоминаніе о генералъ-фельдмаршалѣ Петрѣ Александровичѣ Румянцовѣ Задунайскомъ“, Н. Кутузова; „Военно-учебныя заведенія, подвѣдомственныя Его Императорскому Высочеству, Гла-

вному Начальнику, — въ царствованіе Императрицы Екатерины II-й“, П. И. Глѣбова; „Иванъ Андреевичъ Крыловъ“; „Замѣтки на пути изъ Москвы въ Закавказскій Край“; „Величина поверхности тридцати семи губерній и областей въ Европейской Россіи“; „Народонаселеніе въ губерніяхъ Европейской Россіи“ и пр. и пр. Въ отдѣлѣ Критики разобраны два важныя изданія, относящіяся къ отечественной исторіи: „Памятники, изданные временною комиссією для разбора древнихъ актовъ, учрежденной при кievскомъ военномъ, подольскомъ и вельнскомъ генералъ-губернаторѣ и Собраніе древнихъ актовъ городовъ Вильны, Ковна, Трокъ, православныхъ церквей, монастырей и по разнымъ предметамъ“. Въ отдѣлѣ Библиографической Хроники обращено особенное вниманіе на книги русской исторіи, чему доказательствомъ могутъ въ особенности служить обширныя рецензіи на „Симбирскій Сборникъ“ и „Отношенія Новгородъ къ Великимъ Князьямъ“ и др. А что, въ то же время, „Отечественныя Записки“ представляютъ своимъ читателямъ и возможно подробную картину движенія современныхъ литературъ Германіи, Англіи и Франціи, — мы думаемъ, что одно другому нисколько не мѣшаетъ и что, въ этомъ отношеніи, со стороны нашего журнала заслугою больше... Одинъ журналъ (мы не назовемъ его), обвинивъ въ разныхъ ересяхъ всю русскую литературу и достойныхъ представителей ея — Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского и Пушкина, въ томъ же самомъ обвинилъ „Библіотеку для Чтенія“ и „Отечественныя Записки“, вѣроятно основываясь на томъ, что въ нихъ нѣтъ статей теологическаго содержанія! Да, ихъ не было и не будетъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, потому что теологія не входитъ въ ихъ программу. Сверхъ того, издатель и редакторъ „Отечественныхъ Записокъ“, думаетъ и глубоко убѣжденъ, что писать о богословскихъ предметахъ — должно быть исключитель-



нымъ правомъ и обязанностью людей, духовнаго сана, которые суть единственные истинные проповѣдники и блюстители святыхъ истинъ православной церкви, и что было бы великою профанаціею допустить какихъ-нибудь самозванныхъ ревнителей свѣтскаго званія мѣшать, въ литературныхъ изданіяхъ, статьи религіознаго содержанія съ любовными стишками, романами, повѣстями и комедіями... Оставаться въ законныхъ предѣлахъ дозволенной дѣятельности, не стараясь самовольно вмѣшиваться въ вопросы, подлежащіе не нашему вѣдѣнію,—всегда было и будетъ первымъ правиломъ нашего журнала...

Теперь намъ остается сказать нѣсколько словъ о журналахъ. Ихъ у насъ немного, а и изъ существующихъ мы не имѣемъ охоты говорить о всѣхъ... Мы указали на все, что было, въ какомъ бы то ни было отношеніи, замѣчательнаго въ журналахъ прошлаго года; говорить о направленіи изданій, уже пользующихся давнишнею извѣстностью, было бы излишне. И потому, скажемъ нѣсколько словъ о новыхъ журналахъ— „Финскомъ Вѣстникѣ“ и „Иллюстраціи“. Мы не спѣшили нашимъ сужденіемъ о нихъ, желая дать имъ время опредѣленнѣе высказаться. Къ тому же, мы не любимъ разсуждать о журналахъ во время подписки, и охотно предоставляемъ эту благонамѣренную методу признаннымъ ея любителямъ. Мы уже указали на замѣчательныя оригинальныя статьи въ „Финскомъ Вѣстникѣ“ по части легкой литературы; теперь остается сказать, что въ немъ были хорошія статьи и серьезнаго содержанія, какъ, напримѣръ: „Очеркъ исторической дѣятельности до Карамзина“, г. Старчевскаго; „Очеркъ финляндской войны 1741 и 1742 годовъ“; „Общественныя науки въ Россіи“, г. В. Майкова и пр. Вообще, „Финскій Вѣстникъ“ былъ вѣренъ своему значенію—быть специальнымъ сборникомъ: всѣ иностранныя статьи его переводились со шведскаго и зна-

комили русских читателей съ Финляндіей. Другаго же значенія онъ не имѣлъ и, кажется, имѣть не будетъ. Слѣдственно, не ищите въ немъ того, что требуется отъ журнала—опредѣленной фязіономіи, вѣрности однажды избранному принципу и т. п. Это — сборникъ, не болѣе. О недостаткахъ „Финскаго Вѣстника“ пока умолчимъ, изъ уваженія къ достоинствамъ, которыя онъ уже обнаружилъ, надѣясь, что въ будущемъ году послѣднія совершенно перевѣсятъ первыя.— Вотъ объ „Иллюстраціи“, къ сожалѣнію, не можемъ сказать того же. Картинокъ въ ней много, такъ что больше требовать было бы несправедливо: въ этомъ отношеніи мы отдаемъ „Иллюстраціи“ полную честь. Прибавимъ къ этому, что въ ней много и русскихъ оригинальныхъ картинокъ—что также большая заслуга со стороны подобнаго изданія. Жаль только, что иностранныя картинки въ „Иллюстраціи“ не совсѣмъ хорошо отпечатываются, а русскія, сверхъ того (большею частію), дурно рисуются. Намъ пріятно было встрѣтить въ „Иллюстраціи“ портреты гг. Каратыгина, Брянскаго, Мочалова, Петрова, г-жи Александръ-Мейеръ; но весьма непріятно было видѣть, что эти портреты или почти непохожи, или вовсе непохожи на оригиналы. Хуже всѣхъ, въ этомъ отношеніи, портреты гг. Брянскаго и Петрова, и г-жи Александръ-Мейеръ: тонкія, нѣжныя черты художаваго лица этой артистки очутились на портретѣ крупными, грубыми; а лицо сдѣлано не только полнымъ, но и одутловатымъ. Такова художественная сторона „Иллюстраціи“; къ сожалѣнію, и литературная такова же. Во первыхъ, въ этомъ изданіи нѣтъ ничего, похожаго на журналъ, на газету, отчего оно ужасно сухо и вяло. Являются въ немъ изрѣдка рецензіи, но до того неловкія, тяжелыя и бѣдныя содержаніемъ и направленіемъ, что нѣтъ никакого интереса читать ихъ. Даже споры „Иллюстраціи“ съ одною газеткою были такъ неловки и тяжелы, что не стоило труда и

начинать их. Извѣщая о смерти Августа Вильгельма Шлегеля, издатель „Иллюстраціи“ сказалъ, между прочимъ, что Шлегель былъ „порядочнымъ стихослагателемъ“, что онъ „обратился къ критикѣ по недостатку высшаго, самостоятельнаго таланта“ и что, будто-бы эту профессію (т. е. критику) въ отдѣльномъ ея видѣ, создала бездарность“ (№ 10)... Вотъ истинно-европейское, истинно-ученое понятіе о критикѣ! Мы понимаемъ, что издатель „Иллюстраціи“ не можетъ быть дозволенъ критикомъ, которая не слишкомъ снисходительна бывала къ нему, но въ то же время не шута боимся, чтобъ онъ, по изложенной имъ причинѣ, не сдѣлался критикомъ... Впрочемъ, онъ принимался и за критику, и все съ такимъ же успѣхомъ, съ какимъ брался за лирическую поэзію, за драму, за романъ, за повѣсть, за изданіе „Художественной Газеты“, „Дагеротипа“ и tutti quanti... Но Шлегель былъ превосходный переводчикъ и, для своего времени, превосходный критикъ. — Статьи, которыми наполняется „Иллюстрація“, большею частью запечатлѣны посредственностью и замѣчательною небрежностью. Изъ оригинальныхъ статей, только и можно указать на разсказъ г. Гребенки: „Чужая голова — темный лѣсъ“. Ко всему этому надо прибавить особенную манеру издателя выражаться какимъ-то страннымъ языкомъ: сотрудиникъ у него гласитъ истину, сѣни аристократическаго дома онъ хочетъ описать купно съ лѣсницею... Но всего лучше въ этомъ изданіи „Переписка“: ничего еще подобнаго не бывало въ русской литературѣ! Это самое забавное отдѣленіе „Иллюстраціи“: по крайней мѣрѣ, мы обязаны ему многими веселыми минутами. Когда-нибудь, въ замѣткахъ нашего журнала, мы выпишемъ нѣсколько примѣровъ этой наивно-курьезной переписки, чтобъ доставить богатый матеріалъ будущему историку русской литературы...

## ГОЛОСЪ ВЪ ЗАЩИТУ ОТЪ „ГОЛОСА ВЪ ЗАЩИТУ РУССКАГО ЯЗЫКА“.

Wär der Gedank' nicht so verwünscht gescheidt,  
Man wär versucht, ihn herzlich dumm zu nennen.

Schiller (*Wallenstein*),

Но умысль другой тутъ былъ:  
Хозяинъ музыки любилъ...

Крыловъ. (*Музыканты*).

Должно однакожь замѣтить, что литературныя несогласія того времени были не иное что, какъ рыцарскіе поединки, въ которыхъ дѣйствовали одними законными и честными оружіемъ; тогда искали торжества и славы своему, хотѣли выказать искусство свое, удовлетворить нѣкоторой удалости ума, искавшаго, въ подобныхъ ошибкахъ случайностей, гласности и блеска. По выше-приведенному замѣчанію, что у насъ тогда было болѣе аматёровъ, нежели артистовъ, слѣдуетъ, что и въ сихъ расприхъ выходили другъ противъ друга добровольные, безвзвѣжные бойцы, а не наемники, которые ратуютъ изъ денегъ, нападаютъ сегодня на того, за котораго дрались вчера, торгуютъ равно и присягою и оружіемъ своимъ, и за безуспѣхомъ своимъ въ бою на чистоту, готовы прибѣгать ко всякимъ пособіямъ предательства. Убѣгая съ открытаго поля битвы, поруганные и уязвленные побѣдителемъ, они не признаютъ себя побѣжденными: если стрѣлы ихъ не метки и удары не вѣрны, то они имѣютъ въ запасѣ другое оружіе, потаенное, ядовитое, имѣютъ свои неприступныя засады, изъ коихъ поражаютъ противниковъ своихъ навѣрное.

Князь Вяземскій (*Библиографическія и Литературныя Записки о Фонъ-Визинъ и его Времени, помѣщенные въ Утренней Зарѣ 1841 года*).

**Всѣ согласны въ очевидности успѣховъ нашей литературы. Каждая эпоха ея имѣла своихъ достойныхъ представителей; настоящая имѣетъ своихъ, и въ этомъ отношеніи ей нечего**

гордиться передъ своими предшественниками. Но она имѣетъ полное право гордиться передъ ними своею зрѣлостью. Съ годами она стала мужественнѣе, опытнѣе, умнѣе. И если она пережила не слышкомъ много годовъ, за то, въ пережитые ею немногіе годы, подвергалась многимъ неожиданнымъ измѣненіямъ, перепробовала много новыхъ путей мысли и формы; это принесло ей ту великую пользу, что „новость“ мысли или формы она уже не принимаетъ больше за достоинство этой мысли или за достоинство этой формы. Съ литературою, естественно, возмужала и публика. Теперь посредственность тщетно стала бы раяться въ павлиньи перья изысканной оригинальности, ложнаго пафоса, блестящей фразеологій: время успѣховъ ея миновало. Расчетливое корыстолюбіе, въ связи съ добродушною ограниченностью, тщетно стало бы теперь надѣвать на себя маску изступленнаго фанатизма: оно никого не увѣритъ въ глубокости своихъ убѣжденій, въ которыхъ всѣ увидятъ одно только низкое лицемеріе. Старый, выписавшійся сочинитель можетъ теперь сколько ему угодно нападать на талантъ и геній, на убѣжденіе и заслугу, и хвалить самого себя и свои сочиненія: отъ этого ни ему, ни его сочиненіямъ не будетъ лучше, такъ же какъ не будетъ хуже ни таланту, ни генію ни убѣжденію, ни заслугѣ. Имена потеряли теперь все свое очарованіе. Публика восхищается сочиненіями, а не именами. Кто бы ни издалъ для нея сборникъ хорошихъ статей,—если статьи хороши, она раскупаетъ сборникъ, хотя бы его издатель былъ вовсе ей неизвѣстенъ; если статьи плохи, она не покупаетъ сборника, хотя бы его издатель былъ знаменитое лицо въ литературѣ, и подъ статьями сборника тоже выставлены были громкія имена. Если бы гениальный писатель вдругъ издалъ что-нибудь недостойное его таланта и имени, это сочиненіе безъ всякихъ обиняковъ было бы названо всѣми посредственнѣйшимъ или плохимъ. Новый талантъ, великій или обыкновенный,

можетъ теперь смѣло выходить на литературное поприще безъ журнальныхъ и всякихъ другихъ протекцій: онъ сейчасъ же будетъ признанъ за то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, и его успѣхъ всегда будетъ болѣе или менѣе соответственъ его степени. Направленіе современной литературы русской носить на себѣ отпечатокъ зрѣлости и мужественности. Литература наша съ недоступныхъ высотъ великихъ идеаловъ, которыхъ осуществленій никто не видалъ и не встрѣчалъ на землѣ, спустилась на землю и принялась за разработку современной дѣйствительности, представляемой толпою. Этимъ, изъ предмета праздной забавы она слѣлалась предметомъ дѣльного занятія. Въ ней теперь утвърдились два великіе элемента — стражи здраваго эстетическаго вкуса противъ всего фразёрскаго, натянутаго, неестественнаго, слабаго, сантиментальнаго, ложнаго: мы говоримъ объ ироніи и юморѣ. Съ ними открытъ для нашей литературы прямой, широкій и надежный путь къ истиннымъ, плодотворнымъ успѣхамъ въ будущемъ.

Но главная, существенная сторона успѣховъ современной русской литературы заключается, конечно, въ томъ, что теперь широкъ и легокъ путь для таланта, узокъ и труденъ для посредственности, невозможенъ для бездарности. Но для этого самаго прогресса вышло не совсѣмъ отрадное слѣдствіе, какъ бы для доказательства того, что, если справедлива поговорка, „нѣтъ худа безъ добра“, видно, правда и то, что не бываетъ и добра безъ худа. Посредственность и бездарность всегда были завистливы, безпокойны и раздражительны; но теперь неудачи доводятъ ихъ до готовности пользоваться всѣми средствами для поддержанія своего падшаго кредита; для пораженія всѣхъ и каждаго, кто съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ дѣйствуетъ на литературномъ поприщѣ. Журнальная полемика — не новость въ нашей литературѣ. Почти всѣ записные читатели на святой Руси до страсти любятъ полемическія статьи; — и,

въ те же время, почти всѣ любятъ бранить полемику. Многие изъ нихъ точно такъ же отъ всей души убѣждены въ страшномъ вредѣ полемики для нравовъ, какъ и въ великой пользѣ для тѣхъ же нравовъ отъ преферанса, сплетень и зѣвоты. Что до насъ, — мы убѣждены, что въ благоустроенномъ обществѣ нестерпимы злоупотребленія полемики, т. е. дурной тонъ, площадная рѣзкость выраженій, личности; но что въ полемикѣ, умѣющей держаться въ предѣлахъ чисто-литературныхъ вопросовъ и выражаться прилично, нѣтъ никакого вреда, а напротивъ, есть много пользы, потому что такая полемика даетъ литературѣ жизнь и движеніе. Если бы иногда полемика и позволила себѣ немного забываться и проговариваться, — большей бѣды въ этомъ нѣтъ, и такого рода промахи должны подлежать суду общественнаго мнѣнія. Назадъ тому лѣтъ двѣнадцать, полемика наводняла собою всѣ журналы, и нельзя сказать, чтобы иногда она не грѣшила противъ хорошаго тона; но за то, и нельзя сказать, чтобы позволила себѣ такіа страннаа выходы, которыя скорѣе можно назвать „юридическими“, нежели „литературными“.

Недавно въ одномъ петербургскомъ журналѣ, однимъ очень уважаемымъ лицомъ въ нашей литературѣ, была высказана слѣдующая дѣльная мысль: „У насъ есть уже что-то похожее на школы, на партіи въ наукѣ и литературѣ; бываютъ споры хоть не совсѣмъ за идеи, а за сомолюбіе и карманы, однакожъ, въ нихъ сверкаютъ иногда искры идей, какъ крупицы золота въ глыбахъ рудокопной грязи. Все это пронзаетъ какую-то иглу въ общество, хотя не шумную и не богатую выигрышемъ, но показывающую, но крайней мѣрѣ, уже замѣчательное развитіе понятій, нѣкоторую самостоятельность умовъ“. Дѣйствительно, въ этихъ словахъ заключается очень вѣрная характеристика журнальной стороны современной русской литературы. Къ сожалѣнію, у насъ не во всѣхъ „глыбахъ рудокопной грязи“

сверкают искры идей, но есть глыбы, въ которыхъ все — грязь, и ни одной искорки. А между тѣмъ, теперь нѣтъ ни одной „глыбы“, которая не претендовала бы на идеи, не кричала бы о глубокомъ убѣжденіи; нѣкоторыя изъ этихъ глыбъ даже рѣшились говорить темнымъ мистическимъ языкомъ и не шутя обѣщаютъ измѣнить весь міръ къ лучшему, изгнать изъ него пороки и водворить въ немъ добродѣтель, для чего и съѣтуютъ міру—не жалѣть денегъ, подписываясь на нихъ, т. е. на глыбы то... Разумѣется; подобныя странности не могутъ получить никакого успѣха, на чемъ бы онѣ ни опирались—на некрѣпнѣе убѣжденіи, или на расчетѣ. Но во всякомъ случаѣ, неуспѣхъ раздражаетъ самолюбивую посредственность и лицемерную расчетливость. Надобно бороться противъ всего, въ чемъ есть истина и талантъ; но съ ними не ровень бой для лжи и бездарности: надобно изобрѣсти другое оружіе. И оно изобрѣтено и дѣйствуетъ, если пока и неуспѣшно, за то неотомимо, и съ большими надеждами на будущее. Какъ бы то ни было, но несомнѣнно одно—что съ нѣкотораго времени сдѣлались довольно частыми и обыкновенными полемическія статьи, въ которыхъ авторъ сперва очень вѣжливо отдастъ справедливость своему протівнику, начинаетъ съ литературнаго вопроса, а потомъ не замѣтно переходитъ къ патріотизму и т. п., тонко намѣкая, что его протівникъ такъ или сякъ грѣшитъ противъ того и другаго... Вы принимаетесь за статью, по заглавію которой думаете, что въ ней идетъ дѣло о весьма невинныхъ предметахъ, напримѣръ, грамматикѣ, риторикѣ, какого-нибудь литературнаго произведенія—повѣсти, романа, водевиля, — и вдругъ видите, что это вовсе не литературная статья, а что-то въ родѣ *prose verbale*... Еслибъ вы, читатель, были Ирани, то, прочтя такую статью, невольно воскликнули бы: „Бисмилляхъ! это что за новостіе?“ положили бы въ уста своего понятія слово удивленія и, за невозмож-



ностью рѣшить задачу, возложили бы упованіе на Аллаха... Просимъ извинить насъ за эти восточныя фразы: мы не давно вновь прочли „Мирау Хаджи-Бабу Исфагани“, на дняхъ вышедшаго вторымъ изданіемъ, и какъ-то невольно исполнились восточнаго духа: передъ нашими глазами такъ и вертятся то муфтіи, готовые обвинить правовѣрнаго въ нерадивомъ выполненіи ежедневнаго намаза, то грозныя ферраши, всегда готовые, по мнѣнію кадія, повалить правовѣрнаго на спину, вставить его ноги въ фелекъ и бить по пятамъ палкою до тѣхъ поръ, пока сердце его не обратится въ кебабъ (мелко-рубленое жаркое), мозгъ не засохнетъ въ костяхъ, чрева не обратится въ воду, и душа не выскочитъ изъ всѣхъ отверстій его тѣла.

Въ одинадцатой, т. е. ноябрьской книжкѣ „Москвитянина“ за прошлый 1845 годъ, благополучно достигшей береговъ Невы въ январѣ благополучно наступившаго 1846 года есть статья: „Голосъ въ защиту русскаго языка“ (Д. Голохвастова). Она начинается такъ:

Въ 8 № Отечественныхъ Записокъ за А (а)вгустъ *сего* (т. е. 1845) года, въ отдѣлѣ Библиографической Хроники помѣщена особенно замѣчательная статья, разборъ книги «Грамматическія Размысленія В. А. Васильева». Она замѣчательна не потому, что сочиненіе г. Васильева удостоивается (*здесь въ чемъ?*) особенной похвалы, не потому, что отдается должная справедливость знаменитому труду О. П. (п)ротоіерея Павскаго, и не потому только, что возвѣщаетъ любителямъ отечественнаго языка, что «последняя, шестая, часть Филологическихъ Наблюденій приводится къ окончанію авторомъ и вмѣстѣ съ четвертою и пятою не замедлитъ поступить въ печать». — Статья сама по себѣ замѣчательна *субъективно* и *объективно*. Первое, по тону рецензента и его способу изложенія; второе, по тому, что главный предметъ ея параллель Р(р)усскаго языка съ Ф. (ф)ранцузскимъ. Последний безусловно восхваляется.

А Россія—Боже мой!—  
Таска... да какая!

Мешаллахъ, мешаллахъ! это что за „буква“? Таска — да еще какая! и кому же? Россія!!!... Мы сейчасъ покажемъ,

въ чемъ угодно было „Москвитяину“ увидѣть нашу (съ позволенія сказать!) тѣску Россіи; но сперва отвѣтитъ на вступительные пункты „Голоса“ „Москвитяинна“. Почтенный журналъ продолжаетъ:

«У насъ съ нѣкотораго времени Ж(ж)урналы, по праву сильнаго завладѣнія, почти исключительно поставили себя стражами, законодателями и оракулами въ наукахъ и словесности. Огромное вліяніе ихъ на сію послѣднюю производится не отдѣльными статьями, сообщаемыми и подписанными кѣмъ либо изъ сотрудниковъ Ж(ж)урнала или постороннихъ его владчиковъ. Такія статьи составляютъ не болѣе (.) какъ голосъ или мнѣніе кого-нибудь одного: а одному не всегда и не скоро удается сдѣлаться главою школы. Главное сосредоточіе этого вліянія два особыя отдѣла, собственно *Критика* и *Библиографическая Хроника*, нигдѣ не подписываемыя. — Этотъ обремененный, періодическій трудъ постоянныхъ рецензентовъ Ж(ж)урнала, есть голосъ редаціи, которая за него стоитъ круговой порукой, голосъ самого Ж(ж)урнала, проявленіе его духа и направленія, которое тѣмъ болѣе распространяется, чѣмъ болѣе Ж(ж)урналъ имѣетъ подписчиковъ и читателей. И въ этомъ отношеніи Отечественнымъ Запискамъ неоспоримо принадлежитъ преимущество передъ всеми другими Ж(ж)урналами нынѣшняго времени.»

Журналы, видите ли, „по праву сильнаго завладѣнія“, поставили себя стражами, законодателями и оракулами въ наукахъ и словесности! Нѣтъ, господинъ „Москвитяинъ“, это не такъ! Журналы у насъ судятъ о предметахъ науки, искусства и литературы не по праву „сильнаго завладѣнія“, а по изволенію Высшей Власти, со временъ Петра-Великаго и до настоящаго мгновенія содѣйствующей и благотворящей успѣхамъ просвѣщенія и образованности въ Россіи. Было время, когда Великая Монархія была участницею журнала, въ качествѣ писателя. Теперь журналистика сдѣлалась потребностью образованной части русскаго общества, вошла, такъ сказать, въ его привычки и нравы, именно вслѣдствіе этого дѣятельнаго покровительства свыше. Что теперь есть (какъ и были прежде и, въ сожалѣнію, будутъ всегда) журналы, которые добиваются попасть въ законодатели и оракулы наукъ и словесности; —

это правда; но правда и то, что именно этого-то рода журналы и не успѣваютъ никогда въ своемъ намѣреніи, потому что успѣхъ всегда остается на сторонѣ журналовъ, которые безъ претензій, но за то съ талантомъ и знаніемъ дѣла, объявляютъ свое мнѣніе о предметахъ, законно подлежащихъ ихъ сужденію, т. е. о наукѣ, искусствѣ и литературѣ. Что хорошій журналъ долженъ имѣть определенное мнѣніе, быть вѣрнымъ однажды принятому имъ направленію, подъ опасеніемъ оказаться плохимъ и кануть въ Лету, или едва влачить свое чахоточное существованіе — въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго. Подписываются, или не подписываются критическія и библиографическія статьи въ журналѣ, — это рѣшительно все равно и нисколько не измѣняется сущности дѣла. Когда журналистъ — человѣкъ безъ мнѣнія, журналъ его будетъ безцвѣтенъ и мертвъ, хотя бы его сотрудники и не подписывали подъ статьями своихъ именъ. Когда же журналистъ знаетъ свое дѣло, — статьи множества его сотрудниковъ, съ подписью ихъ именъ, всегда будутъ согласны съ его мнѣніемъ, потому что онъ не допуститъ до участія въ своемъ журналѣ людей разномыслящихъ, о которыхъ можно сказать:

Занѣмъ молодцы: кто въ дѣлѣ, кто по драмѣ!

Вотъ, напримѣръ, въ „Москвитяинѣ“ всѣ критики и рецензій подписываются или полными именами, или хотя главными буквами именъ, и всѣ эти статьи толкуютъ о чемъ-то объ одномъ, кажется, о словенствѣ или славянствѣ, или о чемъ-то этакомъ; но — странное дѣло! — во всѣхъ этихъ статьяхъ, толкующихъ объ одномъ, именно одного-то и нѣтъ; оттого ли, что гг. сотрудники не совсѣмъ понимаютъ о чемъ: сами говорятъ, или оттого, что не могутъ согласиться другъ съ другомъ, — отъ той или другой причины; или по общему мнѣнію, только въ „Москвитяинѣ“ часто выходить разрозненіе. За доказательствомъ не далеко ходить: Г.

Шевыревъ, разбирая „Мертвыя Души“, до небесъ превознесъ ихъ автора, а „Голосъ въ Защиту Русскаго Языка“ очень немного хорошаго видитъ въ Гоголѣ. Неужели такое разнорѣчіе одного и того же журнала въ одномъ и томъ же писателѣ— есть достоинство, заслуга? И неужели говорить всегда одно и то же, не противорѣча самому себѣ, есть больше, чѣмъ недостатокъ журнала? Чтò за странная логика у „Москвитянина“!..

Но послушаемъ его дальше:

«Не сочувствуя духу и направленію О. З. нельзя однакоже отказать въ справедливомъ уваженіи, на которое имъ даютъ право, во первыхъ, постоянная и строгая исправность ихъ выхода; во вторыхъ, крѣпъ *здоровой толщины* (слова О. З.) книжекъ, точное выполненіе многосторонней программы Ж(ш)урнала. Переводныя статьи, иногда заключающія въ себѣ цѣлыя книги, непремѣнно новы и большею частію хорошо переведены. Въ Критикѣ иногда встрѣчаются статьи (,) писанныя бойкимъ перомъ мастера. Матеріальная часть всегда въ порядкѣ относительно исправности печати и даже раскладки книжекъ. Вообще видна какая-то постоянная внимательность къ читателямъ, заботливость, сдѣлать ихъ довольными, которая заставила бы думать, что удовлетвореніе вполнѣ ихъ ожиданій и выѣстъ огромное вліяніе на мнѣніе публики суть двѣ единственныя цѣли Ж(ш)урнала, и что, за ними, уже какъ не минуемое послѣдствіе, придеть, сама собою данъ нѣсколькихъ тысячъ подписчиковъ; но О. З. сами открываютъ совсѣмъ другое, усиливаясь доказать, даже съ нѣкоторою досадою, что въ журнальномъ, также какъ въ мануфактурномъ и торговомъ производствѣ, деньги суть цѣль и средство.»

Благодаримъ за похвалы нашему журналу, какъ кажется, не совсѣмъ незаслуженныя; но и не попустимъ неправды, совершенно незаслуженно на него взводимой. Да будетъ извѣстно „Москвитянину“ и всѣмъ, кому нужно это знать, что „Отечественныя Записки“ никогда не говорили, что будто бы въ журнальномъ производствѣ деньги суть и цѣль и средство. „Москвитянинъ“ ссылается, въ доказательство справедливости своего обвиненія, на слѣдующія строки „Отечественныхъ Записокъ“.

«Съ появленіи «Библиотеки для Чтенія», литературный трудъ сдѣлался капиталомъ... Много было тогда объ этомъ споровъ, и многіе видѣли въ этомъ униженіе литературы, литературное торгашество. Рыцари литературнаго безкорыстія, или, лучше сказать, литературнаго дон-кихотства, не замѣчали, что въ ихъ пышныхъ фразахъ больше ребячества, нежели возвышенности чувства. Въ наше время, когда не богачамъ жить такъ трудно и жить можно только трудомъ, въ наше время не цѣнить литературы на деньги, значить не цѣнить ея ни во что, не признавать ея существованія. Дѣйствительно, можно ли предполагать богатую литературу тамъ, гдѣ книги—не товаръ, и гдѣ говорить: «все товаръ—и битое стекло, и мусоръ, и несокъ; но книга—не товаръ»? Можно ли предполагать дѣйствительное существованіе литературы тамъ, гдѣ можетъ жить своимъ трудомъ и подѣнщикъ, и разнощикъ, и продавецъ стараго тряпья, и битой посуды, и тѣмъ болѣе писецъ,—но гдѣ не можетъ жить своимъ трудомъ писатель, литераторъ? Чтѣ бы ни говорили, не аксіома неоспоримая, что нельзя въ одно и то же время быть вполне и хорошимъ чиновникомъ и хорошимъ литераторомъ: чиновникъ непремѣнно будетъ мѣшать литератору, а литераторъ чиновнику. Чтѣбы быть ученымъ, не-этомъ или литераторомъ вполне, необходимо видѣть въ наукѣ, въ искусствѣ, или въ литературѣ свое исключительное призваніе, свое, такъ сказать, ремесло, свой родъ промышленности, говоря языкомъ политической экономіи.

Гдѣ жь тутъ сказано, что деньги—и цѣль и средство въ литературѣ? Послѣ этого все поэты и художники нашего времени—торгаши, работающіе только для денегъ? И изъ всехъ поэтовъ, Байронъ особенно долженъ быть обвиненъ въ торгашествѣ, потому что, получивъ богатое наследство, онъ все-таки бралъ съ Муррая страшныя суммы за свои поэмы. Пушкинъ получалъ отъ книгопродавца за каждый стихъ свой по червонцу: торгашъ, для котораго въ поэзіи деньги были и средствомъ и цѣлью! Сколько намъ извѣстно, знаменитый нашъ живописецъ К. П. Брюловъ никому не даетъ даромъ своихъ картинъ, но беретъ за нихъ хорошія деньги; торгашъ, для котораго въ живописи, деньги суть и средства и цѣль!... Кто же не торгашъ?... Позвольте: чтѣ это напечатано на задней обложкѣ „Москвитянина“. А! объявленіе о продолженіи „Москвитянина“ на 1846 годъ, съ краткимъ, но краснорѣчивымъ извѣщеніемъ, что „подписная цѣна за 12 книгъ, большаго

формата, въ большую осьмушку, на ЛУЧШЕЙ бѣлой бумагѣ (.) 40 рублей, съ пересылкою 15 рублей ассигнаціями... Но, можетъ-быть, „Москвитянинъ“ хотѣлъ этимъ намекнуть, что бывають-де на свѣтѣ безкорыстные журналы, которые ничего не платятъ своимъ сотрудникамъ и вкладчикамъ? Дѣйствительно, бывають,—и стоить только перелистовать хоть одну книжку такого журнала, чтобъ убѣдиться въ томъ, что онъ ничего не платитъ за статьи: онъ такъ плохъ, что у читателя невольно рождается подозрѣніе, ужъ не платятъ ли сотрудники журнала за помѣщеніе въ немъ своихъ сочиненій... Впрочемъ, что не больше, какъ подозрѣніе, въ которое можетъ впасть только неопытный читатель, опытнымъ извѣстно, что такіе сердобольные журналы—родъ литературныхъ богадѣленъ, гдѣ призрѣваются всѣ литературные недужные и калеки, всѣ убогіе и нищіе умомъ и дарованіемъ. Безкорыстный журналистъ не всегда бываетъ въ накладѣ отъ своего сердоболія: ничего не платя своимъ сотрудникамъ, онъ тѣмъ болѣе получаетъ самъ—для доказательства, что деньги есть только средство, а не цѣль въ литературѣ... Безмятные журналы издавать легко: на нихъ нужно такое небольшое количество подписчиковъ, какое всегда найдется, при известной ловкости,—а издатель, поэтому, всегда будетъ съ барышомъ, небольшимъ, но вѣрнымъ. Вотъ отчего иногда тянется столько лѣтъ сряду иной журналецъ, котораго почти нигдѣ не видно и котораго, по видимому, никто не читаетъ...

Обвинивъ „Отечественныя Записки“ такъ основательно въ явномъ проповѣдованіи мысли, будто въ журнальномъ дѣлѣ деньги не только средство, но и цѣль, „Москвитянинъ“ пускается въ разсужденія о томъ, что прежде труднѣе было сдѣлаться критикомъ, нежели теперь, послѣ чего вдругъ переходитъ къ статьѣ „Отечественныхъ Записокъ“, возбудившей его негодованіе, и смущается духомъ отъ словъ „Отечественныхъ

Записокъ“, что первымъ критикомъ на Руси былъ Карамзинъ, а послѣ него—Жуковский и Мерзляковъ. Что же тутъ не понравилось „Москвитяину“, что смутило его такъ? А то, что, видите ли, и прежде Карамзина были критики. Дѣйствительно были, хотя и до того плохіе, что о нихъ не стоитъ и упоминать. Не всякій тотъ критикъ, кто пишетъ критики, такъ же какъ не всякій тотъ поэтъ, кто пишетъ стихи. Критикъ—тотъ, чьи мнѣнія имѣютъ вѣсъ и принимаются публикою, кто, слѣдовательно, имѣетъ большее или меньшее вліяніе на развитіе и направленіе вкуса въ обществѣ. Чтобы быть такимъ критикомъ, вовсе не нужно представить заранѣе „собственныя произведенія, если не въ образецъ, то въ оправданіе своихъ мнѣній“, какъ утверждаетъ „Москвитяинъ“. Чтобы быть хорошимъ критикомъ, вовсе не нужно быть поэтомъ, такъ же какъ для того, чтобы быть хорошимъ поэтомъ, вовсе не нужно быть критикомъ. Винкельманъ не былъ скульпторомъ и не представилъ ни одной статуи „если не въ образецъ, то въ оправданіе своихъ мнѣній“, — и тѣмъ не менѣе онъ—Винкельманъ, а не „Москвитяинъ“. Что Карамзинъ, будучи хорошимъ для своего времени критикомъ, былъ вѣстѣ и такимъ же поэтомъ и писателемъ,—это дѣлаетъ ему двойную честь и славу; но нѣтъ ни малѣйшей нужды дѣлать изъ этого примѣра общее правило. „Рецензентъ можетъ быть авторомъ однихъ рецензій, и тѣ писать языкомъ небрежнымъ, неправильнымъ“, говоритъ „Москвитяинъ“. Это еще что за новость? Писать однѣ рецензій, а не писать вѣстѣ съ ними, напримеръ, хоть рецептовъ, значить впасть въ вину? Да сочинитель этой удивительной статьи долженъ быть человекъ весьма оригинальный и вѣстѣ съ тѣмъ непошрне строгій! Онъ напоминаетъ намъ доктора Франція, который чуть не повѣсилъ парагвайскаго сапожника за то, что тотъ не умѣлъ починить сабля. Какое для насъ счастье, что мы не Парагвайцы:—худо

было бы намъ!... Касательно же того, что рецензентъ теперь можетъ писать рецензіи языкомъ небрежнымъ и неправильнымъ, — это не новость, и дивиться тутъ нечему: всѣ рецензенты, критики, поэты, словесники искони вѣковъ пользовались правомъ писать такимъ языкомъ, какимъ они умѣютъ, какимъ они въ свлахъ писать. Исключеніе остается, кажется, только за китайскими сочинителями, потому что въ Китаѣ, подъ опасеніемъ ста ударовъ бамбукомъ по ушамъ, по несуду, нельзя писать, не получивъ на это права отъ палаты десяти тысячъ церемоній. Оттого такъ и процвѣтаетъ литература Средняго Имперіи! Во всѣхъ другихъ странахъ міра это дѣлается совсѣмъ иначе: всякій можетъ писать какъ умѣетъ. У насъ тоже.

Понятія о небрежномъ и неправильномъ языкѣ условны; одному кажется такъ, другому — иначе. „Москвитянину“ языкъ „Отечественныхъ Записокъ“ кажется небрежнымъ и неправильнымъ, а намъ языкъ „Москвитянина“ кажется еще хуже, нежели небрежнымъ и неправильнымъ. Вотъ для образчика нѣсколько строкъ изъ „Москвитянина“: „Конечно, изъ всей громады мыслей и чувствъ, волнующихъ славянское племя, возникающее изъ праха и отряхающее вѣковой сонъ съ отяжелѣвшихъ вѣждъ, изъ всѣхъ стремленій, переходящихъ въ бытіе, наибольшее наше участіе должна возбуждать жизнь единовѣрныхъ Сербовъ, связанныхъ съ нами крѣпче другихъ узами православія, братской любви и сильнѣйшимъ предчувствіемъ, что опора и надежда ихъ самостоятельности заключается въ Россіи.“ Чтò это такое — „громада мыслей и чувствъ“? Чтò такое — „стремленія, переходящія въ бытіе“? Чтò такое: „главное огнище священнаго огня къ родинѣ“ въ той же статьѣ (Письмо изъ Вѣны о славянскихъ новостяхъ, г-на Ригельмана, стр. 37 и 41)?... Можетъ-быть, все это — образчики правильного, обработаннаго языка русскаго? Можетъ-быть!



Не споримъ—на вкусъ товарища нѣтъ! Выраженія въ статьѣ „Голосъ въ защиту русскаго языка“ въ родѣ: на сію послѣднюю, не обнаруживаютъ, по нашему мнѣнію, умѣнья хорошо писать. Правда, г. Д. (подъ статью „Москвитянина“ подписана буква Д.) пишетъ довольно правильно; но чтобъ онъ писалъ хорошо—это другой вопросъ, который онъ рѣшаетъ по-своему, мы тоже по-своему, и котораго настоящимъ рѣшителемъ можетъ быть только публика... Продолжая свои нападки на рецензента нашего времени, или — сказать прямо — на рецензента „Отечественныхъ Записокъ“, „Москвитянивъ“, или его сотрудникъ г. Д. говорить, что для него, рецензента нашего времени, нѣтъ законовъ, а онъ самъ законъ для всѣхъ, что онъ неумолимъ, какъ *fatum* древнихъ, изрекаетъ свои приговоры безъ розысканій и доказательствъ, на основаніи собственного произвола, увѣренъ въ своей непогрѣшительности. Изъ чего все это слѣдуетъ? Богъ вѣсть! Изъ того, вѣроятно, что рецензентъ нашего времени рѣшается „сѣсть свое сужденіе имѣть“, — между тѣмъ, какъ г. Д., сколько замѣтно по тону статьи его, явно выдаетъ произволъ своихъ мнѣній за высшую инстанцію рѣшенія литературныхъ вопросовъ.

Достигши своей главной цѣли, т. е. обвиненія „Отечественныхъ Записокъ“ въ разныхъ небывалыхъ, но тѣмъ не менѣе важныхъ недостаткахъ, „Москвитянинъ“, или его сотрудникъ г. Д., переходятъ къ своей побочной цѣли—къ разбору рецензиса „Отечественныхъ Записокъ“ на книжку г. Васильева „Грамматическія Розысканія“. (Въ этой же части стр. 100—107). Онъ дѣлаетъ изъ нашей статьи длинныя выписки, заключая каждую изъ нихъ короткимъ замѣчаніемъ собственной работы. Мы не можемъ и не хотимъ перепечатывать вновь своей статьи, и потому постараемся изложить какъ можно короче ея содержаніе, подавшее поводъ къ такимъ нападкамъ со стороны „Москвитянина“, и главные пункты этихъ нападковъ.

Въ нашей статьѣ было сказано, что русскій языкъ чрезвычайно богатъ, гибокъ и живописенъ для выраженія простыхъ, естественныхъ понятій, въ доказательство чего указано было на то, что въ русскомъ языкѣ иногда для выраженія разнообразныхъ оттѣнковъ одного и того же дѣйствія существуетъ до десяти и больше глаголовъ одного корня, но разныхъ видовъ. Выше мимоходомъ было замѣчено, что русскій языкъ способенъ къ воспроизведенію изящной эллинской рѣчи. Теперь прибавимъ къ этому, что послѣднее свойство изъ новыхъ европейскихъ языковъ, кромѣ русскаго, принадлежитъ только нѣмецкому и всего менѣе французскому, на которомъ нѣтъ никакой возможности читать Гомера, какъ бы переводъ ни былъ хорошъ. Между тѣмъ, въ статьѣ нашей было сказано, что русскій языкъ еще не развился, не обработанъ, грамматика его не установилась; что нашъ писменный и разговорный языкъ тяжелъ, книженъ, бѣденъ словами и оборотами; что наше длинное мѣстоименіе который и длинныя причастія, дѣйствительныя и страдательныя, дѣлаютъ нашу рѣчь неуклюжею, растянutoю, тяжелою и книжною. При этомъ замѣчено о превосходствѣ французскаго языка для легкой литературы, для писемъ и для разговора въ обществѣ. Замѣчено, что новые европейскіе языки, происшедшіе отъ латинскаго, получили отъ него богатое наслѣдіе словъ, выражающихъ глубоко-раціональныя понятія, выработанныя древнею цивилизаціею. Это признано нами, какъ и прежде насъ признано цѣлымъ свѣтомъ, за великое преимущество новѣйшихъ европейскихъ языковъ передъ русскимъ, который, поэтому, необходимо долженъ испещряться иностранными словами.

Вотъ въ сущности все содержаніе статьи „Отечественныхъ Записокъ“, возбудившей негодованіе „Москвитянина“. Не понимаемъ, что въ ней оскорбительнаго для нашего національнаго чувства? Послѣ этого, какъ же прикажете изслѣдовать

предметы науки, искусства и литературы? После этого, отдать итальянскому климату преимущество предъ петербургскимъ— значить ни больше, ни меньше, какъ „таска Россіи?... Что русскій языкъ—одинъ изъ богатѣйшихъ языковъ въ мірѣ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но при этомъ не должно забывать историческаго развитія Россіи и быстрого оборота, произведеннаго въ немъ реформою Петра-Великаго. До Петра-Великаго, русскій языкъ вполне соответствовалъ нравственному состоянію Руси и былъ больше, чѣмъ только достаточенъ для выраженія всего круга понятій того времени. Но съ реформою Петра-Великаго, отворившею двери Россіи до толѣ чуждымъ ей понятіямъ, русскій языкъ по необходимости долженъ былъ подвергнуться наводненію чужестранныхъ словъ и даже оборотовъ, а высшее общество по необходимости должно было предпочесть чужой языкъ своему родному. Теперь, когда у насъ есть уже литература и когда самый языкъ, подвергся большимъ измѣненіямъ, эта необходимость не существуетъ болѣе и для высшаго общества. Но, несмотря на то, еще не близко время окончательнаго установленія русскаго языка, и чѣмъ оно отдаленнѣе, тѣмъ больше надежды на болѣе богатое развитіе нашего языка.

Еще разъ спрашиваемъ: что обиднаго въ нашихъ словахъ для чести русскаго языка или русской національности? Можетъ-быть, наше мнѣніе невѣрно, ошибочно, даже вовсе ложно? Положимъ, что такъ; но неужели право ошибаться есть чье-нибудь исключительное право? Вѣдь „Москвитянинъ“, вѣрно, не считаетъ же себя непогрѣшительнымъ? Если наше мнѣніе о русскомъ языкѣ показалось ему ошибочно, или ложно: онъ могъ сдѣлать свои замѣчанія на наше мнѣніе, опровергнуть его; но не долженъ, не въ правѣ былъ приписывать намъ, по этому поводу, намѣреній, которыхъ у насъ вовсе не было. Къ чему такая нетерпимость къ чужому мнѣнію, и въ комъ же?

въ журналѣ, который безпрестанно разсуждаетъ о добродѣтели, кротости, смиреніи, любви!...

Но взглянемъ на доводы „Москвитянина“. Первый запросъ его намъ состоитъ въ томъ, зачѣмъ, говоря о вліяніи на русскій языкъ нашихъ знаменитѣйшихъ свѣтскихъ писателей, умолчали мы о вліяніи на него писателей духовныхъ? Отвѣчаемъ: журнальная рецензія—не диссертація, не ученая книга, гдѣ предметъ сочиненія изчерпывается по мѣрѣ возможности весь, до дна. Явится другая книжка въ родѣ сочиненія г. Васильева, мы, разбирая ее, скажемъ то, чего не досказали по поводу первой; явится третья—опять найдется чтò сказать по ея поводу о томъ же предметѣ. Сверхъ того, мы были, какъ говорится, въ своемъ правѣ, говоря о вліяніи на русскій языкъ только свѣтскихъ писателей, такъ же, какъ всякій другой былъ бы въ своемъ правѣ, говоря о вліяніи на нашъ языкъ только духовныхъ нашихъ писателей. Тутъ всѣ многозначительные вопросы: зачѣмъ и почему, не имѣютъ мѣста, и на нихъ одинъ отвѣтъ: потому что такъ хотѣли мы.

Второй запросъ состоитъ въ томъ, зачѣмъ „Отечественныя Записки“ не показали вліянія на языкъ нашего юридическаго краснорѣчія? „Или“ (многознаменательно и чисто-юридически замѣчаетъ рецензентъ) „эта отрасль языка у народа, имѣющаго гражданское устройство, такъ ничтожна, что не заслуживаетъ и упоминовенія?“ Отвѣчаемъ на это: мы вовсе не знакомы съ русскимъ судебнымъ краснорѣчіемъ, потому что, какъ замѣчаетъ самъ судія нашъ, произведенія этого рода не напечатаны. А о томъ, чтò не напечатано, журналъ не имѣетъ права и судить. Рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ нисколько не сомнѣвается, что рецензентъ „Москвитянина“ знаетъ всѣ науки, и что ему въ особенности знакомъ языкъ юридическій, какъ это доказываетъ статья его: тѣмъ лучше для него,—ему книги въ руки!

Третій запросъ: почему рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“, говоря о Пушкинѣ, какъ преобразователь языка, останавливается на повѣсти „Арапъ Петра Великаго“, и не говорить ни слова объ „Исторіи Пугачевского Бунта“? Отвѣтъ: рецензентъ забылъ, и охотно признаетъ свою забывчивость непростительною, а третій запросъ дѣльнымъ.

Четвертый запросъ: почему рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ не упоминаетъ напримѣръ о „Письмахъ Русскаго Офицера“, О. Глинка? Отвѣтъ: оттого, что не считаетъ ихъ стѣдными упоминовенія. Можетъ-быть, рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ въ этомъ случаѣ ошибается, но „ошибки суть свойственны человѣку“, — *ergaе humanum est*. Почему же онъ не упомянулъ о другихъ, дѣйствительно важныхъ произведеніяхъ, упоминаемыхъ ниже рецензентомъ „Москвитянина“ — причина та, что онъ писалъ не диссертацию, а рецензію.

Что касается до стиховъ Кольцова, приведенныхъ въ рецензіи „Отечественныхъ Записокъ“, какъ примѣръ живописности русскаго языка въ изображеніи предметовъ природы, они дѣйствительно выражаются такимъ слогомъ, который очень естественъ въ произведеніи написанномъ въ духѣ народной поэзіи.

Но вотъ самый страшный запросъ: гдѣ рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ изучалъ русскій языкъ — въ пословицахъ, въ пѣсняхъ, въ историческихъ актахъ? Потомъ, именно гдѣ и въ чемъ изучалъ онъ — въ своемъ кабинетѣ, въ бархатныхъ сапогахъ, или въ другихъ какихъ-нибудь мѣстахъ, и въ другихъ сапогахъ? На это рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ имѣетъ честь отвѣтить рецензенту „Москвитянина“, что бархатныхъ сапоговъ онъ не носитъ, что русскій языкъ изучалъ онъ больше всего въ сочиненіяхъ русскіихъ писателей, и въ образованномъ обществѣ; съ пословицами знакомъ; сказки и пѣсни, собранныя Киршею Даниловымъ, знаетъ чуть не наиз-

зустъ; читывалъ не безъ вниманія и другіе сборники произведеній народной поэзіи; къ русскому народу прислушивался... Во всякомъ случаѣ, съ отроческихъ лѣтъ по-страсти занимался русскою литературою и русскимъ языкомъ, и лѣтъ около пятнадцати дѣйствуя на литературномъ поприщѣ съ такою удачею, что самъ „Москвитянинъ“ призналъ нѣкоторыя критическія статьи его въ „Отечественныхъ Запискахъ“ писанными бойкимъ перомъ мастера, рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ думаетъ, что въ дѣлѣ русской литературы и русскаго языка онъ что-нибудь знаетъ, — можетъ-быть, не такъ много, какъ рецензентъ „Москвитянина“, г. Д., но вѣдь не всѣмъ же быть генералами, т. е. полководцами; для многихъ и офицерскій чинъ — недостижимая высота: овому талантъ, овому два...

Далѣе рецензентъ „Москвитянина“ дѣлаетъ намъ запросъ: въ какихъ салонахъ au Marais, à la Chaussée d'Antin, или въ предмѣстіи Saint-Germain, случалось намъ слышать слова substance, absolut, abstrait, concret, и есть ли во французскомъ словарѣ Академіи слова indifférentisme и obscurantisme? Отвѣтъ: рецензентъ „Отеч. Записокъ“ не былъ во Франціи, и ему мало нужды до того, какія употребляютъ, или не употребляютъ слова салоны au Marais, à la Chaussée d'Antin и въ предмѣстіи Saint-Germain. Прошло уже то время, когда свѣтъ образованія былъ монополіею этихъ трехъ пунктовъ Парижа; онъ теперь во всемъ Парижѣ, вездѣ, гдѣ сходятся образованные люди. Слово substance имѣетъ не одно философское значеніе, но и житейское: оно означаетъ и припасы (съѣстные), и матерію, и сущность; absolut — самое употребительное слово, особенно въ приложеніи къ словамъ: gouvernement, puissance, monarchie: можетъ ли быть оно не употребительнымъ въ простомъ разговорѣ тамъ, гдѣ всѣ помѣшаны на полтиктѣ? Слово individu самое простое, его встрѣтите и въ романѣ, и въ комедіи,

и въ водевилѣ. Есть ли слова: *indifférentisme* и *obscurantisme* въ словарѣ Французской Академіи, изд. 1835 года, не можемъ сказать, за неимѣніемъ подъ рукою этого словаря; но, въ утѣшеніе рецензента „Москвитянина“, скажемъ, что они есть не только въ „*Dictionnaire général et grammatical des Dictionnaires français*“ Наполеона Ланде, изданномъ въ 1843-мъ году, но даже въ „Словарѣ“ Татищева, изданномъ въ 1839—1841 годахъ. Впрочемъ, до словарей намъ дѣла нѣтъ: съ насъ довольно и того, что эти слова встрѣчаются даже въ романахъ и повѣстяхъ лучшихъ французскихъ писателей, которые не слѣдуютъ примѣру Нѣмцевъ, пишущихъ книжнымъ или темнымъ языкомъ.

Теперь мы дошли до такой мысли „Москвитянина“, которая по самой оригинальности своей, весьма замѣчательна. Рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ назвалъ слова: „фабрика, губернія, маляръ, кучеръ, мастеръ, мастерство, подмастерье, смастерить“—иностранными, вошедшими въ составъ русскаго языка. Рецензентъ „Москвитянина“, прибавивъ къ нимъ, какъ онъ говоритъ, и старшихъ ихъ братьевъ азіятскаго происхожденія: „ясакъ, орлыкъ, аргамакъ, халатъ“, изъясняетъ свое согласіе признать всѣ эти слова не русскими, а иностранными, но не просто, а на томъ условіи, чтобъ рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ доказалъ ему, что „тѣ, чьи предки выѣхали въ XIX столѣтіи отъ Нѣмцевъ и изъ Золотой-Орды къ Дмитрію Іоанновичу Донскому, и доселѣ не Русскіе, а иностранцы, хотя 500 лѣтъ исповѣдаютъ (исповѣдываютъ) православную вѣру, говорятъ русскимъ языкомъ, служатъ и пользуются всѣми правами гражданства“. Рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ рѣшительно отказывается доказывать такую странность; а что касается до упомянутыхъ словъ, онъ такъ же признаетъ ихъ не русскими, а иностранными; какъ русскихъ людей иностраннаго, и при томъ древняго происхожденія, призна-

еть совершенно Русскими, а не иностранцами,—и основывается на томъ, что национальность человѣка способна къ перерожденію физическому и нравственному, и что слова не исповѣдываютъ никакой вѣры, не женятся и не родятъ.

Особенное негодование возбудило въ „Москвитянинъ“ мнѣніе „Отечественныхъ Записокъ“ о непереводимости на русскій языкъ французскаго слова *charité*, котораго значеніе не вполне передается русскими словами „милосердіе.“ „Москвитянинъ“ почелъ долгомъ воспользоваться этимъ случаемъ. Онъ приводитъ тексты изъ апостола Павла на французскомъ, русскомъ, церковнославянскомъ и нѣмецкомъ языкѣ, изъ которыхъ видно, что французское слово *charité* по-русски и по-нѣмецки замѣнены словомъ любовь. Не явное ли это доказательство, что у Французовъ словомъ больше противъ Русскихъ и Нѣмцевъ, потому что, кромѣ слова *amour* (любовь), у нихъ есть еще и слово *charité*, которое означаетъ дѣятельную, практическую любовь, обнаруживающуюся стремленіемъ облегчать страданія ближняго. Мы не думали доказывать, что отсутствіе этого слова у народа можетъ служить признакомъ отсутствія и выражаемаго имъ понятія. Нѣтъ, отсутствіе слова *charité* даетъ слову любовь только обширнѣйшее значеніе, а у Французовъ оно служитъ признакомъ филологическаго, а отнюдь не христіанскаго преимущества передъ нами. Поэтому, совершенно неумѣстны слѣдующія фразы „Москвитянина“. „Жалокъ тотъ народъ, не совѣтъ полудикій который живетъ и не имѣетъ въ своемъ языкѣ слова, для выраженія вполне понятія (,) заключающагося въ словѣ *charité*“, и что „этотъ народъ—Русскій“. Хорошее ли дѣло произвольно приписывать другимъ подобныя мысли?...

За тѣмъ, въ статьѣ „Москвитянина“ слѣдуетъ длинный рядъ фигуръ единоначатія, начинающихся фразою „не вѣримъ рецензенту Отечественныхъ Записокъ“. Дѣйствительно, рецензентъ



„Москвитянина“ такъ же ни въ чемъ не вѣрить рецензенту „Отечественныхъ записокъ“, какъ рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ ни въ чемъ не вѣрить рецензенту „Москвитянина“. Дѣло очень простое и естественное: зачѣмъ же дѣлать изъ него что-то важное? Вотъ и оказалось, кто считаетъ себя непогрѣшительнымъ, кто неумолимъ, какъ *fatum* древнихъ, кто изрекаетъ свои приговоры безъ розысканія и безъ доказательствъ, или съ весьма бездоказательными доказательствами, на основаніи своего собственнаго произвола: рецензентъ ли „Отечественныхъ Записокъ“, или рецензентъ „Москвитянина“? Слово: „не вѣримъ“ не есть еще приговоръ, вы не вѣрите другимъ: другіе въ томъ же не повѣрятъ вамъ. „Москвитянинъ“ увѣряетъ, что „нашлось возможнымъ передать на нашемъ языкѣ философію, даже (?) Шеллинга и Окена“. А кто же говорилъ, что они непереводаемы по-русски? Мы говорили только, что ихъ невозможно перевести, не испестривъ русскаго перевода множествомъ иностранныхъ словъ, и повторяемъ это теперь. Если нѣкоторые пуристы слова: „индивидуумъ“ и „фактъ“ замѣняютъ словами „недѣлимый“ и „быть“, такъ это только смѣшно, а ничуть не доказательно. Что французскій языкъ былъ разработанъ и развитъ два вѣка назадъ,—это фактъ, несмотря на всѣ цитаты „Москвитянина“. Тутъ невозможны никакія параллели съ русскимъ языкомъ. Не говоря уже о превосходствѣ генія, сравните по чистотѣ языка—Расина (и даже Корнея) съ Озеровымъ,—и вы увидите, что тутъ неумѣстны всѣ сравненія; а между тѣмъ, это писатели XVII вѣка, Озеровъ же—писатель XIX вѣка. Тутъ нечего восклицать: „этому ли богатству намъ завидовать?“ Именно этому! Что Вольтеръ жаловался на бѣдность французскаго языка,—это не доказываетъ богатства русскаго; это доказываетъ только, что Вольтеръ не принадлежалъ къ числу тѣхъ посредственностей, которыя способны остановиться на чемъ-

нибудь и удовлетвориться чѣмъ-нибудь. Сверхъ того, никакой языкъ ни въ какую эпоху не можетъ быть до того удовлетворительнымъ, чтобъ отъ него нечего было больше желать и ожидать. Что же касается до Фонъ-Визина, съ его неестественными, безличными и скучными резонёрами, въ родѣ Стародумовъ, Софій, Милоновъ (а не Милоновыхъ) и Правдиныхъ, до Грибоѣдова и Гоголя,—мы отказываемся отъ всякаго спора съ рецензентомъ „Москвитянина“: все доказываетъ, что судить о поэзіи вовсе не его дѣло... Если онъ въ чемъ силенъ, такъ это въ юриспруденціи...—О языкѣ Карамзина и теперь подтверждаемъ наше мнѣніе, считая его столько вѣрнымъ, сколько „Москвитянинъ“ считаетъ его ошибочнымъ...

Наконецъ, рецензентъ „Москвитянина“ наполняетъ свою статью слишкомъ тремя печатными листами выписокъ изъ „Словъ и Рѣчей“ преосвященнѣйшаго Филарета, митрополита Московскаго. Очень любопытенъ этотъ оборотъ. Рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“, сказала, что годовой бюджетъ нашей литературы такъ бѣденъ, что публикѣ нашей почти нечего читать. Рецензентъ „Москвитянина“ объявляетъ это мнѣніе тѣмъ разительнѣе неосновательнымъ, что въ тѣхъ же „Отечественныхъ Запискахъ“, мѣсяца за четыре назадъ, извѣщалось о выходѣ изъ печати „Словъ и Рѣчей“ преосвященнѣйшаго Филарета, митрополита Московскаго. Гдѣ жь тутъ разительная неосновательность? Мы говорили о свѣтской литературѣ, о романахъ, повѣстяхъ, стихотвореніяхъ, драмахъ и т. п.; но ни слова не говорили ни о богатствѣ, ни о бѣдности теологической литературы...

Въ одномъ мы совершенно согласны съ рецензентомъ „Москвитянина“: именно—въ его мнѣніи о высокомъ достоинствѣ „Словъ и Рѣчей“ преосвященнѣйшаго Филарета, какъ со стороны глубокости ихъ содержанія, такъ и со стороны краснорѣчиваго изложенія. И рецензентъ „Москвитянина“, наполнивъ

большую часть своей статьи выписками изъ этихъ „Словъ и Рѣчей“, имѣеть полное право сказать, что въ его статьѣ есть много мѣстъ, исполненныхъ высокаго краснорѣчія, хотя и принадлежащихъ не его, а чужому перу.

Царство вѣры не отъ міра сего. Церковь, для ея дѣйствования, не нуждается въ обыкновенныхъ средствахъ. Для ея вѣчныхъ, не переходящихъ и неизмѣнныхъ истинъ всякій человѣческій языкъ былъ, есть и будетъ достаточенъ и богатъ. Проповѣдь требуетъ больше любви и убѣжденія отъ проповѣдника, нежели богатаго развитія отъ языка, на которомъ говорить проповѣдникъ. Первые апостолы были рыбаки, которые, въ простотѣ сердечнаго убѣжденія, прозрѣвъ духовно, увидѣли больше мудрыхъ міра, и сдѣлались „ловцами человѣковъ“... Короче: мы думаемъ, что исторія духовнаго краснорѣчія должна быть изучаема и излагаема отдѣльно отъ исторіи свѣтской литературы. Это дѣло людей, посвятившихъ себя изученію богословія. Говоря о духовныхъ витіяхъ, нельзя же ограничиться одною внѣшнею стороною ихъ „словъ“ и „рѣчей“, т. е. однимъ краснорѣчіемъ, но невольно коснешься и содержанія, съ которымъ оно связано, и отъ котораго оно получаетъ свою силу. А это значитъ войти въ сферу теологіи... О предметахъ теологическихъ должны рассуждать теологическіе, а не литературные журналы, наполняемые стихами, сказками, всякою мірскою суетою, а иногда—что грѣха таить!—и спорами, которые порождаются не совсѣмъ христіанскими чувствами...

Вотъ другое дѣло, если мы скажемъ, что словесность, какъ наука, выдумана педантами, что риторика и пиитика—вздоръ, а рецензентъ „Москвитянина“ объявитъ, что онъ въ этомъ намъ „не вѣритъ“: объ этомъ можно спорить и важно и шутя... Мы представили, въ оправданіе своего мнѣнія о словесности, какъ наукѣ, о риторикѣ и пиитикѣ, цѣлую статью, съ послѣдними доказательствами и доводами; а рецензентъ „Москвитя-

нина“, безъ всякихъ доказательствъ, однимъ „не вѣрю“, напоминающимъ самовластное „veto“, думаетъ порѣшить вопросъ... Такъ рѣшить легко!

Но такія рѣшенія не стоять ни вниманія, ни опроверженія. Насъ совсѣмъ другое заставило взяться за перо: это вовсе не литературныя обвиненія, взводимыя на насъ „Москвитяниномъ“ уже не въ первый разъ. Безъ нихъ, мы и не упоминали бы никогда объ этомъ журналѣ; но при нихъ, мы не считаемъ себя въ правѣ оставлять его безъ отвѣта. Думаемъ, всѣ благомыслящіе люди согласятся съ нами, что молчать въ подобныхъ случаяхъ не годится...

---

ПЕТЕРБУРГСКІЙ СБОРНИКЪ, изданный И. Некрасовымъ. Спб. 1846.

„Бѣдные Люди“, романъ г. Достоевскаго, въ этомъ альманахѣ—первая статья и по мѣсту и по достоинству. Начинаемъ съ нея.

Появленіе всякаго необыкновеннаго таланта рождаетъ въ читающемъ и пишущемъ мірѣ противорѣчія и раздоры. Если такой талантъ является въ раннюю эпоху еще неустановившейся литературы,—онъ встрѣчаетъ, съ одной стороны, восторженные клики, неумѣренныя хвалы, съ другой—безусловное осужденіе, безусловное отрицаніе. Такъ было съ Пушкинымъ. Одни увидѣли въ немъ „сѣвернаго Байрона“ (какъ-будто гдѣ-нибудь былъ южный Байронъ!), представителя современнаго человѣчества“, и все это—по первымъ его произведеніямъ, особенно по тѣмъ, которыя были слабѣ другихъ и теперь совершенно потеряли безотносительную цѣнность; другіе упорно смотрѣли на его произведенія, какъ на униженіе, профанацію

поэзіи, во имя дебелыхъ торжественныхъ одъ, къ которымъ привыкли съ дѣтства. Понять Пушкина предоставлено было уже другому поколѣнію, и едва ли уже не послѣ его смерти. Нѣсколько иначе было съ Гоголемъ. Много встрѣтилъ себя враговъ талантъ Пушкина, но несравненно болѣе явилось преданныхъ ему друзей, восторженныхъ его почитателей. Противъ него были старцы лѣтами и духомъ; за него—и молодая поколѣнія, и сохранившіе свѣжесть чувства старики. Какъ всякій великій талантъ, Гоголь скоро нашелъ себя восторженныхъ поклонниковъ, но число ихъ было уже далеко не такъ велико, какъ у Пушкина. Можно сказать, что какъ на сторонѣ Пушкина было большинство, такъ на сторонѣ Гоголя—меньшинство: большинство же было сначала рѣшительно противъ Гоголя. И это очень естественно: міръ поэзіи Гоголя такъ оригиналенъ и самобытенъ, такъ принадлежитъ исключительно его таланту, что даже и между людьми, не омраченными пристрастіемъ и нелишенными эстетическаго смысла, нашлись такіе, которые не знали, какъ имъ о немъ думать. Въ недоумѣніи, имъ казалось, что это или ужъ слишкомъ хорошо, или ужъ слишкомъ дурно,—и они помирились на половинѣ съ твореніями самаго національнаго и, можетъ-быть, самаго великаго изъ русскихъ поэтовъ, т. е. рѣшили, что у него есть талантъ, даже большой, только идущій по ложной дорогѣ. Естественность поэзіи Гоголя, ея страшная вѣрность дѣйствительности, изумила ихъ уже не какъ смѣлость, но какъ дерзость. Если и теперь еще не совсѣмъ исчезла изъ русской литературы та чопорность, которая такъ прекрасно выражается французскимъ словомъ pruderie, и въ которой такъ вѣрно отразились нравы полубоярской и полумѣщанской части нашего общества; если и теперь еще существуютъ литераторы, которые естественность считаютъ великимъ недостаткомъ въ поэзіи, а неестественность великимъ ея достоинствомъ, и новую школу поэзіи

думают унижить эпитетомъ „натуральной“,—то понятно, какъ должно было большинство публики встрѣтить основателя новой школы. И потому, естественно, что еще и теперь въ немъ упорствуютъ, признавать великій талантъ часто тѣ самые люди, которые съ жадностію читаютъ и перечитываютъ каждое его новое произведеніе; а кто теперь не читаетъ съ жадностію его новыхъ, и не перечитываетъ съ наслажденіемъ его старыхъ произведеній? Нѣтъ нужды говорить, что безошадная истина его созданій—одна изъ причинъ этого нерасположенія большинства публики признать на словахъ великимъ поэтомъ, того, кого оно же, это же большинство, признало великимъ поэтомъ на дѣлѣ, читая и раскупая его творенія, и даже самими своими нападками на нихъ давая имъ больше, нежели только литературное значеніе. Но при всемъ томъ, первая и главная причина этого непризнанія заключается въ безпримѣрной въ нашей литературѣ оригинальности и самобытности произведеній Гоголя. Говоримъ безпримѣрной, потому что съ этой стороны ни одинъ русскій поэтъ не можетъ идти въ сравненіе съ Гоголемъ. Всякій гениальный талантъ оригиналенъ и самобытенъ; но есть разница между одною и другою оригинальностью, между одною и другою самобытностью. Оригинальность и самобытность Пушкина, въ отношеніи къ предшествовавшимъ ему поэтамъ, кромѣ печати особенности, положенной личностію его на его творенія, состояла преимущественно въ томъ, что ихъ произведенія были только стремленіемъ къ поэзій, а его—самою поэзію; они, такъ сказать, были кандидатами на званіе поэтовъ, а онъ былъ поэтомъ—художникомъ въ полномъ и совершенномъ значеніи этого слова. Но тѣмъ не менѣе, къ чести предшественниковъ Пушкина должно сказать, что они имѣли на него бѣльшее или меньшее вліяніе, и ихъ поэзія больше или меньше была предвѣстницею его поэзій особенно первыхъ его опытовъ. Еще премѣе и непосредственнѣе было влія-

ніена Пушкина современныхъ ему европейскихъ поэтовъ. Если, при всемъ этомъ, первыя произведенія Пушкина, однихъ неприятно, другихъ къ полному ихъ удовольствію и восторгу поразили не только новостью, но оригинальностью и самобытностью, — это показываетъ, какъ гениаленъ былъ талантъ его. Но все-таки его первыя произведенія напоминали собою многое и въ русской литературѣ, хотя и отдаленно, и еще болѣе многое, и притомъ ближайшимъ образомъ, въ иностранныхъ литературахъ, — чему доказательствомъ служить неудачно и неловко преданный ему титулъ русскаго Байрона. У Гоголя не было предшественниковъ въ русской литературѣ, не было (и не могло быть) образцовъ въ иностранныхъ литературахъ. О родѣ его поэзіи, до появленія ея, не было и намековъ. Его поэзія явилась вдругъ, неожиданная, непохожая ни на чью другую поэзію. Конечно, нельзя отрицать вліянія на Гоголя со стороны, наиримѣръ, Пушкина; но это вліяніе было не прямое: оно отразилось на творчествѣ Гоголя, а не на особенностях, не на фізіономіи, такъ-сказать, творчества Гоголя. Это было вліяніе болѣе времени, которое Пушкинъ подвинулъ впередъ, нежели самаго Пушкина. Разумѣется, еслибъ Гоголь явился прежде Пушкина, онъ не могъ бы достигнуть той высоты, на которой онъ стоитъ теперь. Но прямого вліянія, такого, какое имѣли (въ болѣе или меньшей степени, ближе или отдаленнѣе) на Пушкина предшествованіе ему русскіе и современные ему европейскіе поэты, — такого вліянія со стороны Пушкина на Гоголя нельзя открыть никакихъ слѣдовъ въ сочиненіяхъ послѣдняго. Сверхъ того, поэзія, избирающая своимъ предметомъ только положительно прекрасныя явленія жизни и рѣдко испытываемыя человѣкомъ высокія ощущенія, — такая поэзія, если не совсемъ понятна въ сущности, то всегдѣ доступна по наружности. По крайней мѣрѣ она до того нравится толпѣ, что даже и ложные таланты, если они не лишены бле-

ска и смѣлости, увлекаютъ ее, пародируя въ своихъ хитро-изысканныхъ выдумкахъ высокую сторону дѣйствительности: это доказываетъ чрезвычайный, хотя и мгновенный успѣхъ Марлинскаго и... но не будемъ называть другихъ — довольно и одного примѣра... Скажемъ болѣе: толпа, представительница прозаической, будничной и черновой стороны жизни, терпѣть не можетъ, чтобъ поэзія занималась ею, хотя и не смиреніе, а опасливость неувѣреннаго въ себѣ самолюбія причиною этого, напротивъ, она любитъ, чтобъ поэзія представляла ей все героевъ да твердила ей все о высокомъ и прекрасномъ. За голосомъ немногихъ, которымъ дано дѣйствительно понимать высокое жизни, толпа готова провозгласить великимъ гениемъ даже Байрона, въ которомъ она, толпа, неспособна понять ни пол-мысли, ни пол-стиха; но искренно пѣвнуетъ и увлекаетъ ее только театральное и мелодраматическое пародированіе высокой стороны жизни (какъ въ повѣстяхъ Марлинскаго), или истинное и дѣйствительно прекрасное, то вмѣстѣ съ тѣмъ и не слишкомъ великое, нѣсколько незрѣлое и дѣтское, потому что сама толпа есть не что иное, какъ вѣчный недоросль, что-то похожее на дряхлаго ребенка, или на младенчествующаго старика. Лучшимъ доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить Пушкинъ. Когда слова его была въ своей апогеѣ, когда представители толпы провозглашали его „сѣвернымъ Байрономъ и представителемъ современнаго человѣчества“?—Тогда, когда онъ удивлялъ ихъ „Русланомъ и Людмилою“, „Братьями Разбойниками“, „Кавказскимъ Пѣвникомъ“, „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“, и тѣми стихами, въ которыхъ воспѣвалъ золотую лѣнь, шипучее вино и тому подобное. „Цыганы“ приняты были уже съ меньшимъ восторгомъ; „Полтава“ публикою принята холодно, а журналисты встрѣтили ее бранью; „Борисъ Годуновъ“ вовсе не былъ оцѣненъ;... и многіе ли даже теперь догадываются, что за великія



созданія — „Моцартъ и Сальери“, „Пиръ во время чумы“, „Скупой Рыцарь“, „Галубъ“, „Мѣдный Всадникъ“, „Каменный Гость“? Однѣ изъ критиковъ того времени, въ седьмой главѣ „Евгенія Онѣгина“, которая, по глубинѣ чувства, по зрѣлости мысли, по художественной отдѣлкѣ, гораздо выше первыхъ шести главъ, увидѣлъ — „рѣшительное паденіе, chute complète“, и съ торжествомъ возвѣститъ его на двухъ языкахъ — русскомъ и французскомъ!... Другой критикъ, говоря о той же седьмой главѣ „Онѣгина, сдѣлалъ такое заключеніе, что Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, и что на него „прошла мода“, какъ нѣкогда прошла мода на Наполеона, потому что и онъ отсталъ отъ вѣка!... Еще двое другихъ, какъ будто сговораясь между собою, несмотря на то, что были противниками по мнѣніямъ, объявляли; что въ третьей части стихотвореній Пушкина (вышедшей въ 1832 году) не видно прежняго Пушкина!... И они не ошиблись бы, еслибъ сказали это въ томъ смыслѣ, что Пушкинъ въ этой третьей части сталъ выше, нежели какъ былъ въ первыхъ двухъ частяхъ своихъ стихотвореній; но увы! — добрые критики говорили тутъ о паденіи Пушкина!... Все это факты, которые, если бы понадобилось, мы скрѣпили бы указаніемъ на страницы журналовъ блаженной памяти, въ которыхъ печатались такіа диковинки. И вотъ какъ судила толпа и о поэтѣ, избравшемъ предметомъ пѣсень своихъ высокую сторону жизни: она восхищалась его ученическими опытами и отступилась отъ него тотчасъ, какъ сталъ онъ мастеромъ, и какинъ еще мастеромъ — великимъ!...

Какъ же должна была судить толпа о поэтѣ, дерзнувшемъ пойдти по дорогѣ, до него никому невѣдомой, рѣшившемся, оставивъ въ покоѣ героевъ (которые, по правдѣ сказать, на землѣ являются гораздо рѣже, нежели въ фантазіи поэтовъ), обратиться къ толпѣ и къ будничной жизни?... Сначала, какъ и слѣдуетъ, она подумала, что этотъ поэтъ не знаетъ

ничего лучше ея, толпы, и неспособенъ вознестись мыслию за границу всеневной прозаической жизни. И такое заключеніе было очень естественно съ ея стороны: она не встрѣчала въ сочиненіяхъ этого поэта ни моральныхъ сентенцій, ни комическихъ выходовъ. Напротивъ, она видѣла, что онъ рисуетъ ей своихъ странныхъ героевъ и ихъ бѣдную, жалкую жизнь очень серьёзно, говорить о нихъ почти съ такою же важною, какъ въ дѣйствительности говорятъ они о самихъ себѣ и своихъ дѣлишкахъ. Конечно: это писатель, положимъ, не безъ дарованія, но мелкій, безъ фантазій, безъ души, безъ сердца, безъ способности понимать высокое и прекрасное, любящій изображать только грязную, неумытую, природу! Но—страшное дѣло!—тогда сама не могла не замѣтить, что она съ жадностью его читаетъ, что онъ чѣмъ-то сильно задѣваетъ и сердитъ ее; потомъ съ изумленіемъ узнаётъ она, что высшій свѣтъ, верховный представитель хорошаго тона и приличія, оставляя безъ вниманія бонтоныя, опрятныя произведенія лужинныхъ сочинителей, безъ перчатокъ и съ удовольствіемъ читаетъ сочиненія этого писателя, исполненныя дурнаго тона, оскорбляющихъ приличіе выраженій и картинъ и, кажется, на значенныхъ для потѣхи самыхъ необразованныхъ читателей... Въ то же время, нашлись люди, которые, по поводу сочиненій этого писателя, заговорили о юморѣ, какъ могущественномъ элементѣ творчества, посредствомъ котораго поэтъ служить всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о нихъ, но только вѣрно воспроизводя явленія жизни, по ихъ сущности прѣвположныя высокому и прекрасному,—другими словами: путемъ отрицанія достигая той же самой цѣли, только иногда еще вѣрнѣе, которой достигаетъ поэтъ, избравшій предметомъ своихъ твореній исключительно идеальную сторону жизни. Все это не могло не имѣть вліянія на мнѣніе толпы; а между тѣмъ, съ теченіемъ времени, она все болѣе и болѣе

привыкала къ его сочиненіямъ, и все, что казалось ей въ нихъ страннымъ и рѣзкимъ, со дня на день становилось въ ея глазахъ очень естественнымъ, — чему способствовала много и основанная имъ литературная школа. И вотъ теперь, когда французскій переводъ нѣсколько его повѣстей доставилъ ему громкую извѣстность въ Европѣ, — теперь и самые враги его таланта, имѣющіе свои причины вести отчаянную войну противъ его успѣховъ, уже не рѣшаются говорить о немъ прежнимъ языкомъ.

Вообще, литература наша, въ лицѣ Пушкина и Гоголя перешла черезъ самый трудный и самый блестящій процессъ своего развитія: благодаря имъ, она, если еще не достигла своей возмужалости, то уже вышла изъ состоянія дѣтства и той юности, которая близка къ дѣтству. Это обстоятельство совершенно измѣнило судьбу явленія новыхъ талантовъ въ нашей литературѣ. Теперь каждый новый талантъ тотчасъ же оцѣняется по его достоинству. Явился Лермонтовъ, — и первыми своими опытами заставилъ всѣхъ смотрѣть на его талантъ съ изумленнымъ ожиданіемъ чего-то великаго. Многи успѣлъ написать онъ въ теченіе своего краткаго (четырёхлѣтняго) литературнаго поприща? — а между тѣмъ, нуженъ былъ только одинъ смѣлый голосъ, чтобъ за Лермонтовымъ, съ первыхъ же опытовъ его, утвердить имя великаго, гениальнаго поэта... Съ другой стороны, какъ не хлопочетъ теперь посредственность выдавать себя за гениальность, — ей это никакъ не удается. Не помогаютъ ей ни драмы, русскія и итальянскія, ни романы и повѣсти русскія, французскія, литовскія и нѣмецкія, ни стихотворенія, ни дагерротипы, ни иллюстраціи... Недавно одна газета хотѣла сдѣлать изъ г. Буткова опаснаго соперника таланту Гоголя, и что же? Всѣ нашли, что у г. Буткова точно есть дарованіе, но что больше о немъ сказать нечего, а ожидать отъ него чего-то необыкновеннаго тоже нечего...

Правда и теперь, появленіе необыкновеннаго таланта не может не возбуждать довольно противорѣчащихъ толковъ; но, во первыхъ, это свойство необыкновеннаго таланта во всякой литературѣ, пока не привыкнутъ къ нему (привычка—умъ толпы), а во вторыхъ, въ самомъ противорѣчій этихъ толковъ уже лежитъ безусловное признаніе необыкновенности таланта. Говорятъ и спорятъ о томъ, что хорошо и что дурно въ его первыхъ произведеніяхъ; но что онъ необыкновенный талантъ—объ этомъ говорятъ, но не спорятъ. Нѣсколько невѣжественныхъ или завистливыхъ голосовъ тутъ ничего не значить. Если какой-нибудь quasi-критикъ или критиканъ, рѣшится объявить, что произведеніе новаго писателя, возбудившаго своимъ появленіемъ сильное движеніе въ читательскомъ мірѣ, рѣшительно дурно, что въ немъ нѣтъ ни искры таланта, — такой критиканъ поступитъ очень неразсчитливо въ отношеніи къ самому себѣ. Самые недогадливые увидятъ ясно, что онъ, критиканъ, не иное что, какъ жалкая и кунно завистливая посредственность... Но, съ другой стороны, и превеличенно восторженные похвалы, критическіе гимны и ди-ограммы, теперь тоже возможны только со стороны людей, немогущихъ имѣть никакого вліянія на общественное мнѣніе. Литература наша пережила свою эпоху энтузіастическихъ увлеченій, восторженныхъ похвалъ и безотчетныхъ восклицаній. Теперь отъ критика требуютъ, чтобы онъ спокойно и трезво сказалъ, какъ понимаетъ онъ поэтическое произведеніе; а до восторговъ, въ которые привело оно его, до счастья, какое доставило оно ему, никому нѣтъ нужды: это его домашнее дѣло.

Слухи о „Бѣдныхъ Людяхъ“ и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ,

все равно быть или не быть предубѣжденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немного на бѣдомъ свѣтѣ, а не-знатокъ отъ всего заранѣе расхваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго, — и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается, и въ досадѣ, уже не видитъ въ произведеніи того, что болѣе или менѣе ему доступно и что, навѣрное по-правилось бы ему, еслибъ онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ „Бѣдныхъ Людей“ былъ полный. Еслибъ эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгъ, — это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть талантъ, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ-быть, двухъ трехъ испугавшихся за себя писакъ, всѣ согласились что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ обыкновенный талантъ. Для перваго раза, нечего больше и желать. Со временемъ, та же повѣсть будетъ казаться иною многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ей появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ, самый великій, самый гениальный, самый непогрѣшительный—время. Впрочемъ, не должно забывать, что романъ г. Достоевскаго прочтенъ всѣми только въ Петербургѣ, и что только Петербургъ обнаружилъ свое мнѣніе о талантѣ новаго поэта. Въ Москвѣ еще только читаютъ его „Бѣдныхъ Людей“ и „Двойника“ (помѣщеннаго въ февральской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“), а въ провинціи еще и не читали ихъ. Мы очень любимъ и ува-

жаемъ Петербургъ во многихъ отношеніяхъ, но отнюдь не въ климатическомъ и не въ эстетическомъ: нигдѣ въ Россіи такъ много не читаютъ, какъ въ Петербургѣ, слѣдовательно, нигдѣ въ Россіи нѣтъ такой многочисленной читающей публики, сосредоточенной на такомъ маломъ пространствѣ, какъ въ Петербургѣ, — и при всемъ томъ, и а съ (*chaque baron a sa fantaisie!*) по чему-то всегда интересуется болѣе мнѣніе Москвы и провинціи о книгѣ, нежели Петербурга. Мы никогда не говоримъ: „это сочиненіе такъ хорошо, что даже въ провинціи имѣло огромный успѣхъ“; но, напротивъ, мы какъ-то особенно нерасположены къ сочиненіямъ, которыя только въ Петербургѣ возбуждаютъ общій восторгъ. Можетъ-быть, по этому самому намъ не нравятся стихотворенія г. Бенедиктова, „Сенсація мадамъ Курдюковой“ и всѣ патріотическія и патетическія драмы, возбуждающія такіе оглушительные аплодисманы на сценѣ Александринскаго театра. Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ мы и не правы, но намъ кажется, что жители Петербурга — ужь чрезчуръ занятые, чрезчуръ дѣловые люди, и потому едва ли могутъ блистать особенно развитымъ эстетическимъ вкусомъ. Имъ надо что-нибудь, во первыхъ, не слишкомъ большее, а во вторыхъ, и это главное — что-нибудь полегче, что-нибудь не слишкомъ требующее углубленія мыслию, не слишкомъ вызывающее на размышленіе, словомъ такое, что было бы и коротко и ясно и не заставило бы думать, какъ фельетонная статья въ „Сѣверной Пчелѣ“, какъ правоописательная статья г. Булгарина. И это понятво: въ Петербургѣ всѣ бѣдны временемъ; кто служитъ, кто спекулируетъ, кто играетъ въ преферансъ; а часто случается и такъ, что одно и тоже лицо несетъ на себѣ эти три тягости разомъ. Когда тутъ читать съ самоуглубленіемъ въ читаемое, съ размышленіемъ о читаемомъ? Тутъ дай Богъ успѣть только перелистывать часть того бѣднаго количества печатныхъ листовъ, которое вырабатываютъ

наши типографіи. Въ Москвѣ, число читателей несоразмерно меньше, но въ массѣ московскихъ читателей есть довольно людей, для которыхъ сколько-нибудь замѣчательная книга есть фактъ, есть „нѣчто“, которые читаютъ ее сами, читаютъ другимъ, или настоятельно рекомендуютъ другимъ читать ее, думаютъ о ней, толкуютъ, спорятъ. Смѣшно было бы утверждать, что и въ Петербургѣ нѣтъ такихъ читателей; но мы знаемъ достоверно, что въ немъ ихъ очень мало въ сравненіи со всею читающею массою, и что большая часть ихъ состоитъ изъ такого молодого народа, который не успѣлъ еще поступить на службу, ни постичь поэзію преферанса. Что касается до провинціи, въ ней, можетъ-быть, въ сложности не менѣе, если не болѣе истинно образованныхъ и съ эстетическимъ вкусомъ людей, нежели въ обѣихъ столицахъ нашихъ; и если ихъ кажется такъ мало въ провинціи, это потому что они разсыяны на огромномъ пространствѣ, и живутъ въ такомъ другъ отъ друга разстояніи, что отъ одного до другаго иногда хоть мѣсяць скачи на лихой тройкѣ — не доѣдешь! Велика матушка Россія!... По всему этому, очень интересно узнать, какое впечатлѣніе талантъ г. Достоевскаго произведетъ на Москву и на провинцію. Но, въ ожиданіи этого, мы постѣшимъ отдать отчетъ въ собственныхъ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Съ перваго взгляда видно, что талантъ г. Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творческій, и что преобладающій характеръ его таланта — юморъ. Онъ не поражаетъ тѣмъ знаніемъ жизни и сердца человѣческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нѣтъ, онъ знаетъ ихъ, и притомъ глубоко знаетъ, но à priori, слѣдовательно, чисто-поэтически, творчески. Его знаніе есть талантъ, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такія сравненія вообще отзываются дѣтствомъ или къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Слажемъ только,

что это талантъ необыкновенный и самобытный, который съ разу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлился отъ всей толпы нашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и успѣхомъ своего таланта. Что же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обоихъ романовъ г. Достоевскаго („Бѣдныхъ Людей“ и „Двойника“) видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всеѣмъ тѣмъ, въ талантѣ г. Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя, вѣроятно, не будетъ продолжительно и скоро исчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ никакого даже намека на подражательность: сынъ, живя своею собственною жизнью и мыслию, тѣмъ не менѣе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился въ послѣдствіи талантъ г. Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Коломбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ поизвизаться г. Достоевскій. Пока еще трудно опредѣлить рѣшительно, въ чемъ заключается особенность, такъ сказать, индивидуальность и личность таланта г. Достоевскаго, но что онъ имѣетъ все это, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Судя по „Бѣднымъ Людямъ“, мы заключили было, что глубоководчественный и патетическій элементъ, въ сліяніи съ юмористическимъ, составляетъ особенную черту въ характерѣ его таланта; но прочтя „Двойника“, мы увидѣли, что подобное зак-



люченіе было бы слишкомъ поспѣшно. Правда, только нравственно слѣпые и глухіе не могутъ не видѣть и не слышать въ „Двойникѣ“ глубоко-патетическаго, глубоко-трагическаго колорита и тона; но, во первыхъ, этотъ колоритъ и тонъ, въ „Двойникѣ“ спрятались, такъ сказать, за юморъ, за насмѣивались имъ, какъ въ „Запискахъ Сумасшедшаго“ Гоголя... Вообще, талантъ г. Достоевскаго, при всей его огромности, еще такъ молодъ, что не можетъ высказаться и выказаться определенно. Это естественно: отъ писателя, который весь высказывается первымъ своимъ произведеніемъ, многого ожидать нельзя. Какъ ни хорошъ „Герой Нашего Времени“, но еслибъ кто подумалъ, что Лермонтовъ въ послѣдствіи не могъ бы написать чего-нибудь несравненно лучшаго, тотъ этимъ показалъ бы, что онъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о талантѣ Лермонтова.

Мы сказали, что въ обоихъ романахъ г. Достоевскаго замѣтно сильное вліяніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ оборотамъ фразы, но отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ, талантъ г. Достоевскаго блеститъ яркою самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣвичу Дѣвушкину, старику Покровскому и г-ну Голядкину старшему г. Достоевскаго нѣсколько сродни Поприщинъ и Аксѣій Акакіевичъ Башмачкинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ г. Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприщинимъ и Башмачкинимъ, хотя оба эти лица созданы однимъ и тѣмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только первый навелъ всѣхъ (и въ этомъ его заслуга, которой подобной уже ни кому болѣе не оказать) на эти забытыя существованія въ нашей дѣйствительности, но что г. Достоевскій самъ собою возвелъ ихъ въ той же самой дѣйствительности.

Нельзя ни согласиться, что для перваго дебюта „Бѣдные Люди“ и, непосредственно за ними, „Двойникъ“—произведенія необыкновеннаго размаха, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсѣмъ не то, чтобъ г. Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однакожъ, со всѣмъ тѣмъ, подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ г. Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что еслибъ онъ и не сталъ рядомъ съ своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ „Бѣдныхъ Людяхъ“: вѣдь и рассказать нечего! А между тѣмъ такъ много приходится рассказывать, если уже рѣшишься на это! Бѣдный пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образованія, но съ безконечно-доброю душою и теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаетъ бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговли женскою добродѣтелью, дѣвическою красотою. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно когѣ-нибудь любить, чтобъ не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холода, и которому всего естественнѣе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ,—существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣвича къ его „матѣчкѣ“, ангельчику и херувимчику Варенькѣ“ есть что-то похожее на чувство любовника,—на чувство, которое онъ слагаетъ не призна-

вать въ себѣ, но которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, еслибъ замѣтилъ, что она смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видитъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, насчетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ, и говорить, что „все въ розовомъ цвѣтѣ представляется“. Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его лѣта, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увѣреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка, — все это развито авторамъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкинъ, помогая Варинькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье, входитъ въ долги, терпитъ страшную нужду и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій челоѣкъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ деликатенъ по инстинкту! Благодарствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабитъ самого себя, — до послѣдней крайности обманываетъ свою Вариньку небывальщицею у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положеніи, то по стариковской болтливости и такъ прѣстодушно! Ему не приходитъ въ голову, что онъ приобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ по тѣснотѣ и узкости его понятій, онъ могъ бы навязать себя Варинькѣ въ мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для

ней всё — было для него счастьемъ. Чѣмъ ограниченнѣе его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благороднѣе и деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у него всё умственные способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могутъ подумать, что, въ лицѣ Дѣвушкина, авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ, въ лицѣ Макара Алексѣевича, показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святаго лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно, не всё бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ тоже время нельзя не согласится и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно проѣдающій сто, двѣсти и больше рублей, броситъ нищему двадцать пять рублей, всё замѣчаютъ это и, въ чаяніи получить отъ него больше, умиляются душою отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копеекъ ивѣдью, какъ отдалъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову, — такой бѣднякъ не всёхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшнаго. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говорить о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „вѣдь это тоже люди, ваши братья!“

Обратите вниманіе на старика Покровскаго — и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной, и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлхой бой-бабы, шутъ и пьяница — онъ человѣкъ! Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну,

напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ, и подъ мышкою, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына, — не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексѣевича. Смѣшить и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы, — какое умѣнье, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кипитъ вокругъ каждаго изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти, то къ тому, то къ другому!... Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица г. Быкова, только на минуту появляющагося въ романѣ собственной особою, ни лица Анны Федоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственной особою. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ротозяевъ, ростовщикъ, — словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которыя или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоять передъ читателемъ, какъ-будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вариньки какъ-то не совсѣмъ опредѣленно и неоконченно; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не знаетъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ

виновать, русскія ли женщины, или русская поэзія; но зна-емъ, что только Пушкину удалось, въ лицѣ Татьяны, схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтскою дамою, чтобъ сообщить ея характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вариньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совѣстнъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученье въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Федоровны, отношенія Вариньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, — все это рассказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного шекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны Федоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій.

Рассказывать содержаніе этого романа было бы излишне; дѣлать большія выписки тоже. Но не мѣшаетъ инымъ, можетъ быть, забывчивымъ читателямъ напомнить ихъ же собственные впечатлѣнія, ихъ же самихъ призвать въ свидѣтели справедливости и вѣрности нашего мнѣнія о высокомъ, художественномъ достоинствѣ „Бѣдныхъ Людей“, и потому считаемъ необходимымъ выписать нѣсколько мѣстъ изъ писемъ Макара Алексѣевича. Это не дастъ большой работы вниманію читателей; — а между тѣмъ посреди ихъ, вѣроятно, найдутся такіе, которымъ эти выписанные нами мѣста покажутся какъ-будто новыми, въ первый разъ прочитанными, и это обстоятельство, можетъ-быть, заставитъ ихъ вновь перечестъ всю

повѣсть и сознаться себѣ, что они только при этомъ второмъ чтенія поняли ее... Такія произведенія, какъ „Бѣдные Люди“, никому не даются съ перваго раза: они требуютъ не только чтенія, но и изученія.

«Пишу къ вамъ вѣд себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все вокругъ меня вертится. Ахъ, родная моя, что я расскажу-то вамъ теперь! Вотъ, мы и не предчувствовали этого. Нѣтъ, я не вѣрю, чтобы я не предчувствовала: я все это предчувствовала. Все это заранѣ слышалось моему сердцу! Я даже наменил во снѣ что-то видѣлъ подобное.

«Вотъ что случилось.—Расскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ мнѣ на душу Господь положитъ. Пошелъ я сегодня въ должность. Пришелъ, пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я и вчера писалъ то же. Ну, такъ вотъ вчера подходить ко мнѣ Тимофей Ивановичъ, и лично изволить показывать, что—вотъ, дескать, бумага нужная, спѣшная. Перепишите, говоритъ, Макаръ Алексѣевичъ, почище, поспѣшно и тщательно; сегодня къ подписанію идетъ.—Замѣтить вамъ нужно, антольчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой, ни на что и глядѣть не хотѣлось; грусть, тоска такая напала! На сердца холодно, на душѣ темно; въ памяти все вы были, моя ясочка. Ну, вотъ, я и принялся переписывать; переписалъ часто, хорошо, только ужъ не знаю какъ вамъ точнѣе сказать, самъ ли нечистый меня попуталъ, или тайными судьбами какими предѣлено было, или просто такъ должно было сдѣлаться—только пропустилъ я цѣлую строчку; смыслъ-то и вышелъ Господь его знаетъ какой, просто никакого не вышло. Съ бумагой-то вчера опоздала и подала ее на подписаніе его превосходительству только сегодня. Я, какъ я и въ чемъ не бывало, являюсь сегодня въ обычный часъ и располагаюсь рядомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замѣтить, родная, что я съ недавняго времени сталъ вдвое болѣе прежняго совѣститься и въ стыдъ приходить. Я въ послѣднее время и не глядѣлъ ни на кого. Чуть стулъ заскрипитъ у кого-нибудь, такъ ужъ я и ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ и сегодня, принявъ, присмирѣлъ, ежомъ сажу, такъ что Ефимъ Акимовичъ (такой задирала, какого и на свѣтѣ до него не было), сказалъ во всеуслышаніе: Что, дескать вы, Макаръ Алексѣевичъ, сидите сегодня такимъ у-у-у! да тутъ такую гримасу скорчилъ, что всѣ, кто около него и меня не были, такъ и поватались со смѣху, и ужъ, разумеется, на мой счетъ. И пошла, и пошла! Я и уши прижалъ и глаза замурилъ, сажу себѣ, не пошевельюсь. Таковъ ужъ обычай мой; они такъ скорѣй отстаютъ. И такъ я уткнулся носомъ въ бумагу, и вошу перомъ. Вдругъ слышу шумъ, бѣготня, суетня; слышу—не обманываются ли уши мои? зовутъ меня, требуютъ меня, зовутъ Дѣвушкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужъ самъ не знаю

чего я испугался; только знаю то, что я такъ испугался, какъ никогда еще въ жизни со мной не было. Я приросъ къ стулу,—и какъ ни въ чемъ не бывало, точно и не я. Но вотъ, опять начали; ближе и ближе. Вотъ ужъ надъ самымъ ухомъ моимъ: дескать, Дѣвушкаина! Дувушкаина! гдѣ Дѣвушкаина? Подымаю глаза: передо мною Евстафій Ивановичъ; говорить: Макарь Алексѣевичъ! въ его превосходительству, скорѣе! Бѣды вы съ бумагой надѣлали. Только это одно и сказала, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвѣлъ, оледенѣлъ, чувствъ лишился, иду—ну, да ужъ просто, ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую комнату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ—предсталъ! Положительнаго отчета объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу, стоять его превосходительство, вокругъ него все они. Я, намется, не поклонился; позабылъ. Оторопѣлъ такъ, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отъ чего, маточка. Во первыхъ, совѣстно; и взглянулъ направо въ зеркало, такъ просто было отъ чего съ ума сойти отъ того, что я тамъ увидѣлъ. А во вторыхъ, я всегда дѣлалъ такъ, какъ будто бы меня и на свѣтъ не было. Такъ, что едва ли его превосходительство были извѣстны о существованіи моемъ. Можеть-быть, слышали, такъ, мелькомъ, что есть у нихъ въ вѣдомствѣ Дѣвушкаина, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входила.

«Начали гнѣвно: какъ же это вы, судары! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно къ спѣху, а вы ее портите. И какъ же вы это,—тутъ его превосходительство обратились къ Евстафію Ивановичу. Я только слышу, какъ до меня звуки словъ долетаютъ:—нерадѣнье! неосмотрительность? Вводите въ неприятности!—Я раскрылъ было ротъ для чего-то. Хотѣлъ было прощенья просить, да не могъ, убѣжать—покуситься не смѣлъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда.—Моя пуговка—ну ее къ бѣсу—пуговка, что висѣла у меня на ниточкѣ—вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (я видно задѣлъ ее нечаянно), зазвенѣла, покатилась и прямо, такъ-таки прямо, проклятая, къ стопамъ его превосходительства, и это посреди всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извиненіе, весь отвѣтъ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Послѣдствія были ужасны! Его превосходительство тотчасъ обратили вниманіе на фигуру мою и на мой костюмъ. Я вспоминалъ, что я видѣлъ въ зеркалѣ, я бросился ловить поговку, нашла на меня дурь, нагнулся, хочу взять пуговку, катается, вертится, не могу поймать, словомъ, и въ отношеніи ловкости отличился. Тутъ ужъ я чувствую, что и послѣдніи силы меня оставляютъ, что ужъ все, потеряно! Вся репутація потеряна, весь человекъ пропалъ! А тутъ въ обоихъ ухахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза и Фальдонъ, и пошло перезванивать. Наконецъ поймалъ пуговку, приподнялся, вытянулся, да ужъ ноги дуракъ, такъ стоялъ



бы себя смиренно, руки по швам! Такъ нѣтъ же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно оттого она и приотанетъ; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулся сначала, потомъ опять на меня взглянули—слышу, говорятъ Евстафію Ивановичу: какъ же?... посмотрите въ какомъ онъ видѣ?... какъ онъ!... что онъ!...—Ахъ, родная моя, что ужъ тутъ—какъ онъ? Да что онъ? отличился, въ полномъ смыслѣ слова отличился! Слышу, Евстафію Ивановичъ говорятъ—не замѣченъ, ни въ чемъ не замѣченъ, поведенія примѣрнаго, жалованья достаточно, по овладу... Ну облегчите его какъ-нибудь, говорятъ его превосходительство. Выдать ему впередъ...—Да забралъ, говорятъ, забралъ, вотъ за столько-то времени впередъ забралъ. Обстоятельства вѣрно такія, а поведенія хорошаго и не замѣченъ, никогда не замѣченъ.—Я, ангельчикъ мой, горѣлъ, въ адскомъ огнѣ горѣлъ! Я умиралъ!—Ну, говорятъ его превосходительство громко: перепишите же вновь пѣсорию; Дѣвущинъ, подойдите сюда, перепишите опять вновь безъ ошибки: да послушайте: тутъ его превосходительство обернулся къ прочимъ, раздали приказания разнымъ, и всѣ разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство посиѣшню вынимаетъ книжечку и изъ него сторублеую: вотъ, говорятъ они—чѣмъ могу, считайте какъ хотите, возьмите... да и всунулъ мнѣ въ руку. Я, ангель мой, вздрогнулъ, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить ихъ ручку хотѣлъ. А онъ-то весь покраснѣлъ, мой голубчикъ, да—вотъ ужъ тутъ ни на волосъ отъ правды не отступаю, родная моя; взялъ мою руку недостойную, да и потрясъ ее, такъ-таки взялъ да и потрясъ, словно ровнѣ своей, словно такому же какъ самъ генералу. Ступайте, говорятъ; чѣмъ могу... Ошибокъ не дѣлайте, а теперь грѣхъ пополамъ.

Такая страшная сцена можетъ не потрясти глубоко только душу такого человѣка, для котораго человѣкъ, если онъ чиновникъ не выше 9-го класса, не стоить ни вниманія, ни участія. Но всякое человѣческое сердце, для котораго въ мірѣ ничего нѣтъ выше и священнѣе человѣка, кто бы онъ ни былъ, всякое человѣческое сердце судорожно и болѣзненно сожмется отъ этой—повторяемъ—страшной, глубоко-патетической сцены... И сколько потрясающаго душу дѣйствія заключается въ выраженіи его благодарности, смѣшанной съ чувствомъ сознанія своего паденія и съ чувствомъ того самоуниженія, которое бѣдность и ограниченность ума часто считаютъ за добродѣтель!...

«Теперь, маточка, вот какъ я рѣшилъ: васъ и Федору прошу и если бы дѣти у меня были, то и имъ бы повелѣлъ, чтобъ Богу молились, то-есть вотъ какъ: за роднаго отца не молились бы, а за его превосходительство каждыиъ дневи и вѣчно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, не смотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, солемъ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволяли. Этими они мени самому себѣ возвратили. Этими поступкомъ они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще на вѣки сдѣлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ не грѣшнъ передъ Всевышнимъ, но молитва о счастьи и благополучіи его превосходительства, дойдетъ до престола Его!...

Другимъ образомъ, но не менѣе ужасна эта картина:

«Сего числа случилось у насъ на квартирѣ до нельзя горестное, ничѣмъ необъяснимое и неожиданное событіе. Нашъ бѣдный Горшковъ (замѣтить вамъ нужно, маточка), совершенно оправдался. Рѣшеніе-то ужъ давно какъ вышло, а сегодня онъ ходилъ слушать окончательную резолюцію. Дѣло для него весьма счастливо кончилось. Какая тамъ была вина на немъ, за нерадѣніе и неосмотрительность — на все вышло полное отпущеніе. Приступили выправить въ его пользу съ купца знатную сумму денегъ, такъ что онъ и обстоятельствомъ-то сильно поправился, да и честь-то его отъ пятна избавилась, и все стало лучше,—однимъ словомъ, вышло самое полное исполненіе желанія. Пришелъ онъ сегодня въ три часа домой. На немъ лица не было, бѣдный какъ пологно, губы у него трясутся, а самъ улыбается—обнялъ жену, дѣтей. Мы всѣ гурьбою ходили къ нему поздравлять его. Онъ былъ весьма растроганъ нашимъ поступкомъ, кланялся на всѣ стороны, жалъ у каждого изъ насъ руку, по нѣскольку разъ. Мнѣ даже показалось, что онъ и выросъ-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то вѣтъ уже въ глазахъ. Въ волненіи былъ такомъ, бѣдный! Двухъ минутъ на мѣстѣ не могъ простоять; бралъ въ руки все, что ему ни попадалось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улыбался и кланялся, садился, вставалъ, опять садился, говорилъ Богъ знаетъ что такое—говорить: «честь моя, честь, доброе имя, дѣти мои»—и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже большею частію прослезнились. Ратазевъ видно хотѣлъ его ободрить и сказалъ—«что, батюшка, честь, когда нечего ѣсть, деньги, батюшка, деньги главное; вотъ за что Бога благодарите!»—и тут же его по плечу потрепалъ. Мнѣ показалось, что Горшковъ обидѣлся, т. е. не то, что бы прямо неудовольствіе выказалъ, а только посмотрѣлъ какъ-то странно на Ратазьева, да руку его съ плеча своего снялъ. А прежде до этого

не было, маточка! Впрочем! различные бывают характеры.— Вот я, например, на таких радостях гордещою бы не выказался; вѣдь чего, родная моя, иногда и помянь лишній и уничтоженіе изъявляешь, не отъ чего ниаго, какъ отъ припадка доброты душевной и отъ излишней мягкости сердца... но впрочемъ не во мнѣ тутъ и дѣло-то!— Да, говорить, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!... и потому все время, какъ мы у него были, твердилъ, слава Богу, слава Богу!... Жена его заказала обѣдъ поделегатнѣе, пообильнѣе. Хозяйка наша сама для нихъ стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обѣда, Горшковъ на мѣстѣ не могъ усидѣть. Заходилъ ко всѣмъ въ комнаты, звали ль, не звали его. Такъ себѣ войдетъ, улыбнется, присядетъ на стулъ; скажетъ что-нибудь, а иногда и нечего не скажетъ и уйдетъ. У мячмана даже карты въ руки взялъ; его и усадили играть за четвертаго. Онъ поигралъ-поигралъ, напугалъ въ игрѣ каково-то вздора, сдѣлалъ три-четыре хода, и бросилъ играть. Нѣтъ, говорить, вѣдь я такъ, а это только такъ— и ушелъ отъ нихъ. Меня встрѣтилъ въ корридорѣ, взялъ меня за обѣ руки, посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза, только такъ чудно; пожалъ мнѣ руку и отошелъ и все улыбаясь, но какъ то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала отъ радости; весело такъ у нихъ было, по праздничному. Пообѣдали они скоро. Вотъ послѣ обѣда онъ и говорить жёнѣ:— «Послушайте, душенька, вотъ я немного прилягу» да и пошелъ на постель. Подозвалъ къ себѣ дочку, положилъ ей на головку руку и долго-долго глядѣлъ по головѣ ребенка. Потомъ опять оборотился къ жёнѣ: дескать, а что жъ Петинья? Пата нашъ, Петинья?... Жена перекрестилась да и отвѣчаетъ, что вѣдь онъ уже умеръ.— Да, да, знаю, все знаю, Петинья теперь въ царствѣ небесномъ.— Жена видитъ, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говорить ему— вы бы, душенька, заснули.— Да, говорить, я сейчасъ... я немножко,— тутъ онъ отвернулся, полежалъ немного, потомъ оборотился, хотѣлъ сказать что-то. Жена его не разслышала; спросила его — что, мой другъ? А онъ не отвѣчаетъ. Она подождала немножко — ну, думаетъ, уснулъ, и вышла на часокъ къ хозяйкѣ. Черезъ часъ времени воротилась— видитъ, мужъ еще не проснулся и лежитъ себѣ не шелохнется. Она думала, что спать, съѣла и стала работать что-то. Она рассказываетъ, что она работала съ полчаса и такъ погрузилась въ размышленіе, что даже и не помнить о чемъ она думала, говорить только, что она и позабыла объ мужѣ. Только вдругъ она очнулась отъ каково-то тревожнаго ощущенія, и гробовая тишина въ комнатѣ поразила ее прежде всего. Она посмотрѣла на вровать и видитъ, что мужъ лежитъ все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одѣяло, смотреть— а ужъ онъ холодѣхонекъ — умеръ, маточка, умеръ Горшковъ, внезапно умеръ, словно меня громомъ убилъ. А отъ чего умеръ, Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинья, что я до сихъ поръ опомниться не

могу. Не вѣрится что-то, чтобы такъ просто могъ умереть человекъ. Этою бѣднатою, горемыкою этотъ Горшковъ! Ахъ, судьба-то, судьба какая! Жена въ слезахъ, такая испуганная. Дѣвочка куда-то въ уголъ забилась. У нихъ тамъ суматоха такая идетъ; слѣдствіе медицинское будутъ дѣлать... ужъ не могу самъ навѣрное сказать. Только жалко! Грустно подумать, что такъ въ самомъ дѣлѣ ни дня, ни часа не вѣдаешь!... Погибаетъ ни за что...

Что передъ этою картиною, написанною такою широкою и мощною кистію, что передъ нею мелодраматическіе ужасы въ повѣстяхъ модныхъ французскихъ фельетонныхъ романистовъ! Какая страшная простота и истина! И кто все это рассказываетъ? — ограниченный и смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ!...

Мы не будемъ больше указывать на превосходныя частности этого романа: легче перечестъ весь романъ, нежели пересчитать все, что въ немъ превосходнаго, потому что онъ весь, въ цѣломъ, — превосходенъ. Упомянемъ только о последнемъ письмѣ Дѣвушкина въ его Варинькѣ: это слезы, рыданіе, вопль, раздирающіе душу! Тутъ все истинно, глубоко и велико, а между тѣмъ, это пишетъ ограниченный, смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ! И читая его, вы сами готовы рыдать и въ тоже время вы улыбаетесь... Сколько сокрушительной силы любви, гдѣри и отчаянія въ этихъ простодушныхъ словахъ старика, теряющаго все, чѣмъ мила была ему жизнь: „Да вы знаете ли только, что тамъ такое, куда вы ѣдете-то, маточка? Вы, можетъ-быть, этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь чистая, голая степь, вотъ какъ моя ладонь голая! Тамъ ходитъ баба безчувственная, да мужикъ необразованный няница ходитъ...“

Мы думаемъ, что теперь кстати сказать нѣсколько словъ и о „Двойникѣ“, хотя онъ и не относится къ „Петербуржскому Сборнику“. Какъ талантъ необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи, — и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа—г.

Голядкинъ — одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на амбиціи людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями, рѣшительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ; и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ недурно; но болѣзненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательнѣе осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и бѣдныхъ, и богатыхъ, и глухихъ и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоитъ въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскѣ, не интриганъ; дѣйствуетъ открыто и идетъ прямою дорогою. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что г. Голядкинъ разстроены въ умѣ. И такъ, герой романа — сумасшедшій! Мысль смѣлая и выполненная авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемо излишнимъ слѣдить за ея развитіемъ, указывать на отдѣльныя мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякаго, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ „Двойникъ“ еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ „Бѣдныхъ Людахъ“. А между тѣмъ, почти общій голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скученъ, изъ чего-де и слѣдуетъ, что объ авторѣ напрасно прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго!... Справедливо ли такое заключеніе? — Мы не оби-

нужь скажемъ, что, съ одной стороны, оно крайне ложно, а съ другой, что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что „Двойникъ“ нисколько не растянуть, хотя и нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и не цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ называемая растянутость бываетъ двухъ родовъ: одна происходитъ отъ бѣдности таланта, — вотъ это-то и есть растянутость; другая происходитъ отъ богатства, особливо молодаго таланта, еще несозрѣвшаго, — и ее слѣдуетъ называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью. Еслибъ авторъ „Двойника“ далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключать изъ рукописи его „Двойника“ все, что показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ, — у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдѣльное мѣсто, потому что каждое отдѣльное мѣсто въ этомъ романѣ — вершъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ „Двойникѣ“ ужь черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ и наскучаетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и сосѣдъ Фока ѣлъ ее съ аппетитомъ и всласть; но наконецъ бѣжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ „Двойника“ еще не приобрѣлъ себѣ такта мѣры и гармоніи, и оттого не всѣмъ безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости даже и „Бѣдныхъ Людей“, хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ „Двойнику“. Итакъ, въ этомъ отношеніи, судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ г. Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодовитость только служитъ доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли идти своею дорогою, никого не слушая, — или, желая угодить тол-

пѣ, стараться пріобрѣсти преждевременную, слѣдовательно, искусственную зрѣлость своему таланту и, за не имѣніемъ естественнаго, прибѣгнуть къ поддѣльному чувству иѣры?... По нашему мнѣнію, обѣ эти крайности равно гибельны. Талантъ долженъ идти своею дорогою, съ каждымъ днемъ, естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незрѣлости; но въ то же время, онъ долженъ, обязанъ „принимать къ свѣдѣнію“, чѣмъ особенно недовольно болшинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что можно счесть въ „Двойникѣ“ растянутостью, такъ это частое, и, мѣстами, вовсе ненужное повтореніе однихъ и тѣхъ же фразъ, какъ на примѣръ: „Дожилъ я до бѣды“, *дожилъ я вотъ такимъ-то образомъ до бѣды...* Эта бѣда вѣдь какая!... *экая вѣдь бѣда одолѣла какая!*...“ (стр. 347). Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ въ романѣ найдется довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ, въ сознаніи своей силы и своего богатства, какъ будто тѣшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще, „Двойникъ“ носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодаго и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что еслибъ авторъ теперь вздумалъ совершенно передѣлать свой „Двойникъ“, чтобъ оставить въ немъ однѣ красоты, исключивъ всѣ недостатки, — мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ рассказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это съ одной стороны показываетъ избытокъ

юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другаго, совершенно чуждаго ему существа; но съ другой стороны, это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно вправѣ не понять и не догадаться, что писъма Вахрамѣева и г. Голядкина-младшаго г. Голядкинъ-старшій очиняетъ самъ къ себѣ, въ своемъ разстроенномъ воображеніи, — даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему, въ его разстроенномъ воображеніи, и вообще о самомъ помѣшателствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанные съ достоинствами и красотами цѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ этомъ романѣ только одинъ: почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски, впрочемъ, очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Больше указать не на что.

Мы только слегка коснулись обоихъ произведеній г. Достоевскаго, особенно послѣдняго, говорить о нихъ подробно, значило бы зайти гораздо далѣе, нежели сколько позволяютъ предѣлы журнальной статьи. Такого неизчерпаемаго богатства фантазій не часто случается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размѣра, — и это богатство видимо мучить и тяготитъ автора „Бѣдныхъ Людей“ и „Двойника“. Отсюда и ихъ минная растянутасть, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе читать, но, впрочемъ, отнюдь не находящіе, чтобъ „Парижскія Тайны“, „Вѣчный Жидъ“, или „Графъ Монте-Кристо“ были растянуты. И съ одной стороны, чтецы такого рода правы: не всякому дано знать тайны искусства, такъ же, какъ не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому, чтецы имѣютъ полное право не знать ни причины, ни исти-



наго значенія того, что называютъ они „растянутостью“; они знаютъ только, что чтеніе „Бѣдныхъ Людей“ нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а „Двойникъ“ не многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они все говорятъ одно и то же, — такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унижительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: объ эти крайности — сцилла и харибда таланта. Знатоки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ „Двойника“, все таки не оторвутся отъ этого романа, не дочитавъ его до послѣдней строки; но, во первыхъ, и они, дорожа и любуясь каждымъ словомъ, каждымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все таки чувствуютъ утомленіе; во вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всехъ. Что же касается до толковъ большинства, что „Двойникъ“ — плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличины, и т. п. — объ этомъ г. Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіе его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ претивопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностью постигнать схватятся тѣ самыя люди, которые такъ мудро и окончательно рѣшили по „Двойнику“, что у него, или вовсе нѣтъ таланта, или есть да такъ-себѣ, небольшой...

Теперь намъ слѣдовало бы сказать что-нибудь о печатныхъ толкахъ и сужденіяхъ по поводу „Бѣдныхъ Людей“; но мы чув-

ствуемъ себя на эту минуту въ такомъ добромъ расположеніи духа, что хотимъ ограничиться совѣтомъ г. Достоевскому—перепечатать всѣ эти сужденія при будущемъ изданіи своихъ сочиненій, какъ это сдѣлалъ Пушкинъ, приложившій ко второму или третьему изданію „Руслана и Людмилы“ всѣ критики и рецензіи, въ которыхъ бранили эту поэму...

Обращаемся къ остальнымъ статьямъ „Петербургскаго Сборника“.

„Три Портрета“, рассказъ г. Тургенева, при ловкомъ и живомъ изложеніи, имѣетъ всю заманчивость не повѣсти, а скорѣе воспоминаній о добромъ старомъ времени. Къ нему шелъ бы эпиграфъ: „Дѣла минувшихъ дней!“..

„Мартингалъ“ (изъ записокъ гробовщика), кн. Одоевского, исполненъ интереса и по содержанію и по изложенію. Можно замѣтить только, что этотъ рассказъ былъ бы естественнѣе, еслибы въ немъ не былъ вмѣшанъ гробовщикъ, которому, несмотря на то, что онъ Нѣмецъ и ученъ, едва ли бы молодой человекъ сталъ открывать свои заветныя и страшныя тайны, готовясь, можетъ-быть, умереть насильственною смертію...

Къ отдѣлу рассказовъ въ альманахѣ должно присовокупить и „Парижскія Увеселенія“, легкій и живой очеркъ того, какъ веселятся Французы и какъ поддѣлываются подъ ихъ способъ веселиться Русскіе, живущіе въ Парижѣ. Эта статья тоже интересна.

Переходимъ къ стихотворной части альманаха. Онъ украшенъ цѣлыми двумя, и къ тому еще прекрасными, поэмами. „Помѣщикъ“ г. Тургенева—легкая, живая, блестящая импровизація, исполненная ума, ироніи, остроумія и граціи. Кажется, здѣсь талантъ г. Тургенева нашелъ свой истинный родъ и въ этомъ родѣ онъ неподражаемъ. Стихъ легокъ, повтиченъ, блестятъ эпиграммой. Кто-то увѣрялъ печатно, будто „Помѣщикъ“—подражаніе „Евгенію Онѣгину“: ужь не „Энеидъ“ ли

Виргилія? Право, послѣднее предположеніе ничѣмъ не несправедливѣе перваго. Первое произведеніе такого рода въ русской литературѣ принадлежитъ Дмитріеву, автору „Модной Жены“. Оно было написано въ духѣ и вкусѣ своего времени (поэтому-то оно прекрасно и теперь). Для нашего же времени, Пушкинъ далъ образцы такихъ произведеній въ „Графѣ Нулинѣ“ и „Домикѣ въ Коломнѣ“. А объ „Онѣгинѣ“ тутъ и поминать нечего, какъ о произведеніи совсѣмъ другаго и притомъ высшаго рода. Пусть успокоится на этотъ счетъ почтенный критиканъ, одаренный такою удивительною способностью находить сходство тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ. Что „Помѣщикъ“ г. Тургенева можетъ ему не нравиться, этому мы не удивляемся: у всякаго свой вкусъ. Есть люди, которымъ, напримѣръ, очень не нравится, что повѣсти Гоголя переведены на французскій языкъ (черезъ что талантъ Гоголя получилъ европейскую извѣстность); а намъ нравится (и притомъ еще какъ!) и „Помѣщикъ“ г. Тургенева и то, что повѣсти Гоголя изданы въ Парижѣ въ такомъ прекрасномъ переводѣ. Къ „Помѣщику“ приложены прекрасныя картинки, рисованныя г. Агинымъ. Мы очень рады случаю отдать должную справедливость таланту этого молодаго художника. Г. Тимъ—безспорно лучшій рисовальщикъ въ Россіи, но въ его карандашѣ ничего нѣтъ русскаго. Смотри на картинки г. Агина, невольно вспомнишь стихъ Пушкина: „Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ“. Его картинки къ „Помѣщику“—заглядѣнье!—за исключеніемъ, впрочемъ, четырехъ, которыя не удались, какъ 16-я, 17-я и 19-я, или мало удались, какъ 11-я.

Въ началѣ прошлаго года, г. Майковъ подарилъ публику прекрасною поэмою—„Двѣ Судьбы“; въ началѣ нынѣшняго года, онъ опять даритъ ее прекрасною поэмою—„Машинька“. Рассказывать содержаніе новаго произведенія г. Майкова было бы излишне: оно такъ просто. У бѣднаго чиновника соблазнили

страстно любимую имъ дочь; увидѣвъ ее на гуляньѣ, на островахъ, бѣдующую, въ пышномъ нарядѣ, объ-руку съ своимъ соблазнителемъ, несчастный отецъ проклинаетъ ее; оставленная своимъ любовникомъ, бѣдная Маша, которой вся вина состоитъ въ страстной натурѣ и дѣтской неопытности ума и сердца, возвращается къ отцу — и тотъ принимаетъ ее съ благословеніемъ. Вотъ и все. Сюжетъ даже не новъ. Но въ художественномъ произведеніи дѣло не въ сюжетѣ, а въ характерахъ, въ краскахъ и тѣняхъ разсказа. Съ этой стороны, поэма г. Майкова отличается красотами необыкновенными. Характеръ отца обрисованъ превосходно. Маша и ея подруга, Zizine, какъ институтки, очерчены безподобно; но характеръ Маши, какъ героини поэмы, не совсѣмъ ровень и опредѣлительнъ; чего-то не достаетъ ему. Лучшая сторона новой поэмы г. Майкова—то, что на вульгарномъ языкѣ называется соединеніемъ патетическаго элемента съ комическимъ, которое въ сущности есть не иное что, какъ умѣнье представлять жизнь въ ея истинѣ. Этой истины много въ поэмѣ. Особенно порадовала насъ въ ней прелесть комическаго разговора, который даетъ надежду, что для таланта молодого поэта предстоитъ еще въ будущемъ богатое развитіе въ такомъ родѣ поэзіи, къ которому, въ началѣ его поприща, никто не считалъ его способнымъ. Не для показанія красоты поэмы (для этого ее нужно было бы перепечатать всю), а для поясненія и подтвержденія нашей мысли, выписываемъ конецъ:

Марія шла дрожащею стоной,  
 Одна съ больной, растерзанной душой:  
 Дай силы умереть мнѣ, правый Боже!  
 Весь міръ—чужой мнѣ... А отецъ?... старикъ...  
 Оставленный... и онъ... онъ пролилъ тоже!  
 За что жъ? хоть на него взглянуть бы мигъ,  
 Все разсказать... а тамъ—пусть проклинаетъ!  
 Она идетъ; сторонится народъ,

Кто молча, кто съ угрозою, кто шепнеть:  
 «Безумная!» и въ страхѣ отступаетъ.  
 И вотъ знакомый домигъ: меркнулъ день,  
 Зарей вечерней небо обагрилось,  
 И длинная по улицамъ ложилась  
 Отъ фонарей, деревья и кровель тѣнь.  
 Вотъ садъ, слямя, поросшая травою  
 Подъ вѣтвями широкими березъ.  
 На ней старикъ. Последний влохъ волосъ  
 Давно ужъ выпалъ. Блѣдный онъ казался  
 Однимъ скелетомъ. Ветхій вицъ-мундиръ  
 Не снять: онъ видно снять не догадался,  
 Прийдя отъ должности. Повой и миръ  
 Его лица былъ страшенъ: это было  
 Спокойствіе отчаянья. Уныло  
 Онъ только ждалъ скорѣй оставить миръ.  
 Вдругъ слышитъ вздохъ и листья задрожали  
 Отъ шороха. «Что, ужъ не воры ль тутъ?  
 «А пусть все крадутъ, пусть все разберутъ,  
 «Вѣдь ужъ они... они ее украли...  
 Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ,  
 И чудится ему рыданья тоже,  
 И голосъ: что я сдѣлала съ нимъ, Боже!  
 Не зная какъ, онъ дочь ужъ обнималъ,  
 Не въ силахъ слова вымолвить.—Папаша,  
 Простите!—«Что, я развѣ звѣрь или Жидъ?»  
 — «Простите!»—«Пошло! Богъ тебя проститъ!  
 А ты... а ты меня простишь ли, Маша?»

Мелкихъ стихотвореній въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ не-  
 много. Самые интересныя изъ нихъ принадлежатъ перу изда-  
 теля Сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это—  
 не стишки къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, дѣльнаго  
 и современнаго. Лучшее изъ нихъ — „Въ Дорогѣ“. Изъ дру-  
 гихъ стихотвореній въ „Сборникѣ“, замѣчательны переводы  
 г. Тургенева: „Тьма“, изъ Байрона, и „Римская Элегія“ Гёте.  
 „Макбетъ“ Шекспира, переведенный г. Кроненбергомъ,  
 одинъ заслуживалъ бы особой критической статьи, потому что

это переводъ классическій, вполне достойный подлинника, „Макбетъ“ — одно изъ самыхъ колоссальныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самыхъ чудовищныхъ произведеній Шекспира, гдѣ, съ одной стороны, отразилась вся исполинская сила творческаго его генія, а съ другой, все варварство вѣка, въ которомъ жилъ онъ. Много разсуждали и спорили о значеніи вѣдьмъ, играющихъ въ „Макбетъ“ такую важную роль: одни хотѣли видѣть въ нихъ просто вѣдьмъ, другіе — олицетвореніе честолюбивыхъ страстей Макбета, глухо свирѣпствовавшихъ на днѣ души его; третьи — поэтическія аллегоріи. Справедливо только первое изъ этихъ мнѣній. Шекспиръ — можетъ-быть, величайшій изъ всѣхъ геніевъ въ сферѣ поэзіи, какихъ только видѣлъ міръ; но въ то же время, онъ былъ сынъ своего времени, своего вѣка, того варварскаго вѣка, когда разумъ человѣческій едва началъ пробуждаться отъ своего тысячелѣтнаго сна, когда въ Европѣ тысячами жгли колдуновъ, и когда никто не сомнѣвался въ возможности прямыхъ сношеній человѣка съ нечистою силою. Шекспиръ не былъ чуждъ слѣпоты своего времени, — и вводя вѣдьмъ въ свою великую трагедію, онъ нисколько не думалъ дѣлать изъ нихъ философскія олицетворенія и поэтическія аллегоріи. Это доказывается, между прочимъ, и важною ролью, какую играетъ въ „Гамлетѣ“ тѣнь отца героя этой великой трагедіи. „Другъ Гораціо“, говоритъ Гамлетъ: „на землѣ есть много такого, о чемъ и не бредила ваша философія“. Это убѣжденіе Шекспира, это говоритъ онъ самъ, или, лучше сказать, невѣжество и варварство его вѣка, — а обскуранты нашего времени такъ и ухватились за эти слова, какъ за оправданіе своего слабоумія. Шекспиръ видѣлъ и Богъ-вѣсть какую удивительную драматическую и трагическую пружину въ ходѣ Бирнамскаго Лѣса и въ томъ обстоятельстве, что Макбетъ не можетъ пасть отъ руки человѣка, рожденнаго женою. Дѣло оказалось чѣмъ-то въ родѣ плохаго

каламбур; но такова творческая сила этого человѣка, что несмотря на всѣ нелѣпости, которыя ввелъ онъ въ свою драму, „Макбетъ“ все-таки огромное, колоссальное созданіе, какъ готическіе храмы среднихъ вѣковъ. Что-то сурово-величаво-грандіозно-трагическое лежитъ на этихъ лицахъ и ихъ судьбѣ; кажется, имѣешь дѣло не съ людьми, а съ титанами, и какая глубина мысли, сколько обнаженныхъ тайнъ человѣческой природы, сколько рѣшенныхъ великихъ вопросовъ, какой страшный и поучительный урокъ!... Вотъ доказательство, что время не губить генія, но геній торжествуетъ надъ временемъ, и что каждый моментъ всемірно-историческаго развитія человѣчества даетъ равно-обильную жатву для поэзій. Прейдутъ еще два вѣка, а можетъ-быть и меньше, когда будутъ дивиться варварству XIX столѣтія, какъ мы дивимся варварству XVI-го; не найдутъ въ немъ Шекспира, но найдутъ Байрона и Жоржа Занда...

И это не кругъ, въ которомъ безвыходно кружится человѣчество, а спираль, гдѣ каждый послѣдующій кругъ обширнѣе предшествующаго. Нашъ вѣкъ имѣетъ передъ XVI-мъ то важное преимущество, что онъ заранѣе знаетъ, въ чемъ послѣдующіе вѣка должны увидѣть его варварство...

У насъ было довольно переводовъ стихами драмъ Шекспира. Лучшіе изъ нихъ доселѣ принадлежали г-ну Вронченко (Гамлетъ и Макбетъ). Но переводы г. Вронченко, вѣрно передавая духъ Шекспира, не передаютъ его изящности. Г. Кронебергъ умѣлъ счастливо выполнить оба эти условія: его переводъ вѣренъ и духу и изящности подлинника, исполненъ, въ одно и то же время, и энергіи и легкости выраженія. Это рѣшительно не только лучшій, сравнительно съ другими русскими переводами, но положительно превосходный переводъ одной изъ лучшихъ трагедій Шекспира, такъ же, какъ его же переводъ „Двѣнадцатой Ночи“ („Отечественныя Записки“ 1841,

томъ XVII) есть единственный и превосходный перевод одной изъ прелестнѣйшихъ комедій Шекспира.

Теперь остается намъ сказать о трехъ статьяхъ теоретическаго содержанія въ „Петербургскомъ Сборникѣ“. „Капризы и Раздумье“, Искандера, автора повѣсти: „Кто Винавать?“ (въ „Отечественныхъ Запискахъ“ прошлаго года) и разныхъ статей литературно-философскаго содержанія, — есть роль замѣтокъ и афористическихъ размышленій о жизни, исполненныхъ ума и оригинальности во взглядѣ и изложеніи. Не можемъ удержаться, чтобъ не выписать небольшого отрывка:

«Наука, государство, искусство, промышленность илуть развиваясь во всей Европѣ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и вѣншихъ необходимостяхъ; объ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ, — не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идиллій. Только дѣта юности обстановлены похудожественіемъ: а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви — утретительное *sempre idem* закулисной жизни, ежедневной жизни — это тѣсная снальная, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бывають. Конечно, въ послѣдніе три вѣва много переиѣнилось въ образѣ жизни; впрочемъ, украдкой, бессознательно, даже вопреки убѣжденіямъ, мѣняя образъ жизни, люди не признавались въ этомъ: знамена остались тѣ же, люди, какъ Испанцы, хотять только сохранить *фюзеры*, несмотря на то, что большая часть ихъ на соотвѣтствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивнисься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то же время совмѣстивъ въ свой нравственный кодексъ сточескія сентенціи Сенеки и Катона, романтически-восторженныя выходы рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя правоученія благочестивыхъ отшельниковъ степей евандскихъ и своекорыстныя правила политической эконومیи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно — мертвую мораль, мораль существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда — не болѣе. У каждаго человѣка за его официальной моралью есть свой спрятанный *égarrit de conduite*; официально онъ



будет плавать о томъ, что бѣдный бѣдень, официально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины,—*privatim* онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя въ правѣ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше динихъ парывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это, конечно, много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ рождаются и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ, и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человѣка благосовитаннаго — потому, что никогда не добьешься отъ него, чтобы онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

«Наполеонъ говорилъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемірной жизни, пока не бросится *ex miris* *modi* *сдробностей*. Чего желалъ Наполеонъ—исполнилъ микроскопъ. Естественныиспытатели увидѣли, что не въ палецъ толстыя артеріи и вены, не огромныя куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы физиологій, а волосяныя сосуды, а клѣтчатки, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно разсмотрѣть нить за нитью паутины ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самыя сильныя характеры, самыя огненныя энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома, съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ изчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ,—но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежать семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр. и пр.,—объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобы не дать развиться угривеніямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ,—а не пора ли бы имъ на свѣтѣ? Я какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ,

сидит злой дух съ рышею бородою и съ попытою. Затѣмъ, намется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта; да въ сущности это все равно: прятч не прятч—все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein  
Still und fein gasponnen,  
Kommt—wie kann es anders sein?  
Endlich an die Sonnen.

Издѣдка какое нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ иракѣ частной жизни пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставить ихъ задуматься... для того, чтобъ потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человекъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобъ убить кокара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую предлагаетъ въ частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала вчера отъ него»—сѣверная женщина! «Отецъ его лишился наследства» — сѣверный отецъ! Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы, и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ, Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать какъ математическую задачу, т. е. стараться понять,—этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобъ преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандално, обито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотрѣть какъ цари, герои или по крайней мѣрѣ полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того чтобъ видѣть мѣщански проливаемые слезы.

«Людямъ необходимы декораціи, обстановка, надписи; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой—мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, на знаніе этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса—и мы не плачемъ надъ ними.

«Лафаржъ отравилъ своего мужа (т. е. положимъ, что отравилъ, а слѣдствіе было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравилъ мышьякомъ своего мужа, или судья отравилъ юриспруденціей |г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное—въ этомъ нѣтъ не сомнѣвается: да что же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго,—разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ, напримѣръ, мой сосѣдъ, этотъ богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея вѣнныя родители

стояли передъ нею, на колѣняхъ, умоляя спасти ихъ имѣнье, ихъ честь—продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ; что даль ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего эти ввалившіеся щеки, отъ чего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какими-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и немудрено: ядъ у нѣй въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реакцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего не достаетъ этой женщины? она утопаетъ въ роскоши» — говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ,—себя наряжаетъ: онъ ее наряжаетъ потому, что она его, на томъ же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и вучера. «Все такъ,—говорятъ умнѣйшіе,—но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благодарнѣе переносить свою судьбу».

А позвольте спросить: возможно ли *хроническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не важность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали—это понятно; а безирестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву—да гдѣ же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнія? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву—такая жертва, само собою разумѣется, не приносится ни отцу ни матери, потому что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣроятно, не остановился на куплѣ, потребовалъ, сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человеческое достоинство, любви, и не найдя ея, началъ, *rag d'èpit*, тихое, вроткое, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную *охоту rag force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нежная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отправляющее каждый кусокъ въ гордѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ; оно, какъ Янусъ о двухъ лицахъ—одно для гостей, глупо улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гienны, сказалъ бы я, еслибъ гienны улыбались: хищные звѣри добросовѣстны, они не дѣлаютъ медовыхъ усть, когда хотять кусать. Уми жена,—супругъ воздвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ, и, для довершенія удара, слезами отравленными; онъ подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

«Людямъ непремѣнно надобно видимые знаки, несчастію и бѣдѣ они почувствовать не могутъ. «Вотъ видите этого толстаго мужчину съ усами—онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ»,—и всѣ: «ахъ, Боже мой! бѣдный, онъ все вынесъ!». Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему не-

навидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполнивъ свою обязанность, не смѣетъ идти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело—я это знаю лучше многихъ, но ставить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершеннѣйшій, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ дѣла гремятъ, гдѣ есть кровь, слезы, снія пятна, какъ будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

«Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтятся ночники, тухнувшая лампа; догорающая свѣча, — на меня находятъ ужась; въ каждой стѣнной мѣстѣ мерещится драма, за каждой стѣнной видѣются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы, обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь.—Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ, и снятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсенная, задвленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непременно кому-нибудь да солоно жить.

«Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось въ продолженіи шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить какъ устроить домашній бытъ свой.

«Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дѣтки, няньки, недели, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфеты и прочее,—дѣло дѣтское!»

Въ статьѣ своей „О характерѣ народности въ древнемъ и новѣйшемъ искусствѣ“ г. Никитенко разсматриваетъ одинъ изъ интереснѣйшихъ современныхъ вопросовъ изъ сферы искусства и удовлетворительно рѣшаетъ его съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ, и изяществомъ изложенія, показавъ настоящія отношенія между народнымъ и общечеловѣческимъ. Эту прекрасную статью должно читать всю: отрывокъ не далъ бы о ней никакого понятія, потому что вся она есть не что иное, какъ стройно-логическое развитіе одной основной идеи.

О статьѣ г. Бѣлинскаго „Мысли и замѣтки о русской литературѣ“, по извѣстнымъ публикѣ отношеніямъ ея автора къ нашему журналу, мы не считаемъ себя въ правѣ говорить, предоставляя судить о ней читателямъ. Думаемъ, однокоржъ, что во всякомъ случаѣ она не повредила достоинству альманаха.

Успѣхъ „Петербургскаго Сборника“ упредилъ наше о немъ сужденіе. Дивиться этому успѣху нечего: такой альманахъ—еще небывалое явленіе въ нашей литературѣ. Выборъ статей, ихъ многочисленность, объемъ книги, внѣшняя изящность изданія,—все это, вмѣстѣ взятое, есть небывалое явленіе въ этомъ родѣ; оттого и успѣхъ небывалый.

---

II.

**БИБЛІОГРАФІЯ.**



МЕЛЬНИКЪ. (*Le meunier d'Angibault*). Романъ Жоржа Занда. Спб. 1845.

Обыкновенно, каждый новый годъ начинается у насъ книгами, принадлежащими старому году. Первые книжки журналовъ появляются перваго января новаго года, следовательно, составляются и печатаются въ декабрѣ прошлаго года. Рѣдко въ библиографіи первыхъ книжекъ журналовъ промелькнетъ книга подъ фирмою новаго года, да и та—самозванка; тутъ явно счастливый временщикъ, новый годъ, отбиваетъ заслугу стараго, нагло присвоивая себѣ рожденныя имъ книги и хвастаясь чужимъ добромъ. Отчеты о книгахъ новаго года начинаются только въ февральскихъ книжкахъ журналовъ, да и въ нихъ бѣольшая часть книгъ принадлежитъ старому году. Но въ нумерахъ журналовъ за февраль мѣсяцъ можно по крайней мѣрѣ встрѣтить рецензіи болѣе или менѣе интересныхъ книгъ, которыя обыкновенно торопятся выйти въ продолженіи января. А между тѣмъ, отъ первыхъ-то книжекъ журналовъ новаго года публика и ждетъ всевозможныхъ чудесъ, особенно отъ отдѣла библиографіи. Наши издатели къ январю торопятся выпускать преимущественно дѣтскія книжки съ картинками, что составляетъ собственно не книжную, а игрушечную торговлю,—товаръ для подарковъ къ новому году. Къ этому же разряду надо причислить и официальные поздравленія съ новымъ годомъ, въ стихахъ. Кстати: въ книгѣ новыхъ книгъ, вы-



шедшихъ въ прошломъ мѣсяцѣ, мы къ крайнему удовольствію не нашли ни одной, которая бы вся написана была стихами. Это добрый знакъ и хорошее предвѣстіе для наступающаго года. Дѣйствительно, наступающій годъ—мы знаемъ это навѣрное,—долженъ сильно возбудить вниманіе публики однимъ новымъ литературнымъ именемъ, которому, кажется, суждено играть въ нашей литературѣ одну изъ такихъ ролей, какія даются слишкомъ немногимъ. Что это за имя, чье оно, чѣмъ замѣчательно, обо всемъ этомъ мы пока умолчимъ, тѣмъ болѣе, что все это сама публика узнаетъ на дняхъ. Наступающій годъ, сколько намъ извѣстно, намѣренъ дебютировать огромнымъ альманахомъ въ форматѣ „Ста Русскихъ Литераторовъ“, но еще толще и плотнѣе, красиво изданномъ, наполненномъ статьями въ стихахъ и прозѣ, съ картинками и безъ картинокъ. Въ этомъ альманахѣ будетъ не только хорошая, изящная проза, но и хорошіе, изящные стихи, что теперь такая рѣдкость. Покуда мы можемъ сказать только, что не многимъ новымъ годамъ удавалось начать свое литературное поприще такою блестящею обновкою... Но и на этотъ разъ, счастливецъ новый годъ блеснетъ трудами и достоиніемъ своего предшественника, такъ несправедливо уже забытаго легкомысленною толпою...

Въ ожиданіи того, что скоро будетъ, поговоримъ о томъ, что уже есть. Съ одной стороны, мы очень рады, что можемъ открыть нашу „Библиографическую Хронику“ новаго года такимъ произведеніемъ, какъ „Мельникъ“ Жоржа Занда; съ другой стороны, это намъ даже очень прискорбно. Дѣло въ томъ, что чѣмъ выше художественное произведеніе, тѣмъ непріятнѣ видѣть его или произвольно передѣланнымъ, или неудачно переведеннымъ, или то и другое вмѣстѣ. *Le Meunier d'Angibault* есть мастерская картина нравовъ средней bourgeoisie современной Франціи. Въ этомъ романѣ есть лицо типическое, генерическое—лицо г. Бринолена, истиннаго пред-

ставителя невѣжества, жадности къ деньгамъ, скупости, низости чувствъ, ограниченности ума, мелкости души того сословія во Франціи, которое утвердило свое гражданское и политическое владычество на золотомъ мѣшкѣ. Это лицо нарисовано по истинѣ гениальною кистію. Но оно не одно интересное лицо въ романѣ. Кромѣ героя романа—мельника, представителя живыхъ силъ и благородныхъ инстинктовъ простаго народа во Франціи, тутъ попеременно поражаютъ читателя мастерски очерченные образы то нищаго Кадоша, то сумасшедшей дочери Бриколена, несчастной жертвы варварскаго разсчета „дражайшихъ“ родителей,—матери мельника, отца и матери г. Бриколена, и другіе. Но есть и большой недостатокъ въ этомъ романѣ: въ немъ четыре героя—два мужскаго и два женскаго пола, и изъ нихъ первая пара совсѣмъ не соответствуетъ требованіямъ художественнаго романа: г-жа Блашамонъ и Анри Леморъ—мечтатели, переслащенные до приторности. Хотя искусство автора умѣло соблюсти единство дѣйствія, несмотря на двойственность интереса, тѣмъ не менѣе характеры этихъ двухъ лицъ были причиною не одной скучной страницы въ романѣ. Но это все не такой недостатокъ, который могъ бы помѣшать роману быть переведеннымъ по-русски. Дѣло въ томъ, что мечты влюбленной четы, рисуемой на первомъ планѣ, такого свойства, что не могутъ быть переданы русскимъ языкомъ; поэтому, переводчикъ позволилъ себѣ кое что передѣлать, пересочинить и переправить, отчего и вышло что-то довольно странное и притомъ неприятно-странное.

НОВОСЕЛЬЕ. *Издание второе. Спб. 1845. Двѣ части.*

„Новоселье“—старый нашъ знакомецъ, съ которымъ мы познакомились въ 1833 и 1834 годахъ,—стало-быть, назадъ тому больше десяти лѣтъ, и знакомство съ которымъ тогда было намъ очень пріятно. Онъ явился въ эпоху литературнаго перелома, кризиса, въ ту минуту, когда Петербургъ задумалъ перебить у Москвы литературное первенство, которымъ она дотогѣ пользовалась. Первый томъ „Новоселья“, вышедшій въ 1833 году, былъ предвѣстиемъ „Библіотеки для Чтенія“—журнала, который совершенно измѣнилъ литературные нравы и обычаи, объявивъ, что онъ желаетъ отъ нашихъ литераторовъ и писателей прежде всего дѣятельнаго, а тамъ, если они хотятъ, пожалуй, и безкорыстнаго содѣйствія, и что за то и другое онъ ровно будетъ платить имъ государственно-ходячею монетою. Нельзя сказать, чтобъ Библіотека для Чтенія“ не имѣла полезнаго вліянія на русскую литературу и въ чисто литературномъ отношеніи: ея шуточки, нерѣдко острия и меткія, почти всегда забавныя, не мало способствовали охлажденію дѣтски-восторженнаго тона, который господствовалъ въ нашей литературѣ, и который не допускалъ шутки, но обо всякомъ вздорѣ любилъ говорить свысока, съ видомъ глубокаго убѣжденія. „Библіотека для Чтенія“ воздвигла гоненіе на стихи съ дѣвою и луною, на „сія, оныя, кон, ноеліку, каковыя и такovyя“. Все это составляетъ ея неотъемлемую заслугу—въ прошедшемъ. Со времени ея появленія, и журналы, и книги, и повѣсти, и статьи—все это перемѣнило прежніе микроскопическіе размѣры на гигантскіе. Люди, одаренные талантомъ и страстью къ литературѣ, и при „Библіотекѣ для Чтенія“ такъ же точно писали по вдохновенію, а не изъ корысти, но только, можетъ-быть, сдѣлались дѣятельнѣе; корыстные же, въ свою очередь, не сдѣлавшись безкорыстнѣе, все таки сдѣ-

лались дѣятельнѣе, — и литература русская оживилась на нѣсколько лѣтъ сряду. Вотъ какого журнала „Новоселье“ было предвѣстіемъ! Чѣмъ-то новымъ и свѣжимъ отзывался этотъ альманахъ. И по наружности, онъ не былъ похожъ на прежніе микроскопическіе альманахи, состоявшіе изъ мелкихъ стихотвореній, да изъ крохотныхъ отрывковъ изъ небольшихъ повѣстей и поэмъ. Онъ смотрѣлъ какъ-то весело, и большая часть публики отъ души хохотала, читая „Большой Выходъ Сатаны“ и другія статьи барона Брамбеуса, тогда еще новаго лица въ русской литературѣ; меньшая часть публики читала съ удивленіемъ и восторгомъ „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, Гоголя. Теперь, когда этому прошло уже слишкомъ десять лѣтъ, большинство и меньшинство публики совершенно перемѣнилось въ отношеніи къ этимъ писателямъ... Десять лѣтъ — большой періодъ времени для русской литературы! И теперь „Новоселье“ интересно, какъ живой памятникъ литературной эпохи, которая теперь уже — дѣла давно минувшихъ дней, преданье старины глубокой!

Поэтому, мы очень были удивлены появленіемъ втораго изданія „Новоселье“. Альманахъ можетъ быть изданъ, пожалуй, десять разъ сряду, но непременно на такомъ условіи, чтобъ всѣ эти десять изданій шли непрерывно одно за другимъ, съ короткими промежутками времени между однимъ и другимъ. Это свидѣтельствовало бы о необыкновенномъ успѣхѣ альманаха, который желало бы имѣть въ рукахъ огромное число читателей. Но альманахъ, котораго успѣхъ въ свое время былъ хорошъ, и притомъ въ такой мѣрѣ, что одного изданія достало для всѣхъ, желавшихъ купить его, — вдругъ ни съ того, ни съ сего издать этотъ альманахъ въ другой разъ черезъ десять слишкомъ лѣтъ... Это не можетъ не показаться удивительнымъ, по самой простой причинѣ: все, что было

лучшаго въ этомъ альманахѣ, т. е. статьи Пушкина, Жуковского, Крылова, Гоголя и другихъ извѣстныхъ писателей, давно уже перепечатаны въ полныхъ изданіяхъ ихъ сочиненій. Что же остается въ „Новосельѣ“ неперепечатаннаго? — Статьи барона Брамбеуса, уже значительно поблекшія, уже едва возбуждающія улыбку тамъ, гдѣ тогда заставляли хохотать. Но, вмѣсто вторичной перепечатки ихъ въ альманахѣ, для публики интереснѣе было бы увидѣть изданіе всѣхъ сочиненій этого писателя: тогда, по крайней мѣрѣ, сама собою обозначилась бы цѣнность его произведеній... Что же еще остается въ „Новосельѣ“ достойнаго перепечатанія? Неужели статьи: „Кіевскія Вѣдьмы“, „Омаръ и Просвѣщеніе“, „Ничто, или альманажная статейка о Ничемъ“, „Воспоминанія“, „Русскій Икаръ“, „Раскольникъ“, „Призракъ“, „Полдень въ Венеціи“, „Михаилъ Никитичъ Романовъ“, „Двѣ Розы“, „Отрывокъ изъ драматической поэмы“, „Домовой“, „Мудренныя приключенія квартальнаго надзирателя“, „Премьеръ-Маіоръ“, „Правдѣдушкина Женитьба“, „О Любви къ Ближнему“, „Разговоръ Души съ Тѣломъ“, „Русская Добросовѣстность?... Воля ваша, а намъ кажется, что публика охотно уволила бы издателя отъ перепечатки всего этого хлама.

Кажется, „Новоселье“ и само это чувствовало, и потому почло за нужное, во второмъ изданіи, попринарядиться щеголемъ по послѣдней модѣ; оно явилось въ лучшемъ форматѣ, на лучшей бумагѣ, напечатанное лучшимъ шрифтомъ и украсилось картинками и полиטיפажми... Не знаемъ, помогутъ ли ему эти прикрасы...

**БЛКА. Подарокъ на Рождество. Азбука съ примѣрами**  
постепеннаго чтенія. *Спб. 1845.*

**ПРЕДАНИЕ О ГРАФИНѢ ВЕРТѢ (,) или ЗАМОКЪ ВИТСГАУ. Со-**  
*чиненія Александра Дюма. Спб. 1845.*

**ДОНЪ-КИХОТЪ ЛАМАНЧСКІЙ. Разсказъ для дѣтей. Три**  
*книжки. Спб. 1846.*

**ПУТЕШЕСТВІЕ ВОКРУГЪ СВѢТА, изд. Ѳ. Студитскимъ. Юж-**  
*ная Европа. Спб. 1846.*

**МЕРИ И ФЛОРА, повѣсть для дѣтей. Переводъ съ англій-**  
*скаго Александры Ишимовой. Спб. 1846.*

**КАНИКУЛЫ ВЪ 1844 ГОДУ, или ПОѢЗДКА ВЪ МОСКВУ. Со-**  
*чиненіе Александры Ишимовой. Спб. 1846.*

**КАРТИНЫ ИЗЪ ИСТОРИИ ДѢТСТВА ЗНАМЕНИТЫХЪ ЖИВОПИС-**  
*ЦЕВЪ. Переводъ съ французскаго. Подъ редакціею М. Чис-*  
*тякова. Спб. 1846.*

**МАТЬ НАСТАВНИЦА, или разговоры о многочисленныхъ пред-**  
*метахъ, образующихъ умъ и сердце полезнѣйшими по-*  
*знаніями, представленное (??!) въ разговорахъ матери съ*  
*своими дѣтьми. Спб. 1845.*

**АЛЬМАНАХЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ. Украшенный вышитками и ри-**  
*сунками З. Коверина. Спб. 1845.*

**РОВИНСОНЪ. Разсказъ для дѣтей. Спб. 1845.**

**ПАНТЕОНЪ РУССКИХЪ БАСНОПИСЦЕВЪ. Спб. 1845.**

**МАЛЕНЬКІЯ ДѢТИ. Повѣсти Бланшара, для дѣтей перваго**  
*возраста. Изданіе второе значительно исправленное. Спб.*  
*1845.*

**ИСТОРИЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ДЛЯ ДѢТЕЙ. Спб. 1845.**

Наконецъ литература наша начинаетъ обращать вниманіе на дѣтей и заботиться о доставленіи имъ читательской пищи, способной развивать ихъ умъ и сердце. Странно, что она хлопочетъ о дѣтяхъ одинъ только разъ въ году—отъ праздника Рождества до праздника Пасхи, какъ-будто въ убѣжденіи, что умъ и сердце дѣтей способны къ развитію именно только въ это время. Иной скептикъ, пожалуй, увидитъ тутъ чистую

спекуляцію со стороны русской литературы, или лучше сказать, со стороны составителей, переводчиковъ и издателей дѣтскихъ книгъ, — увидѣть ихъ нѣжную заботливость больше о своемъ собственномъ карманѣ, нежели о головахъ и сердцахъ дѣтей. Онъ скажетъ, пожалуй, что эти книги издаются передъ праздниками какъ игрушки, которыя покупаются „дражайшими“ родителями для подарковъ дѣтямъ... Но скептики такой народъ, который не вѣритъ ничему высокому и прекрасному, никакому безкорыстію, особенно, если это безкорыстіе выгодно для кармана безкорыстныхъ людей. И потому, не будемъ слушать злостныхъ наветовъ и внушеній, и воздадимъ должную дань хвалы безкорыстнымъ авторамъ, переводчикамъ и издателямъ тринадцати книжекъ, заглавія которыхъ выставлены въ началѣ нашей статьи.

Мнѣнія о полезности и необходимости дѣтскихъ книгъ теперь раздѣлились на двѣ противоположныя стороны. Одна утверждаетъ, что безъ этихъ книжекъ дѣтямъ несть спасенія; другая говоритъ, что онѣ не только бесполезны, но и положительно вредны, и что если дѣтямъ должно читать что-нибудь кромѣ учебниковъ, такъ это книги, которыя читаются и взрослыми, разумѣется, при условіи строгаго выбора. Мы сами много думали объ этомъ вопросѣ, и теперь рѣшительно объявляемъ себя на сторонѣ втораго мнѣнія. До семи, или около семи лѣтъ, воспитаніе дитяти должно быть преимущественно физическое, но не въ духѣ почтенной старины, которая буквально держалась значенія слова „воспитывать“ и закармливала дѣтей чуть не на смерть, такъ что матерія подавляла въ нихъ духъ, и они смотрѣли не дѣтьми, а хорошо откормленными телятами, барашками, или поросятами. Хорошо воспитанный ребенокъ не долженъ быть ни животнымъ, ни человѣкомъ, а ребенкомъ: лицо его должно носить на себѣ отпечатокъ здоровья, веселости, живости, ясности, и на немъ должно отражаться не сто-

лько присутствіе ума, сколько отсутствіе тупости и глупости. Излишне сильное и преждевременное нравственное развитіе въ дѣтяхъ такъ же вредно, какъ и развитіе тѣла въ ущербъ интеллектуальности: оно вредитъ правильному физическому развитію и, слѣдовательно, вредитъ здоровью—первѣйшему и драгоцѣннѣйшему изъ всѣхъ благъ и даровъ жизни. Говорятъ, что сильно, не по лѣтамъ развитыя дѣти бываютъ подвержены мозговымъ воспаленіямъ, именно по причинѣ этой развитости. Развивать дѣтей должна наука, ея постепенное, медленное, но тѣмъ болѣе вѣрное изученіе, а не книжки, писанныя для забавы и приучающія дѣтей къ поверхностности, легкомыслію и мечтательности. Итакъ, до семи лѣтъ пусть дитя ѣсть, пьетъ, спитъ, играетъ и говорить, а съ семи пусть оно, сверхъ всего этого, еще и учится. Чѣмъ же наполнить время, остающееся ему отъ ученія?—Игрой, рѣзвостью, бѣганьемъ, гимнастическими забавами. Когда дитя подвинется къ своему двѣнадцатилѣтнему возрасту, и игры не будутъ уже вполне удовлетворять его, когда пробудится въ немъ потребность, удовлетворять чѣмъ-нибудь и фантазію и умъ,—тогда давайте ему романы Вальтера Скотта и Купера; но только и тутъ не давайте ему зачитываться. Почему бы, напримѣръ, не дать ему въ руки „Донъ-Кихота“, не искаженнаго, не переделаннаго? Для дѣтей должны существовать не дѣтскія книги, но особенныя изданія книгъ писанныхъ для взрослыхъ,—изданія, въ которыхъ должно быть исключено все такое, о чемъ имъ рано знать, все, что можетъ дать ихъ фантазіи вредное для здоровья и нравственности направленіе. Такимъ образомъ, должно замѣнить печальную сцену въ „Донъ-Кихота“, гдѣ драка рыцаря печальнаго образа и его оруженосца съ погонщикомъ муловъ происходитъ отъ трактирной служанки, условившейся прійти къ погонщику на постель. Но опешливать для дѣтей великія произведенія, приравливая ихъ къ дѣтскому возрасту,—ни на что не похоже: великія про-



изведенія дѣлаются вздорными сказками, и дѣтямъ отъ нихъ нѣтъ никакой пользы. Сказочки и повѣсти, которыми напѣты-вають малолѣтнихъ дѣтей нарочно для нихъ составляемыя книжки, сильно возбуждаютъ въ нихъ самую опасную изъ душевныхъ способностей—фантазію, и дѣлають изъ дѣтей мечтателей, книжниковъ, резонёровъ, записныхъ читальщиковъ. Воля ваша, а гораздо пріятнѣе видѣть ребенка весело, шумливо, но прилично рѣзвящимся, нежели сидящимъ не за учебною книгою. Можно давать дѣтямъ и книги для забавы, но преимущественно съ картинками, съ объяснительнымъ текетомъ, лишеннымъ особенной занимательности. Въ такомъ случаѣ картинки непременно должны быть хороши, а текстъ писанъ правильнымъ хорошимъ языкомъ... Вообще, это предметъ обширный, о которомъ многое можно сказать, чего теперъ не позволяетъ намъ ни мѣсто, ни время. И потому обратимся къ книжкамъ, заглавія которыхъ выставлены выше.

Русская азбука, названная „Елкою“, есть рѣшительно первая хорошая книга въ этомъ родѣ, какую мы встрѣтили въ продолженіе всего времени, какъ занимаемся ех-офиціо разборомъ книгъ. Въ ней есть методъ, котораго достоинства нельзя не признать съ перваго взгляда. Издана она изящно: бумага, печать, исправность корректуры, наконецъ, вкусъ въ типографическомъ отношеніи, — все это заслуживаетъ полной похвалы. Сверхъ того, „Елка“ изукрашена множествомъ прекрасныхъ политизжей. Авторъ этой азбуки—женщина, г-жа Аня Дораганъ. Это имя съ сихъ поръ сдѣлается почетнымъ именемъ между всеми писателями для дѣтей.

„Преданіе о графинѣ Бертѣ“—волшебная сказка для дѣтей, г-на Александра Дюма. По содержанію и изложенію (о языкѣ скажемъ ниже), она можетъ считаться одною изъ лучшихъ сказокъ этого рода. Издана она со всевозможною типографическою роскошью—бумага и печать могли бы напомнить со-

бою парижскія изданія, еслибъ множество безъ нужды и безъ смысла натяканныхъ заглавныхъ буквъ не пестрили страницъ крайне безвкусно; картинки — прелесть. Но ужъ видно, судьбѣ угодно, чтобъ русская книга почти всегда на чемъ-нибудь да споткнулась: русское изданіе „Преданія о графинѣ Бергѣ“ споткнулось на грамотности, да еще какъ! — Судите сами: на первой же страницѣ напечатана фраза: „Кто такое была графиня Берта“!... Мы подумали было сперва, что это опечатка, но какъ-то, заглянувъ въ оглавленіе, и тамъ увидѣли эту же злополучную фразу: „Кто такое была графиня Берта“. Читаемъ далѣе — и не вѣримъ глазамъ своимъ:

„Любезный графъ, замокъ нашъ старѣетъ и угрожаетъ развалиной; мы не можемъ долѣе *остаться безопаснымъ* въ этомъ *драгломъ* жилищѣ; я думаю, если вы согласны, что пора намъ выстроить новое (стр. 6)

По каковски это?... Но довольно! Судя по этимъ образцамъ языка и слога, можно подумать, что это книжка переведена какой-нибудь Чухонкою. Хороши также стишки въ этой книгѣ:

Замки, затворы *суть* для насъ  
 Немошныя, напрасныя преграды,  
 Невиннаго дитяти жалкій *глазъ* (запятая)!  
 Проникъ ко мнѣ, лишилъ меня отрады  
 Въ могилѣ тихой, вѣковой,  
 И прахъ внезапно *гдѣнный* мой  
 Ожилъ вновь юною душой...

и такъ далѣе... Бѣдныя дѣти! какое красивое чудовище безграмотности приготовлено на вашу гибель!..

„Донъ-Кихоть Ламанчскій“ — довольно пошлая сказка, сдѣланная изъ превосходнѣйшаго романа. Даже эпизодъ о Дульцинеѣ Тобозской и самое имя ея исключены изъ этой книжонки. По крайней мѣрѣ она грамотно написана, красиво издана, и къ ней приложено шесть или семь картинокъ довольно недурныхъ.

„Путешествіе Вокругъ Свѣта“ — хорошо написанная и очень полезная для дѣтей книжка, если только полезно учить дѣтей забавляя и приучая такимъ образомъ ихъ къ поверхностному знанію всего по немножку.

„Мери и Флора“ — насквозь проникнутая чистѣйшею нравственностью въ англійскомъ духѣ и пріятнымъ слогомъ переведенная повѣсть. — „Каникулы 1844 года или Поѣздка въ Москву“ — книжка, написанная тоже весьма пріятнымъ слогомъ.

Въ „Картинахъ изъ исторіи дѣтства знаменитыхъ живописцевъ“ дѣти не поймутъ самаго главнаго: что такое живопись и живописецъ, все же остальное будетъ имъ понятно въ этой книжкѣ, въ которой картины порядочны, но картинки могли бы быть лучше. — Безграмотное заглавіе „Матери Наставницы“, въ которомъ есть „разговоры, представленное въ разговорахъ“, достаточно показываетъ какого рода эти книжонки.

„Альманахъ для дѣтей“ — старый нашъ знакомецъ, въ которомъ прежніе черные полиטיפажи (взятые некстати изъ книжки г. Кирилова: „Типы Современныхъ Нравовъ“) превратились теперь въ раскрашенные картинки. Все остальное такъ же плохо, какъ и было.

„Робинзонъ“ — изданіе книгопродавца Василья Полякова: этимъ все сказано!

Въ „Пантеонѣ Русскихъ Баснописцевъ“ помѣщены басни Крылова, Дмитриева, Измайлова, Хемницера, Хераскова, Ломоносова, Сумарокова, МАЦНЕВА, Хвостова, АГАФИ, ЛОБЫСЕВИЧА, Алипанова, ЛАДЫЖИНСКАГО, Майкока, Невѣдомскаго, РЖЕВСКАГО, СОБОЛЕВА... Вотъ ужь полно всякаго жита по лопатѣ! И все это умѣстилось на 124 страничкахъ въ 16-ю долю листа! Какъ полезно будетъ читать дѣтямъ такія вирши, какъ эти:

Баснь учить быть судьбѣ послушнымъ намъ всегда,  
И тако мы свой вѣкъ *пробудемъ безъ вреда!*

„Маленькія дѣти“ — преглушенькія сказочки съ дрянными картинками.

„Краткую Исторію Петра-Великаго для дѣтей“, за неимѣніемъ лучшей, можно дать дѣтямъ въ руки, но не иначе какъ вырвавъ изъ нея уродливыя картинки.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ СБОРНИКЪ, *изданный Н. Некрасовымъ.*  
Спб. 1846.

Всею читающему русскому міру извѣстно, что г. Некрасовъ сдѣлалъ страшное литературное преступленіе; не будучи знаменитымъ литераторомъ, т. е. лѣтъ двадцать не печатавая своего имени подъ всякаго рода сочиненіями, и, слѣдовательно, не пріобрѣтя права поправлять чужихъ сочиненій, хотя бы они были лучше его собственныхъ, онъ издалъ очень интересныя статьи подъ именемъ „Физиологіи Петербурга“, гдѣ поправлялъ только свои собственныя статьи, не касаясь чужихъ... Да гдѣ жь тутъ преступленіе? мы и сами не видимъ его; но есть люди, которые находятъ тутъ преступленіе, о чемъ и объявляютъ во всеуслышаніе. Но г. Некрасовъ не вѣритъ справедливости обвиненія, что будто для изданія сборника, непрѣменно нужно имѣть право поправлять чужія статьи, — и вотъ снова даритъ публику прекраснымъ сборникомъ, въ которомъ онъ опять-таки поправлялъ только то, что было написано имъ самимъ.

Такихъ альманаховъ, какъ „Петербургскій Сборникъ“, у насъ еще не бывало. По формату, числу листовъ и изящности изданія, онъ напоминаетъ собою „Сто Русскихъ Литераторовъ“, что же касается до содержанія, то съ этой стороны „Сто русскихъ Литераторовъ“ ни сколько не напоминаютъ

собою „Петербургскаго Сборника“. Не говоря о прекрасномъ переводѣ „Макбета“ (съ подлинника) г. Кроненберга, о поэмѣ гг. Тургенева и Майкова, и о другихъ статьяхъ этого альманаха, что все, вмѣстѣ взятое, могло бы дать цѣну всякому такого рода сборнику,—въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ напечатанъ романъ: „Бѣдные люди“ г. Достоевскаго—иия совершенно неизвѣстное и новое, но которому, какъ кажется, суждено играть значительную роль въ нашей литературѣ. Въ этой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ русская публика прочтетъ и еще романъ г. Достоевскаго, „Двойникъ“—этого слишкомъ достаточно для ея убѣжденія, что такими произведеніями обыкновенные таланты не начинаютъ своего поприща. Но и безъ „Бѣдныхъ Людей“ г. Достоевскаго, о „Петербургскомъ Сборникѣ“ можно было бы сказать больше, нежели сколько позволяютъ тѣсныя рамы рецензіи. Если бы „Бѣдные Люди“ вышли даже отдѣльною книжкою, то и тогда о нихъ нельзя было бы говорить иначе, какъ въ отдѣльной критической статьѣ, потому что при разборѣ подобнаго произведенія, обыкновенныя похвальныя фразы, какъ бы онѣ въ сущности ни были справедливы, не могутъ имѣть мѣста. Разбирать подобное произведеніе искусства, значить—выказать его сущность, значеніе, при чемъ легко можно обойтись и безъ похвалъ, ибо дѣло слишкомъ ясно и громко говоритъ за себя; но сущность и значеніе подобнаго художественнаго созданія такъ глубоки и многозначительны, что въ рецензіи нельзя только намекнуть на нихъ. Это заставляетъ насъ отложить подробный критическій разборъ „Петербургскаго Сборника“ до слѣдующей книжки „Отечественныхъ Записокъ“,—что дастъ намъ возможность поговорить и о „Двойникѣ“, который къ тому времени будетъ прочтенъ всею публикою.

ПЕРЕВОДЫ Александра Струговщикова. Статей въ прозѣ  
книга первая. Спб. 1845.

Мы не можемъ отдать себѣ яснаго отчета въ причинахъ, побудившихъ г. Струговщикова издать отдѣльно четыре статьи Гёте, уже прежде напечатанныя въ журналахъ. Какъ журнальныя статьи, онѣ замѣчательны, особенно же: „Боги, Герои и Виландъ“; но, повторяемъ, къ чему было соединять ихъ въ одну книжку? Первая статья „Признанія Прекрасной Души“, сама не что иное, какъ отрывокъ изъ „Вильгельма Мейстера“, и лишенная своей обстановки, совершенно теряетъ истинное свое значеніе. Гёте, этотъ по преимуществу объективный гений, глубоко понимая и уважая человѣческую жизнь во всей ширинѣ ея, не оставлялъ ни одного замѣчательнаго явленія дѣйствительности невозведеннымъ въ сознательную, художественную форму; въ „Признаніяхъ Прекрасной Души“ онъ постарался представить весь бытъ, образъ мыслей, всю сущность жизни небольшого, избраннаго общества въ Германіи восьмидесятихъ годовъ, главными представителями котораго могутъ служить—извѣстная княгиня Г—на и друзья ея философы Якоби и Фюрстенбергъ. Эти „прекрасныя души“ (сантиментально-изящная аристократія человѣчества) выразились, впрочемъ, довольно блѣдно, какъ блѣдны онѣ сами, въ Гётевыхъ „Признаніяхъ“. Люди благородные, умные, тонкочувствующие, граціозно-восторженные и болѣзненно-развитые, они жили въ искусственномъ уединеніи какъ бы въ монастырѣ; хлопотали обо всемъ: о религіи, воспитаніи, свободѣ отношеній, но въ особенности хлопотали много о самихъ себѣ; разрѣшали всѣ возможные вопросы, и всѣ ихъ великія открытія и предначертанія не перешли тѣсной границы кружка, изъ котораго они сами-никогда не вышли, любуясь до конца самими собою и не зная другихъ печалей, кромѣ собствен-

ныхъ воображаемыхъ страданій. Они улаживали по свѣдѣнью судьбу и будущность человѣчества и приходили въ ужасъ и отчаянную безнадежность, когда дѣйствительность противорѣчила ихъ фантазіямъ; предавались религіозности, мечтательной и неопредѣленной; словомъ, страдали всѣми немощами „кружка“. Въ нихъ не было жизни, потому что не было дѣйствительной связи съ жизнью общей, потому что они по самолюбію и по слабости удалились отъ сближенія съ людьми и ограничились „набранными душами“. Въ Вильгельмѣ Мейстерѣ „прекрасная душа“ получила свое опредѣленное мѣсто, какъ отдѣльное явленіе. Она окружена другими болѣе значительными явленіями; ея собственное значеніе черезчуръ нейтрализируется... Къ чему же г. Струговщиковъ вырвалъ именно ея признанія изъ цѣлаго романа и представилъ ихъ читателю, какъ нѣчто оконченное и окончательное? Неужели и для г. Струговщикова нѣтъ ничего выше „прекрасной души“?

Статья: „Боги, Герои и Виландъ“ относится къ юности Гёте; какъ сатира, она весьма дѣльна; умна, бойко и ловко написана, не безъ шекспировски-гениальныхъ замашекъ. Въ ней осмѣяны псевдо-влинскія произведенія Виланда, который самъ зналъ греческій языкъ, но духу греческаго народа хотѣлъ учиться у Французовъ, незнавшихъ греческаго языка.

Статья: „Случай изъ жизни Гёте“, довольно интересна. Въ ней вѣрно представленъ психологическій моментъ въ развитіи страстнаго, умнаго, полударовитаго человѣка, который и хочетъ и не можетъ совладать съ наукою и съ самимъ собою. Но напрасно г. Струговщиковъ, переводя Гёте, говорить отъ своего лица.

Последняя статья: „О картинахъ Гаккерта“ — статья совершенно журнальная.

Переводъ хорошъ, но повторяемъ: мы рѣшительно не понимаемъ причинъ отдѣльнаго изданія этой книжки. Охота же

была вырвать изъ поэтической хламиды Гёте четыре лоскутка, да еще и не изъ самой хламиды, а изъ подкладки, и шить ихъ вмѣстѣ?!

СТИХИ НА ОБЪЯВЛЕНІЕ ПАМЯТНИКА ИСТОРИОГРАФУ НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ КАРАМЗИНУ. (*Посвящаются А. И. Тургеневу*). 1845.

Стихотвореніе въ родѣ старинныхъ одъ на торжественные случаи! Подлинно, „ничто не ново подъ луною“! Оды были, оды и теперь есть; вся разница въ формѣ, а не въ сущности. Превжнія оды не думали о народности и старались парить на манеръ Пиндара и Горація — двухъ отъявленныхъ басурмановъ, которые даже и не знали ни о Славенахъ, ни о словянофилахъ! Теперь не то: г. Н. Языковъ, сочинитель „Стиховъ на объявленіе“, не уступая нашимъ стариннымъ пѣвцамъ одъ ни въ пареніи, ни въ превыспренности, но превосходя ихъ въ риторикѣ, — превосходитъ ихъ еще и въ народности. У него, Карамзинъ воздвигъ себѣ памятникъ, достойный праведныхъ похвалъ. Чтò такое: праведная похвала? Должно быть, то же, чтò справедливая; но если въ праведной меньше смысла, за то больше народности. Памятникъ Карамзина, по словамъ г. Н. Языкова, краше „столба каменосѣчнаго“. Удивительный эпитетъ — каменосѣчный! „Позабывая призывъ блистательныхъ частей, Карамзинъ — почтенный собесѣдникъ просто-сердечной старины, а не наемникъ новизны, — не лукаво судилъ сказанья праотцевъ“...

Одушевляясь прошедшимъ, какъ почтенный собесѣдникъ старины, г. Н. Языковъ вдругъ обмолвился нѣсколькими энергическими стихами объ Иванѣ Грозномъ?



Трехъ мусульманскихъ царствъ счастливый покоритель—  
 И проволочка своего!  
 Неслышанный тиранъ, мучитель непреклонный,  
 Природы ужась и позоръ!  
 Въ Москвѣ за казнь казнь; у плахи беззаконной,  
 Весь день мясничаетъ топоръ.  
 По земскимъ городамъ толпа вромѣшныхъ бродить,  
 Нося грабежъ, губя людей,  
 И бѣшено-свирѣпъ, самъ царь ее предводитъ, и вр. и пр.

Послѣ Ивана Грознаго, Русь отдохнула подъ „властью незлобивой“. Потомъ является бродяга „воспитанникъ латинства; въ Кремлѣ онъ поселилъ соблазны и безчинства,

*Ночныхъ сказаній шумъ и звонъ,  
 Пѣсни буйныя, и струнное гуденіе...*

Одна изъ заслугъ Карамзина, по мнѣнію г. Н. Языкова, состоитъ въ томъ, что его трудъ—

...Будить въ насъ огонь прекрасный и высокой,  
 Огонь чистѣйшій и святой,  
 Уже недвижимъ въ насъ, заглохшій въ насъ глубоко  
 Отъ жизни *блудной и пустой*,—  
 Любовь къ своей землѣ...

„Блудная“ и „пустая“ жизнь, по мнѣнію г. Н. Языкова, дѣлаетъ насъ преданными чужбинѣ. Интересно знать, кого онъ разумѣетъ подъ словомъ „насъ“; а что онъ разумѣетъ подъ „блудною“ и „пустою“ жизнью,—о томъ не трудно догадаться тому, кто читывалъ диептрамбы г. Н. Языкова...

**НЕВСКІЙ АЛЬМАНАХЪ НА 1846 ГОДЪ. 1846.**

„Невскій Альманахъ“ 1846 года похожъ не много на человека, довольно обыкновеннаго, даже дюжиннаго, о которомъ

давно уже ни слуху, ни духу, котораго всё считают покойникомъ и который вдругъ, неожиданно является къ вамъ въ новомъ костюмѣ и если не съ новыми манерами, то съ претензіями на новыя манеры. „Невскій Альманахъ“ появляется въ русской литературѣ, кажется, въ 1826, 1828 и 1832 годахъ, въ маленькомъ форматѣ въ 16-ю долю листа, съ вензетками, портретами и картинками, съ посредственными статейками въ прозѣ и плохими стихами, между которыми иногда попадались и хорошіе. По части картинокъ, онъ особенно отличился въ 1828 году, представивъ такія суздальскія изображенія изъ „Евгенія Онѣгина“, надъ которыми и тогда всё смѣялись отъ души, а Пушкинъ даже написалъ на нихъ стихи, которые, по ихъ неудобству къ печати не были напечатаны. Впрочемъ, по поводу „Невскаго Альманаха“, Пушкинъ написалъ и еще стихотвореніе, которое было напечатано, и котораго вотъ первые стихи:

Примите Невскій Альманахъ.  
 Онъ имѣл и въ прозѣ и въ стихахъ:  
 Вы тутъ найдете \*\*ова.  
 В\*\*\*, Х\*\*\*ова,  
 Б\*\*\*, дальній вамъ родня  
 Украсилъ также книжку эту;  
 Но не найдете вы меня:  
 Мои стихи скользнули въ Лету.

По всему видно, что Пушкинъ остался очень благодаренъ „Невскому Альманаху“ за его картинки изъ „Онѣгина“ и въ особенности за изображеніе Татьяны въ видѣ жирной коровницы, страдающей спазмами въ желудкѣ.

Какъ бы то ни было, но вотъ „Невскій Альманахъ“ просыпается послѣ пятнадцатилѣтняго сна, и является къ намъ въ большомъ форматѣ, щегольски, хотя и съ страшнымъ количествомъ опечатокъ, изданный, съ юмористическими повѣстями, со множествомъ стихотвореній въ новѣйшемъ вкусѣ. Совер-

шенное перерожденіе! Въ одномъ только „Невскій Альманахъ“ остается вѣренъ старинѣ—въ посредственности. Онъ украшенъ статьею г. Карлгофа—„Поѣздка къ Озеру Розельми“,—писателя, лѣтъ двадцать назадъ прославившагося сильною охотою писать. „Поѣздка къ Озеру Розельми“ вполне достойна имени своего творца. Гг. Юрій Юрченко, Оома Костыга и Ничипоръ Кулишь, до сихъ поръ еще ничѣмъ неуспѣвшіе прославиться, украсили „Невскій Альманахъ“ повѣстями, отличающимися остроуміемъ и юморомъ необыкновенными. Особенно далеко обѣщаетъ уйти въ этомъ отношеніи г. Оома Костыга. Двѣ три странички изъ „Поморскихъ Очерковъ“ г. Хмельницкаго не представляютъ ничего особеннаго въ литературномъ отношеніи. Его же статья—„Мой Мячикъ“ въ старину могла бы доставить автору огромную извѣстность: теперь, это такъ... ничего особеннаго... „Битва Смоленская въ 1812-мъ году“ статья г. Н. Полеваго, интересная по содержанію; но новое ли это произведеніе неутомимаго бельетриста, или отрывокъ изъ стараго,—ничего объ этомъ въ альманахѣ не сказано. Интереснѣйшая прозаическая статья въ этомъ странномъ изданіи—„Николаевская Школа“, Е. А—а. Называя ее интересною, мы разумѣемъ одно содержаніе, факты, а отнюдь не изложеніе.

„Невскій Альманахъ“ наполнили своими стихотворными произведеніями гг. поэты: П. Ч., Межевичъ, Григорьевъ, Викторъ Корсакъ, Ротчевъ, Ленскій, Сушковъ, Рудыковскій, Розинъ, Обидовскій, Ястребовъ, Соколовскій, В. Зотовъ. Особенную силу поэтического одушевленія обнаружилъ г. Межевичъ, воспѣвши „Русскія Пѣсни“:

Что за пѣсни, что за пѣсни

Распѣваетъ наша Русь!

Ужь какъ хочешь, братъ, хоть тресни,

Таки не снѣтъ тебѣ, Французъ!

Золотыя, удалыя—  
*Не нѣмецкія (?)*  
 Пѣсни русскія, живыя—  
 Молодецкія!

Именно, Французу легче треснуть, чѣмъ пропѣть такую пѣсню; но мы думаемъ, что, въ свою очередь, едва ли и самъ сочинитель этихъ стиховъ можетъ пропѣть одну изъ тѣхъ пѣсень, которыя Французъ поетъ безъ натуги. Чтò ни говорите, а—хвала нашей народности въ литературѣ: у насъ теперь однимъ поэтомъ больше!...

---

**ЮМОРНИСТИЧЕСКІЕ РАЗСКАЗЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, издаваемые  
 АБРАКАДАВРОЮ. Книжка первая. Спб. 1846.**

Пошло дѣло на юморъ! Юморъ теперь намъ ни почемъ, дешевле пареной рѣпы! Всякій весельчакъ дурнаго тона считаетъ себя теперь юмористомъ! Человѣкъ, котораго все остроуміе, вся ѣдкость состоятъ въ томъ, что онъ высовываетъ языкъ на все, чего даже не понимаетъ, смѣло выдаетъ себя за юмориста! Эти люди думаютъ, что юморъ очень обыкновенная вещь, и что ничего нѣтъ легче, какъ быть юмористомъ. Имъ не растолкуешь, что юморъ—талантъ, да еще какой! почти столько же рѣдкій, какъ гениальность... Ихъ не увѣришь, что на сто остряковъ, дѣйствительно остроумныхъ, едва ли можно найти одного юмориста, потому что даже остроуміе и комизмъ совсѣмъ не одно и то же, чтò юморъ.

Абракадабра—какъ это юмористично! Но юморъ г. Абракадабры состоитъ только въ томъ, что онъ въ свой рассказъ, довольно плохой, втиснулъ старые полтипажи изъ „Иллюстраціи“ г. Кукольника. Поэтому, ни одинъ полтипажъ и

нейдетъ къ разсказу. Особенно некстати пришли политипажеры изъ русской сказки „О Иванѣ Царевичѣ“: на нихъ чиновникъ Феоклисъ Парамоновичъ (какое юмористическое имя!) Вертихвостовъ (какая юморическая фамилія!) изображенъ щеголеватымъ мужичкомъ. Юморъ разсказа состоитъ въ томъ, что помощникъ столоначальника, Феоклисъ Парамоновичъ Вертихвостовъ, влюбленный въ дочь экзекутора, Марью Петровну, дѣлаетъ ей разныя закупки на свои собственные деньги, которыя Марья Петровна обѣщаетъ ему заплатить. Онъ входить въ долги, разоряется, схватываетъ горячку, отставляется отъ должности, а Марья Петровна выходитъ замужъ за его начальника. Все это разсказано неправдоподобно и вяло, съ претензіями на остроуміе.

---

**МИРЗА ХАДЖИ-БАБА ИСФАГАНИ.** *Сочиненіи Морьера. Вольный переводъ Барона Брамбеуса. Изданіе второе. Спб. 1845.*

„Мирза Хаджи-Баба Исфгани“—старый нашъ пріятель, съ которымъ мы познакомились лѣтъ двѣнадцать назадъ. Встрѣча съ хорошимъ знакомымъ всегда пріятна, а „Мирза Хаджи-Баба“ книга умная и дѣльная, которую и въ другой, и въ третій разъ можно прочесть съ наслажденіемъ. Она переноситъ насъ на Востокъ, на настоящій Востокъ, въ среду, въ сердце Востока, чистаго, безпримѣснаго Востока, умѣвшаго вполне защититься отъ всякаго вліянія со стороны растлѣннаго, гниющаго Запада. Кто не читалъ романа Морьера, тотъ не можетъ имѣть настоящаго понятія о счастіи жить на Востокѣ и быть восточнымъ человѣкомъ. Что эта за полная наслажденія жизнь! Чего стоитъ одно блаженство—дѣлать кейфъ, т. е. курить кальянъ, поджавъ подъ себя ноги, и ни о чемъ, ровно ни о чемъ

не думать! Въдъ „думать“—тоже изобрѣтеніе лукаваго Запада, западня, которую ставитъ онъ на погибель восточныхъ душъ... Въмѣсто траты времени на опасную привычку „думать“, восточные очень остроумно придумали наполнять свое время благочестивыми восклицаніями: „бисмилляхъ, машаллахъ, иншаллахъ“ (во имя Аллаха, буде угодно Аллаху, да будетъ воля Аллаха). Безъ этихъ восклицаній, набожный мусульманинъ ничего не дѣлаетъ, и потому въ каждомъ городѣ можно услышать отъ разнощиковъ такіе возгласы: „Огурцы! огурцы! во имя святѣйшаго Имама, огурцы; свѣжія яйца! о Магометъ, о Али! яйца, огурцы!“ А неизреченное наслажденіе—пять разъ въ день творить намазъ! Когда тутъ скучать!... Туловище, голова, руки, ноги, языкъ все занято ежеминутно, все, кромѣ мозга, ума... Даже дѣлая кейфъ, восточный человѣкъ ртомъ курить, а руками творить молитву... А наслажденія сераля—страшно и подумать! По нашему варварскому западному образу мыслить, „сераль“ есть понятіе не совсѣмъ нравственное; но восточный человѣкъ съумѣлъ и самую животность соединить съ чистѣйшею нравственностью: восточныя женщины не знаютъ грамоты, ругаются, царапаются, отравляютъ другъ друга ядомъ, но за то какъ онѣ стыдливы, цѣломудренны! Попробуй-ко мужчина заглянуть имъ въ лицо, — бѣда! онѣ васъ выругаютъ такъ, что отъ этой брани любой русскій извощикъ содрогнется... Ни Персіяннинъ, ни Турокъ не скажетъ вамъ: „моя жена“, или: „здорова ли ваша супруга“, но постарается смягчить эти выраженія, изъясняясь таинственно: „мой домъ“, „каковъ вашъ домъ“? и такъ далѣе, потому что слово жена на Востокѣ считается неприличнымъ, неблагопристойнымъ словомъ, которое рождаетъ въ умѣ самыя „безнравственныя“ понятія... Вотъ это—нравственность!

Конечно, и на Востокѣ есть свои неудобства и непріятности, незнакомыя лукавому Западу, какъ-то: иногда отдаютъ

по щекамъ туплею, или по пятамъ палкою, иногда выщипаютъ по волоску бороду, а то, пожалуй, обрѣжутъ носъ и уши, следрутъ съ живаго шкуру, или живаго посадятъ на колъ... Но, сами посудите, во первыхъ, гдѣ же бываетъ безъ своихъ маленькхъ неприяностей, а во вторыхъ, вѣдь—все „такдиръ“—судьба, предопредѣленіе: что жъ вы за собака, чтобъ идти противъ того, что написано на доскахъ предопредѣленія? Но я и забылъ, что вы, мой читатель, развратясь вліяніемъ лукаваго Запада, имѣете несчастіе не вѣрить предопредѣленію... А хорошее вѣрованіе! съ нимъ, человекъ въ правѣ всю жизнь свою ничего не дѣлать, кромѣ какъ воровать, мошенничать, творить намазъ, да созерцать девяносто-девять таинственныхъ совершенствъ Аллаха...

Главную же и высшую добродѣтель восточнаго человека составляетъ, безъ сомнѣнія, особенность его „патріотизма“. Правда, на его языкѣ нѣтъ даже слова „отечество“, которое, какъ и выражаемое имъ понятіе, заимствовано новѣйшими европейскими народами у древнихъ язычниковъ, Грековъ и Римлянъ. Для мусульманина, отечество тамъ, гдѣ исламъ, и ему не грѣхъ рѣзать своихъ соотечественниковъ, лишь бы только онъ рѣзалъ ихъ съ „правовѣрными“ же, а не съ проклятыми гаурами... Мусульманинъ еще не доросъ до понятія о государствѣ, о гражданствѣ, о ихъ требованіяхъ и обязанностяхъ, и своей родинѣ онъ не пожертвуетъ ни трубкою табаку; но за то, онъ страстно приверженъ къ своему пепелищу, къ могиламъ своихъ отцовъ, вѣренъ обычаямъ старины и родины — добродѣтели чисто восточныя! Презрѣніе и ненависть мусульманина къ проклятымъ гаурамъ, кяфирамъ и, въ особенности, Франкамъ, какъ представителямъ растлѣннаго, гниющаго Запада, не имѣетъ предѣловъ: это тоже чисто восточная добродѣтель! Восточные люди знаютъ свое достоинство.

**СТОЛѢТІЕ РОССИИ; СЪ 1745 ДО 1845, или ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА ДОСТОПАМЯТНЫХЪ СОБЫТІЙ ВЪ РОССИИ ЗА СТО ЛѢТЪ. Сентября 5 1845 года, въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голенщикова-Кутузова-Смоленскаго. Соч. Н. Полеваго. Ч. вторая. Спб. 1846.**

Вотъ послѣднее произведеніе Николая Алексѣевича Полеваго, вышедшее въ свѣтъ при его жизни!... Въмѣсто рецензій, намъ приходится писать некрологъ... Итакъ, и еще не стало одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣйствователей на поприщѣ русской литературы! Говоримъ: изъ „замѣчательнѣйшихъ“, потому что наши съ нимъ несогласія во взглядѣ на многіе предметы ни сколько не мѣшали намъ отдавать ему должную справедливость. Передъ гробомъ умѣршаго должны умолчать даже личныя вражды; но никогда никакія личныя отношенія не руководили насъ въ нашихъ отзывахъ о литературныхъ трудахъ и мнѣніяхъ Полеваго. Каковъ бы ни былъ характеръ его литературной дѣятельности за послѣднія десять лѣтъ, въ немъ многое объясняется стѣсненными обстоятельствами... Во всякомъ случаѣ, забывая о недавнемъ, мы тѣмъ живѣе вспоминаемъ о первомъ блестящемъ періодѣ литературной дѣятельности этого необыкновеннаго человѣка, который самъ себѣ создалъ свои средства, начавъ учиться въ тѣ лѣта, когда другіе почти оканчиваютъ свое ученіе, который, опираясь на свою даровитую натуру и свойственную русскому человѣку сметливость, смысленность и смѣлость, можно сказать, создалъ журналъ въ Россіи... Этимъ онъ сдѣлалъ гораздо больше, нежели какъ теперь думаютъ,—и вообще, Полевою еще ждетъ и, можетъ-быть, не скоро дождется истинной оцѣнки; но онъ дождется ея, и имя его навсегда останется и въ исторіи русской литературы и въ признательной памяти общества.



Полевой умеръ 22 февраля, въ одиннадцать часовъ вечера, на 49 году (онъ родился въ 1796-мъ году) отъ рожденія, послѣ трехнедѣльной мучительной болѣзни—нервной горячки, которой, по мнѣнію пользовавшихъ его докторовъ, онъ не могъ перенести, давно уже истощивъ физическія силы свои напряженною работою. Полевой оставилъ послѣ себя большое семейство, и, какъ онъ всегда помогалъ трудомъ и достояніемъ своимъ всякому нуждавшемуся въ его помощи, то самъ могъ оставить дѣтямъ своимъ только честное, почтенное имя и благодарность соотечественниковъ къ его неоспоримымъ заслугамъ,—прекрасное наслѣдіе, которое не можетъ остаться бесплоднымъ и для его семейства!

---

**ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ И ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНІЕ ДЛЯ ДѢТЕЙ. *Изданіе второе. Спб. 1846.***

Книжка благонамѣренная и доброжелательная, не холодная какъ ледъ, сухая какъ треска-рыба, скучна какъ осенній, или, пожалуй, и весенній день подъ петербургскимъ небомъ.

---

**СТИХОТВОРЕНІЯ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА. *Спб. 1846.***

**СТИХОТВОРЕНІЯ 1845 ГОДА, Я. П. ПОЛОДСКАГО. *Одесса. 1846.***

Новый 1846 годъ, едва переживъ эпоху своего младенчества, едва вступивъ въ возрастъ своего юношества, уже, какъ говорится, надорвался въ литературномъ отношеніи,—и наша Библиографическая Хроника за мартъ мѣсяць по-неволѣ является блѣдною и скудною: ей почти не о чемъ говорить.

Книгъ больше нѣтъ, и все замѣчательное отселѣ будетъ являться только въ журналахъ, разумѣется, петербургскихъ и, разумѣется, только въ двухъ... Въ Библиографической Хроникѣ майской книжки намъ придется поговорить, вѣроятно, только о стихотвореніяхъ Кольцова, которыя выйдутъ въ свѣтъ на дняхъ. Итакъ, до осени... Не знаемъ, много ли и осень дастъ хорошаго; но, не боясь оказаться ложными прорицателями, можемъ заранѣе извѣстить публику о двухъ не совсѣмъ обыкновенныхъ въ нашей литературѣ явленіяхъ, которыми должна ознаменоваться осень нынѣшняго года: мы говоримъ объ огромномъ сборникѣ статей литературнаго и ученаго содержанія, въ которомъ, говорятъ, будетъ до восьми оригинальныхъ повѣстей и нѣсколько поэмъ въ стихахъ, и объ иллюстрированномъ юмористическомъ альманахѣ: „Сто Статей и Сто картинъ“. Но это будущее, а обращаясь къ настоящему, видимъ только стихотворенія гг. Григорьева и Полонскаго. Поговоримъ о нихъ.

Было время, когда все твердили о томъ, что поэту нужны только талантъ и вдохновеніе, что онъ ученъ безъ науки, всезнающъ безъ ученія; что онъ самъ себѣ судья и законъ; что его фантазія есть источникъ откровенія всѣхъ тайнъ бытія; что внутренній міръ его ощущеній и видѣній интереснѣе всѣхъ фактовъ, дѣйствительности, и что, поэтому, онъ можетъ не знать, что дѣлается вокругъ него на бѣломъ свѣтѣ, и долженъ говорить намъ, толпѣ, только о самомъ себѣ; а мы, толпа, стоя на колѣняхъ, съ разинутыми ртами, должны внимать ему съ благоговѣніемъ, считая себя счастливыми, если ему вздумается ругнуть насъ хорошенько энергическимъ стихомъ.

Такое воззрѣніе на поэта господствовало у насъ въ эпоху такъ-называемаго романтизма блаженной памяти. И дѣйствительно, тогда гений могъ легко обходиться безъ всѣхъ наукъ, кромѣ азбуки, а въ гениі поцастъ можно было всякому, у кого была способность точить гладкіе стихи и было довольно жел-

каго самолюбія, щобъ вообразить себя выше „презрѣнной толпы“, т. е. всѣхъ людей, которые дѣйствительно что-нибудь знаютъ, что-нибудь понимаютъ, что-нибудь чувствуютъ и, въ особенности, чѣмъ-нибудь занимаются, что нибудь дѣлають...

Теперь не то: всѣ кричать о необходимости знанія для поэта, объ идеяхъ, о направленіи, о сочувствіи современной дѣйствительности. Явилась другая крайность: люди безъ таланта поэзіи стали дѣлаться поэтами, потому ли, что въ самомъ дѣлѣ что-нибудь узнали и поняли, или потому что захватили нѣсколько чужихъ ходячихъ мыслей и вообразили ихъ своими собственными. Между этими весьма смѣшными крайностями есть явленія, болѣе или менѣе заслуживающія вниманіе,—но опять-таки крайности. Одни изъ нихъ думаютъ умъ выдать за поэзію, другіе—обойтись безъ ума при помощи небольшого дарованія къ поэзіи... И это естественно, потому что въ обѣихъ изъ этихъ крайностей есть истина, хотя и нѣтъ ея ни въ одной отдѣльно-взятой.

Безъ естественнаго, непосредственнаго таланта творчества, невозможно быть поэтомъ. Тутъ не помогутъ низнанія, ни ученость, ни умъ, ни характеръ, ни даже способность глубоко чувствовать и понимать изящное. Но и одного естественнаго таланта мало. Можно еще обойтись безъ науки какъ науки; но невозможно не стоять по образованію наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, невозможно обойтись безъ живой, кровной симпатіи съ духомъ, направленіемъ, надеждами, радостями и болѣзнями,—словомъ, со свѣмъ добромъ и зломъ своей эпохи. Однакожь, и этимъ еще не все оканчивается. Эта симпатія не вычитывается изъ книгъ, не добывается въ аудиторіяхъ, не почерпается изъ критики и библіографіи. Ученіе, мысль могутъ только развить и укрѣпить ее, но не могутъ дать ее тому, кто не родился съ нею. Въ поэтѣ все должно быть своего рода талантомъ (даромъ природы), все—даже направленіе.

Не всякому быть гениемъ; и талантъ имѣетъ право на общее вниманіе и, если хотите, удивленіе. Пусть онъ является не съ своею собственною мыслию, но съ мыслию гения, покорившаго его своему неотразимому вліянію; за то пусть онъ возьметъ эту мысль въ такой иѣрѣ, въ какой доступна она его силамъ, пусть помнитъ, что усиліе не есть сила, и потомъ пусть проведетъ эту мысль чрезъ всю свою личность, а не только черезъ свою голову. Тогда, онъ не только — талантъ, но еще и заслуживающій вниманія талантъ. Безъ этого же, онъ — просто талантъ, явленіе для многихъ, можетъ быть, блестящее, но для всѣхъ бесплодное и пустое! Другими словами: талантъ поэта долженъ быть тѣсно связанъ съ его натурою, его личностью. Безъ этого, онъ только способность подражанія—не больше! Чтѣ нужды, если поэтъ не переводитъ, не заимствуетъ, никому явно и съ намѣреніемъ не подражаетъ, даже никого не напоминаетъ? Пусть у него нѣтъ ничего чужаго: зато, у него ничего нѣтъ своего, а это значить  $0 = 0$ ... Жуковский—не оригинальный поэтъ, а переводчикъ; но взгляните въ его переводы, и вы увидите, что такимъ переводчикомъ надо было родиться. Жуковский переводилъ не все даже и изъ любимыхъ своихъ поэтовъ, но выбиралъ изъ нихъ только то, сочувствіе къ чему глубоко лежало въ его натурѣ, какъ ея свойство, ея особенность...

Талантъ, несвязанный съ натурою поэта, какъ человека, какъ личности, есть талантъ внѣшній. Если въ немъ нѣтъ никакого сочувствія съ идеями и духомъ времени, онъ положительно пустъ и ничтоженъ; но еще жалче онъ, если вздумаетъ почерпнуть это сочувствіе изъ книгъ...

На такія мысли невольно навели насъ двѣ небольшія книжки, заглавіе которыхъ выставлены выше.

Давно уже вниманіе наше останавливалось на стихотвореніяхъ г. Григорьева, помѣщавшихся въ одномъ изъ петербург-

скихъ періодическихъ изданій. Мы всегда читали ихъ съ интересомъ, хотя ожиданіе наше чаще бывало обмануто, нежели удовлетворено. Несмотря на то, книжка стихотвореній г. Григорьева болѣе опечалила насъ, нежели порадовала. Мы прочли не больше, чѣмъ съ принужденіемъ — почти со скукою. Дѣло въ томъ, что изъ нея мы ошанчательно убѣдились, что онъ не поэтъ, вовсе не поэтъ. Въ его стихотвореніяхъ прорываются проблески поэзіи, но поэзіи ума, негодованія. Видишь въ нихъ умъ и чувство, но не видишь фантазіи, творчества, даже стиха. Правда, мѣстами стихъ его бываетъ силенъ и прекрасенъ, но тогда только, когда онъ олушевленъ негодованіемъ, превращается въ бичъ сатиры, касаясь нѣкоторыхъ явленій дѣйствительности (какъ, напримѣръ, въ разсказѣ „Олимпій Ралинъ“, мимоходныя замѣтки о Москвѣ, о семейственности). Въ лиризмѣ же, его стихъ презанченъ, негладокъ, нескладенъ, вялъ. Вездѣ одни разсужденія, нигдѣ образы, картинъ. Сверхъ того, пабось лиризма г. Григорьева однообразенъ, не столько личенъ, сколько эгонистиченъ, не столько истиненъ, сколько заимствованъ. Г. Григорьевъ — почти неизмѣнный герой своихъ стихотвореній. Онъ пѣвецъ вѣчно одного и того же предмета — собственнаго своего страданія. Въ наше время, страданія ни по чѣмъ, — мы всѣ страдаемъ наповалъ, особенно въ стихахъ. Вина этому Байронъ, который, своимъ могущественнымъ вліаніемъ, всѣмъ литературы Европы наладилъ на тонъ страданія. У насъ это началось было выходить изъ моды; но примѣръ Лермонтова вновь вывелъ на свѣтъ нѣсколько страдальцевъ. Правду говорятъ, что подражатели доводятъ до крайности мысль своего образца, напоминая этинъ знаменитое изреченіе Наполеона: *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas...* Герои Лермонтова — натуры субъективныя, которыя скорѣе готовы разрушить и себя и міръ, нежели подѣлываться подъ то, что отвергаетъ

ихъ гордая и свободная мысль. Люди судьбы, они борются съ нею, или гордо падаютъ подъ ея ударами, не говорятъ просто и не щеголяютъ страданіемъ. Г. Григорьевъ силится сдѣлать изъ своей поэзіи апофеозу страданія; но читатель не сочувствуетъ его страданію, потому что не понимаетъ ни причины его, ни его характера, — и мысль поэта носится передъ нимъ въ какомъ-то туманѣ. Какое это страданіе, отчего оно — Богъ вѣсть! Есть ли это гордость ума, эгоизмъ могущественной природы, сила отрицанія, при жаждѣ истины? — Едва ли знаетъ это самъ поэтъ. Въ его гимнахъ есть признаки довольно дешеваго примиренія при помощи мистицизма, на манеръ г. О. Глинка; а въ его „разныхъ стихотвореніяхъ“ проглядываетъ скептицизмъ, отзывающійся больше неуживчивостью безпокойнаго самолюбія, нежели тревогами безпокойнаго ума. Не много есть у г. Григорьева стихотвореній, въ которыхъ не говорилось бы о „гордости страданья“, о „безумномъ счастіи страданья“. Это значитъ сдѣлать изъ страданья ремесло, — что кажется намъ не совсѣмъ истиннымъ и не совсѣмъ естественнымъ. „Гордость страданіемъ“ — сказано слишкомъ заносчиво; ее надо оправдать, разумѣется, стихами, но какими — вотъ вопросъ! „Безумное счастье страданья“ — вещь возможная, но это не нормальное состояніе человѣка, романтическая искаженность чувства и смысла. Есть счастье отъ счастья, но счастье отъ страданія — воля ваша — отъ него надо лѣчиться — классицизмомъ здраваго смысла, полезной дѣятельностью и безпритязательностью на превосходство надъ остальными слабыми смертными...

Можетъ-быть, мы ошибаемся; но въ такомъ случаѣ, мы ошибаемся искренно. Какими бы ни казались намъ стихотворенія г. Григорьева, мы все-таки видѣли въ нихъ не совсѣмъ обыкновенное явленіе, и они возбудили въ насъ живой интересъ къ личности ихъ автора, о которомъ мы знаемъ только по его

стихотвореніямъ. Мы сказали выше, что онъ не поэтъ, и повтораемъ это теперь; но онъ глубоко чувствуетъ и многое глубоко понимаетъ; это иногда дѣлаетъ его поэтомъ. Для доказательства выпишемъ его прекрасное стихотвореніе „Городъ“:

Да, я люблю его, громадный, гордый градъ,  
 Но не за то, за что другіе;  
 Не зданія его, не пышный блескъ палатъ  
 И не граниты вѣковые  
 Я въ немъ люблю, о нѣтъ! Серблянкою душой  
 Я прозѣваю въ немъ иное,—  
 Его страданіе подъ ледяной корою,  
 Его страданіе больное.

Пусть почву шаткую онъ заковалъ въ гранитъ,  
 И защитилъ ее отъ моря,  
 И пусть сурово онъ въ самомъ себѣ таитъ  
 Волненье радости и горя,  
 И пусть его рѣка въ стопамя его несетъ  
 И роскоши и нѣги дани,—  
 На нихъ отпечатлѣнь тяжелый слѣдъ заботъ,  
 Людскаго пота и страданій.

И пусть горять свѣтло огни его палатъ,  
 Пусть слышны въ нихъ веселья звуки—  
 Обманъ, одинъ обманъ! Они не заглушатъ  
 Безумно-страшныхъ стоновъ муки!  
 Страданіе одно привыкъ я подмѣчать,  
 Въ ониѣ ль съ богатою гарниной,  
 Иль въ темномъ углу, —вездѣ его печать!  
 Страданье уровень единой!

И въ тѣ часы, когда на городъ гордый мой  
 Ложится ночь безъ тьмы и тѣни,  
 Когда прозрачно все, махнетъ предо мной  
 Рой отвратительныхъ видѣній...  
 Пусть ночь ясна, какъ день, пусть тихо все вокругъ,  
 Пусть все прозрачно и спокойно,—  
 Въ ноемъ темъ затихъ на время злой недугъ,  
 И то прозрачность давы гнойной.

Въ этомъ стихѣ есть сила, а въ цѣлой піесѣ дышитъ своего рода поэтическое обаяніе; но всего болѣе поражаетъ васъ въ ней болѣзненно настроенный умъ. Выпишемъ еще піесу:

Нѣтъ, не тебѣ идти со мной  
Къ высокой цѣли бытія,  
И не тебя душа моя  
Звала подругой и сестрой.

Я не тебя въ тебѣ любилъ,  
Но лучшей участи залогъ,  
Но ту печать, которой Богъ  
Твою природу заклеилъ.

И думалъ я, что ту печать  
Ты сохранишь среди борьбы,  
Что противъ свѣта и судьбы  
Ты въ силахъ голову поднять.

Но дорогъ судъ тебѣ людской,  
И мнѣнье дорого рабовъ,  
Не ненавидишь ты оковъ:  
Мой путь иной, мой путь не твой.

Тебя молить я слишкомъ гордъ,—  
Мы не равны ни здѣсь, ни тамъ,—  
И въ хорѣ звѣздъ не слиться намъ  
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.

И пусть твой образъ роговой  
Мнѣ никогда не позабыть...  
Мнѣ стыдно женщину любить,  
И не назвать ее сестрой.

И опять таки, несмотря на ощутительный недостатокъ поэтического выраженія, мы готовы были признать это стихотвореніе вполне прекраснымъ, еслябъ его не испортила риторическая фраза:

И въ хорѣ звѣздъ не слиться намъ  
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.



Но что такое, напримеръ, стихотвореніе „Героямъ нашего времени“?—

Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной... И дикъ и страшенъ вамъ  
Чернильныхъ жаркихъ битвъ попечнымъ бойцамъ,  
Поднятый факель Немезиды;  
Вамъ низость по душѣ, вамъ смѣхъ страшнѣе зла,  
Вы сердцемъ любите лишь лай изъ-за угла,  
Да бой пѣтушій за обиды!  
И гдѣ же вамъ любить, и гдѣ же вамъ страдать  
Страданіемъ любви Распятого за братій?  
И гдѣ же вамъ чело безрешетно поднять  
Подъ взмахомъ топора общественныхъ понятій?  
Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной, и крестъ не вамъ нести:  
Тяжелъ, не по плечамъ, и вы на полпути  
Сробѣете предъ общимъ крикомъ,  
Зане на трапезѣ божественной любви  
Вы не причастники, не ратоборцы вы  
О благородномъ и великомъ.  
И жребій жалкій вашъ, до пошлости смѣшной,  
Пророки ваши вамъ воспѣли...  
За слетны правды, за эгонизмъ больной,  
Въ скотскомъ безстрастїи и съ гордостью нѣмой,  
Безъ сожалѣнія и цѣли,  
Безумно погнѣбать, и завѣщать друзьямъ  
Всю пустоту души и весь печальный хламъ  
Пустыхъ и дѣтскихъ грезъ, да шаткое безвѣрье;  
Иль цѣлый вѣкъ звонять досужнымъ языкомъ  
О чудомъ всею вамъ великомъ и смятомъ,  
Съ богохульствамъ лащенія...  
Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной!—Вы не видали ихъ  
Египта древнаго живущихъ наваяній,  
Съ очами тихими, недвижныхъ и нѣмыхъ,  
Съ челою сияющимъ отъ царственныхъ вѣщаній.  
Вы не видали ихъ,—въ недвижныхъ ихъ чертахъ  
Вы жизни страшныхъ тайнъ безстрашнаго сознанья  
Съ надеждой не прочли: имъ книга упованья  
По волѣ Вѣчнаго начертана въ звѣздахъ  
Но вы не зрѣли ихъ, не видѣли межъ нами  
И тѣни сфинксами таинственную связь...  
Иль еслибъ видѣли,—почистыми руками

Съ модной совлечи бѣ, чтобъ уранить ихъ съ вами  
Въ демагогическую грязь!

Мы не споримъ, что въ первой половинѣ этого стихотворенія, между плохими стихами, есть и удачные, и смыслъ видѣнь; но что такое хотѣлъ сказать авторъ своими „египетскими изваяніями“—Богъ вѣсть!

Г. Григорьевъ можетъ писать; но ему нужно сознать значеніе и характеръ своего таланта. По нашему мнѣнію, ключъ къ этому сознанію находится въ латинскомъ эпитафійѣ къ одной изъ неудачныхъ пьесъ его: „Fecit indignatio verum“. Но онъ вовсе не лирическій поэтъ, и дѣлая себя героемъ своихъ стихотвореній, онъ только путается въ неопредѣленныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ. Ниша, онъ долженъ забыть о Лермонтовѣ, или сумѣть взять отъ него только свое, не касаясь чужаго. Мы не отрицаемъ въ г. Григорьевѣ, какъ въ человѣкѣ, никакого нравственнаго превосходства, ни способности страдать; но желаемъ только, чтобъ онъ осторожнѣе и умѣреннѣе говорилъ въ своихъ стихахъ о томъ и другомъ, особенно о послѣднемъ.

Еще замѣчаніе: г. Григорьевъ любитъ употреблять слово зане, и это выходитъ у него крайне неловко. Это слово ввелъ Пушкинъ, но онъ употреблялъ его только разъ въ „Борисъ Годуновъ“, очень ловко, кстати и на мѣстѣ. Потомъ употребилъ его Баратынскій въ прекрасномъ стихотвореніи своемъ „На Смерть Гёте“, гдѣ оно вышло тоже не совѣтъ не на мѣстѣ. Больше никто не употреблялъ этого слова. Оно хорошо для поэзіи, замѣняя книжное ибо и прозаическое потому что; но—*usus turgannus*—старая истина! Чего не могъ ввести Пушкинъ, того не введетъ г. Григорьевъ...

Г. Полонскій находится въ обратномъ отношеніи къ г. Григорьеву. У него больше самостоятельнаго элемента поэзіи, слѣдовательно, больше таланта, но ни съ чѣмъ не связанный,

чисто внѣшній талантъ этотъ можно разсмотрѣть и замѣтить только черезъ микроскопъ — такъ миньютюренъ онъ... Заглавiе: Стихотворенiя 1845 года“ общаеъ намъ длинный рядъ небольшихъ книжекъ; общанiе нисколько неутѣшительное! „Стихотворенiя 1845 ужъ хуже стихотворенiй, изданныхъ въ 1844 году... Это плохой признакъ... Г. Григорьеву есть о чемъ писать, но не достаеъ способности къ формѣ, — хотя и тутъ сила чувства и мысли иногда блистательно выручаеъ его; но г. Полонскому рѣшительно не о чемъ писать, т. е. нечего вкладывать въ свой гладкiй, а иногда и дѣйствительно поэтическiй стихъ... Это заставляеъ его прибѣгать за отсутствiемъ мысли, къ умничанью и хитрымъ рефлексiямъ. Прочтите его „Факиръ и Ключъ“: что это такое? Сто пудовъ пересредственныхъ стиховъ тому, кто разгадаеъ и расилетеъ эту путаницу словъ и стиховъ!... Къ числу пiесъ подобно „Факиру и Ключу“ отличающихся понятностiю, принадлежатъ также „Историку“ и „Юноша и Вѣкъ. Вообще, въ этой книжкѣ стихотворенiй г. Полонскаго попадаются удачные стихи, даже удачные куплеты и мѣста; но рѣшительно нѣтъ ни одного удачнаго стихотворенiя.

Въ примѣръ лучшаго приводимъ: Тѣни:

По небу синему тучи плывутъ  
 По луку тѣни широко бѣгутъ;  
 Тѣни ль толпой на меня налетятъ,  
 Дальнiя горы подъ солнцемъ блестятъ;  
 Солнце ль внезапно меня озаритъ,  
 Тѣнь по горамъ полосами бѣжитъ.  
 Такъ на душѣ человека порой  
 Думы, какъ тѣни, проходятъ толпой;  
 Такъ иногда вдругъ тепло и свѣтло  
 Ясная мысль озаряеъ чело

А вотъ въ примѣръ пошлости содержанiя и формы:

Вы ленты измѣтныя —  
 Секреты любви! —

Вы иныма завѣтныя—  
*Тираны* мои!  
 Вы, пряди отрѣзанныхъ  
 На память волосъ—  
 Свидѣтели тайны  
 Растраченныхъ слезъ...  
 Печали свидѣтеля!  
 Вы ииѣ, такъ и быть,  
 Признайтесь хоть на ухо,  
 Что весело жить...

Очень хорошо-съ!...

Вообще, прочитавъ книжку стихотвореній г. Григорьева, мы почему-то особенно припомнили эти стихи Лермонтова, которые и прежде приходили намъ часто на память, но никогда такъ кстати, какъ теперь:

.....  
 Какъ язвы бойся вдохновенья...  
 Оно—тяжелый бредъ души твоей больной,  
 Или *пльнутой мысли раздраженье!*  
 Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи...  
 То яровъ вкнпнть, *то силъ избытокъ...*  
 .....  
 Случится ли тебѣ въ завѣтный, чудный мигъ  
 Открыть въ душѣ давно безмолвной  
 Еще невѣдомый и дѣвственный родникъ,  
 Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный,—  
 Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,  
 Набрось на нихъ покровъ забвенья:  
 Стихомъ разиѣреннымъ и словомъ ледянымъ  
 Не передашь ты ихъ значенья.  
 Задредется ль печаль въ тайникъ души твоей,  
 Зайдетъ ли страсть съ грозой и вьюгой,—  
 Не выходи на шумный пиръ людей  
 Съ своею бѣшеною подругой;  
 Не унижай себя. Стыдися торговать  
 То гнѣвомъ, то тоской послушной,  
 И гной душевныхъ ранъ надменно выставлять  
 На диво черни простодушной.  
 Какое дѣло намъ, и ир.

Читая стихотворенія г. Полонскаго, мы почему-то, невольно все твердили про себя эти два стиха сатирика добраго стараго времени, Кантемира:

Уже недозрѣлый, плодъ недолгой науки!  
Покойся, не понуждай къ перу мои руки!

**ЛЕКСИКОНЪ ФИЛОСОФСКИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ, составленный Александромъ Голлчемъ. Томъ первый. Спб. 1845.**

Слово „философія“—престранное слово? Подобно каучуку, оно одарено свойствомъ растягиваться и сжиматься до невѣроятности. Чего не включали въ составъ философіи, какъ науки—и чего не выключали изъ нея! Въ Англіи издаются книжки подъ заглавіемъ: „Трактатъ о возвращеніи, сбереженіи и завиваніи волосъ на философскихъ основаніяхъ“—а у насъ извѣстный нашъ философъ господинъ Галичъ печатаетъ „Лексиконъ Философскихъ Предметовъ“, гдѣ, между прочими „предметами“, вы находите „антѣра, анекдоты, арабески, барина, вино, блокаду, береговое право и барельефъ“. Нельзя не замѣтить, что до сихъ поръ философія не принялась у насъ на Руси; это растеніе доставляется намъ пока въ болѣе или менѣе сухомъ видѣ сосѣями нашими, Нѣмцами—и только въ немногихъ избранныхъ представителяхъ славянскаго міра пустило самобытные отпрыски въ родѣ „Лексикона Философскихъ Предметовъ“, и другихъ сочиненій нашихъ Кантовъ. Мы,—признаться откровенно, мы не жалуемся на бѣдность нашей философской литературы; хотя мы и того мнѣнія, что русскому уму для собственнаго, самобытнаго развитія необходимо сперва толчокъ извнѣ, но не признаемъ пока ни возможности, ни необходимости подобнаго толчка въ области философіи; что, впрочемъ, нисколько не должно мѣшать людямъ, чувствующимъ охоту къ занятіямъ отвлеченнымъ—слѣ-

дять за новѣйшимъ, весьма любопытнымъ и многозначительнымъ развитіемъ этой науки въ Европѣ... Мы только хотѣли замѣтить, что философской литературы, наукообразнаго философскаго движенія у насъ до сихъ поръ существовать не можетъ, и что, пока—мы бы весьма удовольствовались появленіемъ хорошаго школьнаго компендіума (краткой исторіи философскихъ школъ, что ли), въ чемъ у насъ большой недостатокъ.

Обратимся къ дѣлу. Въ русскомъ человѣкѣ, особенно подъ старость, проявляется иногда невинная охота къ велерѣчивому мудрствованію, которое, впрочемъ, рѣдко доходитъ до сухаго педантизма. Русскій человѣкъ любитъ иногда произнести высокопарную рѣчь (даже въ мужикѣ эта страсть замѣтна), заговорить Цицераномъ, въ носъ, на ѳ, съ примѣсью книжныхъ и славянскихъ словъ. Остатокъ ли это стародавняго вліянія на насъ восточно-греческой кудреватой и многоглаголивой учености, свѣтъ ли это самаго русскаго племени—мы не беремся рѣшить; но читатели, вѣроятно, согласятся съ справедливостью нашего замѣчанія. Къ тому же, при здоровомъ и живомъ умѣ русскаго человѣка, это свойство болѣе любезно, чѣмъ смѣшно; вообще не худо бы намъ прибавить себѣ нѣсколько боляста, остепениться и стараться противодействовать нашему врожденному непостоянству и безпечному, насмѣшливому равнодушію. Вслѣдствіе всего вышесказаннаго; мы думаемъ, что книга г. Галича удовлетворитъ многихъ любителей книжной мудрости; она отличается самодовольнымъ, любезнымъ, нѣсколько старческимъ велерѣчіемъ; все, что она говоритъ, извѣстно всѣмъ и каждому; но говоритъ она—такъ плавно, такъ усладительно, съ такимъ соблюденіемъ собственного достоинства... Маниловъ Гоголя прослезился бы, читая эту пріятную книжку. Вотъ напримѣръ, какъ г. Галичъ разсуждаетъ о выборѣ супруги (стр. 131):

Разсудокъ требуетъ, чтобы при выборѣ лица, съ которымъ вы хотите сочетаться *на всю жизнь*, вы поступали съ величайшей осмотрительностью, и чтобы столь важный союзъ заключали хотя *не по одной склонности* (потому что она скоротечна, если не имѣетъ болѣе прочнаго основанія въ прекрасныхъ качествахъ ума и сердца), однакожъ *и не безъ всякой уже склонности*, потому что тутъ бразъ былъ бы *скверное общеніе* половъ... Избирать супругу по внѣшнимъ только расчетамъ—безуміе. Что не должно избирать супруги ниже или выше своего званія и состоянія—это правило имѣетъ множество исключеній. Ибо, если разность состоянія не столь велика, чтобы влекла за собою разность въ воспитаніи и во всемъ образѣ жизни, слѣдовательно, въ духовныхъ и тѣлесныхъ потребностяхъ, что, безъ сомнѣнія, сильно разстраиваетъ супружеское счастье; то противъ женитьбы, напримѣръ, барина на купеческой дочкѣ никакихъ возраженій быть не можетъ. Но главное вниманіе при выборѣ супруги или супруга обращайте на *здоровое тѣлосложеніе*.

Подобныя строки читаешь какъ Петрушка Гоголя читалъ вообще всѣ книги: его занималъ собственно процессъ чтенія, а васъ тутъ занимаетъ процессъ мышленія; все мысли выходятъ удобопонятныя, одобрительныя мысли — а впрочемъ какія онѣ тамъ, эти мысли, — намъ совершенно до этого нѣтъ дѣла; были бы мысли; чтеніе есть, — время проходить, и умышленное упражненіе имѣется: Въ деревнѣ, въ семейномъ кружку, зимой подъ шумокъ самовара, должно быть весьма пріятно читать г. Галича: слогъ ясный, спорить не о чемъ, спокойное и ровное краснорѣчіе—чего болѣе требовать? Чтеніе книги г. Галича, правда, можно сравнить съ щелканьемъ каменныхъ орѣховъ; въ сущности—удовольствія оно не составляетъ никакого, а отстать нельзя; въ самой непрерывности занятія, недостающаго намъ ни малѣйшаго удовольствія, скрывается какая-то таинственная прелесть. Впрочемъ, иногда, г. Галичъ доходитъ именно до того, что простой народъ у насъ называетъ Цицерономъ.

Угодно ли вамъ знать, что такое „взглядъ“ — и разница взгляда отъ зора?

«Взглядъ въ собственномъ значеніи есть мгновенный актъ блящаго глаза, невольный и умысленный, естественный и искусственный». — «Взоръ же есть постоянный стереотипный взглядъ» (стр. 183).

Иногда г. Галичъ сходится въ образѣ изложенія съ Лабрюйеромъ.

Вотъ какъ онъ описываетъ „взбалучнаго“ (стр. 181):

«Фирсъ Мокеевичъ (вотъ оно, влиянье-то Гоголя!) *тыкаетъ*, покровительствуетъ, презираетъ. Ф. М. лорнируетъ, насвистываетъ, барабанить то пальцами по стеклу или по столу, то ногами по полу въ почтеннѣйшемъ обществѣ, среди самой назидательной, и трогательной бесѣды... Выходить ли онъ изъ театра—онъ перешептывается съ своими людьми. Онъ ведетъ съ таинственной миной подавать себѣ цыдулочку; вы подумаете, что онъ подцѣпилъ хорошую жеманочку. Онъ — матушкины сынонь—или *что все раско*—шальной барончикъ».

Какова кисть! Жаль, очень жаль, что г. Галичъ живетъ послѣ Лабрюйера; а то бы слѣдовало доказать, что Лабрюйеръ, какъ негодный западный человекъ, подражалъ г. Галичу. Впрочемъ, современи знаменитой исторіи Коперника, или Копырника или Покорника въ „Москвитянинѣ“, это уже не такъ трудно привести во исполненіе; извѣстно: *il n'y a que le premier pas qui coûte*. Притомъ, кто же, наконецъ, не знаетъ, что развращенный Западъ получаетъ отъ насъ все свои мысли, правда, въ грубомъ видѣ, на подобіе пеньки и льна, и намъ же продаетъ ихъ потомъ въ три-дорога—за собственные произведенія? — Примеромъ служатъ „Парижскія Письма“ г. Греча въ „Сѣверной Пчелѣ“: ихъ слово въ слово переводятъ фельетонисты газетъ „Siècle“ „Presse“. Злоязычники говорятъ, что не „Siècle“ и „Presse“ переводятъ письма г. Греча, но что г. Гречъ переводитъ фельетоны этихъ газетъ и присылаетъ переводъ въ „Сѣверную Пчелу“ подъ именемъ своихъ писемъ; но кто же не видитъ, что это чистая клевета, хотя сходство означенныхъ фельетоновъ съ письмами г. Греча—поразительное!... Но не въ томъ дѣло. Возвратимся къ г. Галичу.



Попадаютъ также глубокія, спекулятивныя обозрѣнія. Знаете ли, напримѣръ, почему „побой принимаются нами за обиду личную“?—Потому, весьма справедливо замѣчаетъ г. Галичъ (стр. 178), что между душой и тѣломъ существуетъ взаимность. А не будь этой взаимности—пусть бьютъ васъ сколько угодно — что вамъ? душа ваша въ сторонѣ! Хорошо тоже въ своемъ родѣ замѣчаніе г. Галича насчетъ актѣра:—„Лицедѣй“ (говоритъ онъ на стр. 11) „долженъ для своего прекраснаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ щекотливаго знанія быть рожденъ.“ Именно! — „Безвкусіе есть собственно говоря, то, что потеряло свой смакъ, напр. выдохшееся пиво“ (стр. 49). Какъ не согласиться съ такимъ яснымъ опредѣленіемъ? Нѣсколько темнѣе слѣдующее: „Благотворительность принадлежитъ къ такъ называемымъ несовершеннымъ должностямъ“. Тоже не совсемъ понятно говоритъ почтенный авторъ о бѣдныхъ: „Люди, которые бѣгаютъ за нами на улицахъ и дорогахъ, упали.“ — Но весьма утѣшительнымъ покажется многимъ заключеніе г. Галича въ статьѣ о „винѣ“, что „мораль не можетъ отнюдь запрещать вѣдки...“

Изъ всего нами приведеннаго читатель можетъ легко усмотрѣть достоинства сочиненія г. Галича. Не самая яркая сторона его состоитъ въ томъ плавномъ и высокопарномъ краснорѣчій, о которомъ мы говорили выше. Есть, конечно, и юморъ у г. Галича, потому что въ наше время писатель безъ юмора ужъ лучше и не суйся въ литературу; но вообще г. Галичъ болѣе трогаетъ и увлекаетъ, чѣмъ радуетъ и утѣшаетъ; болѣе настаиваетъ, чѣмъ забавляетъ; болѣе на раздумье наводитъ, чѣмъ смѣхъ возбуждаетъ; болѣе мышленья изощрять заставляетъ, чѣмъ пустой игрой воображенія плѣняетъ. И потому мы не можемъ не повторить въ слѣдъ за нимъ его восклицанія въ предисловіи: „наукѣ общихъ правъ и исторіи человѣчества не суждено было увидѣть свѣтъ Божій! Жаль!“ — Именно —

жалъ! Но мы надѣмся, что г. Галичь не заставитъ насъ воскликнуть то же самое на счетъ продолженія „Лексикона Философскихъ Предметовъ“...

**ПЕРВОЕ АПРѢЛЯ; Комическій иллюстрированный альманахъ составленный изъ рассказовъ въ стихахъ и прозѣ, достопримѣчательныхъ писемъ, куплетовъ, народій, анекдотовъ и пифовъ. Спб. 1846.**

Забавный фарсъ лучше скучной трагедіи, веселая шутка лучше серьезной, но пустой книги: это неоспоримая истина. Крѣпкій сонъ—хорошее дѣло, но зѣвота—одно изъ самыхъ дурныхъ положеній человѣка, особенно зѣвота отъ драмы или важной книги. Смѣхъ—тоже одно изъ лучшихъ благъ жизни, какъ и крѣпкій сонъ, особенно смѣхъ отъ умной шутки, забавной книги. Кто любитъ смѣяться такимъ смѣхомъ, для того „Первое Апрѣля“ будетъ прекраснымъ поводомъ удовлетворить этой веселой и счастливой склонности. Вся эта книжка—не больше какъ болтовня, но болтовня живая и веселая, мѣстами даже лукавая и злая. Вотъ для образчика прозы, два анекдота изъ „Перваго Апрѣля“:

#### Пушкинъ и ящерицы.

Въ Германіи какой-то профессоръ словесности, знающій русскій языкъ, человѣкъ весьма ограниченный, презираемый своими слушателями, но очень много о себѣ думающій, однажды на лекціи, разговорившись о богатствѣ и благозвучіи русскаго языка, привелъ между прочимъ слѣдующій примѣръ:

«Когда я былъ въ Римѣ», сказалъ онъ нислывымъ, визгливо-пронзительнымъ дискантомъ:—двѣ знакомыя дамы предложили мнѣ отправиться съ ними въ Колизей. Торжественность мѣста, освещеннаго столынами воспоминаніями, такъ сказала вдохновила меня, и я прочелъ моимъ спутницамъ одно изъ прекраснѣйшихъ произведеній Пушкина. Какого же было мое удивле-

не—когда я увидалъ, что нѣсколько ящерицъ и жаба выползли изъ норы своихъ и съ видимымъ наслажденіемъ слушая эту дивную гармонію, помахивали головами! Тѣмъ изъ нашихъ соотечественниковъ, которые по-двигаются на этомъ поприщѣ съ почтеннымъ иноземнымъ профессоромъ, не худо принять къ свѣдѣнію его замѣчательное открытіе...

Какъ одинъ господинъ приобрѣлъ себѣ за безцѣнонъ домъ въ полтораста тысячъ.

Г. Ведринъ, столь прославившійся своими путевыми записками, нашелъ домъ себѣ слѣдующимъ остроумнымъ и простымъ способомъ.—Жилъ въ Парижѣ русскій князь, который до самой смерти своей, послѣдовавшей на 73 году, бралъ уроки танцованія и фехтованія. Учителя танцованія и фехтованія являлись къ нему и тогда, когда онъ лежалъ уже на смертномъ одрѣ; къ нимъ выходилъ камердинеръ князя и платилъ имъ за урокъ, говоря, что «князь занятъ». У этого князя былъ, между прочимъ, домъ находящійся въ завѣдываніи управляющаго. Г. Ведринъ съ свойственною любезностію предложилъ однажды этому управляющему пять тысячъ съ тѣмъ, чтобы тотъ написалъ князю, что домъ его сіятельства пришелъ въ вѣтхость и угрожаетъ паденіемъ. Управляющій, взявъ съ г. Ведрина предложенную имъ сумму впередъ (предосторожность, которую вообще совѣтуютъ употреблять съ г. Ведринымъ) успѣшилъ исполнить невинную прихоть г. Ведрина. Смоль ни мало заботился князь о своихъ домахъ и помѣстьяхъ, извѣстіе управляющаго удивило его: онъ вспоминалъ, что четыре года тому назадъ, уѣзжая изъ Москвы, оставилъ домъ свой въ цвѣтущемъ положеніи. Поэтому онъ написалъ письмо къ одному своему пріятелю-аристократу, въ которомъ просилъ осмотрѣть его домъ, и если демесеніе управляющаго справедливо, то велѣлъ ему поскорѣе продать домъ куда и съвѣмъ не развалился, хоть за что-нибудь, а деньги немедленно выслать въ Парижъ. Пріятель-аристократъ далъ знать управляющему, что въ такой-то день въ такой-то часъ онъ пріѣдетъ осматривать домъ князя, и чтобы все было готово. Встрѣченный управляющій посланкалъ къ г. Ведрину. Г. Ведринъ, писавшій въ это время разсужденіе о добродѣтели, выслушавъ разсказъ управляющаго, не привсочилъ къ потолку единственно потому, что восторженное проявленіе радости не считалъ теперь для себя выгоднымъ; онъ ограничился тѣмъ, что успѣшилъ включить во свое разсужденіе о добродѣтели нѣсколько счастливыхъ строкъ, бласуявшихъ въ умъ его во время вдохновенія для настоящаго случая, вслѣдствіе и съ жаромъ сказалъ управляющему нѣсколько словъ, которыя *семи послѣднему* возвратили всю бодрость. Въ назначенный день пріятель князя въ старой и дребезжавшей, но запряжен-

ной четверкой каретъ прѣѣхалъ осматривать домъ. Здѣсь все было уже готово. Штукатурка обвалилась; въ стѣнахъ были дыры чуть не на савозъ; кругомъ мусоръ, щебень, обломки кирпича. Пріятель князя померщился. Идуть внутрь. Пріятель князя занесъ ногу на лѣстницу и остановился. Лѣстница вся на подпоркахъ; нныя ступени провалились, нныхъ нѣтъ вовсе. «Пожалуйте, ваше сіятельство!» (пріятель князя былъ тоже сіятельный) говоритъ управляющій... «Ничего... ей Богу ничего! подпорки кажутся крѣпкія; не могу вамъ доложить, что теперь, а то я еще вчера ходилъ, въ осмотру вашего сіятельства прибиралъ,—ничего, Богъ пронесъ! Пожалуйте... вотъ что развѣ та подпорка... да ничего... ничего... Богъ милостивъ!» Пріятель князя опре-метью бросился вонъ, и написалъ въ Парижъ, что домъ до того гнилъ, что въ него и войти нѣтъ никакой возможности. Г. Ведринъ купилъ домъ у управляющаго, получившаго приказаніе продать его хоть за что-нибудь за 35 тысячъ, употребилъ двѣ тысячи на поправку лѣстницы и штукатурку стѣнъ, и теперь ему даютъ за него сто тысячъ, но онъ не хочетъ взять и полтора. Онъ перебирается туда—самъ. Желающимъ нанять у него квартиры, советуемъ торопиться, потому что опоздавъ, легко не найдти ни одной свободной; многіе за честь почитаютъ жить въ домѣ г. Ведрина. Г. Ведринъ пользуется блестящею репутаціей, и въ самомъ дѣлѣ, разсужденіе его о добродѣтели написано пріятнымъ слогомъ и пронинуту чистѣйшею нравственностію.

#### СЛАВЯНОФИЛЪ.

Одинъ славянофилъ, то-есть, человекъ видящій національности въ олоб-няхъ, мурмолахъ, лаптахъ и рѣдькѣ, и думающій, что одѣваясь въ евро-пейскую одежду, нельзя въ то же время остаться Русскимъ, нарядился въ красную шелковую рубаху съ косымъ воротникомъ, въ сапоги съ вы-сточками, въ терлики и мурмолку, и пошелъ въ такомъ нарядѣ показывать себя по городу. На поворотѣ изъ одной улицы въ другую обогналъ онъ двухъ бабъ и услышалъ слѣдующій разговоръ: «Вона! вона! гляди-ко, мати!» сказала одна изъ нихъ, осмотрѣвъ его съ дикимъ любопытствомъ:— «глядь-ка, какъ нарядился! должно быть настранецъ какой-нибудь!»

Стихи въ „Первое Апрѣля“ интересны не менѣе прозы. Вотъ, наприимѣръ:

Онъ у насъ осьмое чудо—  
У него завидный нравъ.  
Неподкупенъ какъ Иуда,  
Храбръ и честенъ какъ Фальстафъ.  
Съ безкорыстностью жидовскою  
Какъ хавронья милъ и чистъ

Даровитъ—какъ Тредьяковской,  
 Столько-жь важенъ и рѣчисть.  
 Не страшитесь съ нимъ союза,  
 Не разладитесь никакъ:  
 Онъ съ Французомъ—за Француза,  
 Съ Полякомъ—онъ самъ Полякъ;  
 Онъ съ Татаринъ—Татаринъ,  
 Онъ съ Евреемъ—самъ Еврей,  
 Онъ съ левеемъ—важный баринъ  
 Съ важнымъ бариномъ—ладей.  
 Кто же онъ? . . . . .

Отгадайте!

Впрочемъ, между стихотвореніями „Перваго Апрѣля“ есть и серьезные. Лучшее изъ нихъ называется „Ревность“. Выписываемъ его для восторга и удивленія нашихъ читателей.

Есть мгновенье думъ упорныхъ,  
 Разрушительно-глетворныхъ,  
 Мрачныхъ, буйныхъ, адски-черныхъ,  
 Сихъ—опасныхъ какъ чума—  
 Расточительницъ несчастья,  
 Въстаницъ зла, воровокъ счастья  
 И гасительницъ ума!...

Вотъ въ неистовствѣ разбоя  
 Въ грудь вломилась, яро-воя—  
 Все вверхъ дномъ! И цѣлый адъ  
 Тамъ, гдѣ часъ тому назадъ  
 Ярннъ, радужнымъ алмазомъ  
 Пламенѣлъ твой свѣточъ, разумъ!  
 Гдѣ добро, любовь и миръ  
 Пировали честный пиръ!

Адъ сей... Въ комъ изъ земнородныхъ  
 Отъ стоей и нивъ безплодныхъ,  
 Сихъ отчаянныхъ краевъ,  
 Полныхъ глада и сѣговъ—  
 Отъ Камчатки льдяно-реброй,  
 До бреговъ отчужды доброй,—  
 Въ комъ онъ бурно не кипѣлъ?

Кто его—страстей изъятый,  
 Бессердечіемъ богатый —  
 Не воссуществовать послѣтъ?...

Адъ сей... Ревностью онъ кинуть  
 Въ душу смертнаго. Раздвинуть  
 Для него широкій путь  
 Въ человѣческую грудь!  
 Онъ грядетъ съ огнемъ и трескомъ,  
 Онъ ласкательно явится,  
 Все нинимъ провавыимъ блескомъ  
 Обольетъ — и превратитъ  
 Миръ—въ темницу, радость—въ муку,  
 Счастье—въ скорбь, веселье—въ скуку!  
 Жизнь—въ кладбище, слезы—въ кровь,  
 Въ ядъ и ненависть—любви!

Полонъ чувствъ огнепожарныхъ,  
 Вопіющихъ и томящихся,  
 Проживаетъ человѣкъ  
 Въ страшный мигъ тотъ—цѣлый вѣкъ,  
 Вѣчанъ терніемъ, не миртомъ,  
 Молитъ смерти—смерть бы рай!  
 Но отчаяніа спиртомъ  
 Налить черепъ черезъ край.  
 Рай душъ его смятенной —  
 Разрушать и проламывать,  
 И нишкаловъ всей вселенной  
 Мало ярость напитать!!...

*Владиміръ Бурноковъ.*

Прочта это стихотвореніе, кто несогласится, что самъ г.  
 Бенедиктовъ едва ли въ состояніи возвысится до такой образ-  
 ности и силы въ выраженіи неистово-клокочущей и бѣшено-  
 раздирающей грудь страсти...



**III.**

**ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.**





### ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЗАЯЦЪ.

Можно бы написать большую книгу объ авторском самолюбіи вообще, и о сочинительском самолюбіи въ особенности. Первому бывают подвержены люди съ талантомъ; второму — посредственность и бездарность. Въ обоихъ случаяхъ, это страсть — источникъ величайшихъ страданій для одержимыхъ ею. Впрочемъ, талантъ, какъ бы ни былъ болѣзненно-раздражителенъ, всегда имѣетъ свои минуты торжества, которыя, по возможности, ослабляютъ ѣдкую силу страданія отъ неудачъ, или отъ несправедливыхъ приговоровъ, внушаемыхъ пристрастіемъ и невѣжествомъ. Но когда бездарный человекъ, одержимый бѣсомъ сочинительства, въ то же время исполненъ раздражительнаго самолюбія, которое, будучи въ заговорѣ съ его безвкусіемъ и невѣжествомъ, убѣждаетъ его въ томъ, что его произведенія превосходятъ и единодушно порицаются всѣми только по недоброжелательству, зависти и ослѣпленію: тогда взору наблюдателя представляется явленіе, столько же жалкое и странное внутри, сколько смѣшное и комическое снаружѣ. Подобныя явленія подлежатъ изслѣдованію и психолога и врача. Задорный писака — истинный мученикъ; онъ не знаетъ покоя ни днемъ, ни ночью, и вездѣ, во всемъ видитъ злыя противъ него намѣренія. Вы сказали при немъ, что не любите читать — онъ обидѣлся; другой сказалъ при немъ, что не

хотѣлъ бы быть литераторомъ: онъ обидѣлся; третій сказалъ при немъ, что не любитъ романовъ и повѣстей: онъ обидѣлся; четвертый похвалилъ при немъ какое-нибудь новое произведение (не его, разумѣется): онъ обидѣлся... Несчастный! его мучитъ всякій чужой успѣхъ, его терзаетъ появленіе всякаго замѣчательнаго таланта; онъ ревнуетъ даже славѣ первоклассныхъ европейскихъ поэтовъ!... А въ „своей литературѣ“, онъ играетъ роль зайца, котораго всѣ травятъ изъ одного удовольствія травить. Выдетъ плохое сочиненіе, совсѣмъ не имъ написанное: его сравниваютъ съ тѣмъ или съ другимъ изъ его сочиненій. Имя его вѣчно, кстати и некстати, подъ перомъ рецензентовъ. То онъ издастъ сочиненіе за сочиненіемъ, то на время примолкаетъ, выжидаетъ—и вдругъ, думая, что всѣ забыли его старые грѣхи, смѣшитъ журналы и публику изданіемъ новаго жалкаго дѣтища своей бѣдненькой фантазіи. Видя, что всѣхъ не задобришь, онъ выбираетъ одинъ изъ наиболѣе насмѣхавшихся надъ нимъ журналовъ—и начинаетъ лѣстять ему некстати въ своихъ сочиненіяхъ; но неутомимый журналъ тѣмъ больше надѣвается надъ нимъ... Чтѣ дѣлать? Бѣдникъ рѣшается самъ сдѣлаться критиканомъ и рецензентомъ. „Мена бранили“, говоритъ онъ: „буду же и я бранить другихъ“. Но ему въ то же время хочется казаться безпристрастнымъ, и онъ считаетъ долгомъ своимъ хотѣ что-нибудь похвалить во всякой вздорной книжонкѣ. Впрочемъ, по сочувствію бездарности, онъ хвалитъ только одно посредственное, ничтожное, и оуждаетъ только гениальное и талантливое, да ужъ развѣ что-нибудь очень бессмысленное и безграмотное. Но онъ оуждаетъ съ „легкою провією“, а въ самомъ дѣлѣ сонно, вяло, плоско, съ беззубыми остротами и пошлыми шуточками. Однакожъ, и это ему не удается. Рецензій его не принимаетъ ни одинъ журналъ; онъ издастъ ихъ отдѣльными тетрадями, которыя доставляютъ обильную пищу насмѣ-

шливости журналовъ, а сами неидутъ, не раскупаются... Чудаконъ овладѣваетъ отчаяніе: изъ полемическаго рыцаря печальнаго образа, онъ становится полемическимъ Orlando Furioso. Ему остается одно: найти пріютъ въ какомъ-нибудь изданіи. Наконецъ — о радость! издатель какого-нибудь литературнаго сора, видя въ нашемъ зайцѣ, большой полемическій задоръ, предлагаетъ ему безвозмездно трудится въ своемъ изданіи. Несчастный заяцъ радъ и самъ платитъ послѣднія деньжонки, чтобъ только печатали его статейки, даромъ же онъ готовъ работать съ плеча, день и ночь. Издатель тоже радъ ему: онъ употребляетъ его даромъ и только поправляетъ его статьи; самолюбивый заяцъ блѣднѣетъ и дрожитъ за всякое вычеркнутое или поправленное слово; но прошлыя неудачи дѣлаютъ его по неволѣ уступчивымъ: лишь бы не отняли у него возможность бранить тѣхъ, которые такъ долго смѣялись надъ нимъ, — онъ готовъ переносить отъ своего хозяина все... Но, за то, трепещите вы, враги его! Онъ ужъ больше не говоритъ о безпристрастіи, о справедливости... Но, увы! враги его, которыхъ онъ думалъ видѣть подъ своими ногами, уничтоженныхъ, умирающихъ, — его враги опять весело смѣются, потому что ничего нѣтъ смѣшнѣе и пріятнѣе, какъ бессильная злоба, какъ пухлое изверженіе надувшейся бездарности...

Что же будетъ дѣлать заяцъ, когда убѣдится въ своемъ бессиліи? что ожидаетъ его, несчастнаго?... Да, это любопытный типъ, драгоценный предметъ для литературно-физиологическаго очерка съ картинками, подъ названіемъ: „Литературный Заяцъ“...

## НОВЫЙ КРИТИКАНЪ.

А что новаго въ нашей литературѣ? Последняя новость въ ней—явленіе новаго необыкновеннаго таланта. Мы говоримъ о г. Достоевскомъ, который рекомендуется публикѣ „Бѣдными Людьми“ и „Двойникомъ“ — произведеніями, которыми для многихъ было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще; но такъ начать, — это, въ добрый часъ молвить! что-то ужъ слишкомъ необыкновенное... Теперь въ публикѣ только и толковъ, что о г. Достоевскомъ, авторѣ „Бѣдныхъ Людей“; но слава не бываетъ безъ терній, и говорить, что посредственность и бездарность уже точатъ на г. Достоевскаго свои деревянные мечи и копыя... Тѣмъ лучше: такія тернія не колятъ, а даютъ ходъ таланту, который — не талантъ, если у него нѣтъ враговъ и завистниковъ.—Потомъ, последняя литературная новость — „Петербургскій Сборникъ“, альманахъ, изданный г. Некрасовымъ; перлъ этого альманаха опять такі „Бѣдные Люди“, но въ немъ и кромѣ того много замѣчательныхъ-хорошихъ произведеній. — Пока тутъ и всѣ новости. Но не безъ новостей и въ другомъ углу нашей литературы. Изъ нихъ, самая забавная (и ужъ не совсѣмъ новая) педантическія статьи въ „Сѣверной Пчелѣ“ какого-то г. Я. Я. Я. Мы бы не сочли за нужное упоминать объ нихъ въ нашемъ журналѣ; но г. Я. Я. Я. такъ занятъ „Отечественными Записками“, такъ хлопочетъ о нихъ и такъ усердно служить имъ, что у насъ никакъ не достаетъ жестокости не наградить его за это минутою вниманія. Мы ужъ и счетъ потеряли его статьямъ противъ „Отечественныхъ Записокъ“. Онъ порочитъ въ нихъ все съ плеча — знай-молъ нашихъ! Затѣйливая подпись этихъ статей: Я. Я. Я. многозначительнѣе „Quos ego!“

Нептуна у Виргилія. Мы особенно благодарны г. Я. Я. Я. за то, что онъ ровно ничего хорошаго не находитъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“: въ этомъ мы видимъ съ его стороны великую жертву пользамъ нашего журнала. Такой врагъ лучше друга! Нѣкоторые журналы въ старину нанимали себѣ такихъ враговъ: нашъ служить намъ даромъ безкорыстно. Одно только огорчаетъ насъ въ статьяхъ г. Я. Я. Я. — именно онъ ужасно растянуты, длинны; сначала мы не дочитывали ихъ, а теперь и вовсе перестали читать. Что онъ нѣсколько водяни и скучны, — въ этомъ нельзя обвинять г. Я. Я. Я.: онъ дѣлаетъ, что можетъ, что въ силахъ дѣлать. Зато, онъ не затрудняется въ энергіи (нѣсколько, правда, простонародной) выраженій и словъ, и за это мы ему тоже благодарны. Жаль еще, что у него есть замашка — изъ большой статьи вырывая тамъ и самъ по фразѣ, по полужфразѣ, по слову, по полуслову, стараться, сближеніемъ этихъ урывковъ, давать имъ совсѣмъ превратный смыслъ; но, можетъ-быть, это нужно ему для практики, для дальнѣйшихъ успѣховъ на поприщѣ, болѣе сообразномъ съ его наклонностями, нежели сколько сообразно съ ними литературное поприще... Въ такомъ случаѣ, будучи ему столько обязаны, желаемъ ему успѣвать и преуспѣвать...

Еще разъ: возражать г. Я. Я. Я. мы не намѣрены, сколько изъ благодарности за его усердіе къ нашему журналу, столько и изъ опасенія заставить его утратить свою природную скромность, которую доказалъ онъ въ 281 номерѣ „Сѣверной Пчелы“ за прошлый 1845 годъ, сознавшись откровенно, что онъ никакъ не могъ понять одного мѣста изъ критики „Отечественныхъ Записокъ“ на „Тарантасъ“... Но, какъ бы то ни было, мы, снова благодаря г. Я. Я. Я., за его неоцѣненные услуги нашему журналу и прося его продолжать ихъ и на будущее время, мы въ то же время поздравляемъ „Сѣверную Пчелу“ съ приобрѣтеніемъ такого сотрудника.

Кстати о „Сѣверной Пчелѣ“. Фельетонистъ этой газеты, не упуская времени подписки на журналы, посвящаетъ свое перо преимущественно „Отечественнымъ Запискамъ“. Въ фельетонѣ 16 номера, онъ рѣшился даже немного... присочинить, будто бы какой-то сотрудникъ „Отечественныхъ Записокъ“ говорилъ съ нимъ, защищая ихъ отъ его нападковъ, а фельетонистъ будто бы все шупалъ пульсъ у сотрудника „Отечественныхъ Записокъ“, увѣряя его, что у него горячка, тихое помѣшательство: *idée fixe*... Право, это все напечатано въ фельетонѣ 16 номера „Сѣверной Пчелы“, для которой „Отечественныя Записки“ давно уже сдѣлались *idée fixe*... Сотрудникъ „Отечественныхъ Записокъ“ разговаривалъ серьезно съ г. фельетонистомъ „Сѣверной Пчелы“! Что вы это!.. Пошупайте-ко свой собственный пульсъ, г. фельетонистъ!—Далѣе, г. О. Б. нападаетъ на нашу статью о книжкѣ г. Кодинскаго „Упрощеніе Русской Грамматики“, по обыкновенію, приписывая намъ намѣренія и цѣли, которыхъ мы никогда не имѣли, и откровенно (что дѣлаетъ ему особенную честь) выражается такъ: „Хотя мы постарѣе васъ и—тутъ уже нельзя скромничать“ (пожалуйста, не церемоньтесь!) „поболѣе васъ сдѣлали для Л(л)итературы, но не отваживаемся на нововведенія“ и пр. Что вы старше насъ—правда; что вы больше насъ сдѣлали—должно быть такъ, если вы сами такъ скромно отдаете справедливость собственнымъ заслугамъ...

Замѣчательна въ этомъ фельетонѣ еще слѣдующая черта. Преславляя, по обыкновенію, собственное правдолюбіе и нападая на пристрастіе толстыхъ журналовъ, фельетонистъ говоритъ:

«Какъ въ Средніе Вѣки, у этихъ журналовъ есть оглашенные, которые не смѣютъ появиться въ феодальномъ владѣніи, а если появятся, то ландскнехты тотчасъ нападаютъ на нихъ, или пускаютъ въ нихъ стрѣлы издали. Имена этихъ несчастныхъ рыцарей (начальнаго образа?) всегда выставлены на

черной доскѣ, въ сѣняхъ полуразрушеннаго замка (т. е. въ отдѣленіи критики и библиографіи). Вотъ, напримеръ, въ *каждой книжкѣ* (?) Отечественныхъ Записокъ вы встрѣтите имя *Л. В. Бранта*, которое выставлено въ родѣ мишени для упражненія въ остроуміи журнальной свиты и самого начальника дружины ландскнехтовъ. Г. Брантъ, за нѣсколько лѣтъ предъ симъ написалъ нѣсколько повѣстей и романовъ (*Аристократку* и *Жизнь какъ она есть*), и по нимъ измѣряется теперь достоинство (?) всего, что пишется въ этомъ родѣ на Руси. Съ нѣкотораго времени то же самое находимъ и въ Библиотекѣ для Чтенія. Г. Брантъ писалъ библиографическія обзорѣнія (разосланныя, за нѣсколько лѣтъ передъ симъ, при Русскомъ Инвалидѣ), оцѣнивалъ журнальную правду, и храбро сражаясь съ феодалами, свалилъ не одного ландскнехта, такъ и по дѣломъ ему!

Романъ, совершенный романъ, въ родѣ „Виктора или Дитя въ Лѣсу!“ Этакъ, пожалуй, публика до того заинтересуется трогательными приключеніями г. Бранта на литературномъ поприщѣ, что станетъ наконецъ читать съ умиленіемъ его „Аристократку“ и „Жизнь какъ она есть“, а потомъ — чего добраго! пріймется за чтеніе и его полимическихъ статей въ „Сѣверной Пчелѣ“...

Далѣе, правдолюбивый фельетонистъ увѣряетъ своихъ читателей, будто бы, „Отечественныя Записки“ дурно отозвались о „Стихотвореніяхъ Александра Струговщикова, заимствованныхъ изъ Гёте и Шиллера“... Нечего сказать! Это одинъ изъ безсмертныхъ его подвиговъ по части „правдолюбія“...

#### БУЛГАРИИЪ.

Чего подумаешь, не писалъ г. Булгаринъ въ подрывъ кредита у публики „Отечественныхъ Записокъ!... То увѣрялъ, что онѣ скоро прекратятся, за неимѣніемъ подписчиковъ, то говорилъ, что ихъ друзья съ умыслу распускаютъ слухи буд-



то онѣ издаются въ пользу какого-то бѣднаго семейства... Но вотъ самые свѣжіе примѣры: въ 55 номерѣ „Сѣверной Пчелы“ нынѣшняго года, г. Булгаринъ утверждаетъ, будто „Отечественныя Записки“ основаны съ цѣлью уронить (!) „Библиотечку для Чтенія“; будто какая-то компанія, составившаяся для изданія „Отечественныхъ Записокъ“ рѣшительно объявила извѣстное правило: „кто не съ нами, тотъ противъ насъ“. Впервые, нигдѣ не было объявлено, чтобъ „Отечественныя Записки“ издавались компанією, и на заглавномъ листкѣ ихъ всегда стояло только имя издателя и редактора этого журнала: откуда же и чего ради сочинилъ г. Булгаринъ компанію?... Далѣе:

«Вызвали изъ Москвы критика, который своими парадоксами, печатаемыми въ *Молье*, заставилъ добрыхъ людей взглянуть на себя съ улыбкою удивленія (т. е. *добрые люди посмотрѣли тогда на себя съ удивленіемъ?!...*) и поручили ему писать разборы книгъ, т. е. уничтожить все прошлое (не пошлое ли?) и рубить все: что не съ нами, то противъ насъ. Вотъ и пошла потѣха».

Спросимъ г. Булгарина: все это литературныя ли подробности? А что, если къ этому мы скажемъ, что все это сочинено имъ самимъ и ничего этого не бывало?... Но ему до правды нужды нѣтъ. Такой ужъ онъ правдолюбъ!... Однакожь входить въ частныя дѣла своихъ противниковъ, сочинять о нихъ цѣлыя исторіи, это называется личностями... Объ этомъ, кстати, мы должны рассказать цѣлую исторію. Въ 57 номерѣ „Сѣверной Пчелы“ г. Гречъ пишетъ изъ Парижа слѣдующее о переводѣ повѣстей Гоголя на французскій языкъ:

«Г. Віардо, изданіемъ перевода сочиненій Н. В. Гоголя, принесъ намъ и нашей литературной репутаціи услугу, очень сомнительную, непокую на ту, которую, въ баснѣ Крылова, медвѣдь угодилъ спящему другу. Нельзя вообразить себѣ ничего карриатурище и смѣшнѣе этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимыя черты малороссійскаго быта, его живое престоудшіе, его наивная замысловатость—все это исчезло

подъ губительнымъ перомъ варвара переводчика: остались нехѣные вымыслы, уродливыя сцены, отвратительныя подробности, безвкусіе и отсутствіе всякаго благородства и изящества литературнаго; вѣсто живаго тѣла, видимъ безобразный скелетъ. Впрочемъ, всякъ воленъ переводить, что и какъ ему угодно, а вотъ что непростительно, и противъ чего мы возстаемъ всѣми силами. Г. Віардо, нечаятая юродивую повѣсть «Вій» въ *Journal des Debats*, снабдилъ ее предисловіемъ, въ которомъ говорятъ, что г. Гоголь продолжаетъ въ отечествѣ своею созданіе литературы оригинальной, обогащенной трудами двухъ умершихъ писателей ея, Пушкина и Лермонтова. Мы охотно отдаемъ справедливость уму и таланту г. Гоголя, и ставимъ его произведенія на почетное мѣсто среди твореній нынѣшняго времени, признаемъ въ его *Tarasъ Бульбѣ* большія достоинства и красоты, всегда съ новымъ наслажденіемъ перечитываемъ *Старосветскіихъ Помѣщиковъ*, и не можемъ нагѣшиться забавнымъ *Ревизоромъ*, но не дерзаемъ ставить его не только на равнѣ съ Пушкинымъ и съ Лермонтовымъ, да и непосредственно послѣ нихъ. У него нѣтъ главнаго, *нѣтъ языка*; онъ повайметъ, позабавитъ публику своимъ разсказомъ, но неподвинетъ ся впередъ на пути литературнаго образованія, какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковский, Пушкинъ, Лермонтовъ. — *Журналы здѣшніе* (?) *сплюются* надъ твореніями Гоголя въ переводѣ, и ставятъ ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства. Ихъ винить недѣя. Прочитайте переводъ повѣсти «Вій», и скажите, можетъ ли быть что-либо уродливѣе и нехѣе.»

Что сказать на это? „Сѣверная Пчела“ вольна находить переводъ г. Віардо варварскимъ, какъ мы вольны находить его превосходнымъ: на вкусъ товарища нѣтъ. Но чтобъ французскіе журналы смѣялись надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставили ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства, — это, просимъ не прогнѣваться — чистая выдумка, остроумное сочиненіе „Сѣверной Пчелы“... Всѣ французскіе журналы, говорившіе о Гоголѣ, говорили о немъ съ величайшими похвалами. Но что вся эта выдумка „Сѣверной Пчелы“ въ сравненіи съ слѣдующею выходкою г. Булгарина:

«Я совершенно согласенъ со всѣмъ, что Н. И. Грець говоритъ о сочиненіяхъ г. Гоголя и переводѣ ихъ на французскій языкъ; но бывъ въ приятныхъ отношеніяхъ къ г-ну Віардо, я обязанъ, зная дѣло представить, при обвиненіи его, облегчительныя обстоятельства (*circonstances atténuantes*). Недавно еще, въ текущемъ году, говорилъ я въ «Сѣверной Пчелѣ» (*Всякая Всячина*, номеръ 22), что у насъ есть люди, которые ловятъ наждаго заъ-

жаго чужеземнаго литератора, чтобъ внушить ему свои понятія о русской литературѣ и русскихъ литераторахъ, т. е. похвальное мнѣніе о своихъ собственныхъ и пріятелей своихъ сочиненіяхъ, и дурное о своихъ противникахъ и критикахъ <sup>1)</sup>. Такимъ образомъ *уловили* г. Марье и другихъ; точно также поймали и г. Віардо, увѣрили его, что первый писатель въ Россіи, изъ всѣхъ бывшихъ и будущихъ, есть г. Гоголь, и пригласили перевести его сочиненія. Но какъ же переводить, когда Віардо, какъ мнѣ весьма хорошо извѣстно, не знаетъ трехъ словъ по-русски? *Къ нему отрядили одною изъ гениевъ новой натуральной школы, знающаго французскій языкъ (т. е. французскія слова), и онъ сталъ надстрочно переводить для г. Віардо сочиненія г. Гоголя, а г. Віардо долженствовала сообщить этому переводу слогъ и свойство французскаго языка, какъ говорится, обфранцузить чужеземное слово. Встрѣчая часто у г. Віардо этою генія новой натуральной школы, за бумагами, я однажды не могъ вытерпѣть, чтобъ не изъяснить моего удивленія, и тогда г. Віардо сознался мнѣ, что этотъ геній переводитъ для него сочиненія г. Гоголя, съ которыми онъ намѣренъ познакомить Европу.*

За тѣмъ, г. Булгаринъ увѣряетъ, что „не выносить сору изъ избы“ — его неизмѣнное правило!... А наконецъ, изъясняетъ сожалѣніе, что „г. Віардо самъ подвергнулся и подвергнулъ русскую литературу упрекамъ и порицаніямъ французскихъ литераторовъ!“... Впрочемъ это сожалѣніе понятно: г. Булгаринъ не можетъ забыть, какъ незамѣтно и тихо скончались за границею переводы его сочиненій и до того не вѣрить возможности успѣха русскаго писателя за границею, что и похвалы (да еще какія!) французскихъ критиковъ и журналистовъ Гоголя отвергаетъ... Но, спрашиваемъ, кстати ли сочинять небывалыя исторіи о гениі, отправленномъ какою-то школою къ г. Віардо, о томъ, что этотъ гениі знаетъ только французскія слова, а не французскій языкъ, что г. Булгаринъ видалъ его у г. Віардо за бумагами и т. п.?... Впрочемъ, пи-

<sup>1)</sup> О существованіи этихъ людей рекомендую г. Булгарину справиться въ статьѣ Пушкина, названнагося *Геофилактомъ Косичкинымъ*: „Торжество Дружбы, или оправданный Александръ Анекимовичъ Орловъ“ (*Телеграммы*, 1831 г., ч. IV, стр. 135—144).

шутъ же сказки о встрѣчѣ съ сотрудникомъ „Отечественныхъ Записокъ“, будто-бы помѣшавшемся на *idée fixe* („Сѣверная Пчела“, 1846 г., номеръ 16) и печатно называютъ своихъ противниковъ сумасшедшими!... Помнитесь также, что кто то, изъ ничего, изъ капустныхъ кочерыжекъ, говоря о Полевомъ, недавно еще имъ превозносимомъ, позволилъ себѣ фразу о „писателѣ съ огороднымъ прозваніемъ“ и о „какомъ то квасникѣ, выучившемся грамотѣ самоучкою“?... (Сѣверная Пчела, 1842 г., номеръ 142).

Этого мало. Сколько уже разъ было замѣчаемо г. Булгарину, что онъ всегда дружится съ мертвыми и становится пріателемъ отсутствующихъ. Умеръ Карамзинъ—г. Булгаринъ пишетъ статью: „Мое знакомство съ Карамзинымъ“, въ которой доказываетъ, что авторъ „Исторіи Россійскаго Государства“ находился съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ, когда еще не умиралъ. Умеръ Грибоѣдовъ—г. Булгаринъ за перо, и пишетъ біографію умершаго, бывшаго съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ. Такъ же хотѣлъ онъ поступить съ Пушкинымъ, но тутъ что-то помѣшало... Умеръ Крыловъ—г. Булгаринъ тотчасъ пишетъ статью о своей съ нимъ пріязни... Слышно, что многіе, дорожа дружбой и пріязнью г. Булгарина, признаются откровенно, что имъ иѣшаетъ подружиться съ почтеннымъ авторомъ „Воспоминаній“ только жизнь ихъ... А какъ только они отыдутъ къ праотцамъ, то онъ непременно вспомнитъ, что былъ имъ другъ и пріятель. Г. Булгаринъ принялъ за правило „не выносить сора изъ избы“ зачѣмъ же нарушено это правило по отъѣздѣ г. Віардо изъ Петербурга? Мы, хотя и не иностранцы, никакъ не можемъ повѣрить ни выдумки, ни правды, не выслушавъ г. Віардо, который, какъ оказалось послѣ его отъѣзда, находился съ г. Булгаринимъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ. Мы даже не повѣримъ ссылкѣ на г. Віардо въ справедливости словъ г. Булгарина, пока не

подтвердить ихъ самъ г. Віардо: мы видѣли недавно, чѣмъ кончилась ссылка г. Булгарина на его высокопревосходительство, адмирала П. И. Рикорда, въ спорѣ за „Воспоминанія“... Странно, что г. Булгаринъ молчалъ до тѣхъ поръ, пока г. Віардо былъ на лицѣ...

Впрочемъ, во всемъ этомъ есть, какъ говоритъ г. Булгаринъ, облегчительныя обстоятельства (*circonstances atténuantes*). Ничего нѣтъ тяжеле, какъ быть калифомъ на часъ, даже и въ литературѣ. Было время, г. Булгаринъ чуть было не попалъ въ русскіе Вальтеръ Скотты; но это время давно прошло, и хотя сотрудники „Сѣверной Пчелы“, во время отсутствія г. Булгарина изъ Петербурга, и провозглашаютъ его время отъ времени русскимъ Вальтеромъ Скоттомъ („Сѣверная Пчела“, 1843 г., номеръ 86) и даже самъ онъ, не отвергая подносимаго ему его сотрудниками титула, иногда величаетъ себя, для разнообразія, Сократомъ („Сѣверная Пчела“, 1843 г., номеръ 57), — однакожь публика видитъ теперь въ немъ только говорливаго фельетониста „Сѣверной Пчелы“ ни больше, не меньше, совершенно забывъ о его прежнихъ твореніяхъ. А кто виновъ этому?—Гоголь, который успѣлъ своими сочиненіями изгладить изъ памяти публики даже сочиненія тѣхъ романистовъ, которые дѣйствительно не лишены даровитости и которые, своими романами, успѣли изгладить изъ памяти публики романы г. Булгарина!.. Есть отчего сдѣлать изъ Гоголя *idée fixe*, говоря словами г. Булгарина! Сначала, Гоголь въ глазахъ г. Булгарина не имѣлъ ни искры таланта, но теперь, когда по увѣренію его же, г. Булгарина, Гоголь навлекъ на себя насмѣшки французскихъ литераторовъ, онъ уже много хорошаго признаетъ въ сочиненіяхъ Гоголя. Но все-таки не можетъ простить ему основанія литературной школы, которая всѣхъ старыхъ писателей лишила всякой возможности съ успѣхомъ писать романы, повѣсти и комедіи изъ русской жизни,

и которую, за это, г. Булгаринъ очень основательно прозвалъ „*новою натуральною школою*“, въ отличіе отъ старой риторической, или не натуральной, т. е. искусственной, дру- гимъ словами—ложной школы. Этимъ онъ прекрасно оцѣнилъ новую школу и въ то же время отдалъ справедливость старой;— новой школѣ ничего не остается, какъ благодарить его за уда- чно приданный ей эпитетъ... Но за что же онъ безпрестан- но такъ нападаетъ на новую школу? Виновата ли она, что онъ, по собственному признанію, и доселѣ есть „ученикъ Кара- зина и Дмитріева“ („Сѣверная Пчела“, 1843 г., номеръ 129)?.. Естественно, что значеніе и учителей стало теперь не то, что было назадъ тому лѣтъ тридцать, ибо послѣ нихъ были другіе учителя — Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, не говоря уже о явившихся послѣ нихъ—Гоголь и Лермонтовъ. А объ ученикахъ нечего и говорить: волею или неволею, а пришлось имъ пережить свою минутную извѣ- стность. Какъ ни порочьте новую школу, а она уже не станетъ идти раковою походкою и писать по вашему. Да притомъ, бра- ня ее, вы ее прославляете. Всѣ видятъ, что вы ополчаетесь на нее за ея успѣхи. Иначе, вы не стали бы безпрестанно твердить о ней. Явится новое произведеніе, скажите о немъ ваше мнѣніе, и не сердитесь, когда другіе не согласны съ ва- ми. Но вы на чужое мнѣніе, несогласное съ вашимъ, смотри- те какъ на ересь. На что это похоже! теперь цѣлые фѣлье- тоны „Сѣверной Пчелы“ наполняются совѣмъ не хладнокров- ными доказательствами, что у г. Достоевскаго нѣтъ ни искор- ки таланта. Ну, нѣтъ такъ и нѣтъ — тѣмъ лучше для васъ. Скажите это—и успокойтесь; а то подумаютъ, что вы не ис- кренни, и съ особымъ намѣреніемъ хотите всѣхъ увѣрить, что онъ—не талантъ. Дѣйствуя такъ, вы только вредите себѣ...

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНІЯ.

1845 г. *Отечественныя Записки. Кн. 1.* Воспоминанія Слѣпаго. Путешествіе Араго.—Переноска и рассказы русскаго инвалида, соч. Скобелева.—Воспоминаніе о прошедшемъ. Драматическій отрывокъ.—Стихотворенія Павла Браславскаго.—Мои Записки.—*Кн. 2.* Людовикъ XV и французское общество 18 столѣтія.—Параша Дуналова, соч. графа Есавье де Местра.—*Кн. 3.* Двѣ судьбы, былъ А. Майкова.—Страствователь по сушѣ и морямъ. Кн. III.—*Кн. 4.* Тарантасъ, соч. гр. Соллогуба.—Извѣстія о первоначальныхъ московскихъ и петербургскихъ вѣдомостяхъ, изданныхъ при Петрѣ Великомъ.—Правила стихосложенія.—Другъ дѣтей.—Стихи Платона Зубова.—Ода въ похвалу прекраснаго пола.—Провинціальныи поэтъ.—*Кн. 5.* Москва. Три пѣсни Вл. Филимонова.—Физиологія Петербурга.—Современные историческія труды въ Россіи.—*Кн. 6.* Очеркъ литературы русскои исторіи до Карамзина, соч. Старчевскаго.—Опытъ исторіи русскои литературы, соч. Никитенко.—Русская исторія Устрялова.—Русскіе полководцы, Н. Полеваго.—Альманахъ для дѣтей.—Географія, составленная Чертовымъ.—*Кн. 7.* Лѣсной словарь.—Славянскій сборникъ, Савельева.—Лондовскія тайны, романъ г-жи Троллопъ.—Московскій театраль; Кривой бѣсъ, русская сказка.—*Кн. 8.* Сторусскихъ литераторовъ. Т. III.—Политическая географія, Чертова.—*Кн. 9.* Руководство ко всеобщей исторіи, соч. Лоренца. Ч. 1.—Французскіе, нѣмецкіе и русскіе общественные разговоры.—Французская азбука.—Учебный французскій словарь.—Наставленіе о шелководствѣ, Н. Райко.—Расчеты по 5 и 6 процентовъ въ таблицахъ.—Записки русскаго путешественника, А. Глаголева.—*Кн. 10.* Башня Веселуха.—Прощанье.—Остроты и анекдоты Сафира.—*Кн. 11.* Дождь призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ гражданъ въ С. Петербургѣ.—Изображеніе характера и содержаніе новой исторіи. Кн. 2.—*Кн. 12.* Новая школа мужей, комедія Р. Зотова.—Воля за гробомъ, драма.—Прогулка по Невскому проспекту.—Отрывки въ стихахъ и прозѣ.—1846 г. *Отечественныя Записки. Кн. 2.* Энеида Виргилія, пѣсни 1, 2 и 3.—*Кн. 3.* Вчера и сегодня. Сборникъ графа Соллогуба Кн. 3.—Воспоминанія о Н. И. Хмельницкомъ, Егора Аладьяна.—Сельское Чтеніе, Кн. 2.—Руководство къ первоначальному изученію всеобщей исторіи.—*Кн. 4.* Юмористическіе рассказы Кн. 4 и 5.

КОНЕЦЪ ДЕСЯТОЙ ЧАСТИ.

# ОГЛАВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЙ ЧАСТИ.

1845.

## ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

### 2.

#### БИБЛИОГРАФІЯ.

	Стр.
Правила высшаго краснорѣчія. С. М. Сперанскаго. — О подражаніи Христу Ѡмы Бемпійскаго, переводъ М. Сперанскаго. . . . .	7
Импровизаторъ, романъ Андерсена. . . . .	8
Исторія Наполеона, соч. Н. Полеваго Т. I. . . . .	9
Руководство къ познанію теоретической-матерьяльной философіи, соч. Татарнинова . . . . .	10
Общая риторика Н. Кошанскаго, Изд. 9. . . . .	13
Бородинское ядро и Березинская переправа, романъ.—Любовь танцовщицы, повѣсть; соч. Р. Зотова. . . . .	30
Разговоръ. Стихотвореніе Ив. Тургенева . . . . .	31
Наставникъ русской граматѣ . . . . .	34
Леди Анна или Сирота.—Чтеніе для дѣтей перваго возраста.—Дѣтскія комедіи, повѣсти и были.—Дѣтскій театръ.—Двѣ комедіи Елиз... Клев.—Повѣсти и сказки для дѣтей.—Дѣтское зеркало.	37
Тайна жизни. Соч. П. Машкова. . . . .	40
Опытъ науки философіи; соч. Ѡ. Надеждина.—Братское руководство къ логикѣ; соч. Новицкаго. . . . .	43
Біографія А. М. Каратыгвиной . . . . .	44
Ямщики, водевилъ П. Григорьева.—Дружеская лоттерей съ угощеніемъ, его же. . . . .	46
Проконій Ляпуновъ, или междоусарствіе Россіи. . . . .	—



	Стр.
Сочиненія К. Масальскаго . . . . .	51
Сто новыхъ дѣтскихъ повѣстей, соч. Б. Фодорова . . . . .	63
Сказка о двухъ крестьянахъ. . . . .	66
Вчера и сегодня; сборникъ, составленный гр. Солмогубомъ. Кн. 1. . . . .	68
Новый гость. Визитъ 1 . . . . .	73
Метеоръ, на 1845 годъ. . . . .	74
Типы современныхъ нравовъ . . . . .	81
Краткая исторія крестовыхъ походовъ . . . . .	82
Карманный словарь иностранныхъ словъ въ русскомъ языкѣ. . . . .	84
Стихотворенія Губера . . . . .	86
Стихотворенія Петра Штавера . . . . .	95
Физиологія Петербурга. Ч. 2. . . . .	106
Грамматическія размыслианія г. Васильева . . . . .	117
Литературные плоды безсонницы. Соч. барона Боде. . . . .	137
Русское чтеніе, С. Глинки. Вып. 1 и 2 . . . . .	138
Retroucha (Moeux gusses), par Hurreolite Auger. . . . .	139
Стихотворенія Струговщикова. Кн. 1 . . . . .	140
На сонъ грядущій, соч. гр. Солмогуба. Изд. 2. . . . .	147
Романы Вальтера Скотта. Т. 3. . . . .	149
Сочиненія Державина, изд. Штукина . . . . .	151
Сельское чтеніе, составл. Кн. Одоевскихъ и А. Заблоницкѣ. Кн. 3. . . . .	174
Столѣтіе Россіи съ 1745 года, соч. Н. Полеваго . . . . .	181
Исторія консульства и имперіи, соч. Тьера Ч. 1. 2. и 3. . . . .	189
Частная риторика Н. Кошанскаго. Изд. 6.—Уморительныя основанія словесности, соч. А. Глаголева . . . . .	194
Коварство, соч. Чернявскаго . . . . .	198
Букеты или петербургское цвѣтобѣсіе, водевилъ Солмогуба . . . . .	203
Петербургскія вершины, соч. Буткова. . . . .	212
Карманная бібліотека. Графъ Монте-Кристо, Ал. Дюма.—Графъ Монте-Кристо, романъ Ал. Дюма.—Экономическая бібліотека. Три мушкетера, романъ А. Дюма . . . . .	219
Бочубей; историческая повѣсть Сементовскаго . . . . .	221
Могила инока, соч. Садовникова. . . . .	223

## 3.

## ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

1. Размысленія по поводу нѣкоторыхъ явленій въ иностранной журналистикѣ . . . . . 229
2. Нѣсколько словъ о фельетонистѣ «Сѣверной Пчелы» и о «Хаврольѣ». 233

3. Совѣтъ «Москвитяину» . . . . .	Стр. 241
4. Переводъ сочиненій Гоголя на Французскій языкъ. . . . .	243
5. «Сѣверная Пчела»—защитница правды и чистоты русскаго языка. 245	

## 1.

## ТЕАТРЪ.

Русскій театръ въ Петербургѣ . . . . .	257
--	-----

## 1846.

## ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

## 1.

## КРИТИКА.

Русская литература въ 1845 году . . . . .	269
Голосъ въ защиту отъ «Голоса въ защиту Русскаго языка». . . . .	309
Петербургскій Сборникъ . . . . .	333

## 2.

## БИБЛИОГРАФІЯ.

Мельницъ, романъ Ж. Занда . . . . .	377
Новоселье. . . . .	380
Елка. — Преданіе о графинѣ Бергѣ. — Донъ-Кихотъ Ламанчскій. — Путешествіе вокругъ свѣта, изд. Ѳ. Студитскимъ. — Мери и Флора; переводъ Ишимова. — Каннигулы въ 1844 году, или поѣздка въ Москву, соч. Ишимова. — Картины изъ исторіи дѣтства знаменитыхъ живописцевъ. — Мать наставница. — Альманахъ для дѣтей, З. Ковригина. — Робинзонъ. — Пантеонъ русскихъ баснописцевъ. — Маленькія дѣти, повѣсти Бланшара. — Исторія Петра Великаго для дѣтей. . . . .	383
Петербургскій Сборникъ, изд. Некрасовымъ . . . . .	389
Переводы Александра Струговщикова. Кн. 1 . . . . .	391
Стихи на объявленіе памятника Н. М. Карамзину. . . . .	393
Невскій альманахъ на 1846 годъ. . . . .	394
Юмористическіе рассказы нашего времени . . . . .	397
Мирза Хаджи-Баба Исфгани; соч. Моріера . . . . .	398
Столѣтіе Россіи. Н. Полеваго . . . . .	401
Занимательное и поучительное чтеніе для дѣтей . . . . .	402

	Стр.
Стихотворенія Аполлона Григорьева.—Стихотворенія 1845 года Я. По- лонскаго. . . . .	402
Лексиконъ философскихъ предметовъ, составленный А. Галичемъ .	414
Первое апрѣля. Комическій иллюстрированный альманахъ. . . . .	419

## 3.

## ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

1. Литературный Заяц . . . . .	427
2. Новый критиканъ . . . . .	430
3. Булгаринъ. . . . .	433
Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей, не вошли въ десятую часть. . . . .	440







